

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УСТНАЯ ИСТОРИЯ В КАРЕЛИИ

Сборник научных статей и источников

Выпуск IV

**Карелия и Беларусь:
повседневная жизнь и культурные практики
населения в 1930—1950-е гг.**

Петрозаводск
Издательство ПетрГУ
2008

ББК 63.3 (2) 6
УДК 94(47)
У808

Составители и научные редакторы:

И. Р. Такала, к. и. н., доцент,

Петрозаводский государственный университет (Россия);

А. В. Голубев, к. и. н.,

Петрозаводский государственный университет (Россия);

И. Н. Романова, к. и. н., Институт истории

Белорусской академии наук (Беларусь);

И. С. Маховская, к. и. н., Белорусский государственный университет
(Беларусь)

Рецензенты:

О. П. Илюха, к. и. н., старший научный сотрудник,

Институт языка, литературы и истории

Карельского научного центра РАН (Россия);

П. В. Терешкович, к. и. н., доцент,

Белорусский государственный университет (Беларусь);

Ник Барон, доктор философии,

университет Ноттингема (Великобритания)

У808 **Устная история в Карелии: Вып. IV. Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные практики населения в 1930—1950-е гг. / Сост. и науч. ред. И. Р. Такала, А. В. Голубев, И. Н. Романова, И. С. Маховская. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. — 400 с.**

ISBN 978-5-8021-0848-2

В четвертом выпуске сборника «Устная история в Карелии» рассматривается трансформация повседневной жизни советского общества в предвоенное и послевоенное десятилетие на примере Карелии и Беларуси.

*Сборник издается при финансовой поддержке РГНФ,
проект № 06-01-90104а/Б*

**ББК 63.3 (2) 6
УДК 94(47)**

ISBN 978-5-8021-0848-2 © И. Р. Такала, А. В. Голубев, И. Н. Романова,
И. М. Маховская, сост. и науч. ред., 2008
© Петрозаводский государственный
университет, 2008

Оглавление

От составителей 7

ИССЛЕДОВАНИЯ

© *Вультур Смаранда*

Жизнь при коммунизме: между документами архивов
тайной полиции и ретроспективной оценкой жертв-свидетелей 10

© *Романова И. Н.*

Адаптация репрессированных к жизни в обществе после
возвращения из мест заключения и ссылки (по материалам
интервью) 31

© *Чистяков А. Ю.*

Устная история г. Новая Ладога и его окрестностей..... 52

© *Маховская И. С., Романова И. Н.*

Исследование повседневных адаптивных практик
в трансформирующемся социуме (воспоминания жителей
западнобелорусского местечка о жизни «в польское время»
и «при советах»)..... 61

© *Такала И. Р., Голубев А. В.*

Научно-исследовательский проект «Предвоенное и послевоенное
десятилетия: трансформация культуры сквозь призму повседневных
адаптивных практик (БССР, КФССР)»: первые итоги..... 73

ИСТОЧНИКИ

Республика Беларусь

© *Романова И. Н.*

Историческая справка. История Беларуси: предвоенное
и послевоенное десятилетия 86

Интервью с Евгенией Васильевной Заяц, 1915 г. р. 94

Интервью с Александром Степановичем Шпаком, 1918 г. р. 117

Интервью с Владимиром Владимировичем Лобозой, 1922 г. р. 134

Интервью с Марией Адольфовной Шатило, 1923 г. р. 169

Интервью с Еленой Александровной Левчук, 1924 г. р. 215

Республика Карелия

© Голубев А. В.

Историческая справка. История Карелии: предвоенное и послевоенное десятилетия	228
Интервью с Лемпи Павловной Киссель, 1922 г. р.....	231
Интервью с Полиной Поликарповной Левкиной, 1925 г. р.....	240
Интервью с Николаем Константиновичем Яковлевым, 1925 г. р.	265
Интервью с Тамарой Ивановной Кошкарновой, 1927 г. р.	289
Интервью с Анной Ивановной Коттиной, 1929 г. р.	306
Интервью с Роем Нисканеном, 1931 г. р.	335
Интервью с Верой Петровной Семеновой, 1932 г. р.....	358
Интервью с Евгением Иосифовичем Кулаковским, 1936 г. р.....	377
Summary	393

Table of contents

Introductory notes	7
--------------------------	---

ACADEMIC PAPERS

© *Smaranda Vultur.*

Life under Communism: Between the Records of the Secret Police and a Retrospective Evaluation of the Victim-Witness	10
---	----

© *Irina Romanova.*

Adaptation of Victims of Purges to Life in the Society after Return from Places of Imprisonment and Exile (an Oral History Research)	31
--	----

© *Anton Chistiakov.*

Oral History of Novaia Ladoga and Its Suburbs.....	52
--	----

© *Irina Makhovskaia, Irina Romanova.*

Study of Everyday Adaptive Practices in the Transforming Society (Memory of Inhabitants of a West-Belarusian Settlement about Life in «the Polish Time» and «Under Soviets»).....	61
---	----

© *Irina Takala, Alexei Golubev.*

Research Project «Pre-WWII and Post-WWII Decades: Transformation of Culture in Everyday Adaptive Practices (Belarusian SSR and Karelian-Finnish SSR)»: First Results	73
--	----

SOURCES

Republic of Belarus

Brief Information	86
Interview with Evgenia Zaiats (born in 1915)	94
Interview with Alexander Shpak (born in 1918).....	117
Interview with Vladimir Loboza (born in 1922).....	134
Interview with Maria Shatilo (born in 1923)	169
Interview with Elena Levchuk (born in 1924)	215

Republic of Karelia

Brief Information	228
Interview with Lempi Kissel (born in 1922).....	231
Interview with Polina Levkina (born in 1925).....	240
Interview with Nikolai Iakovlev (born in 1925).....	265
Interview with Tamara Koshkarova (born in 1927).....	289
Interview with Anna Kottina (born in 1929).....	306
Interview with Roi Niskanen (born in 1931).....	335
Interview with Vera Semionova (born in 1932).....	358
Interview with Evgenii Kulakovskii (born in 1936).....	377
Summary.....	393

От составителей

Четвертый сборник из серии «Устная история в Карелии» подводит итоги совместного российско-белорусского проекта «Предвоенное и послевоенное десятилетия: трансформация культуры сквозь призму повседневных адаптивных практик (БССР, КФССР)», осуществлявшегося коллективом ученых из Петрозаводского государственного университета с российской стороны и из Белорусского государственного университета и Академии наук Республики Беларусь с белорусской стороны в 2006—2007 гг.

Трансформация повседневной культуры в довоенные и послевоенные годы — тема чрезвычайно интересная и в то же время сложная для изучения. Возможно, ей недостает конкретности и яркости тем, связанных с политической, экономической или социальной историей (индустриализация, коллективизация, холодная война и пр.), — этим обусловлен явно недостаточный интерес к ней в современной отечественной и зарубежной историографии. Однако современное российское и белорусское общество во многом уходит корнями именно в этот период, особенности которого обусловлены сломом традиционной культуры, существовавшей до начала 1930-х гг., и теми культурными практиками, которые получили распространение в ходе грандиозных социальных и экономических реформ и потрясений 1930—1950-х гг. Без понимания этих процессов не будет понятна вся эволюция советского строя и государства — отсюда актуальность и важность изучения трансформаций, произошедших в повседневной культуре советского общества в годы сталинского режима.

Сборник основан на использовании сравнительно-исторического подхода к изучаемой теме. Раздел «Источники» состоит из двух частей: материалы, собранные белорусскими участниками проекта, — пять интервью с респондентами 1915—1924 гг. рождения и материалы, собранные российскими участниками проекта, — восемь интервью с респондентами 1922—1936 гг. рождения. Имея разные географические рамки, интервью отличаются и по методике, лежащей в основе их создания. Белорусские участники проекта использовали форму биографического рассказа (life story), предполагающую минимальное участие интервьюера в формировании источника, в то время как российские участники работали с респондентами по вопроснику. Оба подхода имеют свои дос-

тоинства и недостатки¹: если интервью, проведенное по опроснику, более насыщено фактами и позволяет верифицировать и уточнять информацию по ходу его проведения, то биографический рассказ целиком зависит от нарративной стратегии респондента, что имеет большее значение при обращении к интервью как к источнику изучения социальной, культурной и других видов памяти. Публикация интервью сопровождается краткой исторической справкой об истории Беларуси и Карелии.

В разделе «Исследования» представлены статьи с анализом собранных интервью, а также статьи, проблематика которых имеет прямое отношение к теме сборника. Два исследования написаны участниками проекта на основе собранных в его рамках источников: «Исследование повседневных адаптивных практик в трансформирующемся социуме (воспоминания жителей западнобелорусского местечка о жизни “в польское время” и “при советах”)» И. С. Маховской и И. Н. Романовой и «Научно-исследовательский проект “Предвоенное и послевоенное десятилетия: трансформация культуры сквозь призму повседневных адаптивных практик (БССР, КФССР)”: первые итоги» И. Р. Такала и А. В. Голубева. В первом исследовании рассматривается изменение повседневной культуры на примере западнобелорусского местечка Мир, т. е. используется микроисторический анализ, во втором — на основе архивных данных и материалов устной истории делается обзор эволюции повседневной культуры населения Карелии в довоенный и послевоенный периоды. В отличие от работы белорусских коллег, которые исследуют тему уже более пяти лет, статья карельских исследователей — это лишь первые, самые общие, попытки анализа только что собранного материала. Интервью, публикуемые в данном сборнике, как и те, что в него не попали, еще требуют внимательного анализа и осмысления.

Мы также продолжаем публиковать работы, посвященные различным вопросам устной истории. Чрезвычайно интересной представляется статья профессора Западного университета г. Тимишоара (Румыния) Смаранды Вультур «Жизнь при коммунизме: между документами архивов тайной полиции и ретроспективной оценкой жертв-свидетелей». В ней сравниваются стратегии формирования биографии человека в документах румынской тайной полиции (Секуритате) и в биографических рассказах людей, ставших ее жертвами. Исследование основано на интервью с жертвами политических депортаций 1951—1956 гг., и целый

ряд тем, рассмотренных в работе С. Вультур, напрямую пересекается с темами из интервью, опубликованных в данном сборнике. Тему дополняет статья научного сотрудника Института истории Белорусской академии наук И. Н. Романовой «Адаптация репрессированных к жизни в обществе после возвращения из мест заключения и ссылки (по материалам интервью)». Наконец, в исследовании к. и. н., доцента Санкт-Петербургского государственного университета А. Ю. Чистякова рассматривается устная история г. Новая Ладога в контексте формирования региональной идентичности, что также напрямую связано с темой данного сборника.

¹ См.: Голубев А. В. Нарративная стратегия в биографическом рассказе // Устная история в Карелии: Сб. науч. ст. и источников. Вып. I. Петрозаводск, 2006. С. 11—16.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Жизнь при коммунизме: между документами архивов тайной полиции и ретроспективной оценкой жертв-свидетелей

Смаранда Вультур,

Западный университет, Тимишоара, Румыния

История памяти: краткое предисловие

Память о событии, речь о котором пойдет в данной статье, — депортации в Бараган в 1951—1956 гг. (Румыния) — уже имеет свою историю. Она возникла на основе различных источников личного происхождения: биографических рассказов [*life story*], дневников, мемуаров, писем (т. е. личных воспоминаний), а также, конечно, книг, посвященных этому событию¹, в которых была предпринята попытка запечатлеть его, представив в более широком контексте истории репрессий во время коммунистического режима в Румынии. К этим источникам можно добавить и другие формы воспоминаний, такие как памятники и праздники. Все они определенным образом изменяют действительность, имевшую место полвека назад, с точки зрения современной истории, смещая акценты и привнося новое в понимание этого периода — настолько точно, насколько это возможно в находящейся на стадии становления коллективной памяти. На сегодняшний день передача информации о прошлом и то, как трактуется (излагается) в наши дни коммунизм, оказывают огромное влияние на формирование памяти как части процесса обращения к недавнему прошлому и его переосмысления. Оценка до-

¹ Viorel Marineasa/Daniel Vighi (Под ред.). Whitsuntide '51. Fragments of the Bărăgan Deportation. Timișoara, 2004; Viorel Marineasa/Daniel Vighi/Viorel Sămânță (Под ред.). The Bărăgan Deportation. Destinies — Documents — Reportage. Timișoara, 1996; Smaranda Vultur (Под ред.). Lived History — Narrated History. The Bărăgan Deportation 1951—1956. Timișoara, 1997; Walther Kon-schitzky/Peter-Dietmar Leber/Walter Wolf (Под ред.). Deportiert in den Bărăgan 1951—1956. Banater Schwaben gedenken der Verschleppung vor fünfzig Jahren. München, 2001.

кументов архивов Секуритате², открытых недавно и, к сожалению, лишь частично, позволяет представить новое видение фактов, связанных с деятельностью репрессивных органов.

После депортации немцев в СССР (в район Донбасса) в январе 1945 г. и насильственного переселения лишенных собственности землевладельцев и их семей³ очередное крупное перемещение населения произошло в июне 1951 г. В сводном документе Секуритате, датированном декабрем 1953 г., указано число в 43 891 человек (10 099 семей), «переселенных из западной части страны»⁴ в Бараган.

Область депортации, представляющая в большинстве своем сельскую местность с небольшим количеством маленьких городов (единственный крупный город это Турун-Северин), находилась в 25 километрах от югославской границы. Как правило, эти высылки проводились из-за близости вражеских территорий, так как в то время у Тито возникли разногласия со Сталиным по вопросу коллективизации (что было реальной причиной этого акта политических репрессий). Большая часть депортированных была, разумеется, кулаками. Ни земля, ни имущество, которое они были принуждены оставить (им разрешалось брать лишь столько вещей, сколько могло уместиться на телегу или в грузовик), не отдавались им обратно после возвращения через пять лет. На землях депортированных возникли сельскохозяйственные общества, из которых в дальнейшем сформировались колхозы. Как правило, именно отказ вступать в колхоз становился причиной высылки, даже в тех случаях, когда надел депортированного не превышал 10 га. Бывшие депортированные должны были получать компенсации по описям, в которых перечислялись оставленные вещи и скот, однако эти описи не всегда составлялись, и даже если они были, компенсации все равно не выплачивались. По возвращении домой через пять лет люди получали обратно лишь свои пустые и разрушенные дома.

Категории людей, подлежащие депортации, определялись секретной директивой 200/1951, ссылавшейся на решение Совета министров № 344, датированное 15 марта 1951 г., пункт 6⁵. Список начинался с

² Securitate — название Румынской тайной полиции в период коммунизма.

³ Имеется в виду депортация 1949 г. 3000 крупных землевладельцев со всей страны (вместе с семьями): cf. ACNSAS, д. 55, т. 53, л. 165. ACNSAS — аббревиатура, обозначающая Национальный совет по изучению архивов Секуритате.

⁴ ACNSAS, д. 55, т. 47, л. 1—3. Общее число заключенных в Румынии в то время составляло 51 341 человек.

⁵ См.: Marineasa/Vighi. Whitsuntide '51. С. 175—183.

категории «опасных или потенциально опасных личностей»⁶, и для этого широкого круга потенциальных жертв были уготованы непредсказуемые последствия. Решения получили одобрение партийного руководства, которое поддержало «деятельность по очистке деревни от опасных личностей»⁷. «Доклад о высылке опасных личностей из областей, граничащих с Югославией»⁸ — деятельность, в которую были вовлечены офицеры румынской полиции, войска МВД, полиция, таможенные офицеры и армия, — упоминает «худших врагов нашего режима — сторонников Тито и кулаков»⁹. В отличие от переселения немцев в СССР в 1945 г., депортация в Бараган не имела этнической окраски: депортированные из Баната принадлежали к самым разным национальностям (румыны, немцы, сербы, венгры, болгары и др.). Единственным населением, чья депортация формально основывалась на принадлежности к определенной этнической группе, было население «македонского происхождения» или «выходы из Бессарабии», переехавшие на территорию Народной республики после 1 июня 1940 г.

Вынужденные селиться в Барагане, депортированные строили так называемые «новые деревни» или «спецпоселения»: Вишора, Олару, Далга, Фундата, Дропия, Пеликан, Езеру рядом с Бухарестом; Салцами, Рахитоаса, Мовила Галдаулуй, Валеа Виилор, Латешти вокруг Констанцы; Мазарени, Загна, Бумбацари, Щей, Фрумушита, Рубла (Валеа Цалматулуй) вокруг Галати. До 1964 г. эти поселения были, по сути дела, трудовыми лагерями, поскольку после освобождения из них людей, депортированных из западной Румынии в 1955—1956 гг., их заселяли политзаключенными, которых переводили сюда из тюрем на поселение, длившееся от шести до шестидесяти месяцев. Очевидцы¹⁰, т. е. бывшие депортированные, описывают насильственное переселение в Бараган¹¹ в

⁶ ANIC (Центральный архив национальной истории), канцелярия ЦК Румынской компартии, д. 109/1951. С. 9.

⁷ Там же. С. 17, 31.

⁸ Там же. С. 61—84.

⁹ Там же. С. 70.

¹⁰ Под свидетелями я имею в виду участников многочисленных интервью — биографических рассказов, записанных мной в 1991—2003 гг. у представителей младшего поколения (в возрасте от 16 до 35 лет на момент депортации), из которых значительное число уже были главами семей. Часть этих интервью была опубликована: *Vultur. Lived History — Narrated History*. С. 41—334.

¹¹ Их высаживали в пустом поле. Место было отмечено лишь столбом с номером. Эти участки земли были отобраны у их прежних владельцев (см. сноску 1), которых, в свою очередь, переселили в другие районы.

июне 1951 г. как настоящую борьбу за выживание, которая характеризовалась полным отсутствием воды и топлива, болезнями, нехваткой еды, жестким надзором, холодной погодой, постоянными снегом и метелями, опасностью со стороны диких животных в этом почти неосвоенном крае и изнурительной работой, которую приходилось выполнять, чтобы получить хлеб или построить жилье. Довольно неожиданно, но ежедневные отчеты румынской полиции, которые ее служащие отправляли своему начальству, по крайней мере в первые месяцы, подтверждают истории очевидцев, особенно в разделах под заголовком «Злоумышленное поведение», касающиеся настроений депортированных, где фиксировались жалобы или протесты последних¹². Под тем же заголовком пересказывались слухи, ходившие среди депортированных и вызванные их изоляцией и неуверенностью в будущем. В документах Секуритате также имеются сведения об активной вербовке «осведомителей» среди депортированных¹³, что было необходимо для обеспечения надзора и сбора информации о возможных попытках политического объединения или выступлений. Обычно выбирались те, кого можно было легко шантажировать или запугать. Надзор за депортированными требовал значительных временных затрат, поэтому румынская полиция постоянно жаловалась на нехватку доступных средств, и в марте 1955 г., примерно в то время, когда депортированные в Бараган были освобождены, генерал Никольски Александру приказал Службе перемещения и заключения Офиса внутренних дел «сосредоточиться на наборе агентов» (осведомителей), привлекая к этой операции местных офицеров из различных регионов и районов¹⁴.

В данном исследовании противопоставляются два типа источников: биографические рассказы и архивные документы Секуритате, в которых содержатся фрагменты рассказов о жизни (т. е. биографических нарративов) и которые затрагивают факты, упомянутые в воспоминаниях. Противопоставление этих двух «взглядов» позволяет нам, насколько это возможно, иначе взглянуть на отношения между «нами» и «ними», которые выражены в свидетельствах жертв депортации. Последние обычно пересказывают факты от коллективного имени, используя «мы» (депортированные) как противопоставление «им» (тем, кто депортировал).

Анализ этих источников представляет попытку оценить типы биографических рассказов, содержащихся в документах Секуритате и от-

¹² ACNSAS, д. 191. С. 101—103, 198—199.

¹³ Там же. С. 11—13.

¹⁴ *Marineasa/Vighi. Whitsuntide* '51. С. 206—207.

«Враждебное поведение»

носящихся к различным категориям депортированных в Румынию в 1950-х гг. Изучение архивных документов проводилось в 2003—2004 гг. после долгой практики сбора интервью об историях жизни в течение 1991—2003 гг. В отличие от докладов румынской полиции жертвы событий рассказывали свои истории много лет спустя, так как во времена коммунизма рассказы об этих событиях были либо запрещены, либо подвергались строгой цензуре. Когда сразу после 1989 г. был разрушен пакт молчания и те, кто участвовал в этих событиях, смогли рассказать о пережитом, память о страданиях стала оцениваться в свете всей прожитой жизни и с оглядкой на возможный суд над коммунизмом — суд, который еще даже не начинался. Это объясняет, почему многие автобиографические рассказы воспринимались как возможность реконструировать события в рамках переоценки своей собственной идентичности, что включает процесс самозащиты и реабилитации.

Основная разница между свидетельствами жертв и отчетами Секуритате заключается не только в различных контекстах и дистанции, разделяющей нас от момента событий, но и в кардинально различающихся функциях двух типов источников. Целью, с которой Секуритате подробно описывала биографии людей, было определить виновного и вынести ей или ему приговор: документы основываются на таком освещении жизни обвиняемого, чтобы она стала доказательством, что он или она были или могли быть «опасными элементами» или «враждебными элементами»¹⁵, в то время как жертвы событий конструируют рекурсивный дискурс защиты и реабилитации, который должен опровергнуть ложность выдвинутых обвинений.

В этой статье я проанализирую три типа биографических нарративов из документов Секуритате: историю доказательства, т. е. историю, которая объясняет, почему человек считается виновным, и определяет, почему он — «опасный элемент», о котором необходимо собирать сведения; дополнительный тип — «общая биография», целью которой является инкриминирование фактов и такое объяснение их значения, чтобы назначить или продлить наказание; и наконец, «легенда» (в терминологии Секуритате) — выдуманная история, созданная для информатора и выглядящая правдоподобной для того человека, за которым он должен был следить.

С каких позиций рассматривается жизнь на страницах документов Секуритате? Когда, как и с какой целью использовались фрагменты или целые части историй жизни, кто рассказывал их и кто, что важнее, их искажал? Лишь определенная часть населения была в центре этого внимания, т. е. те, кого в тот или иной момент причисляли к одной или нескольким категориям — «классовых врагов», «эксплуататоров», «кулаков», «саботажников», «подстрекателей», «агитаторов», «плохо относящихся к режиму», «сомнительных элементов», «участников восстаний / акций неповиновения / враждебных действий». Подобное поведение или отношение могло быть направлено «против социальной системы, режима и даже против реальностей нашей страны», как было сказано обо мне в архивном документе CNSAS, датированном январем 1989 г. В различных докладах, списках, извещениях или обвинениях 1950-х и 1960-х гг. тех людей, чьи «враждебные проявления» были доказаны, собирались депортировать, переселить, арестовать, осудить, завербовать или просто проверить. Очевидно, что в подобных условиях логика, по которой строятся биографические описания в документах Секуритате — как фрагментарные, так и подробные, — заключается в подборе аргументов для соответствующих доказательств, создающих что-то вроде истории, на основе которой человек становился обвиняемым и, неизбежно, мишенью. Сложно составить список грехов, которые могли бы за одну ночь превратить обычного человека в виновного. Это были не моральные грехи, а грехи идеологические, поскольку факты подбирались и использовались согласно идеологии классовой борьбы, характерной для 1950-х гг., борьбы против потенциального врага, который не только открыто проявляет себя, но и маскируется (например, образ кулака, притворяющегося волком в овечьей шкуре, — типичная карикатура того времени). Это был тот же самый язык, каким пользовалась коммунистическая партия в 1950-х гг. и который стал частью общего языка посредством системы пропаганды, использующейся, чтобы «обнаружить» врага и «вывести его на чистую воду». Свидетели, у которых я брала интервью, сейчас цитируют этот язык, используя кавычки, когда говорят о «так называемых кулаках», «так называемых эксплуататорах» и пр., и, в свою очередь, дают интересные определения всех этих категорий, что я проанализировала в другом исследовании¹⁶.

¹⁵ Доклады Секуритате обезличивали людей, называя их всех «элементами», которые сортировались по категориям, определяемым уровнем и типом вины.

¹⁶ *Smaranda Vultur. Ethnicity and Collectivization in Banat: the Case of the Tomnatic Commune, 1949—1956 // Dorin Dobrinu/Constantin Iordachi (ed.). The Peas-*

Хотя сейчас документы Секуритате больше не имеют той инкриминирующей власти, которой они обладали все эти годы, нельзя не помнить о судьбах многих людей, ставших их жертвами. Эти документы, включающие в себя биографическую информацию, могут использоваться для исследования манеры действий румынской полиции. В общем они показывают, как функционировал аппарат репрессий и слежки, чего боялась Секуритате, а также что конкретно записывали ее офицеры и как часто они передавали отчеты своему начальству. Таким образом, можно реконструировать историю этого учреждения и проследить его связь с коммунистической партией и административным аппаратом. Информация об отдельных людях и группах людей, находившихся под надзором, может также использоваться для описания исторического фона того или иного события (с определенными предосторожностями и обязательной поправкой на специфический язык этой организации) в сравнении с другими типами источников.

Так, если необходимо узнать о трудностях, с которыми столкнулись депортированные из Баната и Олтении в первые месяцы после того, как их насильственно переселили в пустынные поля Барагана в июне 1951 г., или если необходимо узнать о нехватке питьевой воды, а позже, осенью и зимой, о нехватке дров и об условиях, в которых они строили свои глинобитные дома, можно обратиться к докладам, которые Секуритате делала каждую неделю (я обратила особое внимание на те, которые относятся к периоду непосредственно после депортации, т. е. с июля по декабрь 1951 г.) по поводу ситуации в регионе. Эти вопросы описывались в разделе «Настроения депортированных». Эти «настроения», как отмечается в тексте или в заключениях, были «возмущенными» или «недовольными», как, например, в докладе от 30 ноября 1951 г. в абзаце о депортированных из Баната и Олтении в регион Яломита. Они объяснялись «недостатком дров, необходимых для обогрева, приготовления пищи и даже для того, чтобы подогреть воду для стирки белья, — недостаток, который привел к эпидемии кожной лихорадки, распространяющейся среди населения новых деревень»¹⁷. В этом же докладе упоминается, что «из-за нехватки дров депортированные полностью разрушили плантации акации, которые служат защитным лесным поясом, чтобы использовать их в качестве дров; несмотря на то, что некоторым из них были высланы постановления суда, они все равно продолжают

рубить плантации акаций из-за нехватки дров»¹⁸. В конце того же доклада можно узнать, почему эта ситуация беспокоила власти: недовольство становилось все более и более сильным и «могло еще больше вырасти, если бы не были приняты немедленные шаги для исправления ситуации»¹⁹. Таким образом, эти доклады имеют как информативную, так и профилактическую роль, и неслучайно те депортированные, кто выражал свое недовольство, цитируются напрямую, чтобы придать вес этой ситуации; их слова оформляются прямой речью и отмечаются в докладах с обычным указанием: «Враждебные пропаганда и настроение». Недовольство и широко распространенные слухи включались в ту же рубрику и давали ясное представление об атмосфере, царившей в деревнях, и о страданиях, иллюзиях и надеждах людей. То, что причины недовольства основывались по большей части на реальной ситуации, можно видеть из того, что все доклады описывают состояние дел довольно объективно. Но как только эта же ситуация описывается самими депортированными, их слова становятся выражением «враждебного настроения», что объясняет логику фразы «враждебное настроение против реальностей нашей страны». Из сводки, посланной Главным управлением народной безопасности региона Галати Главному управлению государственной безопасности 9 августа 1951 г., можно узнать, например, что один из депортированных, Гецея Мотеа, из колхоза им. Юстина Георгеску в районе Калмацуй в разговоре с другими депортированными сказал: «Братья, не отчаивайтесь, все это скоро закончится, когда начнется война, — а она начнется, ведь весь день по небу летают самолеты»²⁰, в то время как Сприяца Валериу «из того же центра сказал нашему сотруднику, что в тот момент, когда придут американцы, у него появится шанс отомстить всем тем, кто причинил ему вред»²¹. В других деревнях из региона Галати ситуация была не лучше: «Переселенная из коммуны Вадени крестьянка И. Нуца недовольна тем, что в их деревне нет масла для ламп и что ей трудно найти воду для питья и стирки»²², в то время как Маджеару Петру, также из Вадени, жаловалась, что «милиция не позволяет родственникам навещать их» и что «милиционеры стоят на вокзале и, когда прибывает поезд, требует, чтобы все предоставили документы, а беседовать позволяет с ними там же, на вокзале, или

¹⁸ Там же. С. 198.

¹⁹ Там же. С. 199.

²⁰ Там же. С. 102.

²¹ Там же.

²² Там же. С. 103.

antry and Power. Process of Agricultural Collectivization in Romania, 2005. С. 210—230, особенно с. 222.

¹⁷ ACNSAS, д. 172. С. 197.

где-либо еще, но совсем недолго, заставляя возвращаться обратно на первом же поезде»²³.

Следствием подобных случаев, как отмечается в том же докладе, является «интенсификация сбора информации», проводимая для того, чтобы «точно выяснить, какую деятельность продолжают выполнять депортированные, находящиеся под наблюдением, и какое влияние они имеют на других ссыльных». Страхи Секуритате по поводу возможного восстания в это время очевидны и понятны, учитывая то, что депортированные пребывали в Барагане лишь в течение полутора месяцев. Сравнивая интервью, записки переселенных людей и доклады Секуритате, видно, что депортированные больше всего боялись того, что может еще случиться, что их могут отправить дальше, в СССР, их борьба за выживание была сопряжена с самообманом и надеждой. Они, кажется, не подозревали о той потенциальной силе, которой владели, если бы сумели объединиться и организовать, так же, как и не подозревали о том, насколько пристально за ними велись надзор и информационная слежка²⁴.

«Легенда»: жизненная история как ловушка

Частота, с которой в документах Секуритате встречается фраза «как нам рассказали наши информаторы», показывает, что вне зависимости от того, что по этому поводу думали депортированные, они были под жестким контролем. Тема «осведомителя» в докладах Секуритате, к которым у меня был доступ, совершенно неожиданным образом оказалась связанной с темой рассказа о жизни, который в этих случаях являлся техникой внедрения, т. е. «легендой».

Ассоциируемая в целом с историей, объясняющей происхождение некоего героя или сверхъестественного существа, или с историей, с которой персонаж (человек или святой, например) проходит через повествование о своих подвигах в достойной подражания манере, легенда не обязательно является вымышленной историей, хотя само слово подразумевает сомнения в ее истинности.

Однако в данном случае мы имеем дело с историей, с помощью которой создается вымышленная личность для реальных людей, выбранных среди других депортированных, чтобы они могли войти в доверие

²³ Там же.

²⁴ Из более чем 120 интервью, которые я записала, лишь в некоторых говорится о подозрениях слежки со стороны осведомителей и о расследованиях, проводившихся против рассказчиков.

тех кругов, в которые их предполагалось внедрить, — т. е. к тем депортированным, которые по той или иной причине привлекли внимание милиции. «Георгица», «Куку», «Митица», «Дж. Ледуц», «Костица Трандафир», «Попеску Елена», «Янета Олимпия», «Ион Манеа», «Стан Ион», «Буцур Василе», «Мосцу», «Мари Щот», «Агапу Петре» — вот лишь немногие вымышленные (и секретные) имена некоторых осведомителей из «новых деревень»²⁵. В одном из документов говорится, что в группу бывших членов Железной Гвардии²⁶ и Национальной крестьянской партии (далее — НКП)²⁷ из Салцами был заслан осведомитель, бывший член Железной Гвардии, под кодовым именем «Дж. Ледуц». Это было частью расследования, начатого 12 декабря 1954 г. «с целью выяснить, какого рода отношения существуют между ними»²⁸. Чтобы облегчить внедрение, агенту была дана «легенда», сфабрикованная биография. За этим следовало объяснение: «Источнику (т. е. осведомителю) нельзя было рассказывать никому легенду, пока он не выяснит, кто конкретно ведет контрреволюционную деятельность, и пока у него не появится возможность обменяться историями с этими людьми. Также упоминается, что осведомитель будет рассказывать свою историю не сразу, а по частям, после того как установит связь с этими элементами»²⁹.

Проверяя Эрнеста Маритка, депортированного в Олару, который без разрешения переехал в Тонеа, осведомителю «Митица» удается проникнуть в его дом, где предоставляется «возможность узнать объективную историю о многих событиях из его прошлого»³⁰.

²⁵ Так назывались деревни, созданные в результате переселения людей из Баната и Олтении в Бараган. Их также называли спецпоселениями.

²⁶ Железная Гвардия — название ультра-националистического антисемитского движения и политической партии в Румынии с 1927 г. до начала Второй мировой войны.

²⁷ Национальная крестьянская партия (Partidul National Taranes) была основана 10 октября 1926 г., когда Крестьянская партия, основанная в 1919 г. и возглавляемая Ионом Михалаче, объединилась с национальной партией, во главе которой стоял Юлиу Маниу. Маниу стал президентом нового союза. Будучи правой партией центра, НКП представляла интересы развивающегося среднего класса. В 1946 г. НКП выиграла национальные выборы, но результаты были сфальсифицированы коммунистами, которые через год запретили НКП и посадили ее лидеров.

²⁸ ACNSAS, д. 191. С. 10—11.

²⁹ Там же. С. 11.

³⁰ Там же. С. 5—6.

«Легенда» работает в качестве ловушки: рассказанная по частям, в нужное время и нужному человеку, она вытягивает из него признание. Благодаря ей, агента практически невозможно раскрыть, и в то же время она полностью обнажает жертву. Это — стратегия, посредством которой преследуемый полностью раскрывается перед преследователем, сдает себя [за исключением (крайне редких) случаев, когда «объект», зная, что он находится под слежкой, в свою очередь, рассказывал ложную историю].

В деле № 191 можно найти несколько примеров подобных «легенд», например, «легенда» информатора «Костица Традафир», переведенного из Латешти в Салцами³¹. Там же есть его реальная биография, включающая обстоятельства его вербовки: он был арестован за «две попытки нарушить границу и за распространение тенденциозных слухов»³². Его завербовали в тюрьме Питешти в 1953 г., которая сама по себе позволяет понять ужас ситуации, в которой оказался осведомитель³³. Прибыв в Салцами, он привез с собой доверительные письма из Латешти, написанные лидером НКП, Манеа Ион, одному из своих людей, находящихся под надзором в Салцами, и также члену НКП. Это письмо является доказательством того, что «легенда» была эффективной, поскольку этот человек в действительности был информатором в Латешти.

Интересными представляются также «Краткие характеристики осведомителей, представляющих дальнейший интерес»³⁴ — т. е. тех, кто показал себя с лучшей стороны во время выполнения данного задания и кто мог быть использован в будущем. Среди них был осведомитель «Буцур» из Валеа Виилор, завербованный S. D. D. O. (Serviciul Dislocării și Domiciliului Obligatorii din Ministerul Afacerilor Interne / Отдел по перемещению и обязательному проживанию Министерства внутренних дел) для использования в среде «сербских националистов, упорствующих в непокорном поведении»³⁵, «Попеску Елена» из Рачитоаса, немка по национальности, пойманная во время поездки, на которую не было получено разрешение; она сделала заявление по поводу криминального

³¹ Там же. С. 11—12.

³² Там же. С. 13.

³³ Это была одна из самых ужасных политических тюрем в Румынии, где проводился так называемый эксперимент Питешти, своего рода промывание мозгов, превращение заключенного в робота. См.: *Virgil Ierunca. The Pitești Phenomenon*. Bucarest, 1990.

³⁴ ACNSAS, д. 191. С. 13.

³⁵ Там же.

прошлого Пьера Иона, также перемещенного в Рачитоаса и находящегося под надзором еще трех осведомителей. «По своей инициативе»³⁶ «Попеску Елена» также доносит о «контрреволюционной агитации» католического священника Фарцаша Иона из спецпоселения (т. е. «новой деревни») Рачитоаса.

Интересно, что было инкриминировано «Попеску Елене» и сделало ее осведомителем: она была завербована с помощью шантажа после того, как пересекла границу зоны свободного перемещения, определенную S. D. D. O., т. е. радиус 15 километров вокруг своей деревни. Также известно, что среди депортированных были и бывшие сотрудники Секуритате, такие как, например, «Л. Р.» из Турну Северин, переселенная в новую деревню Борцеа (Василеску Васия). Она дала «ценную информацию» после того, как была вновь задействована, например, информацию, согласно которой «человек по имени Гита Атанасиу из Цалараша, ярый враг режима, македонец по национальности, мог иметь связь с румынскими железными дорогами и вовлечен в организацию проезда для перемещенных элементов в Бухарест без требуемых документов»³⁷. Чтобы выяснить, какого рода связь Гита Атанасиу имеет с румынскими железными дорогами, источнику, т. е. «Л. Р.», было дано указание попросить его организовать для нее нелегальную поездку в Бухарест.

Все это проявилось, когда «Л. Р.» была арестована милицией как преступница, и Главное управление Госбезопасности в регионе Иаломита послало курьера с указанием освободить ее и разрешить ей вернуться в Борцеа, так как «они были осведомлены о ее поездке, которая была организована в их интересах»³⁸.

Между тайными именами, фальшивыми биографиями и случаями из реальной жизни, которые вынудили человека играть двойную роль жертвы и пособника своих же собственных палачей, Секуритате играла с дьявольскими весами реальной или выдуманной вины, создавая мир, в котором видимость используется в качестве технологии *captatio benevolentiae* (от лат. — жест доброй воли. — *Примеч. перев.*).

Носителей «легенд» («источники», «осведомители», «сотрудничающие лица») переселяют с обычными для всех ограничениями (т. е. они также были обязаны оставаться в рамках приписанного им района) из одной деревни в другую, и их документы также могут рассказать немало об их истинных биографиях. Обычно в них указываются преступ-

³⁶ Там же.

³⁷ ACNSAS, д. 173. С. 275—276.

³⁸ Там же.

ление или поступок, из-за которого они стали жертвой шантажа, их профессия, их скомпрометированное прошлое: один был мэром Турну Северина «при режиме буржуазии и дворян, другой, бывший школьный учитель в коммуне Топлет, утаил свое членство в Железной Гвардии, третий, техник-строитель и бывший лидер Германской националистической партии в Ловрине, пользуется доверием немцев». Также упоминаются дата и обстоятельства вербовки. Другими словами, их жизни вне «легенды» представляют интерес лишь настолько, насколько с их помощью людей заставляли становиться осведомителями.

Особый вид записей биографического содержания — это документы, созданные в ходе расследования, исходя из которых, должно было определить: позволить или не позволить депортированным вернуться обратно домой или, наоборот, продлить срок их принудительного поселения. Дело № 55, состоящее из нескольких томов, содержит много отсылок к этим проверкам. Например, в нем хранится решение, подписанное генерал-лейтенантом Пинтилие Георге³⁹, которое отменяло принудительное поселение для 3692 семей, перемещенных из Арада, Тимишоары и Крайновы в спецпоселения в районах Бухареста, Констанцы и Галати. Им вернули право селиться в любой части страны, за исключением приграничных районов (откуда были большинство из них!), Бухареста и коммун под управлением Народного совета Бухареста. 29 июня 1954 г. была произведена проверка 8850 семей, перемещенных с запада, по результатам которой были сняты ограничения лишь с 3692 из них, и только 513 получили право вернуться в свои прежние дома. В таких обстоятельствах и создавались биографические записи, позволяющие нам сейчас понять, на основании каких критериев людям приписывалась та или иная вина. Они более или менее очевидные. Я остановилась только на некоторых из них — тех, что относятся к людям, с которыми я встречалась лично (либо с ними, либо с их семьями) и у которых брала интервью через 50 лет после событий, описанных в документах Секуритате.

Одна из таких историй касается Пундичи Тюдора, который стал жертвой депортации именно из-за доклада Секуритате: депортированный в Мацарени (регион Галати), он имел обычную биографию для румынского македонца, жившего в колонии в Банат: «Пундичи Тюдор с тремя членами [семьи], родившийся 20 января 1899 г. в Цандрова, Греция, сын Николая и Екатерины, фермер. В 1925 г. он переехал из Греции и поселился в колонии в деревне Бубиуц, Дуростор, где получил 10 га

пахотной земли. В 1940 г. в результате обмена населением он переехал в деревню М. Когалницеу, Констанца, а в 1947 г. — в Бешенова Ноуа [*в наше время Дудештии Ноу*], где получил во владение 5 га земли и откуда был депортирован»⁴⁰. Приказ о депортации № 200 1951 г.⁴¹ четко обозначил, что все выходцы из Македонии, Бессарабии и Буковины должны быть депортированы из-за своей этнической и региональной принадлежности, в то время как на других национальностях депортация 1951 г. отразилась выборочно, в основном по политическим критериям. Другими словами, биография, подобная той, что представлена выше, не так обычна, как может показаться, так как она с самого начала характеризует человека как «опасный элемент». Как мы видели, расшифровка имен, с помощью которых человек приписывается к той или иной категории, предполагает предварительное посвящение в историю событий и ознакомление с той точкой зрения, в рамках которой они рассматриваются. Я должна упомянуть, что местное население деревень Баната называет живущих там македонцев «колонистами», в той же манере, в которой Секуритате называла людей из Бессарабии и Буковины, укравшихся в Румынии в 1940 и 1944 гг., «беглецами с территории СССР»⁴². Их всех называли «колонистами» немцы в деревнях Баната, в чьи дома они были насильственно заселены в 1945—1947 гг. и из чьей земли, конфискованной во время земельной реформы, им было выдано по 5 гектаров.

О чем говорят биографические рассказы

В течение десяти лет (начиная с 1991 г.) я записала на пленку около 120 интервью с воспоминаниями людей, депортированных из Баната и Олтении в Бараган в 1951—1955 гг. Часть этих интервью была опубликована в книге в 1997 г.⁴³ Они сопровождаются раскрытием обстоятельств, в которых проводились интервью, там же дается тематический индекс и предварительный анализ их содержания на нескольких уровнях значения: уровень формирования нарратива (определенный Полем Рикером), тематический уровень и уровень интерпретации фактов по их

⁴⁰ ACNSAS, д. 55. Т. 23. С. 158.

⁴¹ *Marineasa/Vighi*. Whitsuntide '51. С. 175—183.

⁴² Что касается статуса колонистов — выходцев из Бессарабии, Буковины или Македонии — и тех условий, в которых происходила колонизация, см.: *Vultur S. Ethnicity and Collectivization in Banat*. С. 211—216.

⁴³ *Vultur S. Lived History — Narrated History*.

³⁹ ACNSAS, д. 55. Т. 24. С. 2. Решение № 6100. Бухарест, 27 июля 1955 г.

отношению к символическим структурам, целью которых является осмыслить и запомнить их.

Жизненные истории, которые используются здесь для характеристики определенного типа воспоминаний, принадлежат респондентам исключительно из сельских районов, как правило, фермерам. Из-за своей непосредственной вовлеченности в эти события и довольно пожилого возраста, когда они согласились — десятилетия спустя — поведать о депортации в своих историях жизни, с одной стороны, они оказались в самом центре событий, о которых они вспоминают, с другой стороны, они также уже достаточно отдалены от этих событий и могут оценить их в контексте всей своей жизни. Это временная оценка личной биографии, сделанная почти через полвека после событий депортации, позволяет нам увидеть то, как травма, причинившая им много страданий, вплетается в историю жизни. Другими словами, мы можем видеть, как они воспринимают эти события, комментируют их и переживают по прошествии 45—50 лет — временного промежутка, который, как правило, отделяет рассказчика от событий, определивших всю дальнейшую жизнь как его самого, так и его семьи (поскольку переселялись все члены семьи, жившие в одном доме).

Что касается тех дискурсивных явлений, которые были выбраны для анализа, мы можем отметить следующие моменты: как правило, воспринимаемая как трагедия, личная катастрофа, вторжение в чью-то жизнь и, наконец, травма личности, депортация вспоминается и оценивается в соответствии с ее последствиями для судьбы рассказчика или его семьи. Под последствиями подразумевается потеря преемственности в работе и обычаях между поколениями. Передача материальных и духовных ценностей между поколениями оказывается нарушенной, и жизненные пути и перспективы, которые были бы предпочтительными или нормальными до этих пор, резко меняются.

Пять лет, проведенных в Барагане, в этих историях вспоминаются так, как будто эти события происходили совсем недавно⁴⁴. Все рассказывают о шоке, связанном с переселением на голые поля, без крыши над головой, о голоде и жажде, об отчаянной зависимости — особенно в первые годы — от посылок, получаемых от родственников и друзей, оставшихся дома (из которых до адресатов доходили лишь половина, а то и меньше), об изнурительном труде, сопровождавшем строительство хрупких глинобитных домов, которые могли упасть при первом же про-

⁴⁴ См. дневник Елены Спиявцы, написанный во время ее депортации в Бараган: Days and chores in Bărăgan, ed. by Romulus Rusan. Bucharest, 2004.

ливном дожде или снегопаде, а то и загореться во время сильного ветра. Ненадежность домов отражает хрупкость всего их существования, которому угрожали природа, заболевания, слежка со стороны органов власти и наказания в случае неповиновения (например, при выходе за границы территории свыше пятнадцати километров). Они работали в колхозах за нищенскую зарплату или участвовали в том, что Елена Спиявца в своем дневнике назвала «добровольно-принудительным трудом»⁴⁵. Вот пример из одного интервью:

Потом нас заставили лепить из глины кирпичи для наших домов. Нам снова и снова говорили, что нужно все это делать самим. Там была Секуритате; полиция, местные аппаратчики — все они постоянно за нами наблюдали, кричали, что мы должны начать строить свои дома или умрем, когда ударят морозы, и что мы должны забыть о возвращении домой. В самом начале мы, разумеется, все были против этого. Откуда мы могли знать, как из глины сделать кирпичи для своих домов? Мы говорили им: “Пожалуйста, мы никогда этим не занимались, мы, наверно, ничего подобного сделать не сможем”. “Теперь сможете. Вы увидите, что сможете, потому что вам придется!” И нам действительно пришлось. Когда одному из нас удалось, все другие пришли посмотреть, как он сделал это. Потом мы все сделали наши собственные формы, но это было очень тяжело. На постройку домов ушло почти два месяца, мы работали от заката до рассвета, и все же не успели до осени, потому что у нас не было инструментов. Если у кого-то была кирка, вилы или грабли, что-нибудь вроде этого, мы все просили это взаймы и очень долго ждали. На пять или шесть домов был один инструмент, так что это было очень, очень тяжело»⁴⁶.

Хотя боль и страдания, вызванные воспоминаниями 40 или 45 лет спустя, примерно соответствуют тем, что мы видим в рассказе Елены Спиявцы, в них ставится совершенно иной акцент. Эти истории в основном являются историями о выживании, рассказами о том, как люди пережили и преодолели травму. В особенности это касается историй выживания, рассказанных людьми из Баната, у которых есть четкое осознание региональной индивидуальности и превосходства [воспринимаемого в соответствии с моделью исключительного банатского шва-

⁴⁵ Там же. С. 21.

⁴⁶ Все интервью цитируются по моей книге «Lived History — Narrated History». Здесь цитируется интервью с Ангелой Пуйцеа (род. в 1933 г.), 21.06.2001. С. 288—289.

ба (швабы — немцы из южной Германии. — *Примеч. перев.*). Эти истории трансформируются таким образом, чтобы доказать превосходство по принципу «человек создает место». Способность депортированных делать неприветливое, дикое, тяжелое место депортации чем-то вроде дома, другими словами, их способность переделать ее «наподобие Баната» интерпретируется как способ бросить судьбе вызов, найти своеобразную свободу, что власти не могли предвидеть. Но это еще и подтверждение их исключительных качеств.

Создав из абсурдного события депортации историю, полную смысла, что, возможно, пока из этой ситуации извлекается урок, рассказчикам удастся создать образ преодоления своего статуса жертв. Этот образ, очевидно, противопоставлен тому образу, который пыталась навязать им власть посредством акта депортации. Четкая постановка идентичности и политический оттенок дискурса поддерживаются символической структурой, которая создает миф о «хорошем колонизаторе», человеке, приручившем враждебную природу, изменив ее «по своему подобию»⁴⁷:

Эти люди [уроженцы Барагана] своими глазами видели, что наше присутствие в этом месте изменило эту часть страны. Почему? Там были немецкие семьи, швабы из колонии Тимши, трудолюбивые люди, более трудолюбивые, чем мы, румынские крестьяне. Именно благодаря им все и изменилось. Они посадили виноградники, замечательные виноградники... Я никогда не видел ничего подобного, они выращивали виноград с помощью черенков и учили людей, которые никогда об этом даже не слышали. Я не знаю, но, думаю, что следы их работы видны до сих пор. Они сажали, как это называется, орхидеи — уже это показывает, насколько трудолюбивыми они были. Мы многому научились у них... Они научили нас многому.

Я не могу рассказать вам о людях, что там жили. Они были более примитивными, чем мы, потому что они говорили, что кукуруза растет лучше с сорняками, и будет лучше, если вы не будете их пропалывать. На наших полях вы бы не увидели человека, даже если он был вер-

⁴⁷ В культурной памяти депортированных этот миф постоянно актуализирован, так как он присутствует в историях банатских швабов об их жизни в Банате после его колонизации империей Габсбургов в XVIII в. История этой колонизации, рассказанная в упомянутых выше мифических терминах, обычно сопровождается биографический рассказ банатского шваба как своего рода история, служащая в качестве основания их законных прав и заимствованная в таком виде другими национальностями Баната в их дискурсе о швабах (немцах) в качестве идеальной модели, указателя «позитивной идентичности».

хом на лошади, такая была большая кукуруза, а их была очень маленькая. Наше присутствие там изменило многое! Наш Банат был под влиянием Австро-Венгрии, мы жили там, и рядом с нами жили венгры, немцы, сербы, все народы. Они же [местное население] были все румынами»⁴⁸.

Мы можем четко определить дискурс, лежащий в основе рассказа, — он превращает жертву в героя, это форма возвращения себе чего-либо потерянного (трансформация жертвы в героя, чтобы вернуть ему или ей достоинство, потерянное во время депортации) и даже более общее стремление, присущее любым воспоминаниям, — сделать прошлое достойным подражания, либо чтобы преподать урок, вывести мораль, или сделать индивидуальный болезненный опыт понятным для тех, кто не испытал его напрямую. Это — способ сделать боль объективной и придать ей вид примера, который является, в некоторой степени, формой забвения, а также, или в любом случае, формой примирения с прошлым.

Эту тенденцию можно понять и в том смысле, в котором категория свидетелей, которую я рассматриваю, относится к изобретению правосудия как института, в их суждениях о событиях прошлого и в их «построении истории» о коммунистическом прошлом. Изобретение институционального правосудия рассматривается как неэффективное или появившееся слишком поздно, либо потому, что на сам институт правосудия нельзя рассчитывать (при коммунизме было место лишь компромиссам), либо потому, что вместо него уже произошло божественное правосудие, в чем нас пытаются убедить многие свидетели, приводя примеры в поддержку этих заявлений. Существует вера, что благодаря вмешательству высшей справедливости «добро» было вознаграждено, а «зло» наказано. Истории пытаются воспроизвести наивную мораль сказок и их упрощенную этику. В действительности, на более общем уровне можно заметить стремление свидетелей обсудить факты не с этической, а с политической перспективы:

Когда мы вернулись, первой нас пришла навестить жена того человека, который вышвырнул нас из нашего дома. Мы с мужем вернулись 2 февраля, я помню это очень хорошо. Мы вернулись с нашей дочерью на поезде, а родители приехали отдельно. Жена того человека пришла ко мне, но она была не виноватой, а тот человек уже умер. Пришли его жена и многие другие, и мы простили их всех. Всех этих грешников уже

⁴⁸ Интервью с Аурел Мунтеану (род. в 1920 г.), 02.06.1991. С. 84, 89—90.

наказал Бог на небесах. Вы так думаете? Да, многие из них понесли наказание. В других деревнях Бог тоже наказывал таких людей. Бог не хочет, чтобы люди воровали у братьев своих, никогда... Поверьте мне, госпожа, если вы добры, то можете ожидать того же, но если творите зло, будьте осторожны. Вот мое мнение⁴⁹.

Это [депортация] было, скорее всего, идеей мэра или Секуритате. Я не знаю, я еще не понял. А вы хотели бы узнать? Было бы неплохо. Не то, чтобы я что-то сделал, если бы узнал. Я не знаю, я больше не страдаю. Лучше, если бы я так и не узнал. Время излечило раны, теперь легче. Не так ли? Да, видите, это было сорок лет назад, даже больше. Сейчас эти люди, должно быть, старики. Им, наверно, по семьдесят. А возможно, они уже умерли. И все это бесполезно; не думаю, что будет здоровой идеей опять злиться на них. Пусть все так и остается. Все прошло! Время излечило раны. Сейчас, по крайней мере... Раны действительно излечены? Совершенно их не излечить. Но сейчас нам что-то возвращают. По крайней мере, мы получаем компенсации, и при наших пенсиях это хорошее подспорье⁵⁰.

С другой стороны, чувство несправедливости, с которой они столкнулись по возвращении, является крайне сильным, как и ощущаемая ими потребность в этой справедливости и правде, и это лучше всего проявляется в том, как они рассказывают о событиях. Факты представляются в форме судебного разбирательства по вопросу реабилитации жертвы. История превращается в тщательно аргументируемое повествование, словно ее главная цель — восстановить «правду», то есть найти справедливость для тех, кто пострадал без вины. Поскольку на государственном уровне она не проявляется, стремление к этой справедливости, которая должна быть найдена, в повествовании проявляется более чем очевидно:

Те [из-за кого мы оказались в Барагане], умерли очень плохой смертью. Один из них умер от того, что ему оторвало ногу, он тогда был мэром, другой тоже умер странным образом. Он украл кирпичи у соседа, которого выслали, и использовал их в строительстве своего собственного дома (он хотел построить свой собственный дом), но на похоронах кто-то сказал мне, что ему не удалось построить ничего больше того, что он украл. Есть еще один, еще живой — Коста Мафа. Его все

бросили... даже собственные дети. Я слышал, что они вышвырнули его из дома со всей мебелью и другими вещами⁵¹.

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда память становится полем битвы за справедливость для тех, кому не удалось найти ее где-либо еще:

Нужно знать об этих вещах. Нужно, поверьте мне. Чтобы следующее поколение ни в коем случае не думало о коммунизме хорошо. Потому что именно из-за коммунизма люди превращались в зверей. Теперь все то же самое. Посмотрите, мы не можем поладить друг с другом. Почему? Мы выросли вместе с венграми, вместе с немцами, вместе с другими... А теперь они заставляют нас ненавидеть их. Почему? Венгры и немцы страдали вместе с нами. Они ели ту же пищу и страдали от тех же невзгод. Они тоже пытаются продолжать жить дальше. Вы знаете, очень жалко нашу страну за то, что они сделали с людьми. Раньше в Рождество, как бы ни был кто-то беден, у него в доме была свинья или что-то еще... А теперь дворы пусты, свиней нет, птицы нет, ничего нет, а почему? Потому что случилось то, что они хотели⁵².

Мы все знаем, что суд над преступлениями коммунизма так и не состоялся и никто не делал публичных заявлений о невиновности депортированных. В воспоминаниях стараются добиться справедливости, заявить о праве на обсуждение этих вопросов, предать огласке то, что произошло («чтобы стало известно, а не забыто», как сказал один из респондентов⁵³).

В нескольких работах⁵⁴ я показала, что таким образом жертвы депортаций в Бараган пытаются видеть в себе героев, которые победили свою судьбу, противостояли катастрофе, которую им пришлось пережить с помощью жизненной этики, основанной на упорном труде, хорошо сделанной работе и вере, что добро всегда вознаграждается, а

⁴⁹ Интервью с Георге Ботоц (род. в 1928 г.), 08.10.1992. С. 69.

⁵⁰ Интервью с Виорике Хент (род. в 1937 г.), 20.10.1991. С. 100.

⁵³ А. М. в Vultur: Lived History — Narrated History. С. 79.

⁵⁴ Smaranda Vultur. Staging Identity in Oral History, in: Daniela Koleva (ed.). Talking History. International Oral History Conference, Kiten, Bulgaria, 23—27 sept. 1999, Kiten 2000. P. 54—62; Smaranda Vultur. Erlebte Geschichte — erzählte Geschichte, in: Konschitzki/Leber/Wolf (eds.). Deportiert in den Bărăgan. P. 117—123; Smaranda Vultur. Le travail de la mémoire dans les récits de vie des anciens déportés sur Bărăgan: formes, valeurs, arguments, in: Anuarul Institutului de Istorie Orală (AIO) II, Cluj Napoca 2001. P. 431—446.

⁴⁹ Интервью с Марией Марил (род. в 1928 г.), 04.06.1992. С. 55.

⁵⁰ Интервью с Йосифом Шефером (род. в 1929 г.), 18.08.1993. С. 220.

зло — наказывается. Согласно этой моральной вере, их потери были временными и, в конце концов, были вознаграждены, а те, кто причинил им вред, понесли наказание тем или иным образом в результате высшей справедливости, заменившей собой правосудие, которое должно было бы осуществляться со стороны государства.

Выводы

Два типа источников, ориентированных на воспоминания и противопоставленных в данной работе, подчеркивают две ипостаси депортированных: Жертвы и Героя рассказываемых событий. Хотя более пристальное изучение отношений между депортированными Жертвой и Героем не представляется пока возможным, нужно отметить тот факт, что в обоих случаях мы имеем дело с ролями, с которыми рассказчики соотносят свои истории, и что мы смотрим на отношения между двумя личностями, которые можно определить лишь друг через друга.

В то время как в документах Секуритате эти отношения фиксированы, недвижимы (статус депортированного, Жертвы, воспринимается в качестве «врага», с которым нельзя вести переговоры и который становится точкой интерпретации для всех его или ее поступков), в биографиях предпринимается попытка исправить эту точку зрения. Это делается подспудно, с помощью аргументации и риторики, через полемическую позицию по отношению к обвинительному дискурсу.

Есть люди, которые сейчас жалуется, что нам выплачивают деньги за то, что мы были сосланы в Бараган. Что я скажу: пусть эти люди едут туда и попробуют прожить там пять лет, как это было с нами, и тогда пусть им тоже дают деньги, я сам дам. Пусть они сделают это и тогда поймут, что это такое — быть, как кролики, и жить посередине голой равнины. Дети бегали босиком и наступали на сорняки с шипами, такие были раны... В самый разгар зимы у нас закончились дрова, были только сорняки, «бараганский чертополох», об этом даже писали какие-то писатели, как мы использовали их для топлива. Там было много крыс, какие-то грызуны, и все жили рядом с нами.

Это то, о чем люди должны знать. Нужно все это записать, чтобы каждый об этом знал и чтобы люди читали об этом даже через сто лет, потому что они разрушили целые деревни. 50 или 60 семей забрали только из нашей деревни, и это были самые трудолюбивые люди! Люди, которые никому не причинили вреда. Наоборот, они многим помогали. Я сам был из благополучных крестьян. Но в нашей деревне были и бедняки, как и везде. Многие раньше приходили ко мне с

просьбой: «Одолжи 100 или 200 кг пшеницы до следующего урожая». Я давал им пшеницу, и потом они мне отдавали обратно, и я ничего за это не брал. Я лишь хотел помочь им. А потом они говорили, что я их эксплуатировал!»⁵⁵

Биографический рассказ позволяет оказать влияние на статус «виновен» или «невиновен» перед лицом все еще ненаписанной истории того времени, в котором эти события не получили своей оценки.

С одной стороны, мы видим, как репрессивный аппарат использовал обвинение и наказание, чтобы изменить и, в частности, подчинить биографию человека своим целям. С другой стороны, с перспективы прошедшего времени или прожитой жизни-судьбы, биографии жертв стали источниками переоценки трагических событий, через которые им пришлось пройти. Не избавившись от боли и травмы, в рассказах свидетелей факты становятся объектом интерпретации, которая обозначает гибкий, открытый и новый подход к чувствам и мыслям свидетелей этих событий, в результате чего возникают трагические взаимоотношения между статусом Жертвы и Героя. За границами этих взаимоотношений можно увидеть проблеск того, чем в действительности являются воспоминания: попыткой придать смысл бессмысленному и приручить абсурдное.

Перевод с англ. А. Голубева и А. Рожковой

Адаптация репрессированных к жизни в обществе после возвращения из мест заключения и ссылки (по материалам интервью)

И. Н. Романова,

Институт истории Белорусской академии наук, Беларусь

До последнего времени внимание историков концентрировалось в основном на таких аспектах проблемы репрессий, как масштабы и характер, их социальная или национальная направленность, формы и способы проведения. Значительную часть опубликованных материалов составляют работы, посвященные условиям жизни заключенных в лагерях, тюрьмах и ссылке (большой массив информации по этому вопросу содержится в мемуарной литературе). До сих пор ведутся дискуссии о

⁵⁵ Интервью с Аурел Мунтеану. С. 89—90.

количестве жертв режима. На этом фоне довольно скромными выглядят достижения в исследовании такого вопроса, как адаптация репрессированных к жизни в обществе и отношение самого общества к осужденным по политическим статьям, административно высланным и т. д. после их освобождения и возвращения из мест заключения.

Репрессированные, являясь фактически исключенными из политической и общественной жизни, после своего возвращения в социум оказывали значительное влияние на все общество в целом самим фактом своего присутствия, вынуждая людей анализировать причины и размах репрессий не в соответствии с предложенной властью схемой, а на конкретном местном материале, на примере судебных соседей, односельчан, родных и близких. Прекрасно представляя характер этого влияния, органы власти и спецслужбы стремились предупредить его последствия: взгляды, связи, настроения, переписка вернувшихся находились под контролем. Осознание этого контроля, в свою очередь, накладывало отпечаток на поведение общества.

Процесс либерализации 1950-х — середины 1960-х гг. не получил должной поддержки не только элиты, но и общества. И хоть прекращение массовых репрессий способствовало некоторой стабилизации, однако общественная мысль по-прежнему формировалась исключительно сверху, медленно преодолевались и созданные за несколько десятилетий стереотипы. Те немногочисленные архивные материалы, которые нам удалось выявить, свидетельствуют, что процесс пересмотра дел, который инициировался Центром, встречал серьезное сопротивление со стороны местных органов власти и низовых подразделений спецслужб. В свое время сотрудники этих органов непосредственно участвовали в осуществлении репрессий. Сейчас они должны были не только лицом к лицу встретиться со своими жертвами, но и решать их бытовые проблемы: трудоустройство, жилье и др. Архивные документы позволяют исследовать процессы реабилитации, но мало дают информации при изучении адаптации незаконно репрессированных после их амнистии или реабилитации. За рамками остаются эмоции, переживания, страхи, надежды людей и др. Практически ничего не содержится на этот счет и в мемуарной литературе, большей частью она посвящена именно лагерному или спецпоселенческому периоду. Этот пробел может быть заполнен материалами, полученными путем проведения интервью, как с репрессированными, так и окружавшими их людьми. В данном исследовании основное внимание нами было уделено субъективному восприятию окружающего их социума самими репрессированными после их возвращения в общество.

Людей, прошедших через лагеря и ссылки, а также и их ровесников остается все меньше. При проведении нашего исследования мы взяли 25 интервью у тех, кого сегодня называют жертвами политических репрессий, у их родных и близких.

Интервью строились вокруг следующих блоков: 1) пересмотр дела, амнистия, реабилитация; 2) процесс освобождения и обустройства на месте; 3) отношение общества (прежде всего ближнего окружения); 4) участие в общественно-политической жизни.

Необходимо отметить, часть из опрошенных нами считала своим долгом рассказать миру о пережитом¹. Надежда Романовна Демидович² и Зинаида Антоновна Тарасевич³ написали и издали свои воспоминания, по воспоминаниям Марии Адольфовны Шатило белорусский писатель Микола Гроднев написал художественную повесть⁴, Александр Иванович Юршевич свою книгу еще не закончил. Однако были среди наших информантов и те, кто не хотел ничего рассказывать, так как уверены — это будет иметь для них негативные последствия. Чтобы как-то гарантировать себе безопасность, просили нас оставить домашний адрес, номер телефона. Иногда нас встречали как представителей власти или социальных органов, надеялись, что мы сможем помочь, в конце концов, вернуть дом, или, в крайнем случае, хотя бы отремонтировать печь.

Для подготовки данной статьи мы отобрали интервью 12 репрессированных⁵: Надежда Романовна Демидович (1927 г. рождения) осуждена в 1950 г. за измену родине⁶ на 25 лет лагерей; Александр Иванович

¹ Интервью в большинстве случаев проводилось на белорусском языке.

² *Надзея Дземідовіч*. Век так ня будзе. Минск: АНГ, 2002. 176 с.

³ *Зінаіда Тарасевіч*. Вокліч з-пад завалаў (3 перажытага і перажытага). Минск, 2001. 75 с.

⁴ *Гроднеў М. П.* У белай цемрадзі. Аповесці. Минск: Бел. выд. Таварыства «Хата», 2000. 256 с.

⁵ Интервью хранятся в личном архиве И. Романовой.

⁶ Принадлежность в годы войны к Союзу Белорусской Молодежи. СБМ — молодежная организация на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Беларуси и Германии в годы войны. Создана 22 июня 1943 г. по образцу Гитлер-югенда. Основную массу членов составляли дети школьного возраста, учащиеся. Чем СБМ была для них, вспоминает Н. Р. Демидович: «Организация Союз Белорусской Молодежи — это большое слово было для меня. Что-то очень дорогое. Что мы, как и другие люди, и что у нас даже есть своя организация. А что там в той организации было? Просто петь учились белорусские песни, танцевать, историю Беларуси изучали, географию».

Юршевич (1928 г. рождения) приговорен в 1947 г. за антисоветскую деятельность⁷ к расстрелу с заменой на 25 лет лагерей; Владимир Иванович Светлов (1927 г. рождения) осужден в 1944 г. к 10 годам за антисоветскую деятельность⁸; Софья Александровна Ляховская (Костецкая, 1921 г. рождения) была сослана с сестрой и ее двумя маленькими детьми как члены семьи участника антисоветского формирования в Украине в 1944 г. из-под Львова.

8 человек — это дети раскулаченных и сосланных семей (двое из них родились в ссылке), причем четыре семьи были сосланы до войны, а три семьи — после войны из Западной Беларуси: Зинаида Антоновна Тарасевич (1937 г. рождения) родилась в ссылке, раскулачены и сосланы были семья отца (Тарасевичи) и семья матери (Зенчики), из двух семей погибли в ссылке 16 человек. Михаил Фомич Лобатый (1930 г. рождения) был сослан вместе с родителями в возрасте около одного года. Нина Фоминична Макей, сестра М. Ф. Лобатого, родилась в ссылке в 1946 г. Мария Адольфовна Шатило (1923 г. рождения) была сослана вместе с родителями в марте 1930 г.; в ссылке умерли отец, две маленькие сестрички, пропал брат. Александр Иванович Ефимчик (1934 г. рождения) был сослан вместе с родителями в возрасте полутора лет. Мама

⁷ Принадлежность к подпольной группе Союз Белорусских Патриотов. СБП — подпольная патриотическая молодежная организация, созданная осенью 1945 г. учащимися Глубокского педагогического училища (Витебская обл.). Основные положения программы СБП следующие: «Действительная, а не декларативная государственность, самостоятельность Беларуси, государственность белорусского языка, бело-красно-белый флаг, герб “Погоня”; требование суверенитета, свободного развития белорусского народа». Участники СБП вспоминают: «Смысл нашего объединения мы видели в объединении одной присягой, в постоянном осознании своего долга думать о Беларуси, действовать для Беларуси, белорусского дела» (см.: Антысавецкія рухі ў Беларусі: 1944—1956 / Даведнік. Минск: АГН, 1999. С. 144—145).

⁸ Основанием для обвинения стало чтение в годы войны листовки Белорусской Народной Самопомощи. БНС — национальная организация на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Беларуси в годы войны. Создана 22 октября 1941 г. в соответствии с приказом ген. Комиссара Беларуси В. Кубе. Действовала под контролем и руководством немецких оккупационных властей. Устав БНС объявлял ее благотворительной народной организацией, которая ставит целью «помогать потерпевшим белорусам от военных действий, большевистского и польского преследования, помогать отстраивать разрушенный чужаками белорусский край, распространять и развивать белорусскую культуру» (Энцыклапедыя Гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1. Минск, 1993. С. 390—391).

Зинаиды Васильевны Костюк была сослана в 1941 г., сама Зинаида Васильевна (1925 г. рождения) — в 1945 г. Мария Юзефовна Панасевич (1921 г. рождения) сослана вместе с родителями в 1940 г. Янина Вацлавовна Жирмонт (Журовская, 1930 г. рождения) сослана вместе с родителями в 1952 г.

Разными путями и в разное время эти люди смогли возвратиться на родину. Отцу З. А. Тарасевич после войны было разрешено вернуться не на место ссылки в Охтamu (Архангельская область), а в Беларусь, так как он «смыл своей кровью свои преступления» тремя ранениями в штрафбате и потерей руки. За разрешением забрать семью, тем не менее, он вынужден был обратиться к М. И. Калинину. Несмотря на положительный ответ из Москвы, жена и дочь фактически бежали с места ссылки. Вспоминает Зинаида Антоновна, которой тогда было около 9 лет: *«Мать с ребенком в одной руке и с бидончиком сваренной сахарной свеклы во второй решила в 1945 г. выбираться из Охтамы. Ели мы по дороге понемножку сахарную свеклу и так доехали до Котласа. Затем пароходом или двое суток, поездом — 16 суток. В поездах нас немного подкармливали пассажиры, да такими лакомствами, что я не знала, что с ними делать, так как видела впервые. Например, яблоко: я не знала, как это его есть...»*.

З. В. Костюк вернулась в Беларусь в 1946 г. в связи с пересмотром дела; М. А. Шатило и ее брат в 1946 г. бежали со спецпоселения, их мать приехала уже в 1950-е гг. Семья Лобатых вернулась в Минск в 1947 г. по амнистии в связи с Победой; В. И. Светлов вышел из лагеря в 1953 г., после смерти Сталина, отбыв 10 лет досрочно — за 8,5 лет; А. И. Юршевич — во время хрущёвской оттепели, в 1956 г. Н. Р. Демидович считает, что могла вернуться и раньше, но за активное участие в Кенгирском восстании⁹ срок ей был продлен. А в 1956 г., когда ее освободили, добраться сама она уже не могла. В сопровождение ей выдали медсестру и солдата. А. И. Ефимчик и его брат — в 1956 г., после службы в армии, родителей забрали позже. Ляховские в Беларусь не спешили, могли вернуться в 1956 г., но до 1966 г. оставались на месте прежней ссылки на вольном поселении.

После войны полякам, выходцам из Западной Беларуси, независимо от того, где они находились, было разрешено выехать в Польшу. Семья Я. В. Жирмонт-Журовской решила этим воспользоваться и уехать из

⁹ Кенгирское восстание — восстание заключенных Кенгирского лагеря в мае 1954 г. за улучшение условий содержания. Восстание было подавлено при помощи танков, пехоты, использовался газ.

Казахстана, куда они были высланы. Однако в Бресте Янина Вацлавовна и ее мама вышли и отправились домой в Ружаны¹⁰, отец с семьей брата уехал в Польшу. В 1990-е гг. Я. В. Жирмонт, надеясь вернуть отнятый у них при выселении дом, попросила заняться вопросами реабилитации и компенсации невестку-юриста. Невестка обнаружила в архивах документы, согласно которым, Брестский облисполком еще решением от 30 сентября 1955 г. признал неправильным отнесение хозяйства В. И. Журовского к кулацким. На основании этого Бюро Совета Министров 20 января 1956 г. приняло предложение облисполкома об освобождении из спецпоселения Журовского Вацлава Ивановича, его жены Журовской Марии Степановны и дочери Журовской Янины Вацлавовны и разрешило им вернуться в городской поселок Ружаны. Однако Журовские узнали об этом только в 1992 г. До этого времени Янина и ее мама были уверены, что в Ружанах, куда они вернулись 7 января 1957 г., они оставались нелегально.

Возможность поменять ГУЛАГ на новую родину в 1947 г. представилась и М. Ю. Панасевич, однако до Польши она также не доехала, а вернулась домой, тоже в родные Ружаны.

На малую родину вернулись и остались там жить и работать 6 человек: один из них — в Минск (после 2 лет отбытия на 101-м километре), 3 — в свои городские поселки, 2 — в деревню. Однако даже не попробовала вернуться домой только один респондент, С. А. Ляховская, которая поехала с мужем на его родину.

В опроснике у нас не было отдельного вопроса относительно восприятия родины, желания или нежелания на нее вернуться, а для детей ГУЛАГа — увидеть ее. Однако сами респонденты всегда обращались к этой теме. М. А. Шатило: *«Такая обида на Беларусь была. Когда война началась, я думала, пусть себе ее и берут. И уже когда они подошли к Москве, то я уже другая была. Мама говорит: “Ты посмотришь хоть как яблоки растут” [...] А когда я отъезжала, то мама уже плакала. Меня уговаривали, в местные колхозы приглашали. Приглашали как специалиста, завживотноводством»*. М. Ю. Панасевич и ее маленькую дочку пытался забрать с собой на Саратовщину отец девочки: *«А я, знаете, о том доме уже не думала, мне бы только Польшу¹¹ увидеть [плачет]. У нас было так красиво!»* А. И. Ефимчик в 1953 г. из Архангельска пошел в армию, а сразу после армии решил посмотреть родину, с которой его вывезли полуторагодовалым ребенком: *«Поехал посмот-*

реть родину первый раз в жизни. Не знал, где яблоко растет. Приехал, посмотрел. И мне тут понравилось. Я досыта первый раз наелся яблок здесь и молока кипяченого напился. Поехал, свои шмотки забрал, и брат со мной поехал».

Родина для всех опрошенных — это, прежде всего, естественно, родной дом. З. А. Тарасевич вспоминает: *«Мама ехала в Беларусь с мыслью вернуться в родной дом. Родина для нее отождествлялась с родным домом, и не более того. Ничего больше ей не надо было»*. Та же Зинаида Антоновна отмечает: *«Считанные случаи были, что тот или другой гулаговец вернулся в свой дом, но через огромные трудности. Когда мать ходила, просила, чтобы ей вернули дом, ей отвечали: будешь просить — поедешь туда, откуда приехала»*.

Все из бывших раскулаченных и сосланных рассказали историю безуспешной борьбы за отнятый у них при выселении дом (в большинстве случаев еще недостроенный). Эти истории наиболее эмоциональны. В некоторых случаях представители местных органов проявляли участие и позволяли выкупить (!) раскулаченным их собственный дом у государства или колхоза. Такой вариант считался лучшим: бывшие гулаговцы одалживали деньги и выкупали. Таким образом вернула родительский дом в Ружанах М. Ю. Панасевич.

Возвращение в родной дом для многих из наших респондентов осталось мечтой до сегодняшнего дня, несмотря на то, что после возвращения вынуждены были построить новые дома. Информанты вспоминают, что строительство нового дома велось на грани возможного: родители вернулись из ссылки инвалидами, лес отпускался в недостаточном количестве, техники не было, даже лошадей колхоз не давал. З. А. Тарасевич: *«А как мать будет строить? У нее еще на плечах были мозоли от бревен, еще как она и сюда приехала. И уже одышка была. Она была уже добитый человек. А отец же был инвалид. Кто будет строить этот дом?»* М. А. Шатило: *«А я так хотела свой дом. Я молилась, молилась... Мне помогли. У мамы была сестра подпольница в годы войны. Она помогла нам домик этот построить. И этот самый, что высылал, помог. Его совесть мучила. А если бы не помогли, так и не построилась бы»*. М. Ф. Лобатый: *«Начали новый дом строить. На коляске возили. От колхоза нам отпустили 20 пней леса. И все. Строй как хочешь, вози на чем хочешь. Коней ни разу не дали [...] Колхоз отпустил пни потому, что в колхозе работали, а не потому, что тот забрали»*. Респонденты отмечают, что при строительстве дома помощь соседей, знакомых была особенно актуальна, и она имела место.

¹⁰ Городской поселок Ружаны, Брестская область.

¹¹ Западная Беларусь в 1921—1939 гг. была в составе Польши.

Некоторые из опрошенных уверены по сей день, что если не родительский дом, то хотя бы достойную компенсацию за него им государство обязано дать.

Все информанты отметили, как тяжело было в Беларуси после возвращения: послевоенная разруха, голод. З. В. Костюк, которая в лагере была медсестрой, вспоминает: «Когда сказали: “Невиновна, можешь быть свободна”, я все плакала, плакала от счастья. А потом думала: “Куда же ехать?” Все сгорело [во время войны]. Вернулась, жила в бабушкином сарае, только он не сгорел. А там сырость, холод, мороз, все стены мокрые. Вышла замуж, там жили, дочь там родилась. Думаю, пусть бы я в том лагере жила, тепло в комнате, и есть давали».

Трагическую историю возвращения на родину рассказала М. А. Шатило, которая первым делом поехала посмотреть на деревню, из которой вместе с родителями, двумя маленькими сестричками и братиком была выслана шестилетней девочкой: «Я когда приехала, взглянула на деревню, то испугалась, там только три дома. А где остальные? Я все же помню Томашевичи¹². Говорят: “Повысылали...” Три дома... Как сказали, что я приехала, так там со всех деревень этих сбегались посмотреть. А у меня слезы вот так вот льются... А волосы! Никогда больше так в жизни, волосы, мне казалось, стали вот так [показывает вверх]. А они все руки подають. Один говорит: “Я же с твоим отцом воевал у красных, разведчиком был”. Второй говорит: “Вот ты зайди в любой дом, где шкаф сделан, — это твой отец делал. Девушка где какая идет замуж, он делал всем шкафы. Вот пойдя, какая где девочка шла замуж, у некоторых и теперь висят венчальные платья, это все твоя мать шила”. Тогда говорят: “Ты пойдя, посмотри на ферму, тут у нас молотилка стоит, это твой отец руками делал. Молотилка ваша, косилка ваша в колхозе до сих пор. И веялка”. А у меня волосы так вот. А у меня на душе: “За что же вы его? За что же вы его убили?!” И мне говорят: “Мы тебе дом построим. Вот там построим. Если хочешь, то на том месте, где ваш дом стоял. А ваш дом и еще три дома забрали и сельсовет сделали. Поэтому не можем вернуть, нет вашего дома. Так поставим, лес дадим, дадим пару ягнят, пару поросят, дадим телушку. Все дадим”. А я думаю: “Боже, что я буду делать, никого нет. Все забрали, а теперь все дадут”. А когда все уже разошлись, так председатель жене говорит (а он, когда высылали, в армии был): “Во разгоготались. Говорили, что ни одного живого не выпустят. А вот же выпустили! А теперь все давай. А если всех повыпускают?! Что мы

будем делать?” А я: “А что делать?! Вы же все забрали. Все растянули. Все попротивали”. Я встала, подумала и пошла, пошла к тетке. Заливаюсь слезами. Пришла к тетке, кинулась на кровать, так плачу, так плачу. А ее муж говорит: “Чего ты так плачешь? Если тебе здесь так плохо, так езжай в свою Тойму”. Сюда приехала, опять уезжай! Я и думала уехать, только не туда. Там уже все, кто повозвращался, позабывали семьи.

...Эти¹³ приходят, говорят: “От, мы хоть пожили при немцах. И пожили, как высылали. Хоть поели. Если бы еще высылка или война, хоть пожили бы”. А я говорю: “Пожили бы, хорошо бы пожили. А если бы тебя?” Так она: “А меня за что?” Я сижу в хромовых сапогах, у меня пальто было, шапочка была. Мне мама на козла выменяла там пальто. Козы мы держали. Так была одета. Не то, чтобы шикарно, но одета была. Так она: “А у меня что, нет ничего. Из мешка юбка, и та рваная. Вот я в лаптях и лапти рваные”. Я говорю: “А что же вы так живете? Вы же нас выслали! А чего у вас здесь нет”. [...] Я председателю сказала: “Мы же вам помогли в тылу фронту. Всем обеспечивали”. А он: “Мы вас не просили. При немцах нам лучше было”. У меня и заело: “Здесь уже не люди, здесь звери. Лучшие им при немцах было”. Что делать, что говорить?»

Лейтмотив рассказов о возвращении — это непонимание, временами пренебрежение и даже открытая злоба окружающих. З. А. Тарасевич: «В конце концов мать замечает, что не в ту Беларусь она вернулась, которую оставила около 20 лет тому назад. Стоит заикнуться про Охтamu, откуда вернулась, что там делалось, какие творились издевательства, как вымирили люди, — никакого к тебе сочувствия. Некоторые даже с насмешкой говорили: “Вот где сказку придумала — такое быть не может”. Мать потом жаловалась: “Мне хотелось кричать об Охтaме”. (Она еще думала, что только на Охтaме гибли люди.) И на некоторое время как бы немела. Затем сколько раз просила Бога, чтобы не сойти с ума, чтобы не потерять память об Охтaме, о тех мучениках, которые навечно остались в вечной мерзлоте. Она жила только памятью». Родители Зинаиды Антоновны все ждали, что по телевидению или по радио хоть что-нибудь, но расскажут о ссылке, о лагерях, об Охтaме...

Все респонденты упомянули о трудностях при трудоустройстве после возвращения, сложностях с учебой: З. А. Тарасевич: «Отец (инвалид после штрафбата) после войны в райисполкоме работал, никто же

¹² Деревня Томашевичи, Узденский р-н, Минская обл.

¹³ По просьбе М. А. Шатило фамилии опущены.

ничего не знал. А потом как узнали, что он семью забирает из лагеря, — уволили». М. А. Шатило: «Я пошла в Минск. Где пойду, объявление прочитаю, меня выгоняют. Я пошла в колхоз. Я не понимала, что они все знают». А. И. Юршевича арестовали, когда он был студентом филологического факультета Белорусского государственного университета. После освобождения в 1956 г. он попробовал продолжить учебу. Однако декан ему ответил: «Я бы вам не советовал работать преподавателем, тем более литературы. Здесь связано. Раз вы были уже арестованы, осуждены». После этого Юршевич предпринял попытку поступления в Витебский техникум на заочное отделение. Также безуспешно. И только благодаря однокласснику, работавшему председателем колхоза, он смог добыть необходимую справку для поступления в Полоцкую школу мастеров-десятников. После этого были еще две безуспешные попытки поступления в Ленинградский заочный строительный институт. Н. Р. Демидович после того, как подлечилась дома, перебралась в Минск, где смогла устроиться на завод «Горизонт». «Хорошо было. И я попала в военный цех. Там такие деньги большие зарабатывала. И я справлялась с работой. Проходит определенное время, меня увольняют с той работы: “Идите куда хотите, работайте, только не здесь”¹⁴. Почему и что, никто не говорит. Никто не знал, что я осужденная была, у меня все бумаги чистые были. А потом мне говорят, что это первый отдел распорядился. И я беру свое удостоверение и по снятии судимости и иду туда, в первый отдел: “За что вы меня судили? И я считаю, что я не судима». А он говорит: «Вы не судимы, но все же вы были судимы, и вам здесь не положено, идите куда-нибудь в другое место работайте, только не здесь». Другую хорошую работу найти было очень тяжело. Случился инсульт. «Не дали мне работать, значит, я никому не нужна». М. Ю. Панасевич работать прачкой в яслях помог устроиться дальний родственник, без протекции не брали.

В свою очередь, настороженно к окружающим относились и даже относятся и теперь сами репрессированные.

Все опрошенные отметили, что никому о факте ареста, ссылки, о жизни там ничего не рассказывали. Некоторые из тех, кто вернулся на свою малую родину, отмечали: «А что рассказывать, об этом и так все знали, да и много там таких было». М. А. Шатило, которой удалось бежать из колхоза и, в конце концов, устроиться на велозаводе, вспоминает: «Мы скрывались здесь. Мы не говорили, что мы были высланные». Н. Р. Демидович: «Когда под Минск приехала, никому никогда не расска-

зывала. И на заводе один начальник 1-го отдела знал, а больше никто. И там они не разглашали». С. А. Ляховская: «Что были высланы, никому никогда не рассказывали. Никогда. А кому здесь было? А кто бы понял? Кто бы нас пожалел? Не жалели бы, а наоборот. Видишь, что сказали эти, как увидели, что мы купили этот дом, говорили, что у нас закопано 2 бидона денег».

Совершенно отличную картину представила в своем рассказе З. А. Тарасевич (возглавляет Ассоциацию жертв политических репрессий в Беларуси). Ее мама после возвращения из спецпоселения посвятила свою жизнь информированию общества о случившемся: «Как приехали, никому нельзя было сказать ничего. Абсолютно. Был страх, что назад заберут. Еще какой страх! Мать же первые годы как приехала, все в окне сидит, сидит и смотрит. А милиционер как идет, так она: “А божухна мой!” Тогда белеет — все, милиционер за ней идет. Боялась. А после где-нибудь в очереди мать уже начнет говорить с какого места приехала, что-нибудь рассказывает. Потому что душа болит, рассказать хочется. Но сочувствия не находила, какое-то недоверие. [...] А потом уже, как постарела, так давай уже ходить по юридическим консультациям, больше ничего не делала. [...] Пойдет и там уже: “Вы все можете рассудить?” Они отвечают: “Все”. Так она: “Ну вот рассудите мое дело”. И начинает рассказывать: “Выслали малых детей...” А сидит там какая-нибудь девочка молоденькая. Мама говорит: “А я ей рассказываю, рассказываю”. А она смотрит на меня такими глазами: “Нет, этого мы не можем”. А она приходит и говорит: “Пусть может и нельзя, но хорошо, что я ей рассказала”. И вот она все вычитывала, где юридическая консультация и ходила. Возвращается домой совсем не в отчаянии, наоборот — в приподнятом настроении: хоть в одной конторе да выслушали ее». Отец Зинаиды Антоновны был против такого поведения жены, говорил: «Ой, дурница, ну ты хоть не говори, что ребенок у тебя есть. Потому что они же позидеваются над ней, нас то уже забирать не будут». «Отец говорил: “Не чапай ліха, калі спиць ціха”. Говорил, чтобы она никуда не ходила, ничего не говорила. Он уже не за себя боялся, а за меня. Сам никуда не обращался. Он ненавидел всех этих чиновников. Ничего нигде не добьешься. Он на все махнул рукой. У отца одно слово было: “Сатана бушует”. И все, больше ничего не комментировал».

Дочери же Тарасевичи запрещали рассказывать о прошлом: «Соседи ничего об этом не знали. Говорили, чтобы я в школе молчала, абсолютно, чтобы ни слова никому. Потому я в школе не общалась ни с кем. Молча сидела и все. Ни подруг не было, никого, чтобы никто ничего не

¹⁴ Высказывания чиновников информанты давали на русском языке.

знал. Никто и ко мне не приходил. И чтобы просто, чтобы молчала всегда».

Мать собрала деньги и поехала в 1968 г. вместе с Зинаидой Антоновой на место прежней ссылки, в Охтamu. Она считала, что ее дочь должна видеть то место, где погибли все их родные, и где сама она родилась. Зинаида Антоновна вспоминает: «Для поездки собирали не один год деньги: копейка к копейке, рубль к рублю. Сидели чуть ли не на хлебе и соли... Питались, одевались, может, чуть лучше, чем на Охтаме. Она собирала эти деньги, чтобы на Охтamu поехать, походить по этим могилам, где люди погибли. Собирала рублик к рублику. Сидит, считает, сколько она там денег собрала.

С Минска летели на самолете до Москвы, затем — до Череповца таким же лайнером, дальше — до Котласа на кукурузнике. С Котласа до Верхней Тоймы плыли двое суток на пароходе. Отсюда до нашего незабываемого 4-го поселка Охтамы оставалось всего 98 километров. Ничего с маршрутного транспорта по лесу тогда не ходило. Одна надежда — на свои ноги. Но пройти такое расстояние мать уже не могла, хоть сильно рвалась туда. Стали спрашивать у местных людей: «Как добраться?» Оказывается, можно только вертолетом из Архангельска или Ленинграда, заплатив за каждый час лету и пребывания на месте по 800 рублей. Мать сразу повеселела: «Сколько бы ни стоило — полетим! Пусть себе на целую легковую машину, но полетим!» Проснувшись утром, говорит: «А кто же будут те летчики? Может, такие мальчики, как на кукурузнике?» (А это были курсанты летного училища.) Затем объяснила свои опасения: «Если бы пожилые люди те летчики... А если снова мальчики? Что им ударит в голову... Вдруг две бабы там бросят. Тогда уже точно не выйду оттуда живой. Нет, пусть нас прощают мученики наши родные. Не по нашей вине не можем туда добраться».

Походили по Котласу, проехали через Великий Устюг, поблудили по Верхней Тойме — тех местах, где их когда-то гнали на Охтamu. [...] И ей же надо было к коменданту зайти, того, который душил ее. Хотела посмотреть ему в глаза. Но ответ коменданта был короткий: «Социализм строили». [...] А по возвращении в Минск мать отправила ему посылку с самыми лучшими (купила на рынке) белорусскими яблоками. Специально, чтобы разбередить его душу, чтобы он понял, каких людей душевных, добрых он уничтожал.

Когда возвращались, мать приказала мне покупать билет на паром только первого класса. А поскольку все пассажиры почему-то ютились по третьему и второму классам, то мы вдвоем и находились в

каюте на всем третьем этаже, и вся палуба оказалась только для нас. Вечером мать сходила на нижние палубы, чтобы поговорить с пассажирами и будто бы почувствовать превосходство над ними, что и она может ехать первым классом! Возвращались мы из Котласа через Москву также пристойно — в купейном вагоне. Я всю дорогу думала, что мать хочет только отдохнуть, а поняла ее по приезде в Минск, когда она зашла в свою квартиру и, переступив порог, сказала: «Я вам не скотина... что меня заставляли валяться на полу, где скот переправляют. Я все же проехала первым классом!»

А первое время по возвращении с Охтамы она не ходила по тротуару, только по улице. Так вбили в голову, что она не достойна ходить рядом с людьми. Она уже считала себя такой приниженной, не такой, как все. Это страшно!

С течением времени уже хватало и поесть, и одеться, уже в квартиру провели воду холодную и горячую, есть газ, есть паровое отопление. Короче, они имеют то, о чем моя мать когда-то и мечтать не могла. Но страдают. Чем лучше делается жизнь, тем хуже становится моим родителям. Мать не могла понять, как это людям может быть важно лучше одеться, вкуснее поесть, она не понимала этих людей. Что они это все покупают, за этим всем гоняются: какие-то секции, журнальные столики, гарнитуры, кресла, ковры на пол и даже на стены, модную одежду. Люди на Охтаме гибли и ничего этого не видели. Родители не понимали соседей, не лежала у них душа к соседским сборищам-застольям на каждые выходные. [...] Родители признавались друг другу: «Надо было остаться на Охтаме. Там все такие, как мы, там бы душа спокойная была. Там все всем понятно». Они жили своим этим несчастьем. Мать все время думала о своих сестрах и братьях, отец тоже думал об этом.

Мать думала: а имеет ли она право быть веселой и хорошо жить, если все ее близкие погибали от голода на нарах в холодном и темном бараке... Однажды она встает с ночи и собирает это белое [белье], что было у нее на кровати, и кладет синюю, такую темно-синюю какую-то тряпку и говорит: «Как во мне, пусть так будет и на мне».

А жили мы бульончиком, а бульончик — это вода и картошка плавают в нем. А она не понимала, что лука туда можно добавить и морковь. Питались мы просто страшно. Бывало, отца брат говорил: «А это вас Охтама испортила». У отца была кровать, которую он с пожарища принес, на трех ножках, а на четвертую он деревяшку подставил. Вот это кровать была, и мать принесла с пожарища какой-то сбитый [топчан], на котором я спала. Вот такая была мебель. И все, и

ничего не нужно было. Мать еще собирала деньги, думала, что еще попадет на Охтamu. Ей нужно было за эти деньги увидеть могилы тех людей. Но уже сил не было, уже не смогла. И за эти деньги я ей памятник поставила».

Трое из восьми опрошенных женщин отметили, что факт ссылки и ареста мог помешать либо помешал им и в устройстве личной жизни. З. А. Тарасевич: «И мне мать приказала, когда я уже и замуж выходила, чтобы мужу не говорила. И муж мой и не знал. А как спрашивал, почему я в Архангельской области родилась, так я сказала, что отец был военный и там служил». М. А. Шатило вспоминает, как на ней не позволили жениться молодому человеку: «Так как замуж брать, отец пришел его и говорит: “Посылал запрос туда насчет меня, ответили, что агрессивно настроена”. Ему нельзя, он партийный, такую должность занимал». Н. Р. Демидович: «Как я сильно заболела, никак поправиться не могла, муж меня бросил. Люди говорили, что он говорил: “А что я с ней буду жить, как она острожница”. Но люди ему не верили». Двое из информанток, по причине подорванного здоровья на тяжелых работах, не имеют детей.

Все опрошенные упомянули о случаях, когда сотрудники или соседи под злую руку припоминали им прошлое. М. Ф. Лобатый: «Мне уже 9 лет было, уже знали, что мы кулацкие дети. Учитель сказал, потому что там же никто не говорил, там все такие были. И здесь находились, которые говорили прямо в лицо, деревенские: “Кулак”. Богачами нас зовут. А что мы за богачи?» А. И. Юршевич: «Были и такие люди, что говорили, что враг, что сослали и правильно. А когда я стал работать бригадиром строительной бригады в колхозе “Сцяг перамогі”, бывший бригадир частенько все вспоминал о тюрьме, говорил: “Вот нами тут командуют тюремщики”». А. И. Ефимчик: «Приходим на работу, а они: “Вот эта наволочь, уже приехала. Кулачье”». С. А. Ляховская: «Я не знаю, чего это они [родственники] заелись с этой соседкой и уже слышу: “Кулаки, кулаки”». М. А. Шатило вспоминает очень плохое отношение к ней колхозного руководства, хотя она была передовиком, о ней писали в республиканских газетах и даже в газете «Правда»: «Вот выйдешь на луг косить, а тут спрашивают: “Что это вы тут косите?” А я: “Все здесь косят”. А мне: “Все, да не вы! А вам нельзя”. [...] Да, там наши люди были. А тут будут: “Кулак да кулак”. Кулак, это черт знает что».

Отношение тех, кто был причастен к ссылке, тоже было неоднозначным. М. Ф. Лобатый: «А как вернулись, конечно, они недовольны были. Стыдно было им. Отец, когда в колхоз на работу пошел, колхозники его

презирали, потому что ссыльный. Они же его и выслали. Делали вид, что все хорошо, а сами — с фигой в кармане. А потом опять его исключили из колхоза. Забрали участок, хотели дом забрать. Мама уехала отсюда, потому что не могла работать с этими бабами, они ее унижали. Ушла и сказала, что это невозможно было. Говорили, что азиаты, просто поедом ели. Уехала отсюда с детьми. А папа здесь до 62-го года был, а она уехала в 49-м. Так и жили: она там, он здесь». З. В. Костюк: «А еще при немцах вызвали меня, сидел староста и войт, или как там, и говорят: “Он вашу маму вывозил, так мы его засудим”. Мне надо было подписаться. А я говорю: “Я не видела, кто вывозил и как”. Его хотели забрать, расстрелять. И он остался жить. А потом мне сказал: “От тебя зависела моя жизнь, моя судьба”. Потом маме помогал все, крышу строил. И к маме хорошо относились. Мама как приехала, так пришли соседи, люди, поставили ей крышу. Мама уже старушка была». М. Ю. Панасевич: «Мы знали, кто на нас написал. И все в деревне знали. Тот человек, что написал на отца, был еще живой, когда вернулись. [...] Столько подлости было, когда я приехала. Не давал устроиться моему брату, заявление за заявлением подавал». А. И. Ефимчик: «Обида была на этих гадов, что выслали. Я бы их сейчас... Но нет их, есть только отростки их. Они такие же. Как вернулись, они еще были живы. Отец же мне все рассказал, я на них смотреть не хотел. Так же и они. Общались, вида не показывали. Но ненавидели друг друга. Гадости они нам делали на каждом шагу. А мы оттуда приехали, а они нас незаметно душили. Их кучка, они связаны с руководством, и если что, говорили: “Этот такой-то, такие-то, выслан был”. Также мешали родителям, сестрам, братьям. Жизни не давали».

Вместе с тем информанты заметили, что: «Всего было. Были люди, которые и сочувствовали». М. Ю. Панасевич рассказала: «А брат, когда нас высылали, собирал подписи. Собрал 150 подписей, чтобы нас вернули. Соседи жалели нас, когда высылали. Подписи же собирали, чтобы нас вернули. Но война помешала. И я когда приехала, — жалели. Давали все. Говорили, пусть придет, то крупы дам, то еще чего. Все помогли».

Все опрошенные отметили перемены к лучшему в их жизни после смерти Сталина. С. А. Ляховская: «Как Сталин умер, уже совсем другая жизнь стала. Сразу. Мы уже не боялись. А тогда мы всякой тени боялись. Мы боялись слово промолвить». З. А. Тарасевич: «Потом мать уже смогла устроиться на работу. До 1953 г. она нигде не могла устроиться».

Все информанты признались, что всю свою жизнь они чувствовали, что за ними следят. А. И. Юршевич: «Следят. Вообще следят. Был случай. Я был в санатории в Грузии и записался на экскурсию ехать, где царица Тамара, дворец ее или что там, недалеко от турецкой границы, может, и далеко, но там уже зона какая-то была. Сдавали паспорта. Этот, который организовывал эту экскурсию, пришел и говорит: “Вот так и так, я не могу забрать вас на экскурсию, потому что вы были осуждены”. Это уже было в 70-е гг.». Все респонденты отметили, что только в 1990-е гг. они перестали чувствовать слежку. М. А. Шатило довольно подробно перечислила все свои «встречи» с представителями «доблестных органов». Вспоминает: «Только когда нас реабилитировали, тогда мы стали иметь какое-то право. Реабилитация почувствовалась тем, что за нами никто не следит. За мной следили. Мы надеялись только на то, что мы спрячемся, что мы будем не кулаки, а так, как все люди». З. В. Костюк: «НГБист приходил. Пугал меня, чтобы я работала на них. Я отказывалась, так он говорит: “Рамка найдется, картину можем вставить”.».

В нашей анкете отдельно были вынесены вопросы об отношении репрессированных к власти, Сталину, вопросы об их участии или неучастии в общественно-политической жизни страны после освобождения. И даже кто виноват. На последний вопрос ответы были следующие. З. А. Тарасевич: «А мать моя [после возвращения] все кляла, утром, как проснется, — клянет. Она утро начинала с того: “А чтоб ему то-то, чтоб ему то-то”. Это она Сталина так. Ну как сельские женщины клянут, она так и кляла. И потом, когда услышала, что ему сделали, так она решила, что это она прокляла. И испугалась, что узнают. И после, когда шла, говорила, что ей казалось, что все на нее смотрят, что все узнают, что это она все сделала. Так испугалась. Потом уже, как и умер, все равно кляла. Потом она уже не только Сталина кляла, но и коммунистов, так же, как и Сталина. Она потом уже думала, что все коммунисты такие». М. А. Шатило: «Всегда почему-то мы думали, что люди в конце концов поймут, что Сталин виноват. Один он, конечно, все бы это не сделал». С. А. Ляховская: «Плакать не плакала, но и не радовалась. Ничего не думала, потому что у меня были соседи, хоть и они также высланные, но, знаешь, есть люди разного типа. А я маскироваться не люблю. Высланные плакали горькими слезами. Мордвины плакали. А я только послушала и думаю: “Чего ты еще плачешь? Чего? Беднота, детей куча, шестеро детей, в доме ничего нет”. [...] Как Сталин умер, исчез комендант и другие исчезли. А кто там будет их держать? А после Сталина уже хорошо зарабатывать нача-

ли». А. И. Юршевич: «Сталин умер, все молчали, никто не засмеялся, никто не заплакал. Как мертвые стояли. А как пришли в бараки, то уже рады были! Все же ждали перемен к лучшему. Все ждали, что что-нибудь переменится». В. И. Светлов: «Нас построили и сказали, что умер великий вождь и учитель народов. А все — шапки вверх. Это было такое чувство! Я не хотел, а тоже бросил. Они и наказали нас. Заводаторов в карцер посадили. Я не видел ни одной слезы, когда он умер. Некоторые пытались скрыть радость, подмигивали». Н. Р. Демидович: «Некоторые до смерти рады были, до победы, но некоторые плакали. Плакали по Сталину. Разные были. [...] Кого винила? Думала, что власти об этом не знают, что над нами так издеваются. Но этого не может быть, чтобы так уничтожали народ и чтобы власти это не знали». А. И. Ефимчик: «“Туда ему и дорога”, — батя сказал. А мы молодежь — нам все равно. А местные плакали». З. В. Костюк: «Что Сталин тот виноват, что вывозили. Свои, НГБ».

Отношение к власти мы пытались изучить через участие или неучастие в выборах, собраниях, демонстрациях, членство в партии, комсомоле и отношение к этому. Все опрошенные участвовали в выборах, как они сами отмечают, из страха. А. И. Юршевич: «Я ходил все время на выборы. Надо было идти. А если не пойдешь, тогда придираются. Да мне безразлично было». С. А. Ляховская голосовала не только за себя, но и за сына, который отказывался принимать участие в выборах: «А ему говорю: “Ну зачем, Витька, чтобы тебя кто-то презирал. Вот пойду проголосую за тебя. И у меня дома будет спокойно. Не хочется, чтобы о тебе думали. Я уже это пережила, и не хочу больше». За мать З. А. Тарасевич всегда голосовал отец: «Мать моя никогда не ходила на выборы, ни одного раза. Ну отец мой ей говорит: “Не чапай гэта ліха”. Он молча, утром, чтобы люди не видели его, он далеко до 6 [часов] был уже на избирательном участке. Он и за мать, и за меня бросит эти листы».

Большинство из опрошенных были комсомольцами, однако вступить в партию хотели единицы, а членом партии была лишь одна респондентка (Н. Ф. Макей, которая родилась в 1946 г., а в 1947 г. с родителями приехала в Беларусь). Вспоминает З. А. Тарасевич: «Поступать ли в комсомол? Это мне было 14 лет [1951 г.]. А отец сказал: “Все вступают, и ты вступай”. И матери моей говорит: “Не надо идти против. Пусть так, как все”. И только тогда она согласилась, а так она не хотела. Он сказал: “Она должна знать все как было, а делает пусть как там велят”. Ходили мы в райком комсомола, и там комиссия. Я так боялась, чтобы меня не спросили, где я родилась. А я была маленькая,

мелкая и худенькая, я не выглядела на свои годы. Боялась, что догадаются, что я оттуда. И я пришла, а там сидят старые, не молодежь, коммунисты. И я так боюсь. А он спросил: “В каком вы месяце родились?” Мне показалось: “В каком вы месте родились?” Ах! И я говорю: “В Архангельской области”. А он: “Я вам говорю: в каком вы месяце родились?” У меня такой страх был». М. А. Шатило: «В партию не вступала. Я не довольна. Какую они политику: всех поубивали, все поумирали». А. И. Ефимчик: «В партию сначала рекомендацию давать хотели, а потом — шепотки-шепотки. Может, что выслан был? Я хотел вступить в партию. Думал — вылезти немного, да осмотреться, да прижать этих. Но меня не пустили. А сестры, братья также были в комсомоле. А Сенька [брат] был в партии, он 7 лет служил во флоте».

Респонденты отметили, что были у них проблемы с получением наград и поощрений за добросовестную самоотверженную работу. А. И. Юршевич: «Грамот было столько, что можно было стенку выклеить. Прошлое мешало. Как только выставляют на награду орденом или медалью, так сразу уже все — в сторону. Не давали ни разу. Только “Ветеран труда”, когда уже выходил на пенсию. И тогда не дали сразу. [...] Это уже 1988 г.». М. А. Шатило: «Меня здесь наградили на велозаводе только “За доблестный труд”, снова дали другую, но ту же мне не отдали “За доблестный труд в годы войны”». Брат М. А. Шатило Антон Адольфович Шатило (родился на спецпоселении в 1931 г.) — автор более 40 рационализаторских предложений, принятых заводом «Электронмаш» к использованию, констатирует: «Собирались дать орден, но каждый раз, когда доходило до начальства, — дают медаль... Люди говорят в цеху, выдвигают на орден, уже меня поздравляли. Потом выходит, что нет». З. В. Костюк: «То, что репрессировали, повлияло. Меня все уважали. Как что-нибудь, какое собрание, так все меня выдвигают. А одна была такая еврейка. Так она пойдет и вычеркнет меня. Она была партийная. За 45 лет работы в хирургии я получила “Орден труда”».

В начале 1990-х гг. было разработано законодательство о реабилитации и возмещении ущерба лицам, незаконно пострадавшим от политических репрессий в 1920—1980-е гг.¹⁵ При Советах народных депутатов

¹⁵ Положение о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от политических репрессий 1920—1950-х гг. было утверждено постановлением Верховного Совета БССР 21 декабря 1990 г., Верховного Совета РБ 6 июня 1991 г. Затем действие положения было распространено и на лиц, пострадавших от репрессий в 1960—1980-е гг.

были созданы местные комиссии по оказанию содействия в обеспечении прав жертв политических репрессий и увековечения их памяти. Прошедшие ссылку возмущались: «Какие же мы политические?!» М. А. Шатило: «Меня в 6 лет забрали. Какая я политическая? Мы считаемся политические. Враги народа. 6 лет ребенку, а сестре 2 годика, а брат там родился. Они сами уже одурели от этой политики».

В итоге кому-то довольно неожиданно прислали документы о реабилитации домой, кто-то боролся за восстановление доброго имени сам. Из наших информантов только один был реабилитирован не в начале 1990-х гг., а в 1971 г. — В. И. Светлов. Н. Р. Демидович не знает вообще, имел ли место пересмотр ее дела. Сама же она говорит: «Я в ГУЛАГ не просилась, не буду просить и о реабилитации».

Семья М. Ф. Лобатого вспоминает, что сам Михаил Фомич проездил много денег, пока добился хоть какой-то компенсации за дом, скотину. В 1994 г. ему сообщили: «Сведений, куда было передано изъятое имущество, не имеется». Было решено: «Рекомендовать исполкому Минского райсовета выплатить М. Ф. Лобатому денежную компенсацию в десятикратном размере минимальной заработной платы за незаконно изъятое имущество». М. Ф. Лобатый получил 600 тыс. рублей. Его жена отмечает: «Он эти деньги все проездил».

О полученной денежной компенсации за конфискованное имущество респонденты единогласно высказались: «Это были смешные деньги». При переводе в материальные эквиваленты ответы были следующие: «Смеялись, что только тапочки можно купить» (З. А. Костюк); «На каждого вышло на бутылку водки» (М. Ф. Лобатый); «Выплатили деньги, половину телевизора можно было купить — за десять лет» (А. И. Юршевич). Я. В. Жирмонт в 1992 г. как наследнице первой очереди готовы были выплатить компенсацию в размере 3176 руб. Однако она отказалась, в ее заявлении на этот счет отмечалось, что она не согласна с размером компенсации.

М. А. Шатило о реабилитации и компенсации начала ходатайствовать еще в 1989 г., до начала процессов массовой реабилитации: «А что они мне отвечали: “Не вы, так дед был виноват”.». В 1989 г. прокуратура Минской области по поручению прокуратуры СССР на заявление М. А. Шатило ответила: «Каких либо документальных данных об изъятии имущества вашего отца не имеется. Когда изымалось, на основании какого решения и др. Более того, действующее союзное и республиканское законодательство не предусматривает порядок возмещения ущерба лицам, признанным в 1930—1950-е гг. кулаками и высланными по этим основаниям в административном порядке в отдаленные районы Совет-

ского Союза. На основании изложенного удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным». Борьбу за восстановление доброго имени и получение компенсации Мария Адольфовна продолжила и после принятия Верховным Советом положения о реабилитации и компенсации. *«Я много раз ходила. Оказывается, у нас нет акта о конфискации, нет акта о раскулачивании. Они говорят, найдите свидетелей, что вас выслали. Ага, а то сами поехали! Мне ответили, у вас никто не конфисковывал, могли забирать с собой имущество. А как мы могли с собой что забрать, когда нас так гнали? Я пошла [искать свидетелей], а они говорят: “Ночью исчезли. Мы не знаем, кто и что, и куда вы делись”. Никто в свидетели не пошел. Потом прислали за отца 2 тысячи, что отец там погиб. Но на 2 тысячи, когда они прислали, уже ничего не купишь. Что я буду брать? Насмешка! И никто не брал. Больше мы не писали уже. Все равно бесполезно. Я отказалась. Они походили и опять привезли и сказали брать, а то спишут. Тогда я забрала и Миле отдала [племянница, дочь брата]. Говорю: “На, Милечка, за твоего деда. Хоть булку хлеба купишь”».*

В 1993 г. комиссия постановила выплатить М. А. Шатило денежную компенсацию за незаконно изъятое в 1930 г. имущество ее отца А. И. Шатило в связи с раскулачиванием в десятикратном размере минимальной заработной платы, определенной на момент принятия решения», а также — двухмесячную минимальную заработную плату за нее, ее отца и мать в связи с их реабилитацией. *«Присудили, а потом года четыре не отдавали. Такую сумму, что один сапог купишь. И много кто отказался. И я отказалась. Не нужен мне один сапог. Было две коровы, лошади, 1 жеребец, у нас вся техника была. Не надо мне ничего».*

Выплата компенсаций начала 1990-х гг. проводилась в условиях страшной инфляции. Деньги переводились на счет, снять с которого сразу не всегда представлялось возможным.

Еще одна проблема, с которой столкнулись наши информанты, — начисление трудового стажа и пенсии. Всем, кто работал в сельском хозяйстве, как известно, пенсия первоначально была не положена¹⁶, в связи с этим не выдавались и документы о количестве выработанных дней, лет. Выходя на пенсию в 1980-е гг., они вынуждены были вести усиленную переписку с местами своего принудительного жительства. Оказывалось нередко, что и там документы не сохранились. Мать З. А. Тарасевич поехала в Охтamu искать свидетелей, М. Ф. Лобатый и

М. А. Шатило добивались правды путем переписки. Выяснилось, что даже не все работы на лесоповале могут быть учтены при начислении трудового стажа. М. А. Шатило: *«Когда я работала в леспромхозе, лес возила, так они мне засчитывали, а когда меня поставили дрова подвозить, то это не считается, — это подсобная работа».* М. Ф. Лобатый: *«Добавили к пенсии, что был сослан, 16 лет там пробыл, так 8 лет прибавили к стажу, так прибавилась пенсия на 25%».* С. К. Ляховская: *«У меня 11 лет стажа на Севере и даже этого не посчитали здесь в Минске в пенсию. Я три года на погрузке леса работала. Эта работа адская. А потом, когда я заболела позвоночником, 8 месяцев пролежала в больнице, а потом группу [по инвалидности] дали на год. Потом уже надо идти работать — а я не могу. Мне позвоночник грызет, не могу. А уже приходит пенсия. Я пошла, а мне как стали считать, как стали считать. И не дали: отработай 3 месяца, тогда получишь пенсию. И все. А что была в лесу, на тяжелой работе, это мне должны были проценты какие-то быть, а они не учли. И еще мне не верили, что у меня трудовая [книжка] правдивая. Взяли адрес и написали туда, действительно ли я работала, или я не работала, что я так получила трудовую [книжку]».* З. А. Тарасевич: *«У мамы там 16 лет было, но бывший комendant сказал, что может справку дать только за 10 лет. Он только 10 лет работал. Но стаж вышел только год с чем-то, год и два месяца, кажется. Мама остальное доработала здесь в Минске, ей больше и не надо было».*

Все реабилитированные получили в 1992—1993 гг. удостоверения о том, что они были незаконно репрессированы и имеют право на льготы. В удостоверении указано, что оно является бессрочным и дает право на бесплатный проезд городским пассажирским транспортом (автобус, троллейбус, трамвай) и автобусами пригородных маршрутов в пределах административного района по месту жительства, льготы по оплате лекарств, жилой площади, коммунальных услуг и др. Полученные льготы имели не только материальное значение для репрессированных, но и моральное. Наконец их признали жертвами, наконец власти обратили внимание и на них. Однако бессрочность льгот довольно быстро закончилась — в 1995 г. Обиду на власть усугублял и тот факт, что примерно в это же время в стране производились выплаты тем, кто был угнан в годы войны на работы в Германию. Выплаты производило германское правительство — первоначально в марках, затем в евро. И суммы были — не две и не десять минимальных заработных плат.

¹⁶ Впервые пенсия для работников колхозов была установлена только в 1964 г. согласно закону «О пенсиях и помощи членам колхозов».

Таким образом, даже когда законы относительно правовой реабилитации незаконно репрессированных и материальной компенсации работали, о полноценной компенсации речи быть не могло.

Как свидетельствуют материалы, адаптация тех, кого в правовых документах сегодня называют «жертвами политических репрессий», проходила примерно по одному сценарию, несмотря на то, что эти люди были репрессированы по разным статьям, в разное время. И по возвращении домой они не смогли стать полноправными и полноценными членами общества. Для многих из них по-прежнему реалиями оставались ярлыки, наклеенные советской властью во время «строительства социализма», они по-прежнему жили в атмосфере страха. Для некоторых это актуально и сегодня. Вместе с тем эти люди не стали в оппозицию к обществу, приняли его правила: участвовали в выборах, с удовлетворением получали награды за свой самоотверженный труд.

С другой стороны, как пишет З. А. Тарасевич: «16 лет ГУЛАГа так изменили человеческую сущность, что вся дальнейшая жизнь оказалась адом. Почему такая трагедия? Чего же не хватает еще? Теперь вся жизнь, кажется, зависит только от тебя самого. Но нет же, не так все просто. Причина, как позже выяснилось, заключалась в том, что не хватало ГУЛАГа! Так, не удивляйтесь. Это трагедия человека, его личности»¹⁷.

Между амнистией и реабилитацией прошло для большинства этих людей почти столетие. Однако это время не принесло желанного успокоения. Жертвы страшного эксперимента рассчитывали, что общество, или хотя бы власти, в конце концов придут к покаянию, они долго этого ждали, а дождались нового этапа забвения. Наши информанты были уверены, что даже если их и не арестуют за то, что они нам рассказали, то и напечатаны истории их жизней никогда не будут.

Устная история г. Новая Ладога и его окрестностей

А. Ю. Чистяков,

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Город Новая Ладога был основан Петром I в 1704 г. на левом берегу реки Волхов. Прежде на территории города находился Николо-Медведский монастырь (название происходит от урочища Медведское).

¹⁷ *Zinaida Tarasевич. Вокліч з-пад завалаў (З перажытага і неперажытага).* Минск, 2001.

Дата основания монастыря устанавливается по косвенным источникам — надписям на двух иконах, хранившихся в XIX в. в новолadoжском соборе свят. Николая Чудотворца. Первая из них — икона св. Иоанна Богослова — была написана в 1502 г. «по усердию игумена Леонида с братиею», вторая — икона «Символ веры» — в 1503 г. «по обещанию Никольского Медведского монастыря игумена Феодосия с братиею»¹. Таким образом, в начале XVI в. монастырь уже существовал.

Во время смуты в 1612 г. монастырь был разорен шведами, но впоследствии возродился и в 1653 г. был приписан к Саввино-Сторожевскому монастырю (находился в современной д. Сторожно Волховского района, упразднен в 1756 г.). В 1702 г. монастырь посетил Пётр I, который распорядился построить здесь укрепления: были возведены земляные валы и прорыты рвы к Волхову. После окончания Северной войны укрепление потеряло значение, в 1733 г. из него была вывезена артиллерия, а в 1741 г. крепость была упразднена. Николо-Медведский монастырь был упразднен в 1704 г. одновременно с основанием города, монахи переведены в Иоанновский монастырь в Старой Ладоге².

На дальнейшее развитие Новой Ладоги большое влияние оказало строительство Лadoжских каналов — основной водной артерии, связывающей Санкт-Петербург с внутренними частями страны. Старолadoжский канал (он же канал императора Петра Великого) был открыт в 1731 г., Новолadoжский (он же канал императора Александра II) — в 1866 г. По Новому каналу суда следовали в Санкт-Петербург, а Старый, как более мелкий, использовали для плотов, сенных барок и судов, возвращавшихся из столицы. Как отмечали в конце XIX в., «участок от Ладоги до Санкт-Петербурга (этот участок проходят все грузы, двигающиеся к Балтийскому морю) представляется по движению судов наиболее деятельным из всех водных путей мира как по количеству груза, который перевозится, так и по числу судов, проходящих по нему в течение навигации»³.

Значительная часть населения Новой Ладоги занималась торговлей, обслуживанием движения на каналах и промысловым рыболовством. Впоследствии развитие железнодорожного транспорта и появление судов класса река-море, свободно плавающих по бурному Лadoжскому

¹ Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1884. Вып. 9. С. 76.

² *Берташ А. В., Векслер А. Ф.* Новая Ладога. СПб., 2004. С. 19.

³ *Житков С. М.* Краткое обозрение водных путей России. СПб., 1892. С. 47.

озеру, привели к сокращению движения по каналам. Последними в начале 1990-х гг. прекратили работу на каналах пассажирские суда местного сообщения. Новая Ладога удалена на 25 км от железной дороги, прошедшей в 1906 г. через современный город Волхов, поэтому в советский период здесь не велось активного промышленного строительства и численность населения росла медленно. Новая Ладога также осталась в стороне от боевых действий Гражданской и Великой Отечественной войн, что способствовало сохранности памятников архитектуры. В результате она оказалась едва ли не единственным городом Ленинградской области, сохранившим не только планировку конца XVIII—XIX вв., но и многие (в том числе деревянные) здания дореволюционного времени (современные многоэтажные дома расположены в основном в южной части города вне зоны старой застройки).

Летом 2006 г. автор проводил полевые исследования в Новой Ладоге и соседних с ней Иссадском и Староладожском сельских поселениях (бывшие волости) Волховского района Ленинградской области. Ленинградский отряд, в состав которого входили студенты кафедры этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ, базировался в д. Иссад на правом берегу р. Волхов между районным центром г. Волхов и г. Новая Ладога. В ходе экспедиции были собраны материалы по устной истории поселений. Это воспоминания о событиях XX в. (по преимуществу начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая годами перестройки и постсоветским периодом), которые характеризуют отношение местных жителей к родному краю, восприятие ими локальной истории, особенности формирования исторической памяти в современных условиях.

Для обследованной территории Новая Ладога исторически являлась наиболее значимым экономическим центром. С конца XVIII в. Новая Ладога была уездным (в советское время — районным) центром. Только в 1963 г. Новолодожский район был окончательно включен в состав Волховского района. В 1997 г., когда в Ленинградской области началось формирование муниципалитетов, Новая Ладога (вместе с административно подчиненными городской администрации деревнями Дубно, Кивгода, Креницы, Лигово, Сумское) стала самостоятельным муниципальным образованием «Город Новая Ладога». С 2005 г. после проведения в жизнь новой реформы муниципального управления Новая Ладога вновь вошла в состав муниципального образования «Волховский район».

В ходе интервью в Новой Ладоге информанты постоянно подчеркивали былой статус родного города, зажиточность горожан дореволюционного времени. Новая Ладога описывалась как город купцов. Иногда в пове-

ствование включались и примеры из истории собственной семьи, подтверждающие общую картину: в Новой Ладоге *«преобладали купцы 2-й гильдии. Часть не записывалась в купцы. Мои предки по маме не записывались в купцы. Они прибыли с Олонки и занимались лесосплавом»*⁴.

Свидетельством былой купеческой славы города является сохранившаяся могила купца Н. Ф. Кулагина (ум. в 1879 г.), прославившегося своей меценатской деятельностью. Эта могила одиноко стоит у заброшенной церковью св. Климента и св. Иоанна Богослова и хорошо видна всем проходящим по главной улице. Местные жители вспоминали о попытках ее сноса, которые предпринимала дирекция рыбокомбината в 1960-е гг.

*«Могила купца Кулагина. Неоднократно пытались снести. Мэр не дал разрешения. Кулагин Назар Фомич был меценат, создал общество трезвости, платил стипендии неимущим. Памятник был построен на средства людей, которые были им призреваемы»*⁵.

Информанты подчеркивали благоустроенность, которая отличала город в прошлом. Доказательством этого служат многочисленные старые здания — Гостинный Двор, школа (строилась в начале XX в. как мужская гимназия), пять каменных церковей, из которых сейчас действует только одна. Сохранились воспоминания об Успенской ярмарке, которая ежегодно проводилась в городе. Напоминанием о ней является современный праздник День города, который проводится в воскресенье в конце августа (день Успения Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа).

Из исторических персонажей, связанных с Новой Ладогой, нынешним жителям наиболее известны Пётр I (основатель города, инициатор строительства Ладожского канала) и А. В. Суворов, который командовал Суздальским пехотным полком, расквартированным здесь в 1764—1768 гг. Выделению этих героев способствует и наличие в городе соответствующих памятников. В Новой Ладоге установлены два бюста А. В. Суворова (первый — в 1948 г. на месте дома, где проживал полководец, второй — в 1960-е гг. у дома, где находилось офицерское собрание). Название «суворовская» закрепилось за церковью св. Георгия, нынешнее ее здание стоит на месте деревянной полковой церкви Суздаль-

⁴ Архив кафедры этнографии и антропологии СПбГУ (далее — АКЭА). Полевые материалы (далее — ПМ). Чистяков. Тетрадь полевых записей (далее — ТПЗ), л. 17.

⁵ АКЭА. ПМ. Чистяков. ТПЗ, л. 20 об.

ского полка, построенной на личные средства А. В. Суворова (в конце XIX в. в церкви также находился бюст Суворова)⁶.

Естественной темой интервью были события Великой Отечественной войны. В центре рассказов оказывалась Ладожская флотилия, штаб которой находился в Новой Ладоге. Набережная р. Волхов называется сейчас набережной Ладожской флотилии, на ней установлен мемориал, основой которого являются выгашенные на сушу два корабля — буксир «Харьков» и тральщик «ТЩ-100». На доме № 24 по пр. Карла Маркса (ныне его занимает отдел милиции) висит мемориальная доска, посвященная командующему флотилией В. С. Черокову. Одной из важных праздничных дат для жителей Новой Ладоги является День военно-морского флота. В советский период в его проведении непременно принимали участие ветераны флотилии:

«Проходили катера, корабли, моряки устраивали концерты. Спускали [на воду] венки там, где принимали эвакуированных»⁷.

«Приезжали те, кто сражался в Ладожской флотилии. Чероков приезжал, проводил встречи со школьниками. Многие после этого шли в речные училища»⁸.

В рассказах о 1960-х гг. важное место занимали воспоминания об усилении антирелигиозной политики. В это время запретили звонить в колокола в действующей церкви св. Иоанна / Рождества Богородицы. Колокольный звон якобы мешал населению (говорили, что запрет введен «по просьбам трудящихся»), хотя «сирена судоремонтного завода гудела в 7 часов и в 17 часов»⁹. Налагались более строгие ограничения и на соблюдение церковных ритуалов. По воспоминаниям информантки, дочку, родившуюся в 1953 г., еще крестили, а сына в 1960 г. — уже нет («сказали, что с работы выгонят, из церкви сообщали»)¹⁰.

Большой блок информации относится к периоду 1970—1980-х гг., который все информанты оценивали как время расцвета родного края, период, когда жизнь вошла в нормальную колею и существовала ясная система организации быта.

В 1967 г. в Новой Ладоге началось строительство радиотехнического завода «Лаконд» (сокращение от «Ладожский конденсатор», филиал Ленинградского производственного объединения «Позитрон»). Возник-

новению предприятия именно этой отрасли способствовало то, что при отсутствии в Новой Ладоге железной дороги вывоз крупногабаритной продукции обходился бы дорого. Конденсаторы же фасовались в коробки и отправлялись по почте, наиболее крупные партии везли автотранспортом¹¹. Сведения о заводе присутствовали во всех интервью, связанных с историей города, поскольку завод стал градообразующим предприятием. Появление «Лаконда» повлияло на рост численности населения города и на привлечение молодых специалистов, которые получали хорошую заработную плату (радиотехническое производство требовало работников относительно высокой квалификации). По воспоминаниям, после открытия «Лаконда» «был приток технической интеллигенции... До 1970-х гг. [новых домов] не строили, жителей было мало», «...молодежь набрали. Наверное, больше тысячи людей работали [другой информант назвал цифру две тысячи работников. — А. Ч.]. В Новой Ладоге тогда не стало проблем с работой»¹². Завод занимался и благоустройством города: «Вел строительство. Должны были построить стадион (пустырь, где сейчас ряд ларьков). Построили котельную, очистные сооружения»¹³.

Вторым крупным предприятием в обследованном районе являлся рыболовецкий колхоз им. Калинина, название которого связывают с тем, что М. И. Калинин имел отношения к его созданию: «Вначале было много маленьких колхозов, в Новой Ладоге возникла МРС. Деньги выделил Калинин. Это [т. е. колхоз Калинина. — А. Ч.] было самое большое предприятие на Северо-Западе России»¹⁴.

Все информанты описывали колхоз как процветающее предприятие (называли его «колхоз-миллионер»), работники которого хорошо зарабатывали. К 1940-м гг. относится следующая информация «Колхоз богатый был. Платили деньгами за сданную рыбу. Звенья были. На невод 6 человек. Ночью ловили — до 12 ночи, а потом смена до утра. Сколько наловишь — столько получишь (каждый вид рыбы по-разному оплачивали: дороже всего сига, и лососи попадались). Мужчины на судах в Олонку уезжали. Для себя рыбу не ловили, не разрешали»¹⁵. В 1970-е гг.

⁶ Берташ А. В., Векслер А. Ф. Указ. соч. С. 59, 64, 75.

⁷ АКЭА. ПМ. Чистяков. ТПЗ. Л. 38 об.

⁸ Там же, л. 35.

⁹ Там же, л. 38 об.

¹⁰ Там же, л. 51—51 об.

¹¹ Там же, л. 37.

¹² Там же, л. 15 об., 24.

¹³ Там же, л. 36 об.

¹⁴ Там же, л. 18 об.

¹⁵ Там же, л. 48—48 об.

лов проходил в Ладожском озере, в Балтийском море и даже в Атлантике: колхоз «был настолько богатым, что ловил в Ньюфаундленде»¹⁶.

В эти же годы началось строительство новых квартирных домов в наиболее крупных сельских населенных пунктах. Переселение в квартиры воспринималось тогда положительно. Жительница д. Иссад вспоминала: «Раньше рады были, когда в квартирные дома приезжали. Теперь лучше в своем доме»¹⁷. Улучшилось и транспортное сообщение. Исторически наибольшую роль в жизни Новой Ладogi играл водный транспорт. По каналам можно было добраться до Шлиссельбурга и далее до Ленинграда. Еще в 1940—1950-е гг. через Новую Ладogu не проходила шоссейная дорога, сухопутная связь с Ленинградом осуществлялась через Волховстрой. По р. Волхов в 1950-е гг. были рейсы, которые называли «огуречные пароходы». На таком пароходе добирались до Новгорода, который славился огурцами. Огурцы привозили мешками и засаливали на зиму¹⁸. Осуществлялась перевозка пассажиров через р. Волхов между Новой Ладogой и правобережными деревнями, причем это сообщение постепенно совершенствовалось. Первоначально ходила обычная лодка, которой управлял «дедка-перевозчик»¹⁹, а «в 1970-е гг. ходил катер “Москвич” — типа как по Неве ходят — каждые час-полтора, с пяти и до половины первого ночи. Проезд — 5 коп. В Нямятово сейчас ходит катер. ...По каналу ходила ракета к Сясьстрою, а может, и к Свири — на подводных крыльях, страшную волну гнала... Ходили сухогрузы река-море, весной и осенью непрерывное движение. Огромное количество леса шло — от верховий Сяси, Ояти. Это все было до 1991 г.»²⁰.

Перестройка знаменует в воспоминаниях местных жителей распад прежней жизни. Это время, когда повсеместно возобладали быстрые деструктивные тенденции: «Как начали разрушать в перестройку, за неделю все рухнуло»; «Ферму мигом разрушили. Кочегарка была, отопление. Все мигом разрушили»²¹.

В дер. Нямятово напоминанием о тех событиях является полуразрушенное здание клуба на 250 мест, который был построен колхозом им. Калинина: «В клубе был порядок, была директорша, уборщица.

Комната была, где вывешивали ветеранов колхоза, там читали. Там медали вручали, подарки. ...Клуб был весь загорожен штатетником. Концерты устраивали. Из района приезжали, другой раз — из Ленинграда. Пианино было, бильярд был дорогой, хороший (сначала так, а потом — за деньги)»²².

В той же дер. Нямятово А. И. Башмаков в начале 1980-х гг. выдвинул идею создания ботанического сада, который мог использоваться в учебных целях. Проект был поддержан председателем колхоза Анатолием Ивановичем Сухановым: «Он сказал: “Вот тебе пространство отсюда до магазина и до дороги”. Раньше рядом был цыганский дом, он пустовал, его разобрали. Я хотел сделать [на этом участке] парк. Я привозил со всей страны растения. Суханов доверял, чтоб был порядок, чтоб было огорожено. Коровы, козы гуляли сами по себе (сейчас на веревке у колышка)»²³. Планам этим не суждено было сбыться, начавшаяся работа была прервана на рубеже 1980—1990-х гг.

С большой теплотой вспоминали жители Новой Ладogi праздничные гуляния 1970—1980-х гг., которые практически прекратились во время перестройки: «Каждое воскресенье лета — гуляние [проходит] или на площади, или в Марьиной роще ([находится] перед въездом [в Новую Ладogu] на берегу Волхова, там купаются). Праздник “Встречи белых ночей”. Закончилось это в 80-е гг., когда перестройка началась, и началась абсолютная свобода. После грабежей пришлось руководству прекратить. Сейчас и молодожены ездят [в Марьину рощу], и на пикники в воскресенье»²⁴.

В 1990-е гг. экономическая и социальная ситуация в районе продолжала ухудшаться. В это время закрывается завод «Лаконд», жители Новой Ладogi вынуждены были искать работу в г. Волхов: [В «Лаконде» один] «цех работает, но был совсем закрыт. Организовали [на базе «Лаконда»] фабрику по изготовлению макарон быстрого приготовления. Чумбеки организовали, потом уехали, чтобы денег не платить»²⁵.

В этот же период в условиях распада прежних межтерриториальных связей и утраты ценностных ориентиров усилились процессы регионализации, важной составляющей этого стал поиск региональных и локальных идентичностей. Эти процессы происходили на разных уровнях и затрагивали различные слои населения. В формировании образа ре-

¹⁶ Там же, л. 32 об.

¹⁷ Там же, л. 28.

¹⁸ Там же, л. 34.

¹⁹ Там же, л. 42 об.

²⁰ Там же, л. 32 об. — 33.

²¹ Там же, л. 42, 46.

²² Там же, л. 46.

²³ Там же, л. 29.

²⁴ Там же, л. 34.

²⁵ Там же, л. 9 об.

гиона большое значение принадлежит местной интеллигенции, в том числе и тем, кто занимается краеведческой работой. В наши дни в Новой Ладоге действует краеведческий музей, который был открыт в 1987 г. и первоначально был филиалом Староладожского музея. Работники музея ведут активную работу по сбору предметов, связанных с историей города и его окрестностей. Экспозиция, которая может считаться одной из лучших в Ленинградской области, формирует представление о прошлом Новой Ладоги, представляя в том числе ее образ как торгово-промышленного центра.

В 1990-е гг. большую известность получило село Старая Ладога, которое постепенно становится одним из центров культурного туризма в Ленинградской области. История села связана с призванием Рюрика — основателя династии киевских князей, поэтому сейчас Старую Ладогу часто называют первой столицей Руси. В 2003 г. прошло торжественное празднование 1250-летия со дня ее основания. До наших дней сохранилась средневековая крепость, в которой расположен исторический музей. Ежегодно во вторую субботу июля в Старой Ладоге проводится праздник «Венок славы Александра Невского» (первый состоялся 7—8 июля 1990 г. по решению Управления культуры исполкома Ленинградской области). Князь Александр Невский одержал в 1240 г. победу над шведским войском на р. Неве. В этой битве участвовали и воины из Старой Ладоги. В 2003 г. (год 1250-летия Старой Ладоги) тиражом 1000 экз. была издана книга «Венок славы Александра Невского». В нее включены сценарии праздников, статьи по этнографии Южного Приладожья и об Александре Невском (книгу могут приобрести посетители Староладожского музея). В 2006 г. во дворе крепости было показано театрализованное представление, посвященное биографии Александра Невского. Представление имело четко выраженный патриотический характер и завершилось вынесением на сцену государственного флага РФ, рассуждениями на тему преемственности государственной символики и исполнением гимна РФ. В речах официальные лица (глава администрации Волховского района Алексей Иванович Савинов, вице-губернатор Ленинградской области Пустотин) неоднократно называли Старую Ладогу первой столицей Руси (Рюрик при этом не упоминался, не объяснялись события, позволившие Старой Ладоге претендовать на столичный статус). Организаторы праздника представляют Александра Невского как главного местного героя (хотя его пребывание в Старой Ладоге не является доказанным). Старая Ладога и ее округа осмысляются как ареал, откуда началось русское государство. Праздник формально имеет статус областного, и этот факт обуславливает размах его

проведения. Однако содержание праздника оказывается локальным, он обращен к жителям Старой Ладоги и Волховского района.

В целом материалы исследования показывают, что у местного населения существует общий набор устойчивых представлений о событиях, определивших прошлое края. Наиболее четко представлены события XX в., очевидцами которых были носители культуры. Советская история распадается на несколько периодов, каждый из которых имеет определенную эмоциональную окраску. Историческая память может постоянно пополняться новыми сюжетами. Примером новейшего конструирования представлений о прошлом является осмысление места Старой Ладоги в истории региона и страны.

Исследование повседневных адаптивных практик в трансформирующемся социуме (воспоминания жителей западно-белорусского местечка о жизни «в польское время» и «при советах»)

И. С. Маховская,

Белорусский государственный университет,

И. Н. Романова,

Институт истории Белорусской академии наук, Беларусь

Исследование повседневных адаптивных практик жителей западно-белорусского местечка проводилось по результатам двух экспедиций, организованных в городской поселок Мир Гродненской области. Во время работы экспедиции мы обошли буквально все дома в г. пос. Мир и взяли интервью у всех практически пожилых людей, жителей и уроженцев Мира 1910—1930-х гг. Таким образом, было записано 85 биографических интервью, которые и стали основной источниковой базой нашего исследования.

Бывшее белорусское местечко¹ является весьма интересным объектом изучения. Важная черта, во многом определяющая облик местечка, — мно-

¹ Местечко — это населенный пункт, совмещающий черты города и деревни. От города он отличался меньшим количеством населения, аграрными чертами, от деревни — наличием торговли и ремесла как постоянных занятий значительной части населения. В Беларуси местечки начали появляться в XVI в. около мест традиционных ярмарок или на бойких торговых перекрестках, некоторые возни-

гонациональность. В Мире проживали белорусы, поляки, татары и евреи. Поскольку территория Беларуси являлась чертой оседлости, количество еврейского населения в городах и местечках было значительным (в Мире — 3,3 тыс. из 5 тыс. населения). В каждом местечке обязательно были церковь, костел, несколько синагог, в случае с г. пос. Мир — мечеть. В этой связи местечко является прекрасным объектом для изучения стратегий повседневных межнациональных коммуникаций.

Кроме того, есть еще несколько моментов, которые определили уникальность этого поселка в качестве объекта изучения. Первое — это наличие великолепного готического замка XVI в., который в конце XIX в. перешел во владение князей Святополк-Мирских, где они и проживали до прихода советской власти в 1939 г. Жизнь рядом с замком, князьями придала мирянам ощущение уникальности их малой родины. Жители местечка очень гордятся местом, где они живут, и, как правило, с большой охотой рассказывают о его прошлом. О том, что значили и значат замок и его обитатели для местного населения, свидетельствует тот факт, что и сегодня в семейных альбомах старожилов хранятся фотографии князей Николая и Клеопатры Святополк-Мирских, их сына Михаила, одного их последних владельцев замка, его племянников и племянниц. Растиражированы эти фотографии были нашим информантом А. С. Шпаком, который, кстати, значительную часть личного фотоархива передал нам.

Второй момент, обеспечивший мировую известность г. пос. Мир, — Мирская иешива, одна из знаменитейших иешив первой половины XX в., где учились студенты из самых разных стран мира — Англии, Голландии, Германии, Швеции, Дании, Америки, Канады, Южной Африки и др. В 1939 г. Мирская иешива была эвакуирована из Мира, а в 1947 г. разделена. Сегодня существуют две иешивы — в Иерусалиме и Бруклине.

Первая половина XX в. ознаменовалась для Западной Беларуси регулярной сменой власти. Жизнь в постоянно меняющемся социуме прекрасно характеризует фраза одной из наших информанток: *«Жили при Польше, пришли русские, потом — немцы, потом — русские. Все это надо было пережить»*².

кали около замков. К XIX в. в Беларуси насчитывалось около 400 местечек. В ходе административных реформ XX в. часть местечек стали городами и районными центрами, часть — городскими поселками, остальные — деревнями.

² Зап. от Л. И. Шумовой (1923 г. р.) в г. пос. Мир Гродненской обл. (далее в сносках указаны фамилия и год рождения информантов).

Изменение социально-политических условий вело к значительным переменам в повседневной жизни. К новым реалиям надо было адаптироваться. Исходя из понимания адаптации как процесса и результата приспособления человека к внешней среде, направленного на выживание и стабильное существование, мы попытались выяснить, какие инновационные, поведенческие, институциональные и прочие модели получали распространение и укоренялись в повседневной жизни. В данной статье основное внимание уделено повседневным практикам материальной адаптации.

Воспоминания жителей местечка о жизни «при Польше» рисуют относительную стабильность и благополучие, потенциальные возможности и перспективы, изобилие товаров в магазинах.

*«В центре в магазинах было очень красиво. Если богатый человек заходил в магазин, еврей дорогое предлагал, если бедный, — дешевое»*³. *«Евреи торговали всем, чем только можно: пуговицами, тапочками, одеждой, продуктами»*⁴. *«Продавали селедку, рыбу, хлеб, нитки, иглы»*⁵. *«У еврея Азельма в магазине чего только не было: и сироп, и сыры, и селедка такая красивая. А семечек белых — мешки стояли»*⁶. *«На углу была такая Шамичева, у нее была колбасная. Чтобы вас не обмануть, может, названий под сто колбас было разных. Как мы называли “Мыслиуки”, “Краковская”, “Варшавская” и сухая была колбаса. А “Мыслиуки” — это охотничьи, такие как сосиски, только начинены мясом, салом и перевязаны тоненько»*⁷. *«Рыгновские торговали мясом, салом, колбасами. У них была своя бойня»*⁸.

Еврейский маркетинг жители Мира описывают так: *«Они такие вежливые, приглашали тебя в магазин. Они ко всем: “Зайди, пан, зайди, пан”. Всех на “пан” называли»*⁹. *«Пойдешь к еврею, если денег нет, — он тебе в кредит даст, за руку тебя в магазин тащит: “Что тебе нужно?” Ну и запишет. Но если не отдашь, то будут все евреи знать, что не отдал. А евреи были совестливые люди. Хорошие были люди»*¹⁰. *«Я проходила мимо магазинов, евреи зазывали купить что-нибудь, а*

³ Н. П. Лабозкая, 1928 г. р.

⁴ З. В. Костюк, 1922 г. р.

⁵ Н. С. Новицкая, 1926 г. р.

⁶ М. А. Наранович, 1932 г. р.

⁷ Н. Л. Ковалевич, 1923 г. р.

⁸ Н. Л. Ковалевич, 1923 г. р.

⁹ И. В. Наранович, 1932 г. р.

¹⁰ Е. И. Вергейчик, 1924 г. р.

когда говорила, что денег нет, то они отвечали, что тебя никто не спрашивает про деньги, ты купи, а рассчитаешься после. Я там и покупала»¹¹.

«Выбор был очень богатый в магазинах. Если, например, у продавца не находилось нужного вам товара (правда, это редко было), значит, он тебе через два дня доставляет нужный товар»¹². «Вот, допустим, приходишь в магазин. Нужно тебе что-то такое, что хочешь, хоть автомашину. Еврей: “Слушай, будет, сейчас будет”. Моя сестра старшая, Маня, год училась у портнихи, и как кончила, нужна была машина. Зингерская машина. Отец пошел к еврею, а тот как агент откуда-то привозил. Ну он, конечно, на этом зарабатывал. Приходит отец к нему: “Слушай, мне нужна машина швейная”. — “Хорошо, приходи через неделю”. Отец приходит с сестрой — стоят 7 машин. Пожалуйста, выбирай. Она села за одну, другую, третью машину. Выбрала. Велосипедов было — хоть завались, каких только хочешь! Между прочим отец купил мне велосипед в 1937 г., он и сегодня на ходу, у моего внука. Отец заплатил 150 злотых, потому что взял в рассрочку на 3 месяца. А так можно было купить за 120 злотых. Корова с телушкой»¹³.

«В магазине тогда не было, чтобы чего-то не было. Товаров не считать»¹⁴. «Даже солдаты в 1939 г., когда наступали сюда, освобождали нас от хлеба и от соли, то они говорили, что у нас тут под боком маленькая Америка. У нас же было что хочешь, что ты только хочешь!»¹⁵.

Наибольшей ценностью в то время была земля. Старожилы г. пос. Мир единодушно утверждают, что хорошо жили те, у кого было достаточно земли. Поэтому ее покупка являлась стратегической задачей. «Всю жизнь покупали землю. У моих подружек каждый праздник платье новое, а я года три-четыре одно носила. Родители все больше земли хотели купить. Было два брата, хотели им землю купить. Хутора же тогда были. Хутор одному, и другому. У одного брата 9 га земли, а у другого — 15, потому что там земля хуже была немного. Покупали всю жизнь»¹⁶. Земля была очень дорогой и ее приобретение требо-

вало невероятных усилий. «Земля хорошая стоила от 500 до 700 злотых. Это были большие деньги. Имея 1000 злотых, можно было строить дом. Хорошая корова стоила 100 злотых»¹⁷. «Земли у людей было много, безземельных практически не было. У всех 5—10 га. Зерно сдавали в Гордее, в день сдачи там огромные очереди из подвод выстраивались»¹⁸.

В многонациональном г. пос. Мир принадлежность к определенной национальности во многом определяла характер основной деятельности. Евреи занимались в основном торговлей и ремеслом, татары — огородничеством, белорусы — ремеслом и полеводством. Поселок славился своим ремеслом, в первую очередь — гончарным промыслом.

«Тут же гончаров было много, развитое дело было»¹⁹. «Гончарные изделия — и жбанки, и кружки, и свисточки для детей. Копилки — деньги кидать, какой-нибудь медведик, или что-нибудь с прорезом — мелочь кидать. Горшки выпускали, в горшках и варили. Как сварят в печи, так в горшке еда вкусней, чем в чугуне. И не всем было по карману чугун купить. В основном горшки. И уже на базар вывозят, и палочкой проверяют, чтобы целый был. Если где есть трещина, то звука такого уже не будет, будет глухой»²⁰. Мастерство мирских гончаров было известно далеко за пределами г. пос. Мир и окрестностей. Вспоминает сын гончара: «Отец мой сделал глиняный самовар. И ему Юзеф Пилсудский заплатил 5 золотых рублей за него. Сам он не приезжал сюда, был в Варшаве, а послал сюда своих людей за этим самоваром»²¹.

Было развито кузнечное, столярное, сапожное ремесла. «Было много кузниц. И белорусы, и евреи. По улице Виленской было 3 кузницы еврейские, еще одна — по улице 1 мая»²². «Мой отец был и кузнецом, и столяром, и скорняжником. 9 детей было. Отец кормил всю семью, где же маме работать. У отца была своя кузница. Ему помогали 2 сына, держали и ученика. Серпы делал на продажу, и замки, и ключи делал. А мы с братом серпы зубили, железячка такая заостренная, и постукиваем. У нас серпы на жатву одалживали и потом за это нам отжинали»²³.

¹¹ В. П. Дрык, 1918 г. р.

¹² Н. Л. Ковалевич, 1923 г. р.

¹³ В. В. Лобоза, 1922 г. р.

¹⁴ Н. Л. Ковалевич, 1923 г. р.

¹⁵ В. В. Лобоза, 1922 г. р.

¹⁶ Л. С. Печенко, 1915 г. р.

¹⁷ В. Д. Буй, 1927 г. р.

¹⁸ Т. В. Демидович, 1917 г. р.

¹⁹ В. В. Лобоза, 1922 г. р.

²⁰ Н. Л. Ковалевич, 1923 г. р.

²¹ Ф. Г. Шумицкий, 1930 г. р.

²² А. А. Бычкова, 1925 г. р.

²³ Л. С. Печенко, 1915 г. р.

«Сапожников тут была протыма. Боже! И евреи были, и белорусы. Идем в магазин, тут был еврей Добрин, и покупаем полный набор на сапоги. У Добриня продавалась только кожа. Там набор на сапоги, и на голенище, и на подклейку, ну все можно было купить в магазине»²⁴. «Портных было много. Тармола Яков Семёнович имел 8 учеников»²⁵. «Еврей Шмерко князю шил. Карета князя часто стояла около его дома»²⁶.

Информанты указывают на то, что «при Польше» не было легко, но, хорошо работая, можно было обеспечить себе достойную жизнь. «Земля была своя, и все, кто не ленятся, могли хорошо жить»²⁷. «При Польше жилось как кому, а вообще кто работал, то и имел все»²⁸. «И врачи, и учителя имели повара, няню для детей»²⁹. Сложно было людям престарелым, больным, тем, кто не мог работать. «Не все так гладко было, как нам кажется. Были и бедные, были нищие, которые ходили по домам и выпрашивали кусочек хлеба. Люди, у которых не было сил работать, не имели земли, тем было тяжело. Земля очень дорого стоила. Собирали люди, чтобы купить кусочек земли»³⁰.

Мобильность и предприимчивость наряду с работоспособностью рассматривались как причина успеха. «Все богато при Польше жили. Если постараться, голова сварит — будешь богатым»³¹. Рассказывает дочь бывшего повара князя Михаила Святополк-Мирского Д. А. Сакевич: «Отец сначала работал на князя, но потом решил уйти. Он взял кредит и в центре Мира открыл ресторацию. Нанял подвал в еврейском деревянном двухэтажном доме. Там он открыл кофейню. В отличие от еврейских рестораций папа заслужил больший авторитет, его очень любили простые люди»³².

Тем не менее польская власть не воспринималась большинством населения в лице белорусов как «своя». «Западники» интересовались жизнью в БССР и действительно желали воссоединения с Восточной Белоруссией. «Хотели, чтоб советы пришли. О, еще как хотели! Рус-

ские — свои, а поляки — чужие! Мы слушали радио. Радио было с наушниками, детекторами, то мы слушали. О! Там рай, рай, рай! А как припер рай — так в лес! Вы сами знаете, и я знаю, что там было горе, а тут можно жить было, а люди неизвестно чего хотели»³³. Верившие рассказам о райской жизни в Советской Белоруссии, услышанным по советскому радио и от агитаторов, миряне ждали от советской власти избавления от польского гнета, всеобщей справедливости и социальных гарантий. «Я жил за 7 верст от границы. Мы видели, что там только в 11 часов ехали работать в поле. Думали, вот у них там все есть, даже работать много не нужно. Хотя мой отец знал, что там ужас, что там люди голодают. Мой отец даже сам водил туда перебежчиков. Рассказывали после, что русские солдаты винтовки на веревках носят»³⁴.

Советская власть (была установлена в 1939 г.) до прихода немцев не успела кардинально изменить условия существования жителей г. пос. Мир: колхозы организованы не были, сохранились единоличные хозяйства, ремесло как частное предпринимательство. Хотя еврейские магазины были разграблены и закрыты, и проблемы обеспечения продуктами и предметами первой необходимости приходилось решать новыми способами. Во время войны вернулись к собственности на землю, платили налоги, как и «при Польше», работали ремесленники. В полной мере трансформация жизнеобеспечивающих практик произошла в послевоенное время, когда пришлось приспособливаться не только к очередной раз сменившейся политике, но и к существованию, когда на передний план вышли проблемы физического выживания.

«Ходили Бог знает как. И я еще после войны чулки не знала как одеть, чтоб не было дырки. Видно, они носились три или четыре года, зашивать уже было нечем, не было ниток. Где-то вытянешь, и так, чтоб только между какой-то юбкой. Ну там Бог знает, как ходили плохо»³⁵. «У нас не было даже переодеться. Без трусиков ходили. Возьмем рубашку, булавкой застегнем, так и ходили. Хорошо, чтоб какое дырявое, заштопанное надеть. Пережили, хорошо пережили»³⁶. «После войны я всю зиму проходила в босоножках. Так что вы думаете, так одна я? Почти все так ходили. Носили, что у кого было»³⁷. «А при

²⁴ В. В. Лобоза, 1922 г. р.

²⁵ Н. Я. Бычко, 1920 г. р.

²⁶ Н. Ф. Оцецкая, 1923 г. р.

²⁷ И. В. Наранович, 1932 г. р.

²⁸ С. Я. Бычко, 1925 г. р.

²⁹ Е. В. Заяц, 1915 г. р.

³⁰ Н. Л. Ковалевич, 1923 г. р.

³¹ П. Е. Бычко, 1922 г. р.

³² Д. А. Сакевич, 1932 г. р.

³³ А. С. Шпак, 1918 г. р.

³⁴ М. П. Мамонько, 1926 г. р.

³⁵ Л. И. Лабозкая, 1930 г. р.

³⁶ А. Герасимчик, 1926 г. р.

³⁷ В. К. Сеница, 1920 г. р.

Польше ж никто не делал больших запасов, потому что все было в магазине. Это уже потом, когда этого нету, так начинают запасать, чтоб впрок было. А тогда все, что тебе надо, ты пошел и купил»³⁸.

Рассказывает Чеслава Александровна Шумицкая. «*Это ж 1949 г. Нечего обуть, нечего надеть. Вот танцы. Мне нечего обуть. Вот представьте, хожу босиком, мне нечего на ноги обуть. Приходят хлопцы: “Пойдешь?” — “Нет, — говорю, — мне нечего обуть”. Они пошли в лес, срезали осину, отрезали поленце. Вырезали подошву, как стелька, такую. На чердаке нашли голенище кожаное, вырезали два ремешка, прибили. Босоножки сделали. И я пошла на танцы. Ой, как танцевала! Еще и с успехом!»³⁹.*

Из воспоминаний Лидии Иосифовны Лабоцкой: «*Как-то поступил старший брат, потом меня потянул. Сказал, помню, я закончила, вообще-то война уже давно как закончилась, 1949-й это был год. Он приехал и говорит: “Пиши заявление в вуз”. Я говорю: “Коля, у меня не в чем, а в чем же я поеду сдавать, я ж в одних латках сижу”. Потом та, которая вышла замуж за моего брата, Нина. Она выше меня в два раза и толще меня в два раза. Но у нее была старшая сестра, которая ей там из каких-то кусков сшила платье. Так эта Нина, подруга, мне говорит: “Я тебе дам платье. Вот я иду в первый поток, а ты во второй. И поедешь в моем”. И я поехала. А чтоб еще ж что-то было для смены, в ее ж только экзамены сдавать. А надо ж было в чем-то, ну там в общежитии сидеть, еще что-то. Так я жала жито у тетки Маруси, у своей родственницы, за плату. И вот я две недели жала рожь серпом, а она мне купила вот такой батистик красный, в мелкую горошку и сшила платьишко. Боже, это был такой подарок судьбы! Вот так я приехала сдавать вступительные»⁴⁰.*

Выходили из ситуации, возвращаясь к древним способам выживания и натуральному хозяйству. «*После войны все домотканое носили. Мама ткала, я прядла. Бельенная одежда была. Полотно как соткут, в речке мочат, а потом, разостлавши на траве, сушат»⁴¹. «Вязали, прядли. С шерсти, со льна. Отбеливали, а можно и серое. Наткали-напряли — и голые не ходили»⁴².*

Намного страшнее отсутствия одежды был голод. «*После войны голод был. Мы ходили по полям, собирали мерзлую картошку»⁴³. «С мерзлой картошки блины готовили, “пышки” назывались. Организм их не принимал, боялись, чтобы не вырвало, потому что голодные останемся»⁴⁴. Основой жизнеобеспечения стало собирательство. «Жали лебеду, крапиву, молоком заправляли»⁴⁵. «Пойду, аиру нарву, так свой хлеб пекала. А потом листья собирала. Купила и одежду, и все»⁴⁶.*

Хлеба, выделяемого по карточкам, явно не хватало, купить его в Мире было невозможно. Населением были организованы коллективные поездки за хлебом в Минск. «*Сильного голода у нас не было. Правда, в Минск за хлебом ездили. Специальная машина была крытая, “такси” называлась. Мужики собирались и ехали в Минск за хлебом, привозили его в мешках. А моя сестра сына в интернат отдала, сама только с дочкой осталась, так лучше, сытней»⁴⁷. За продуктами, которые изредка и в недостаточном количестве «выкидывали», стояли страшные очереди. «В магазин с вечера была очередь, чтобы купить ребенку ботиночки. И ночуем там возле магазина. А сахар! Придешь, принесешь тот сахар — и плечи черные, и голова побитая! Пусть Бог обносит! Тяжко было. Хлеб да соль. Картошка — главное. Но это уже не голод, уже не помрешь»⁴⁸.*

Распределительная система породила новый способ совершения покупок — по знакомству. «*Инвалидам давали то какое-то сукно, то что. Приходишь в магазин — выбирай, инвалиды. У нас тут один инвалид жил одинокий, говорит: “Мне это ничего не нужно, а ты себе хоть на костюм возьми”. — “А сколько ж это будет стоить?” — “Твоя месячная зарплата”. Я купила сукно, красивое такое. Костюм еще моя старшая дочка донашивала»⁴⁹. «Однажды председатель райисполкома, он сам мой земляк, с Еремич, помог мне купить кусок ткани. Тогда же не всем можно было купить. Мало давали. Тогда выделяли, и он мне выделил, и я пошла платье. Но даже ни разу его не надела. Оставила на работе в столовой. Пришли ночью, открыли двери и то платье украли»⁵⁰.*

³⁸ Л. И. Лабоцкая, 1930 г. р.

³⁹ Ч. А. Шумицкая, 1928 г. р.

⁴⁰ Л. И. Лабоцкая, 1930 г. р.

⁴¹ Г. Синявская, 1935 г. р.

⁴² Ч. А. Шумицкая, 1928 г. р.

⁴³ Л. П. Бычко, 1931 г. р.

⁴⁴ Ю. И. Бычко, 1923 г. р.

⁴⁵ В. С. Мулярчик, 1935 г. р.

⁴⁶ Я. Крыжановская, 1923 г. р.

⁴⁷ Т. В. Демидович, 1917 г. р.

⁴⁸ Е. В. Заяц, 1915 г. р.

⁴⁹ Н. Я. Бычко, 1920 г. р.

⁵⁰ В. К. Сеница, 1920 г. р.

В 1948 г. в Мире началась коллективизация. Любая частная инициатива, единоличество, кустарничество новой властью не приветствовались. Были созданы условия, при которых единоличников уже к 1950 г. практически не осталось. «В колхоз мало кто хотел. Были и единоличники. Им тогда давали твердое задание, налог. Очень большой. Они с ним, соответственно, не справлялись, тогда были показательные суды, и им давали по 10 лет»⁵¹. «Короче говоря, тех, кто в колхоз не хотел, давили так, чтобы ты еле дошел»⁵². «Мои родители сначала не пошли в колхоз. А когда землю в колхоз забрали, люди шли уже “добровольно”. Большинство пошло»⁵³. Но со временем крестьяне смогли оценить положительные стороны работы «не на своем». «В колхозы люди пошли, сначала боялись, не понимали, что это такое, потом привыкли. И это было лучше. Если сам по себе работал, то работал день и ночь. А если в колхозе, то и праздники были, и выходные, отработал свое — и иди»⁵⁴. «Колхоз, если разобратся, и лучше еще. Когда пошел, когда не пошел. И отпуск. А уже если свое хозяйство, то дрожи над ним, держись как слепой забора»⁵⁵.

Как известно, за труд в колхозах рассчитывались только в конце года натурой пропорционально количеству трудодней. В течение же года выживали в основном за счет приусадебного хозяйства. «Платили мало. После войны голод был, но я не голодала, свое хозяйство было»⁵⁶. «Жили в колхозах очень плохо. Выручало только личное хозяйство»⁵⁷. «Нам давали участки, как пошел в колхоз, участки на картошку. Картошку сажали, поросят держали. И продавали поросят, и себе кололи. Продали поросенка, свекровь купила сыну моему велосипед. Он утром ей уже поесть возил, где она телят пасла»⁵⁸. Кроме того, в новых условиях произошла определенная трансформация некоторых моральных принципов. Украсть в колхозе было опасно, но не считалось позором. Во-первых, к этому вынуждали обстоятельства, во-вторых, воровали опять же «ничейное». «Рядовой колхозник жил за то, что где-нибудь

⁵¹ В. Р. Юрьев, 1920 г. р.

⁵² Е. И. Синявский, 1934 г. р.

⁵³ Л. П. Бычко, 1931 г. р.

⁵⁴ О. Н. Самец, 1929 г. р.

⁵⁵ С. И. Самец, 1929 г. р.

⁵⁶ Н. Ф. Ощепкая, 1923 г. р.

⁵⁷ В. Д. Буй, 1927 г. р.

⁵⁸ Е. В. Заяц, 1915 г. р.

украдет. В колхозе же ничего не заработаешь»⁵⁹. «Как жить без зарплаты? Крали»⁶⁰. «Идешь с колхоза — картошки какой хапнешь. Страх был. Строго было. Но вот в карман положишь, зернышки курам посыпать в карман положишь. Или принесешь, запаришь, оладьи испечешь. Ну а что ж делать?»⁶¹.

В отличие от колхозников и работников госпредприятий ремесленникам-кустарям не полагались даже такие социальные блага, как продуктовые карточки или участки под посадку картошки. О послевоенных условиях существования ремесленников рассказывает жена гончара Н. Я. Бычко: «На рынке мало кто за деньги покупал горшки. Выменивали на продукты. Муж по деревням ездил, выменивал на все. Одна бабка говорит: “Я много мака наколотила”. — “Давайте, — говорит, — моя жена такой пирог испечет!” Самый большой горшок стоил 50 копеек, а самый маленький — 15. Но за деньги мало кто покупал. А налоги нужно было деньгами платить, не горшками. 190 рублей налога. Ни карточки нам не давали, ни участок земельный. Наш председатель говорил мужу: “Ты — отщепенец!” Мой муж неграмотный был, ни одного класса не закончил. Так я ходила к председателю просить. Какой-то был из России председатель. Не давал ничего. Рассказала, что у меня двое сирот, да еще двое своих деток. Хоть кустарь, но куда ж ему деваться, если другой специальности не знает? Просила участок под картошку. Не дали. И вынуждена была идти на работу из-за участка. Тогда дали уже 15 соток. Потом муж заболел. 9 лет пролежал. Ему 62 года было, а он работать уже не мог. И пенсии не получал, потому что не работал на госпредприятии. Так я еще 10 лет на пенсии работала санитаркой в больнице»⁶².

Отличным от кустарей было положение кооперированных ремесленников: они получали карточки, пособия и т. д. В артели, в отличие от колхозов, зарплату получали деньгами. «Тут в Мире был гончарный цех, так это еще хорошо, что я из армии пришел, паспорт сделал, то как-то удалось с колхоза вырваться. Пошел к председателю в гончарный цех, так хоть 410 рублей был оклад. Это были 1950—1951 гг. Бутылка водки стоила 25 рублей»⁶³.

⁵⁹ В. Г. Халимон, 1928 г. р.

⁶⁰ Е. И. Вергейчик, 1924 г. р.

⁶¹ Е. В. Заяц, 1915 г. р.

⁶² Н. Я. Бычко, 1920 г. р.

⁶³ В. М. Петровский.

**Научно-исследовательский проект
«Предвоенное и послевоенное десятилетия:
трансформация культуры сквозь призму
повседневных адаптивных практик
(БССР, КФССР)»: первые итоги**

И. Р. Такала, А. В. Голубев,

Петрозаводский государственный университет, Россия

Частная инициатива, предпринимательство были поставлены властью вне закона, но не исчезли вовсе, а были загнаны в подполье. *«Работы хватало. А зимой я обшивала всю семью. Семья знает какая, то сидела и шила. А потом уже заказы брала. Дома работала. Заказы брала и пряталась, чтобы налогов не платить. При всех властях заказы брала. Но прятаться нужно было, беречься. Но мы узнавали одна через одну, передавали»⁶⁴. «Беднота была, как вернулся после войны. Я давай работать, печи делать, фотографировать. Фотографировать в Германии научился. О, помогла фотография! Пару чемоданов материалов привез, материал был. Поеду фотографировать — в очередь становилась. Я щелк-щелк-щелк-щелк, потом приеду — карманы денег»⁶⁵. «Мама поедет в Новогрудок, купит корову, тут корову продаст. За эти деньги опять поехала в Новогрудок. Вот на эти деньги и поставила всех на ноги»⁶⁶.*

Большинство наших информантов, жителей западнобелорусского местечка Мир, демонстрируют лояльность к властям. *«Все равно были верны советской власти. Так воспитано было наше поколение. А кто даст лучшее?»⁶⁷. «Не обижались мы ни на что. Как-то ожидалось все лучшее»⁶⁸. «Против власти не пойдешь. Как власть скажет, так и подчинялись»⁶⁹. Иными словами, основные стратегии повседневности носили адаптивный характер, когда главной задачей было выживание путем постоянного приспособления, перманентных трансформаций повседневных практик под влиянием постоянно меняющихся политических и экономических условий.*

Предвоенное и послевоенное десятилетия XX в. являются особыми периодами в истории СССР, в ходе которых происходила серьезная трансформация повседневной культуры советского общества, возникали новые адаптивные практики и механизмы взаимодействия населения с властью, другими культурами, этническими и социальными группами.

Данные процессы получили широкое освещение в научной литературе, но практически все они велись методами политической истории, основываясь на изучении того воздействия, которое власть оказывало на общество. При такой постановке исследовательской проблемы недостаточно изученными оставались целые пласты исторической реальности, такие, например, как восприятие власти в сознании общества, особенности и эволюция этого восприятия, специфика мировоззрения людей изучаемого периода.

Устная история, методы которой уже хорошо разработаны на теоретическом уровне, дает возможность расширить исследовательское поле, вводя в научный оборот такие уникальные источники, как интервью очевидцев, отражающие субъективные восприятия, эмоции «маленького» человека и раскрывающие особенности ментальности советских людей до- и послевоенного времени.

Применительно к изучению указанного периода использование методов устной истории актуально еще и потому, что людей, помнящих это время, остается все меньше и данный пласт памяти находится под угрозой скорой утраты. Память этих людей хранит уникальные воспоминания, которые в советское время далеко не всегда можно было объективно фиксировать. Источники и материалы, полученные при помощи методов устной истории, могут существенно дополнить представления о советском обществе сталинского времени, а также выявить новые исследовательские задачи.

Именно эти соображения легли в основу при определении главной цели проекта: сформировать комплекс устных источников, дополненных и верифицированных архивными материалами, на основании кото-

⁶⁴ Л. С. Печенко, 1915 г. р.

⁶⁵ А. С. Шпак, 1918 г. р.

⁶⁶ А. Герасимчик, 1926 г. р.

⁶⁷ В. И. Чернявский, 1928 г. р.

⁶⁸ С. И. Самец, 1929 г. р.

⁶⁹ Б. С. Богданович.

рых можно будет провести полноценное исследование трансформации повседневных культур населения двух приграничных республик — Карелия и Беларусь — в предвоенное и первое послевоенное десятилетия сквозь призму повседневных адаптивных практик.

Географический выбор регионов не случаен. Эти приграничные территории не раз в истории становились яблоком раздора между соседями. К началу XX в. ни Карелия, ни Беларусь не имели своей государственности, их история являлась частью истории Российской империи. Государственный, политический, отчасти и национальный статус этих территорий был определен Тартуским (1920) и Рижским (1921) мирными договорами, которые долгое время оставались предметом споров между государствами, заключившими их (Россия — Финляндия и Россия — Польша). Советско-германский договор 1939 г. вновь изменил границы обеих республик — западные и восточные белорусские земли были воссоединены, а КАССР в результате Зимней войны была преобразована в Карело-Финскую ССР, просуществовавшую, правда, всего 16 лет (1940—1956).

В годы Великой Отечественной войны территория Беларуси была оккупирована германскими, а Карелии — финляндскими войсками, однако режимы, установившиеся там в 1941—1944 гг., имели существенные различия. Для Карелии вражеская оккупация не имела столь разрушительных и необратимых последствий, как для Беларуси, где человеческие потери составили около 3 млн. человек и почти вся территория оказалась в руинах. Неудивительно, что в послевоенное десятилетие в обеих республиках наблюдались резко возросшие миграционные потоки, существенно изменившие этническую картину на этих территориях.

Для обеих республик и их населения фактор приграничности всегда имел огромное значение. Они являлись регионами, на территории которых процессы формирования новых межкультурных диалогов происходили наиболее активно. С другой стороны, между Карелией и Беларусью наблюдался целый ряд различий, принимая которые во внимание, можно глубже понять механизмы, задействованные в данном феномене. В БССР титульная национальность — белорусы — являлась большинством, к тому же этнически близким к другим основным этническим группам, проживающим на территории республики: русским, украинцам и полякам. В КАССР и затем К-ФССР титульные нации — карелы и финны — со второй половины 1920-х гг. составляли меньшинство, при этом на территории Карелии сосуществовали два различных по составу этноса — славянский и финно-угорский. Исследование различий в механизмах культурного и межкультурного диалога может помочь рас-

крыть основные особенности трансформации повседневных культур населения этих приграничных республик в избранный период.

Основные задачи проекта, таким образом, заключались в том, чтобы, во-первых, сформировать и ввести в научный оборот комплекс источников, освещающих повседневную жизнь и культурные практики населения Республики Беларусь и Республики Карелия в 1930—1950-е гг., и, во-вторых, осуществить сравнительно-историческое изучение культурных трансформаций и межкультурного взаимодействия в этих приграничных регионах, где постоянно нараставшие в то время миграционные процессы (в силу разного рода причин) весьма активно воздействовали на формирование новых межкультурных диалогов и адаптивных практик.

Для выполнения поставленных задач в марте 2006 г. исследовательским коллективом был разработан унифицированный вопросник для российских и белорусских участников проекта. При составлении вопросника авторы следовали общепринятой традиции, когда интервью делится на две части — биографический нарратив («life story») и работа «вопрос — ответ», т. е. интервью начинается с просьбы «Расскажите, что вы помните о...», после чего следует ряд конкретных вопросов. Исходя из заявленной темы — изучение культурных адаптивных практик в до- и послевоенные десятилетия, основное внимание при составлении вопросника было уделено, прежде всего, вопросам о повседневной жизни людей (быт, общение, семья), а также об изменении межэтнических и кросс-культурных контактов. В конечном итоге вопросник включил в себя 120 вопросов, условно разделенных на семь блоков: «Родители, дом, детство», «Учеба», «Окружение в детстве и юности», «Работа», «Семья, быт», «Культура, идеология» и обобщающий блок.

В апреле 2006 г. российским исследовательским коллективом были собраны первые интервью, на основании которых вопросник был уточнен, и в дальнейшем полевая работа проходила на его основе. Тогда же была закуплена необходимая звуко- и видеозаписывающая аппаратура для полевых исследований (диктофоны, видеокамера), ноутбук для полевых и архивных исследований, а также компьютер для аналитической работы и резервного копирования собранной информации.

В течение 2006—2007 гг. российским коллективом (ученые Петрозаводского государственного университета и Карельского научного центра РАН) было собрано и введено в научный оборот 59 интервью. Вместе с интервью, собранными белорусской стороной (180), это составило 239, что значительно превысило объем (100 интервью), запланированный в первоначальной заявке. Общая длительность интервью, собранных рос-

сийской стороной, составила примерно 96 часов, объем текста в записи — около 2 млн. 350 тыс. символов, или почти 59 авторских листов.

Интервью собирались в Петрозаводске и ряде карельских сел, для чего были организованы несколько полевых экспедиций: 20 июня 2006 г. — село Шёлтозеро (7 интервью); 25 октября 2006 г. — пос. Шуя (2 интервью); 19 марта 2007 г. — села Шёлтозеро и Каскесручей (7 интервью). Кроме этого, в течение 2006 и 2007 гг. А. В. Голубев проводил полевые исследования в пос. Чална, в результате чего было собрано 8 интервью, И. Р. Такала в марте 2007 г. записала одно интервью у бывшего жителя Карелии в г. Керава, Финляндия. Остальные 34 интервью собраны в г. Петрозаводске.

Запись воспоминаний проводилась с помощью средств цифровой звукозаписи, которые имеют целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными аналоговыми средствами. В частности, воспоминания, записанные в цифровом виде, можно редактировать без потери качества. Копия каждой записи сохраняется в оригинальном виде в архиве Центра устной истории ПетрГУ, кроме того, для публикации в сети Интернет каждая запись дублируется путем создания цифровой копии в формате mp3 или ogg, при которых один час звукозаписи занимает от 6 мегабайт (правда, с соответствующим ухудшением качества), что позволяет передавать данные даже по каналам с низкой пропускной способностью.

Важную роль в успешном осуществлении проекта играет использование возможностей сайта Центра устной истории Петрозаводского государственного университета (Oralhist.karelia.ru). Сайт, созданный в 2004 г., изначально планировался как «точка входа», обобщающая информационные ресурсы Интернет по устной истории, а также как средство электронной публикации материалов сотрудников центра и воспоминаний, собранных в рамках проектов центра. С 2006 г. основной функцией сайта является координация работ по настоящему проекту. Основными задачами в рамках данной работы являются:

- хранение и представление единой базы данных для российских и белорусских участников проекта;
- использование системы автоматического структурирования текстов интервью;
- наличие полнотекстового поиска;
- наличие системы оповещения участников проекта о научных мероприятиях.

В основе сайта лежит модульная структура, при этом основными частями являются разделы администрирования и пользовательский

(раздел отображения информации), каждый из которых делится на соответствующие модули ввода, редактирования и просмотра содержания. Система управления содержанием сайта написана на языке программирования Perl с использованием СУБД MySQL.

Для автоматического структурирования текстов интервью используется их предварительная разбивка по рассказу респондента и по ответам на вопросы.

Уникальные (не повторяющиеся) вопросы вносятся в данную систему для дальнейшего использования в модуле полнотекстового поиска, однако не обрабатываются модулем автоматического структурирования. В результате работы модуля исследователь может получить корпус ответов всех респондентов по определенному вопросу, разделу или теме интервью.

Модуль поиска использует алгоритм псевдо-морфологического поиска. Данный алгоритм был выбран в качестве альтернативы использования полного морфологического поиска, основывающегося на базе словаря А. А. Зализняка, как излишне ресурсоемкого для целей данного проекта. Алгоритм псевдо-морфологического поиска основывается на продуктивных моделях словоизменения русского языка, что позволяет искать словоформы большей части русской лексики. Необходимость введения алгоритма псевдо-морфологического поиска обусловлена морфологическим богатством русского языка: у существительного имеется до двенадцати словоформ, у глагола, если считать причастия, — свыше ста. В стандартных системах поиска пользователь вынужден вручную вводить все словоформы. Как показывает опыт работы подобных систем, в большинстве случаев пользователи формулируют только один запрос (начальную форму слова), что негативным образом отражается на релевантности результатов поиска.

Возможности сайта предполагают также применение контент-анализа при изучении интервью, используя различные программы по статистической обработке смысловых единиц электронных текстов.

Еще одной функцией сайта Центра устной истории ПетрГУ является координация работы российской и белорусской сторон. На сайте размещены и находятся в свободном доступе интервью, собранные российской стороной (с учетом пожеланий респондентов), и сборники «Устная история в Карелии», опубликованные в рамках данного проекта. Там же функционирует система, предоставляющая информацию о конференциях, семинарах и других событиях, связанных с устной историей, исследованием общественной памяти и смежными темами.

Таким образом, в рамках проекта в российском сегменте сети Интернет создан бесплатный уникальный научный ресурс по предвоенной и послевоенной истории СССР. Интерес к сайту и в нашей стране, и в мире постоянно возрастает. Если за десять месяцев 2006 г. (с марта по декабрь) общее число посетителей сайта составило 261 человек из 26 городов РФ и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, то с 1 января по 30 ноября 2007 г. сайт посетили 4038 человек из 43 городов РФ и 19 стран мира.

В рамках проекта участниками проводились исследования в Национальном архиве Республики Карелия и Карельском государственном архиве новейшей истории (с лета 2007 г. это единый Национальный архив РК). Также были проанализированы материалы русскоязычной и финноязычной прессы 1930—1950-х гг. Данный комплекс источников существенно расширяет аналитические возможности при исследовании избранной проблемы и делает более репрезентативными устноисторические источники.

В аналитической части исследования предполагался синтез синхронического (изучение параллельных событий в Карелии и Белоруссии) и диахронического (сравнительный анализ предвоенного и послевоенного десятилетий) подходов к изучаемой проблеме. Также предполагалось совмещение двух исследовательских методик: исследование повседневной картины мира советского гражданина в предвоенное и послевоенное десятилетия с помощью культурно-семиотического подхода и сравнительно-исторический анализ полученных данных. Подобная комбинация исследовательских методик позволяет обеспечить наиболее точную реконструкцию механизмов трансформации повседневных культур населения двух приграничных республик в предвоенное и первое послевоенное десятилетия сквозь призму повседневных адаптивных практик.

Конечно, в рамках двухлетнего проекта, главными задачами которого являлись сбор и публикация устноисторических источников, трудно подвергнуть глубокому и всестороннему анализу только что собранный материал. Тем не менее уже на стадии сбора источников выявились проблемы, по которым можно представить первые размышления и выводы.

В ходе выполнения проекта получили практическую апробацию теоретические вопросы устной истории, в частности, проблемы верификации и научной критики устноисторических источников. Особое внимание уделялось вопросам критики так называемого биографического рассказа. Обращение к биографическому рассказу как к нарративу по-

зволяет сделать важный вывод, касающийся принципов репрезентации исторической информации в интервью с респондентом. Каждая эпоха и каждое общество представляют свои — достаточно стандартные — инструменты для преобразования прошлого в историю жизни. Так, для каждой эпохи существуют свои «табу» и, наоборот, обязательные темы, на которых акцентирует внимание каждый респондент, даже если в его личном опыте они занимают второстепенное место. Совокупность последних образует стандартный набор сюжетов, которые хранятся в коллективной памяти и воспроизводятся при создании индивидуальной истории жизни. Нарратив, лежащий в основе биографической истории, задает очень жесткие рамки для самоидентификации и, как следствие, очень сильно влияет на ту информацию, которую выдает респондент: во-первых, искажает ее, во-вторых, служит мощным фильтром, ограничивающим репрезентацию исторического прошлого.

Чтобы извлечь другую информацию, необходимо провести слом нарратива. Для этого в проекте использовался переход от биографического рассказа к беседе с применением вопросника. Исследовательским коллективом, как уже отмечалось, был разработан унифицированный вопросник для российских и белорусских участников проекта. Применяя разные методики, традиционные для устной истории (биографические интервью, работа по вопроснику, совмещение обоих методов), участники проекта выяснили, что оптимальным методом является именно комбинация двух основных методик. Беседа с респондентом начинается с биографического рассказа, в ходе которого интервьюер может уточнять информацию с помощью небольших вопросов, при этом не нарушая нарратив рассказчика, а затем продолжается по вопроснику, где темы, обозначенные в первой части интервью, развиваются и углубляются.

Если говорить о причинах трансформации региональной и этнической идентичностей населения Карелии, то, как показывают результаты исследования, наибольшее влияние на их изменение оказали миграционные процессы в довоенный и послевоенный периоды. Если в середине 1920-х гг. доля славянских и финно-угорских народов в структуре населения республики была примерно равна, то уже к 1939 г. доля финно-угорских народов снизилась до 27%, хотя в этот период карелы и вепсы (коренные финно-угорские национальности) сохраняли компактное проживание, а численность финнов-иммигрантов возросла почти в четыре раза. Причиной размывания коренного населения стал массовый завоз в остро нуждавшуюся в рабочих руках республику рабочей силы из других регионов страны, в результате чего число русских увеличи-

лось в полтора раза, а численность украинцев, белорусов, поляков и прочих национальностей — в три с лишним раза.

После Великой Отечественной войны процессы размывания национального состава республики продолжились с удвоенной силой. Война имела самые негативные последствия для демографической ситуации в республике. Если в 1941 г. население Карело-Финской ССР (с учетом населения тех территорий, которые после 1945 г. отошли к Ленинградской области) составляло 700 тыс. человек, то к концу 1944 г. в республике проживало всего 197 тыс. человек. Советское правительство, осознававшее важность природных богатств края для послевоенного восстановления СССР, вкладывало значительные средства в реконструкцию карельской промышленности. Малочисленное население не могло удовлетворить ее нужд, поэтому вплоть до середины 1950-х гг. правительство К-ФСР проводило активную кампанию по вербовке рабочей силы за пределами республики. Наиболее активными регионами-«донорами» стали Белоруссия, Украина, ряд областей РСФСР. Как следствие, доля финно-угорских народов в составе населения Карелии снизилась почти вдвое. В 1948—1949 гг. республиканское руководство пыталось бороться с этой тенденцией, организовав массовое переселение в Карелию ингерманландских финнов, ранее депортированных из Ленинградской области преимущественно в Сибирь и Казахстан. К концу 1949 г. в К-ФСР переехало примерно 21 тыс. ингерманландцев, однако это мало повлияло на национальный состав населения Карелии.

К концу 1950-х гг. третьей по численности из населявших Карелию национальностей (после русских и карелов) стали белорусы. За период с 1939 по 1959 г. их численность в республике увеличилась в 16,7 раза, а удельный вес — с 0,9 до 11%. В крае насчитывались уже десятки населенных пунктов с преобладанием белорусского населения (Вача, Ахвенламби, Тулос, Маслозеро и др.).

Таким образом, послевоенная миграция в Карелию значительно изменила социальный и этнический состав ее населения. Наложившись на последствия экономических, социальных и культурных реформ 1920-х и 1930-х гг., она не могла не привести к кардинальным изменениям в этническом и региональном самосознании населения Карелии. В послевоенное десятилетие происходит разрушение традиционной этнической и региональной идентичностей. Этот процесс начался еще в 1930-е гг., а факторы послевоенного времени ускорили его, что очень хорошо прослеживается практически по всем собранным в рамках проекта интервью.

Одним из наиболее мощных факторов, способствовавших утрате традиционной этнической идентичности, был языковой вопрос. В

1920—1935 гг., когда во главе Карелии находились так называемые красные финны, наряду с русским начинает активно использоваться финский язык. Вначале финский язык применялся преимущественно среди финнов и северных карелов, говорящих на собственно-карельском наречии. Культурным языком подавляющего большинства ливвиков и людииков, карелов южной части республики, оставался русский. С середины 1920-х гг. начинается активное расширение функций и сферы влияния финского языка, что было связано с политикой «коренизации», проводившейся по всем национальным окраинам Советского Союза. В русле концепции о едином «карело-финском языке», в соответствии с которой карельским диалектам отводилась функция устного применения, а литературный финский язык должен был стать письменной формой выражения карельской речи, большинство школ национальных районов республики с середины 1920-х гг. переводилось на финский язык. В результате к 1929/30 учебному году лишь половина всех школ республики работала на русском языке. В Кестеньгском, Ухтинском, Кемирецком, Ругозерском, Ребольском и Видлицком районах не было ни одной русскоязычной школы. В начале 1930-х гг. происходит серьезная трансформация политики «карелизации» (во многом провоцируемая центральным руководством страны), которая привела к методам силового решения языкового вопроса, когда введение финского языка становится самоцелью. Усиление финнизации, наряду с экономическими трудностями и переменами в политической жизни страны, обострило напряженность между властью и населением, что дало возможность Москве уже в 1933 г. начать критику национальной политики руководства Карелии. В 1935 г. правительство республики было смещено и начинаются репрессии против финнов.

Тем не менее трехлетняя форсированная финнизация не смогла затушевать основных достижений в деле национально-культурного развития края. В 1920 г. грамотность среди карельского населения едва достигала 24%, национальной интеллигенции не было вообще. К 1933 г. уровень грамотности карелов возрос до 46%, почти половина из них (48%) владела финской грамотой или русской и финской одновременно. Постепенно складывались предпосылки для изучения и развития карельских диалектов, расширялись их общественные функции и, что немаловажно, предотвращалось проникновение в карельскую речь русских заимствований. Объективно политика красных финнов, в том числе и их усилия по экономическому подъему национальных районов, способствовала консолидации карелов автономной республики в целостную этническую общность.

Борьба с «финским буржуазным национализмом», начавшаяся в республике после 1935 г., и перевод всех школ на русский язык в 1937 г. положили конец начавшимся процессам. Послевоенная миграция, затронувшая в значительной степени и национальные районы, привела к появлению в них большого количества населения, не владевшего финским, карельским или вепским языками. Сталинская концепция создания единой общности советских людей, говорящих по-русски, претворилась в жизнь вполне революционными методами: от борьбы с местным национализмом в начале 1930-х гг. через национальные операции 1937—1938 гг. к полной ликвидации ряда автономий и депортации целых народов в 1940-е гг. К мирным методам осуществления этой политики можно отнести внутренние миграции, смешение наций, что признавалось явлением прогрессивным, как и отказ от родного языка. Целям унификации и денационализации служила и концепция пролетарского интернационализма.

Все это привело к тому, что, например, согласно переписи населения 1959 г., 61% вепсов в качестве родного языка указали не вепский, а русский. Аналогичные процессы происходили и с другими народами — карелами и финнами, для которых русский язык постепенно приобретал статус основного языка общения, а родные языки играли периферийную, второстепенную роль. Учитывая активную миграцию и то, что когда-то этнически однородные поселения стали многонациональными, русский язык становится в Карелии во многом объединяющим фактором.

Процессы изменения социальных и практических функций национальных (финно-угорских) языков или местных карельских диалектов и межнационального (русского) языка, прежде всего перенос традиционных функций первых на второй, являются размытыми во времени и происходят, в первую очередь, в устной речи. Поэтому они недостаточно зафиксированы в документах, и для изучения этого культурного феномена, как показал данный проект, методы устной истории являются наиболее продуктивными. Беседа с респондентами, представляющими различные национальные и региональные группы населения Карелии, позволила проследить, какие социальные и практические функции и в какой последовательности переносились с национальных языков и местных диалектов на русский язык, что было причиной этих процессов и как они происходили.

Хорошо по собранному устноисторическому материалу прослеживаются и изменения в повседневной культуре населения Карелии в предвоенное и послевоенное десятилетия.

В этот период потеряла свое значение религия как фактор формирования этнической и региональной самоидентификации. Гонения на церковь в 1920—1930-е гг., закрытие церквей и запрет служб означали, во-первых, размывание религиозных различий, которые до этого формировали региональную идентичность различных групп населения Карелии (не только этнических), и, во-вторых, в целом predeterminedили снижение религиозного фактора в качестве инструмента самоидентификации. Значительная часть населения (сохранение религиозных традиций было более характерным для деревни, нежели для города) продолжала отмечать религиозные праздники (Пасху, Рождество), но делала это, скорее, по привычке, и, что самое главное, в узком семейном кругу.

Изменения, происходившие в сфере повседневной культуры и быта, нанесли серьезный удар по национальной и региональной идентичностям жителей республики. Активные миграционные процессы в послевоенной Карелии привели к возникновению населенных пунктов со смешанным национальным составом, в которых происходило взаимопроникновение культур. Прежние места компактного проживания карелов, вепсов и финнов превращались в многонациональные населенные пункты. Их характерной особенностью стали межнациональные браки. В подобных условиях специфические культурные практики, присущие тем или иным этническим и региональным группам, переставали воспроизводиться на уровне всего местного сообщества и, как следствие, — играть роль в формировании этнической или региональной идентичности. Например, обычай во время отсутствия дома хозяев не запирает двери на замок, а просто приставлять к дверям палку (грабли, лопату, метлу), распространенный в традиционной деревенской культуре Карелии, исчез с появлением большого количества переселенцев из других регионов СССР. Аналогичным образом были утрачены другие обычаи и традиции, характерные для традиционного деревенского общества. В межнациональных семьях, где воспитание детей велось на русском языке, не обеспечивалась передача между поколениями национальных культурных практик.

На размывание этнической идентичности оказал значительное влияние и экономический фактор. В течение 1930—1950-х гг. произошла коренная перестройка экономической жизни, затронувшая все сферы повседневной жизни. Отход от традиционных методов ведения сельского хозяйства, которые лежали в основе передачи повседневной культуры от поколения к поколению, к коллективному хозяйству, а также переход многих семей от сельского хозяйства к работе в лесной промышленно-

сти создали своеобразный «вакуум» в повседневной культуре послевоенного сельского общества в Карелии. Если раньше участие в повседневной экономической деятельности обеспечивало передачу культурного опыта внутри семьи, то в послевоенное время эта функция оказалась переложеной на школу или вообще оставалась нереализованной.

Утрате национальной идентичности и повседневной культуры способствовала и урбанизация, в результате которой создавалась новая городская культура. Должно было пройти определенное время, прежде чем в совершенно новой культурной, социальной и экономической среде сложились новые практики передачи культурного опыта от поколения к поколению — за это время традиционные культурные практики, как правило, были утеряны.

Чрезвычайно интересным объектом исследования в рамках проекта стали межэтнические отношения в довоенной и послевоенной Карелии. Существовало несколько уровней этих отношений: межнациональные семьи, деревни и лесные поселки, населенные по преимуществу мигрантами, городское общество. Во всех случаях можно говорить о том, что в приграничной Карелии, как и везде, весьма успешно реализовывалась советская модель межэтнической интеграции. Как отмечают практически все наши респонденты, в результате межэтнического общения (на всех уровнях) происходило стирание этнической идентичности, формирование общей, универсальной идентичности советского человека.

Быстрому взаимопроникновению культур способствовало то, что включение белорусов, украинцев, финнов и представителей других национальностей в состав местного населения происходило, как правило, в бесконфликтной среде. Республика, которая изначально существовала как многонациональная и при этом малонаселенная, охотно принимала переселенцев, их приезд не воспринимался как нечто чрезвычайное — работы и места хватало всем. Этот феномен, заслуживающий дальнейшего серьезного исследования, становится еще более очевидным на фоне интервью, собранных нашими белорусскими партнерами.

В рамках проекта была основана серия «Устная история в Карелии». Основная цель серии — публикация тематических сборников, совмещающих теоретические работы по избранным темам, в том числе выполненные методами устной истории, и соответствующие интервью в научной редакции. Таким образом, выпуски серии представляют ценность как исторические источники, сохраняющие важную и уникальную информацию о прошлом, так и как научные работы, представляющие анализ этой информации. При этом публикация статей разных авторов, актуализация различных подходов и проблем, перевод статей

ведущих иностранных ученых обеспечивают многоплановый и многосторонний подход к теме сборников. В числе авторов первых четырех выпусков серии, помимо российских исследователей, ученые университетов Германии, США, Канады, Финляндии. Сборники востребованы научным сообществом как у нас в стране, так и за рубежом.

Очень важно, что к работе в проекте активно привлекались аспиранты и студенты исторического факультета ПетрГУ, что позволило им приобрести опыт исследовательской работы — как практической, так и аналитической.

Подводя общие итоги проекта, можно констатировать, что главные цели и задачи работы выполнены. Опубликованные авторским коллективом книги и научные статьи, а также многочисленные источники (записи интервью) выявляют особенности трансформации культуры советского общества сталинской эпохи сквозь призму повседневных адаптивных практик. Данный итоговый проектный сборник демонстрирует это на сравнительном уровне.

ИСТОЧНИКИ

Республика Беларусь

Историческая справка. История Беларуси: предвоенное и послевоенное десятилетия

И. Н. Романова,

Национальная академия наук Беларуси

Предыстория. Беларусь в начале XX в. не имела своей государственности, а ее история являлась частью истории Российской империи.

Во время Первой мировой войны Беларусь не могла выступить самостоятельным ее участником. Однако ее территория (оказавшись в зоне столкновения геополитических и стратегических интересов Германии и России) стала одним из эпицентров мирового военного конфликта. К октябрю 1915 г. российско-германский фронт на территории Беларуси стабилизировался по линии Двинск — Постава — Барановичи — Пинск. Таким образом, около половины территории Беларуси оказалось под немецкой оккупацией. Позже, по причине срыва брестских мирных переговоров, германские войска оккупировали почти всю Беларусь.

После ноябрьской революции 1918 г. в Германии немцы начали выводить свои войска, а западные земли Беларуси начала занимать Польша, которая заявила о намерении восстановить свою территорию в границах Речи Посполитой 1772 г. К августу 1919 г. польские войска заняли большую часть Беларуси (линия фронта проходила по р. Западная Двина — р. Березина). В результате польско-советской войны 1920 г. польские интервенты в июле — августе были изгнаны, но в сентябре — октябре они снова захватили западные районы Беларуси — почти половину этнической территории.

В результате заключения Рижского мира (18 марта 1921 г.) Беларусь была разделена на две части: восточная переходила под советский контроль, а западная — под польский. В состав Польши вошла белорусская территория площадью 108 тыс. кв. км с населением более 4 млн. человек. Собственно, за БССР сохранилось только 6 уездов Минской губернии с населением 1,6 млн. человек. Витебская и Гомельская губернии, а также западные уезды Смоленской губернии оставались в составе

РСФСР. Часть из этих территорий была присоединена к БССР в результате укрупнений ее территории 1924 и 1926 гг. В итоге на конец 1926 г. территория республики составила 125 950 кв. км, а ее население — около 5 млн. человек, 80% из которых составляли белорусы.

И Россия, и Польша результатами мирного договора остались недовольны. Каждая из них считала себя ограбленной в смысле территорий. Вместе с тем по живому разорванные белорусские земли являлись границей между двумя «враждебными системами» — социалистической и капиталистической, что накладывало отпечаток на все стороны жизни этих регионов.

Западная Беларусь (см. рассказы А. С. Шпака, В. В. Лобозы, Е. А. Левчук, Е. В. Заяц). Территория Западной Беларуси (которая составляла около четверти территории Польши и 13% ее населения) была поделена на 29 уездов, входящих в Новогрудское, Полесское, Виленское и Белостокское воеводства. Главным культурным и научным центром Западной Беларуси был г. Вильно¹.

В экономическом отношении Западная Беларусь была довольно отсталой окраиной Польши, аграрным придатком, рынком сбыта промышленных товаров, источником сырья и дешевой рабочей силы. Более 80% населения занималось сельским хозяйством. Значительная часть частновладельческих земель принадлежала помещикам и кулакам (в начале 1930-х гг. — около 48%).

Особенностью аграрной политики польского правительства было переселение на территорию Западной Беларуси из центральных районов Польши военных и гражданских колонистов, так называемых осадников, которым на льготных условиях или бесплатно давались земельные наделы до 45 га. Им отводилась роль военной и политической опоры польской власти на «Кресах восточных»². До 1934 г. сюда было переселено около 9 тыс. осадников.

Конституция Польши (1921 г.), а также условия Рижского мирного договора декларировали политическое и правовое равенство всех граждан, независимо от их национальной принадлежности. Однако в отношении белорусов и др. национальных меньшинств польское правительство с помощью государственного аппарата, печати, школы, католической церкви проводило великодержавную политику принудительной колонизации. Белорусов не признавали самостоятельной нацией, за-

¹ Современный г. Вильнюс.

² Восточные окраины. Территория Западной Беларуси и Волынь.

прещали школы на родном языке, ограничивали прием на работу в государственные учреждения и вузы. Местный государственный аппарат и органы самоуправления (гминные рады, уездные сеймики) формировались из представителей мелкой буржуазии, помещиков, осадников.

Советская Беларусь (см. рассказ М. А. Шатило). В Восточной Беларуси, или БССР, параллельно с общими, так называемыми социалистическими преобразованиями, которые шли в русле советской политики по всему Советском Союзу (нэп, индустриализация, насильственная коллективизация, «культурная революция», разгром оппозиций, репрессии), реализовывался комплекс мероприятий по обеспечению надежности западных рубежей СССР³.

Именно в русле «создания форпоста» политика коллективизации и раскулачивания в БССР проводилась более жестко, чем в других зерновых регионах СССР. Так, согласно правительственному постановлению 1930 г., выселению в отдаленные места подлежали только отнесенные к кулакам второй категории⁴. Однако в мае 1931 г. секретари райкомов компартии и председатели райисполкомов Беларуси получили циркуляр, сообщающий: «Директивными органами принято решение об очищении территории БССР, как пограничной, от остатков кулачества. Под эту категорию, кроме кулаков 3-й категории, будут отнесены бывшие кулаки, зажиточные и эксплуататоры в прошлом, обрезанные во время революции, независимо от того, платили последние налог или нет. Вся работа по выселению кулацких семей возложена на органы

³ Более подробно см.: *Раманава І.* Прымусовая ратацыя насельніцтва ў беларускім паграніччы: ін'екцыя добрадзейнасці // Репрессивная политика советской власти в Беларуси. Вып. 2. Минск, 2007. www.Homolib.org

⁴ 6 февраля 1930 г. всем окружкам и райкомам КП(б)Б было разослано циркулярное письмо ЦК КП(б)Б, в котором пояснялось, как нужно поступить с какой категорией кулаков: «а) первая категория — это контрреволюционный кулацкий актив — должен быть немедленно ликвидирован путем заключения в конц. лагерь; б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полу-обшарников, которые подлежат высылке в отдаленные местности Союза ССР; в) в третью категорию входят остальные кулацкие хозяйства, которые остаются в границах района, округа или республики, но подлежат расселению на новых, отводимых им за границами колхозных хозяйств участках худшей земли; г) общее количество хозяйств всех трех категорий должно составить в среднем по БССР 3—3,5%»: Национальный Архив Республики Беларусь в г. Минске (далее — НА РБ), ф. 4-п, оп. 21, д. 192, л. 205—206.

ГПУ»⁵. (В 1920—1930-е гг. в БССР репрессировано и выслано за пределы республики более 250 тыс. крестьян.)

Экономическая политика большевиков (в первую очередь насильственная коллективизация и раскулачивание) привела страну к массовому голоду. Тысячи белорусских крестьян стали жертвами мора.

Окончанию коллективизации в Беларуси мешала хуторская система землепользования⁶. В БССР только за два предвоенных года было переселено или совсем ликвидировано 192 тыс. хуторов.

Конец курса на всемирную социалистическую революцию соответствовал также нарастанию негативных настроений в отношении Польши, которая, согласно советской пропаганде, играла роль авангарда «всемирного империализма», готового в любую минуту начать военную агрессию против СССР. Этот фактор (вместе с маниакальным поиском врагов) нашел свое воплощение в повышении подозрительности властей в отношении поляков. Касалось это и других национальных меньшинств, прежде всего тех, исторические родины которых имели общую границу с СССР. Представители этих национальностей автоматически превращались в «пятую колонну» империализма и не имели права быть свидетелями военных приготовлений советской страны. Целые народы, которые столетиями жили на территории бывшей Российской империи, зачислялись в «элемент неблагонадежный» и подлежали превентивно репрессиям. Бдительная власть считала, что национальность гражданина свидетельствует сама по себе о возможности предательства и шпионажа: представители польской национальности «шпионили», как правило, в пользу «фашистской Польши», латыши — Латвии и т. д.

Члены семей репрессированных в БССР оставлены быть не могли, так как это, согласно отчету республиканского НКВД, «может дать врагу известную базу для продолжения активной шпионской, диверсионной, вредительской и другой контрреволюционной деятельности»⁷. По предложению Наркома внутренних дел БССР Б. Бермана, все члены

⁵ Там же, д. 277, л. 325—329.

⁶ Особенностью аграрной реформы середины 1920-х гг. в БССР было поощрение выхода крестьян на хутора и отруба. Всего к 1928 г. количество хуторских хозяйств здесь превышало четверть всех крестьянских хозяйств (примерно половина из них переселилась еще во время проведения Столыпинской реформы). В ходе реформирования сельского хозяйства в Западной Беларуси к 1939 г. на хутора было расселено около 200 тыс. дворов.

⁷ Там же.

семей репрессированных подлежали депортации в отдаленные местности СССР⁸.

К концу 1930-х гг. из системы образования исчезают школы для национальных меньшинств, ликвидируются национальные колхозы, сельсоветы, упразднен национальный польский район. Идея использования процессов расширения прав национальных меньшинств с целью пропаганды революции была отброшена. Ненужными стали и подготовленные национальные кадры, которые бы в случае революции могли провести социалистические преобразования на своих исторических родинах.

Воссоединение (см. рассказы А. С. Шпака, В. В. Лобозы, Е. А. Левчук, Е. В. Заяц). В соответствии с секретным протоколом, который прилагался к договору о ненападении, заключенному СССР и Германией 23 августа 1939 г., Западнобелорусские и Западноукраинские земли находились в зоне советского влияния.

После нападения фашистской Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.) Красная армия, в соответствии с распоряжением правительства СССР, 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши. Большинство жителей встречало армию как освободительницу, с энтузиазмом и радостью, с надеждой на лучшую жизнь, ведь «свои пришли, русские». Западная Беларусь была присоединена к БССР. После передачи некоторой территории Литве в ноябре 1940 г., согласно решению центральных органов, территория республики составила 223 тыс. кв. км с населением 10,2 млн. человек.

На занятой Красной армией территории создавались органы новой власти. Начался новый период истории Беларуси, который жители Западной Беларуси по сей день называют «Первые советы», или «Те советы». Для установления советской власти в Западную Беларусь из Восточной направлялись коммунисты и комсомольцы, специалисты и просто благонадежные, «восточники», как называли их жители Западной Беларуси. Деление на «восточников» и «западников» актуально и сегодня.

Первое, что вызвало удивление «западников», это внешний вид красноармейцев, которые для них являлись первыми представителями «социалистического рая». Поведение красноармейцев и вовсе нередко шокировало. Представители Страны Советов впервые столкнулись с потребительским богатством. Устоять перед искушением было невозможно, тем более, что недостаток средств компенсировался наличием

оружия. Немалое удивление «западников» вызвали и так называемые «демократические» выборы по советскому образцу.

За сравнительно короткое время коренным образом изменилась структура промышленности Западной Беларуси. Мелкое производство исчезло — малые предприятия были объединены и стали государственными.

Довольно быстро в Западной Беларуси начались репрессии против «враждебных элементов», в число которых попали представители польской власти, осадники, зажиточные крестьяне и многие другие.

Создание колхозов, как правило, проводилось не сразу, а массовая коллективизация в Западной Беларуси началась после войны. Методы для проведения коллективизации использовались практически те же, что и в Восточной Беларуси. За 1940 г. по всей Беларуси было ликвидировано около 52 тыс. хуторов.

Польские деньги отменялись практически без обмена их на советские, денежные вклады в сбербанках конфисковывались. Ликвидация частной торговли привела к дефициту многих потребительских товаров. Церкви, костелы, синагоги закрывались, в них размещались кинотеатры, фабрики, тюрьмы. Во многих населенных пунктах Западной Беларуси появились новые культурно-просветительные учреждения, больницы. Начали работу советские школы.

Вместе с тем практически все информанты-белорусы соглашались с высказыванием Л. С. Печенко (1915 г. р., г. пос. Мир, Гродненская обл.): «Как присоединили к России, так хорошо уже стало. Во-первых, не надо было уже пшекать: “Прошэ пани, мая пани порунчыла...”⁹. Уже стал товарищ, а не пан. Мы и говорили по-русски и по-белорусски [прежде]. В школе как учились, так мы в коридоре только по-белорусски, по-нашему говорили».

Однако поскольку преподавание переводилось с польского языка на белорусский, все учащиеся автоматически были переведены на один класс назад. Учителя также подлежали замене на проверенных, советских, присланных из СССР. Начинается постепенная русификация образования. В начале 1950-х гг. в большинстве средних школ преподавание велось по-русски.

Среди реальных благ, которые дала советская власть, — бесплатное образование, которое осознавалось как высшая ценность: для получения его детьми родители сознательно шли на лишения.

⁸ Там же, д. 1098, л. 97.

⁹ Начало польской скороговорки.

Война фашистской Германии против Советского Союза на территории Беларуси продолжалась с 22 июня 1941 г. по 28 июля 1944 г. Человеческие потери Беларуси в годы войны составили около 3 млн. человек. На каторжные работы оккупанты вывезли около 380 тыс. человек. За годы войны в Беларуси было уничтожено 209 (из 270) городов и районных центров, 9200 сел и деревень. Разрушено 85% довоенных фабрик и заводов, энергетические мощности и производственное оборудование белорусской промышленности были уничтожены более чем на 90%. По сравнению с 1940 г. посевные площади сократились на 40%, поголовье крупного рогатого скота — примерно на 2/3 и т. д. (см. рассказы А. С. Шпака, В. В. Лобозы, Е. А. Левчук, Е. В. Заяц, М. А. Шатило).

Послевоенное десятилетие в Беларуси — это период восстановления после разрушительной войны. А для присоединенных накануне войны территорий — это еще и время радикальных перемен: большевики всерьез взялись за их советизацию. Жители Западной Беларуси этот период своей истории называют «Вторые Советы». При формировании новых органов власти на ключевые руководящие должности местных (или «западников») не назначали. Хорошим стартом для карьеры советского функционера как в западном, так и в восточном регионе являлось недалеко партизанское прошлое. Продолжались репрессии против неблагонадежных. Вместе с тем ко всем жителям Беларуси сохранялось предвзятое отношение, как к людям, которые четыре года находились под оккупацией.

Послевоенные годы остались в памяти людей как времена голодные и холодные, не было самого необходимого — еды, одежды, обуви. Легче было тем, кто смог спрятать скот или хоть что-то припрятать от немцев и партизан. На колхозных полях вместо не пришедших с войны мужчин работали женщины-вдовы, старики и подростки, в 1948 г. они составляли 77% трудоспособного населения белорусской деревни. Количество мужчин трудоспособного возраста (16—60 лет) сократилось в колхозах Беларуси вдвое¹⁰.

Одной из наиболее острых проблем после войны стала проблема жилья: люди шли на квартиры к тем, чьи дома уцелели, селились в погребах и подвалах, сараях, землянках, в последних жило более 1,5 млн. человек¹¹. Одновременно, отказывая себе в самом необходимом, люди начинали строиться.

¹⁰ Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795—2002). Мінск: «Энцыклапедыкс», 2003. С. 350.

¹¹ Там же.

Положение усугубилось засухой 1946 г., которая стала одной из причин голода в ряде районов Беларуси. «Западники» подчеркивают, что значительно труднее было «восточникам», которые шли в Западную Беларусь в надежде разжиться хлебом.

В таких условиях введение карточного обеспечения населения хлебом воспринималось как действительная забота государства, как благо; это являлось хоть какой-то гарантией определенного минимума, необходимого для выживания. Однако карточки выдавались только тем, кто работал в госсекторе, и их иждивенцам.

В 1947 г. карточная система была отменена, что являлось в большей степени пропагандистским актом: пищевая промышленность не обеспечивала нужды населения, а введение свободной торговли хлебом привело к огромным очередям и нормированной продаже. Не лучше обстояли дела и с промышленными товарами. Люди в прямом смысле слова были голые и босые. Выходили из этого положения, вспоминая древние способы производства, возвращаясь практически к натуральному хозяйству. В крупных городах, особенно в Минске, и с продуктами, и с промышленными товарами дела обстояли несколько лучше. Народ ехал за покупками в столицу.

С целью упорядочения продажи немногочисленных товаров в условиях тотального дефицита было введено первоочередное обеспечение потребительскими товарами некоторых привилегированных групп населения. В таких условиях активизировались натуральный обмен и нелегальная частная торговля, которая на языке госорганов называлась «спекуляция».

После некоторых подготовительных мероприятий началась насильственная массовая коллективизация в Западной Беларуси, которая проводилась совершенно без учета опыта 1930-х гг. К концу 1950-х гг. колхозы объединили около 84% хозяйств западных областей. Одновременно с организацией колхозов началось принудительное переселение жителей хуторов в поселки. По-прежнему, как и до войны, мизерной оставалась оплата, которая к тому же была только натуральной и выдавалась в конце года пропорционально количеству выработанных трудодней. Соответствующим было и отношение к работе.

После войны проводились принудительные мобилизации белорусского населения на Север (в том числе в Карело-Финскую ССР) и в Сибирь для работы на шахтах, стройках, лесоразработках.

Прошло почти 70 лет со дня присоединения Западной Беларуси к Восточной, однако воображаемая граница существует по сей день, сохранилось и понимание существования «восточных» и «западных» бе-

лорусов, между которыми есть существенные отличия. «Западники» считают, что в немалой степени способствовала этому и политика советского правительства. Они отмечают, что, несмотря на трудолюбие и совестливость «западников», власть всегда относилась к ним с подозрением. «Восточники», в свою очередь, считают «западников» более предприимчивыми и менее советизированными.

Смена властей, режимов и границ во многом определила специфику новейшей истории Беларуси. Информанты констатируют: «Жили при Польше. Пришли русские, потом — немцы, потом — русские. Это надо было все пережить»¹², «Нам очень тяжело было сосредоточиться: вся власть переходная»¹³.

Интервью с Евгенией Васильевной Заяц, 1915 г. р.

*Записали И. С. Маховская, И. Н. Романова,
г. пос. Мир Кареличского р-на Гродненской обл., 16—17 июля 2006 г.*

У родителей было 9 детей. Я по счету была вторая. Родилась в Ленинграде, в пятнадцатом году. Немцы стреляли, родители — на воз. А там в Ленинграде папины братья жили. Они нам дали дом двухэтажный и поселили. Мама меня еще на вокзале родила, в Ленинграде. А тогда с вокзала забрал уже дядя. И росла я в Ленинграде три, наверное, года. А растила меня мамина сестра, самая младшая, она и сейчас в Ленинграде. Собирается приехать сюда, уже сюда умирать. Мама на работу ходила, а она в школу не ходила, меня растила. Ей было 10 лет. А папу забрали, война какая-то, на какой-то Афон или Пафон. А там же революция была. А потом уже переехали, бросили уже тот Ленинград. А я родилась на наше [православное] Рождество, в 1915 г.

[...]

[Вернулись в Турец]

Как у нас было мало земли, так нам было тяжело жить. Потому что дети маленькие, а есть нужно же. Зерна не хватало на круглый год, надо было прикупать, так хорошо, что отец был плотник. Так ходил дома строил, мосты на реке строил, то он зарабатывал. А у кого было много земли, то лучше.

Мы коровы пасли чужие. И нам платили деньги. И золото нам давали. Пять рублей золота. Хорошо стбит. Можно было купить и пальто, и ботиночки. Платице из ситчика такого тоненького. Мама и рукава залагает, и живот залагает, и фартушек, и локти залагает, тогда покрасит. Мама и сама ткала полотно, ручники. А на одежду не ткали. Ткали на одежду только в войну. Мама ткала и мне пошила, и моей свекрови пошила. Красенькая клеточка и синенькая клеточка. Это льняное было платице. Ткали в войну. Льна направили, покрасили. И мне платице пошили, и юбочка — такая клеточка красенькая, и клеточка синенькая. Из тоненького льна.

Гром контузил [маму], а бабушку насмерть убил. Пошли они жать к людям. Надо было за быка или за корову жать. Я была маленькая, и был братик у меня маленький. И мама заходит домой, и бабушка своим дочкам говорит, от другого уже отца, отчима. Потому что отец умер, мама взяла другого отца, да уже у отца было две дочки. Так бабушка говорит: Филина и Таня, смотрите детей. Это уже меня, и Нину, и Колика смотрите. Как их душечка чувствовала. И пошли жать. И гром бабушку насмерть убил, а маму везли неживую и закопали в яму, в глину, вот до сюда [по шею]. И все люди шли и смотрели, она лежала в яме. Бабушка, мамина мама, взяла Колика на грудь, а я соску пустую ему дала, а я все тиснула бутылочку эту, чтобы молоко ему капало. Потому что мама же в поле была, а мы дети были. Так мы ту бутылочку молока коровьего ему дали, а я все ту бутылочку тиснула, чтобы он сосал. А бабушку уже несли хоронить. И очень же ее дочки плакали, от второго мужа, они девушки были. Назавтра пошли, могилку рыли, могилка за нашим домом была, и я рыла. Филина и Татьяна плакали, и я с ними. Они же нянчили меня, в одном же доме. И я драла эту могилку, и я плакала. А Колик был маленький, грудь мамину сосал. Видите, оставила дитя малое, пошла жать к людям. И должна была прийти в обед, покормить, и гром убил. Она выжила, еще сколько детей [родила]. По шею в землю закапывали. Сказали, глина оттянет гром. И оттянула. Была закопана по голову. Я помню, все шли смотреть.

Мне было десять лет, сестре двенадцать. Это был апрель 16 или 17, накануне праздника. Мама говорит на меня и на ту Нину: пошли навоз разбивать. Папа навозил на полгектара навоза и кучками [разбросал]. Теперь так машинами, а раньше: вот скинут тут, и скинут там. Мы приходим на поле, мне десять, а сестре двенадцать. Мама закатывает рукава платиц. Босые. Мама берет вилы и разбрасывает так на вытяжку, на вытяжку. А мы руками так трясем. А мама говорит: «Ровно трясите, а то будет поле пустое, папа будет ругаться». И мы стараемся так трясти.

¹² Шумова Л. И., 1923 г. р., г. пос. Мир, Кареличский р-н, Гродненская обл.

¹³ Ацэцкая Н. Ф., 1923 г. р., г. пос. Мир, Кареличский р-н, Гродненская обл.

Мама кончает нам раскидывать. Она же скорее разбрасывает. Какие же у нас те ручки были: десять лет и двенадцать. И говорит: «Я пойду обед готовить, а вы приходите домой». Мы разбили, приходим домой. У нас так сени, кухня и печь, и палочек. На палочке стоит мамина мама, бабушка, да и говорит: «Вот, девчонки, вам помощница родилась». И показывает нам девочку. Вот она оставила нас в поле, пока мы пришли, она уже родила девочку. Она так старалась: все бегом, все кинь, кинь. У нас бабушки принимали роды. Мамина мама принимала. Она держит девочку в пеленочках. И мама на печи. А где нам до той помощницы — мы есть хотим. Ей 78. Я это никогда не забуду.

Сажали картошку: я и сестра. А брату 10 лет, а я уже была, может, двенадцать. Мама ему подвязала на шею такую шлеечку к плугу, потому что ему тяжело было. И мы сажали картошку. А едут из Браносова люди по дороге, останавливают лошадь и говорят: «Дети, поставьте коня. Вы плохо пашете. Глубоко плуг берет. Надо, чтобы плуг плитше. Потому что тогда придется раз обогнать, потом еще раз. Потому что будет очень глубоко картошка, и не будет родить». «А что же делать?» — мой братик говорит. «А вот этот ланцужок переменя вот сюда». Переменял и говорит: «Паши. Вот видишь, как уже неглубоко». А я говорю: «Спасибо, дядя, вам». А он говорит: «Вот хорошая девочка! Как тебя зовут?» А он держал плуг [на ланцужке], чтобы ему легко было, а чтобы ему в руках легче было, потому что в руках бы уже он не удержал. А папа пошел на Кореличи, на Серчави на реке мост делал, ему платили деньги. Он зарабатывал деньги, весна пришла, надо было же и хлеб, и все. А поле надо делать, хоть у нас немного было. Была сестра Нина, я, а тогда уже этот Коля. Я уже имела двенадцать, а ему десять и мама вместе. У нас было четыре десятины, так, может, полдесятины было на картошку. Потому что это же и ячменя, и овса, и ржи, и пшеницы [посеять надо]. Конь тянул плуг, а он за плугом шел. Отец ходил заработать, не работал все время. Мост делать, дом кому ставить. Он был плотник. Нигде не учился, сам через себя.

Работаем день. Вечером или прядем, или что. Спим, встанем рано, снова работаем. Мы в поле жнем целый день. Горячо! С 9 до 10. Я сама жала. Тут вот течет. Пот течет. Весь мокрый. А серпом жнешь, пот ручьем идет. А ноги поцарапаем — раны. Кровь течет. А мы же босые. А ноги — нарывы. И целый денечек жнем.

Отец читать читал, но слабо, мама не умела. Где же там, то все войны, а дети. Она, может, и в школу не ходила, слабо что-то они читали. Мама ходила в церковь петь, так знала читать. Наша мама совсем мало жила, может, в 1949 г. умерла. Родила еще последнюю девочку, и в вой-

ну лечения не было. Этот врач говорит: средства нет. То там партизаны в Турце, и немцы, и в Мире немцы. Не доехать было до Мира.

Помню, бабушка наварит картошки, тогда муки. Сделает пирожки, и на лопату в печь. Тогда потолчет мак, макает в мак, и нам давала это. Картошка, огурец, репа, редька. Этих смаков не было, что сейчас. Сало мало кто видел. На Рождество елку украшали, пекли булки с маком, рыбу в тесте, смаженки с маком, кутью. В праздничный вечер перед ужином мы садились на покуть¹ и папа с порога начинал «сеять», то есть бросать зерно. Мы фартухи держали, и у кого сколько в фартухе зерен окажется, столько и барашков будет. Целый день ели постное, никакого мяса, на следующий день — колбаса с верещакою² и кутья с салом. Пост длился 6 недель. Обязательно на ужин ели булки с маком. Мак на Рождество был обязательно. Шли в клуб на танцы на всю ночь, перед этим выпивали водки по 3 рюмки из цекушки. Проходила большая служба в церкви. В наше время было много танцев: полька, лявониха, абэрак, краковяк, подиспан, а также дамский вальс (девушки приглашали парней).

Училась в польской школе. В первый класс ходили — до двадцати только считали. Писать учили в первом классе: колочко³ там. Рамка была такая черная, и мы писали мелом, а потом тряпочка уже висит — вытрем и другое пишем. А тетрадь была, карандаш был. Торбочка была такая с полотна шитая, на пуговичку застегивалась. Во втором классе считать научились до 100. Я уже как дошла до седьмого класса, то тяжело было: и физика, и химия, и ботаника, и гигиена. Гигиена — это о человеке. А надо было после урока, что мы учились, скелет человека нарисовать: и ребра, и вѣнки, и череп, и голову — все это надо было нарисовать. Назывался «брульон» — это такая толстая тетрадь. И географию: как и моря, как и города, как и глобус этот... я по-вашему не скажу, по-польски называлось “рувник”⁴. Америку, Англию, Австралию. Это была выставка летом. А рисовали на таких больших листах. Бумага такая белая, карбованная. А я так красиво нарисовала Австралию. Принесла в школу, а надо внизу подписаться. А я не написала «Австралия», а написала «Авсралия». Букву пропустила. И красиво нарисовала. А учитель как принял — а-а! А я в плачь, да в крик... А они, что сделали — отрезали бумаги кусочек да приклеили. Потому что чтобы

¹ Красный угол.

² Белорусское блюдо, мачанка.

³ Колочко — кружочек (польск.).

⁴ Рувник — экватор (польск.).

другую рисовать, — это было очень тяжело. А они меня уже пожалели. И я пять получила. Жидовочки, евреечки, давали какую-то книжку, а там вот такая маленькая карта была. А надо было перерисовать, чтобы большая была. Карандашом рисовали, черным, а красили море голубым карандашом. Были цветные карандашики: и голубым красили, а город уже желтеньким кружочком. Это было очень тяжело — география, рисовать. Или гигиену. Вот поучим сегодня там легкие, сердце. А это надо было уже в брульоне том нарисовать этого человека и там уже отметить, где там были эти вены на ногах. А еще была гимнастика, с первого класса и по седьмой. Прежде всего было маршировать, а потом идем по улице, поем. Я уже эти марши забыла.

В школу так мало ходили. Из Турца считанные дети в семилетку ходили, а в четырехлетку все ходили. За школу платить не надо было: ни за четырехлетку, ни за семилетку. Но дорого было все купить для школы. Вот из деревень ходили в школу в лаптях. И тряпки такие из меха. И накрутит вот досюда этими тряпками, и веревочками покрутит. И из деревни придет, эти лапти мокрые. Я не в лаптях ходила, я в ботиночках.

А нас мало было детей: три девочки и пять мальчиков — в седьмом классе. Чтобы меня не взяла школа бесплатно учиться, не было бы [школы], сократили бы. У нас дети учились за Польшей до четырех классов, и коровы пасти. И я бы пошла коров пасти, но сократили бы школу, чтобы не восемь детей. Было бы только в Мире, а это 15 километров. Приходит директор уже: пане Базыле (папа Василь), дайте свою цурку⁵ в школу. А он говорит, я опять отдам, надо одеть и обувь, и книжки, и тетрадки... У нас детей было много. Они говорят: «Мы вам дадим все: и платье, и фартушек, и сумку, только вы нам дайте, чтобы она шла в школу». А я говорю: «Я пойду в школу, уже не буду коров пасти». И тогда у нас остался седьмой класс. А так я бы не окончила. А надо было эти вот брульоны покупать: и на физику, и на химию, и на ботанику. Это все же надо было. А они тогда же дорогие были. Может, грошей 40 или 50, это тогда был пуд ржи — злот. А как брульон стоил 50 [грошей]. У нас было тяжело, не было за что.

И сестра, и одна, и вторая ходили в школу, и брат, в школу повшэхну⁶. Но они уже мало кто окончил ту школу — уже войны были, эти войны и войны. Я одна семь классов закончила, и еще одна. А эти по четыре, по пять. То коров пасти, то детей нянчить. А я выскочила одна.

А потом же эти войны были, то одна, то другая. Школу окончила в 1932 г., а в 1935 г. замуж вышла, было 20 лет.

Мой одноклассник Янка Брыль⁷, он единственный пошел из наших в гимназию, больше никто не пошел. Еще Конюх Сережа пошел, он старше меня, он тоже пошел в гимназию в Новогрудок. Янка Брыль пошел, кажется, в Несвиж. Потом были еще две девочки. Фамилия Бударкевич, они все закончили школы. Потому что они жили на хуторке, у них было много земли, они держали скотину. Они все выучились. Это был Ходоркевич, это он свою дочь [выучил]. Старшие уже потом в Польшу поехали, учительницами были. Они со своими мужьями выехали в Польшу. Те, что младше меня, выучились. Фамилия их Соболевские. Моя фамилия девичья Соболевская, и их — Соболевские. Их отцы были кузнецы. Коней подковывали. Они были зажиточные. У них были средства. И они все выучились на учителей. И еще, когда немцы были и молодежь хватала, так они из Турца мне двух девочек привезли, школьниц, а то бы их или расстреляли, или вывезли. А так мы их спрятали, и они у нас потом выучились на учительниц. У Брыля родители неплохие были, зажиточные. Что же они, коров держали, скотину держали, у них был оборот. У них и мясо было, и колбасы были. Было поля много. Они зерно имели, а у нас было мало земли. У нас на хлеб не хватало, на питание.

Брыли были не бедные, они имели землю. Они могли питаться, хлеб иметь, поросенка выкормить. Если была рожь, была и копейка. А у нас мало земли было. На питание хлеба не хватало. А у них больше было земли, и они оборот имели. Он был хороший парень. Учился хорошо. Напишет хорошо сочинение. Задачи скоро решит. Он способный был. Брыля я видела в Минске пару раз. Я встречалась с ним. Поговорит со мной. Его же родина вот здесь, в Турец как ехать. На горочке. Загорье пишется.

Белорусский язык учили с 5-го класса или с 4-го. Малые только не учили. А мы учили все время. Книжек не было. Только чтение. Я помню, писательница была Уршулька Кохановска, умерла. Дочь учителя Кохановская, да умерла она [читает стихотворение]. Белорусская была читанка. Дома разговаривали на белорусском языке. А какой это белорусский? Вот как по-белорусски говорят теперь наши учителя, так как-то иначе «няхай»⁸. Так красиво. А мы на каком разговариваем? Вот

⁵ Цурка — дочка (польск.).

⁶ Повшэхну — начальная школа (польск.).

⁷ Янка Брыль — белорусский писатель, Народный писатель Беларуси (1981 г.).

⁸ Няхай — пусть (бел.).

как белорусы выступают, так как-то очень красиво, отличается. А мы как-то иначе. По-простому. Газеты иначе пишут. Вот выражение какое-то «Няхай» — так такое красивое. Мне нравится. А мы что-то не то на белорусском, не то на русском. У нас какое-то поломанное. Я газеты вот выписываю. Вот «Полымя», так здесь все же по-белорусски написано. Так мне нравится, как они пишут. И стихотворение. Детки же школу закончили. Может, мы не правильно говорим?

Директора фамилия Юзеф Раневски, жена его — Мария Раневска — наша опекунаша.

Янка Брыль на «пять» учился. Стихотворения слагал. Весной, перед Пасхой, нам пьесу надо было ставить. Все приехали, начальство, а он не пришел. Сорвал. На следующий день: «Где ты был?» А он: «Я пошел на кладбище, писал “Прыход вясны”: птицы летят, аисты летят...». На следующий день принес стихотворение, на него уже и не ругались, не писали. Нравилась его стихотворения, хорошие писал. И нам читал, и учителям читал.

Пьеса такая у нас [была] «Вера, Надежда, Любовь» — они пострадали за закон Божий. Их всех сожгли в бочке. Мать София. Они все пострадали за веру. [Постановка] называлась «Живой образ». Значит — мы живые. Это была Вяра⁹, это — Милость¹⁰, это — Надежда. Нас укутали в белое, голубое, а эта — в розовом. Я держу вверх руки. Это было темно в клубе. Тут свет был. Люди били в ладоши. Это так красиво было. Интересно. Ничего не говорили. Просто стояли на сцене. Это, может, было в 1932-м, может, в 1931 г. Но это было в школе. Значит, открыли, огонь дали. Тишина мертвая. Постояли, может, минуты, потом погасили огонь, чтобы нам немножко отдохнуть можно было. И раз — еще раз показали. Это называется «Живой образ», мы живые, понимаете.

[...] В Турце постановки делали в школе, а еще и так — молодежь делала.

В школе когда наказывали, на колени ставили. Палкой. Такая, что по географии — казка¹¹.

Раньше же евреи торговали, магазины были. В Турце были такие богатые евреи. А материала в магазине было больше в два раза, чем наш дом, и от верха до низа лежали эти рулоны. Лежали, лежали — выбирай какой хочешь. Что мы там выбирали! Дешевенькое хоть, хоть бы прикрыться. Шелк это было нам самое ценное. У меня платье венчальное

было [из шелка]. А так ситчик, как со льна. Одно платье пошьешь, пять лет носишь. Это не як теперь, что вы меняете что месяц. Теперь не сравнивать жизнь с польской жизнью. Дети поучились, у меня дочь врач. Мы получаем пенсию, от детей не требуем.

В Турце было много евреев. Мы хорошо с ними жили. Была какая-то поговорка, что на мацу схватят. Я с евреечками в школу ходила, мне евреечки мацы принесут, угощали меня. А я к ним ходила.

Еврей Моська имел свой кабак, торговал водкой. Я училась с его сыном в одном классе, был очень богатый. Мальчик [—] Моська Кабак. Он красиво танцевал, и я красиво танцевала. И все меня танцевать [приглашал], чтобы я танцевала с ним. Но я с ним не танцевала. Как возьму его за руку, так меня колотит — не могу. А он красиво танцевал. Евреи очень красиво танцевали, не так, как мы. И девочки, и мальчики, так красиво, не так, как мы. Они же не пили, не хулиганили. Соберутся себе и танцуют красивенько, да и научатся. Но мне было противно танцевать с жидом, я предпочтение отдавала танцам с Янкой Брылём, моим одноклассником, хотя он танцевал плохо. [А с Моськой] я танцевать не хотела. Я возьму его за руку, мне кажется, что он воняет. Какая-то рука холодная. «Иди к черту», — говорю. А он и не вонял, он какой-то хороший был. Мне он не нравился. А я ему нравилась. Он хотел со мной дружить, а я с ним не хотела. А как танцевать шли, так я же шла впереди. Надо было же, чтобы было красиво, чтобы и парень шел красиво. А этот Брыль, в сапогах больших, и никак не получалось у него. А потом уже научился. А этот еврейчик — ноги сами у него идут. Потому что они же на своих вечерах красиво танцуют.

И мы идем на вечер, так возьмем бутылочку одну, но вот по столечку попробуем и целую ночь до утра танцуем. На вечер ходили в клуб. Был большой клуб, там оркестр — сами научились [играть] парни. Инструменты пожарники купили: трубы. И вот как похороны или свадьба, так они играли. А как нам вечер, так они в клубе играли. Играли на гитарах, на балалайках. Евреи к нам на танцы не ходили. В пожарной дружине евреев не было. Они торговали мясом и материалом, водкой. Магазин водка, магазин продуктов, два магазина материала. Не так много у нас было евреев, но они все торговали. Пожарники все работали на хозяйстве, а только вечером...

В самаританки¹², знаете, я пошла, когда я окончила семь классов. Одна девочка, учителя дочь, поехала с ними, одна богатая осталась на

⁹ Вяра — Вера (польск.).

¹⁰ Милость — Любовь (польск.).

¹¹ Имеется в виду указка.

¹² Самаританки — польское молодежное движение, специализацией которого является оказание всевозможной медицинской помощи.

хозяйстве. А на самаританки мы только вечером ходили. Приезжает из Мира инструктор, это начальник. Фамилия его была Петух. И он учил нас уроки [давал нам уроки]. И парни же были. Они — пожарники, а мы — самаританки. Ну учили же это. Ну а мы же после семи классов, уже подростки. Как станет этот Петух гигиену рассказывать: вот эта девочка как станет подрастать, годы ей уже, ну все по-женскому. Это что менструации, да все. А они все смеются, парни, а мы уже молчим. А он как крикнет, это чтобы тихо было. Притихнут. Ну учил как к войне готовиться, как повязки. Красная повязка была у нас с белым крестиком. Синее платешка и синенькая шляпочка, беретик. И тут или цепочка, или крестик. Не помню, забыла. Я же не долго была, замуж пошла. Петух учил нас: как война, как засыпать, как детей спасать, как перебинтовать. Это значит, что мы были как медсестры, военное положение. Занятия были два раза в неделю. А я одна была из Турца, и еще одна девочка. Он приезжал к нам два раза. А основное было в Мире. А было раз общее собрание в Мире. И я приехала, вот эта самая Вильчицкая была. Я приехала такая зачуханная, а они были уже больше такие, городские. Мы так, как деревня. Они были такие проворные, приготовили стол красиво, богатый. И апельсины, и лимоны, и торты были. А у нас деревня, беднота. Я не знала, как есть того торта, или лимона. Так я помню, мы тогда очень хорошо гуляли. И этот самый Петух, приятный человек, высокий, красивый. А он же уже женатый был. Как станет нам эту гимнастику делать и плечи выравнивает, чтобы ровно шли, чтобы красиво. В Турце было только две самаританки.

Как в Мир ездила, здесь было много всех: и пожарников много, и самаританок, может, их 20 было тут, всех, а нас только две. И начальство тут было. И музыка, оркестр как заиграет. Тут стол был, а в другом здании — уже танцы. Мирские были больше такие городские, разодеты красиво. А я в форме школьной была еще. Форму самаританок сами шили, ткань сами покупали, они нам только шапочки давали. Форма самаританок была такая, как школьная. То я носила школьную. А уже фартушки мы сняли. Потому что в школе мы были в фартушках. А в самаританках мы фартушки сняли. Юбочка синенькая и кофточка в талию. Синенькая и белый воротничок. Пожарные команды соревновались. Бывало, съезд там в Столбцах или в Мире. И уже кто первый, кто победит.

Я на это не ездила. Я ездила только в Столбцы на областной съезд хора. И мы взяли первую премию. У нас был в Турце хор. Хор церковный, и хор молодежный. Я была и в церковном, и в молодежном. В Яремичах был красивый хор, и красивый директор хора. И там они ре-

шили поехать в Столбцы на соревнование. Мы были Столбцовского повета. И чего те Яремичи, и меня забрали из Турца, и регента хора Турецкого церковного. И батюшкину сестру, она в хоре пела церковном. И приезжала эта шараварка¹³. И он посадит, и завезет, и привезет из Яремич. И мы поехали. Это был Яремичский хор, а нас только трое было из Турца, 5 километров [до Яремич], и нас пригласили, чтобы больше было, наверное. Хорошо пели. И мы взяли первую премию по области. Большущее-большущее пианино. На машине привезли солдаты. Военская часть дала большущую машину. [Когда выступали] жилки все дрожали. А мы взяли первую премию. А там и воинская часть была. И мы когда выступили, они все били [аплодировали]. А там же комиссия сидела. А мы как споем, — все: «Бис, и бис, и бис, и бис!» Тогда повторяем. Хором пели. Там же хор, может, тридцать человек. Песенка такая со словами хорошими. Пели и белорусские, пели «Мой родны кут».

На пианино, которое привезли в Яремичи, играл директор. В Яремичах клуб был, там пианино и поставили. Там тоже был хор церковный и хор людовы¹⁴, общественный. Как надо было поехать на съезд, так людовы принял церковный. Соединились и поехали. Пианино выиграла в 1933 г.

На праздник нас привезли, назначили фурманку, была шараварка. Было назначено: вот едь туда. Надо поехать, придет солтыс¹⁵ — едь в Турец, едь в Столбцы. Это государственный налог был какой-то. Значит, ему не платили этому человеку ничего. Надо было ехать этому человеку. Были назначены дни этому человеку. Может, и по десять или по сколько. Мостили улицу, тракт Столбцовский. Я сама, может десять дней, имела шараварки. Утром идешь — и до вечера. Тракт, дорогу делали. Нам же никто не платил. Нам надо было делать, десять дней мне надо было пойти отработать. А были шараварки на коней. Вот сколько там, пять раз в месяц, или сколько. Вот нам назначили эту шараварку. Вот он меня привез и обратно домой завез.

Ездили в Несвиж. Это я в шестом классе была. Посмотрели князя. Там этих всех [князей] замок. Поехали, пробыли там день, а ночью поехали домой. Классом поехали. С нами был какой-то нехороший, невоспитанный [мальчик]. И он меня толкнул с воза, когда ехали в горочку. И я выбила руку. Меня посадили на воз. Прихожу домой, плачу: «Иди, мама, ко мне, я же не разденусь». В двух местах руки вывих. Говорю:

¹³ Правильно «шарврки» — дорожная повинность в Польше.

¹⁴ Хор людовы — народный хор (польск.).

¹⁵ Солтыс — староста (польск.).

«Мама, Ярдынский Вова меня толкнул с воза». И мы тогда пошли, у нас там один человек в Турце, и он меня натягивал. То я ему и руки, и ноги грызла. Ну наставил. Наставил. Я падала на колени, а он наставил и увязал платком. И ни к доктору, ни к кому не пошли. Он славился, что умел лечить. Не шептал, ничего. Он только одни вывихи лечил. А если живот болел, так был у нас один. И люди все едут через двор моего дедушки, придет там женщина, или дети, так уже заведут к нему, и он уже там [*лечит*]. А мы уже спрашиваем, что там. А он скажет — уже перца там или еще чего. А Бог его знает, помогало ли или нет. Но ездили.

В Турце были платные доктора. А был один еврей, или он ученый, или не ученый. Был неженатый. Он никогда не мылся, не переодевался. Мы ему говорили: «Фельдшер». Он придет (он платы никогда не брал), он придет, и вы скажите — вылечит! Ему евреи дадут поесть, и люди дадут. И он сидя поспит у евреев в коридоре, вот так вот. У него и дома не было своего, ни забора. А почему он не мылся? У него же не было дома. Он же был одинок. У наших людей он не спал. А у евреев были такие дома большие. Не у всех евреев такие дома были. Пару таких домов, может, более богатых. И он сядет около стола, повесится вот так и так спит. И так всю жизнь жил. Почему у него дома не было — не знаю. Он спокойный. Но страшный, темный, оброс. Вши ходили по нему. Доктор такой был. Ну, клянусь вам, как придет, как посмотрит, как даст рецепт — и поправится ребенок. Моя сестра на менингит заболела. Уже и платьице пошили [*хоронить ее*], она и не говорила, и не ходила. Уже и платьице пошили. А потом уже солнце заходит, и моя мама пришла, а она глазки — думали умирает, а у нее кризис был. А она поправилась. Доктор к ней этот ходил. А мы корову продали и покупали лекарство. Еврейская аптека была в Турце. По его рецептам мы покупали и лечились. Но что скажет, и человек поправится.

Евреи помощи нам не давали. А евреям своим бедным помогали. В субботу испекут халы, такие красивые булки, и сейчас же им приносят, а у них уже свечки горят. И они уже едят халы и куриный суп. Это было блюдо такое религиозное. И эти бедные уже не страдали. Они не могли купить себе, им приносили. Назначено было, кому что нести. Дружные они, евреи. Я прожила, не видела, чтобы они дрались, не видела пьяного, ни хулиганились. Гар-гр-гр-гр.

Как евреи к белорусам относились?

Белорус придет — ткань возьмет или сахара. Да и до свидания. У нас не было с ними никаких дел. И дружить не дружили, и драться не дрались. Придем, что уторгуем, то наше счастье, а не уторгуем... А нет денег, так не купишь.

А в долг не давали?

В долг давали. Они знали, кто отдаст. А может, они кому и не давали. А мы и не брали в долг. Сколько есть, столько и покупали. А с чего было брать в долг. Как у меня были копейки, то я пошла [*купила*] платье. А как не было, то не шла. Платье стоило больше, чем пуд ржи. Пуд был 2 или 3 злотых. А злотый были большие деньги.

Были ли в Турце поляки?

В Турце были поляки только учителя. В гмине (как наш горсовет) тоже были поляки. Наши никто не был на работе. Они же были как не ученые, темные, а кто же их возьмет. А если закончил гимназию, то который пробился, может учителем работать. Вот наши, которые выучились, в путь отъехали. Как же он будет работать, если четыре класса закончил? Вот со мной были девочки, они выучились, а я уже дома была. Вот они из Несвижа приехали домой на каникулы. И они пришли меня пригласить. Пригласили на свой вечер. Ну и парни из Новогрудка приехали. И этот Конюх¹⁶ приехал. Взяли гитару. Ну, думаю, о чем же я с ними буду говорить. Они же учатся. Хорошие девочки. Гитару, мандолину, балалайку взяли эти мальчики из Новогрудка. Эти мальчики, они постарше меня были, может, на год-два. И они пробались учиться. Ну что уже. Этот вечер красивый. Поставили они уже (зажиточные они были, у них был наемный пастух, наемная работница, потому что у них много было коров), поставили бутылочку вина, печенье там, все, что могли на Рождество. И скромненько мы сели, чаю попили, булочки. Игралась, пели, танцевали. Так, скромненький вечерок такой, хороший. Что же, уже студенты... А я уже, знаете, сижу около них [*начинает плакать*] ...они уже про свою учебу говорят, а я все слушаю. Также хотела учиться [*плачет*].

В Мир вышла замуж в 1935 г. Муж безграмотный был, расписаться умел.

Мужа мать умерла с родов. Ему было 4 годика, а сестре было 2 годика. Отец женился. У матери детей не было. Он коров пас, а с 10 лет стал делать сапоги при отце. Отец делал, так и он. Пойдет в школу, катается день с горы там около замка¹⁷. Придет мокрый. «Где ты был?» — мать спрашивает. — «В школе». А мать и не знает. Приходит учитель: «Почему ваш мальчик не ходит в школу?» — «Как?» А мачеха же не будет бить. Отец говорит: «Иди коров пасти!» Пошел. Пришли люди, говорят: «Коровы вреда наделали, а он уже спит в поле». Тогда отец говорит:

¹⁶ Белорусский певец.

¹⁷ Замок XVI в. Святополк-Мирских в Мире.

«Ну иди сапоги делать». Сел он. В 12 лет делал уже в день пару. А он делал ботиночки, туфельки милиционерам, полиции, учителям. Он как делает туфельки, сапожки — куколка. Шил на машине и руками.

Вышла замуж. Двое деток умерло первых. Мальчик родился. Мужа забрала польская армия. Как забрали в 1939-м на два дня на сборы какие-то, как пошел, так и месяц, и два, и три нет. Забрали 29 марта. А летом вырвался в отпуск. А мы слышали, говорили люди, что советы придут. Надо немного что припрятать. У людей были подпольные телефоны. Радио. Имели связь с Россией, Польшей. И к нам пришла моего мужа сестра и говорит: «Что есть — припрятать. Придут советы на днях». А мне же нет мужа. А ему говорят, что вот придут советы, — не иди ты в армию, спрячься на пару дней. А он говорит: «Если я не пойду в Варшаву, — вас постреляют». А кто же — его родители и мальчик мой маленький. Ему было пять месяцев, родился перед Новым годом. «А что же, — говорим, — иди». Он пошел в пятницу, а в воскресенье советы пришли. Вот если бы два дня спрятанный был, было бы все.

Мой сосед — поляк Баздыга — учил военному делу детей-осадников¹⁸. Он был тихий и добрый. Однажды я пришла к нему в гости, он мне сказал, что в российских колхозах голод, хлеб выдают кусочками, а мы не верили — у евреев же можно было купить какой хочешь хлеб. У Баздыги было радио, и он знал, что советы придут. Когда советы пришли, милиционеры и он сразу уехали, только они, а все остальные остались.

Однажды прибежал ко мне милиционер и говорит: «Пани, убегайте, советы идут!» А куда я побегу? Сыну 9 месяцев, а мне 19 лет, мужа нет — в армию забрали. Я ребенка схватила и побежала на хуторок. Потом все было тихо. Советы тихонько пришли. Мы-то пошли в лес, я забрала ребенка, ему питание. А свекровь и свекр в доме сидели. Войны боялись, что стрельба будет, будут пожары. Я не знала. А свекр и свекровь — они пережили войны, они знали, как это прежде было. Это я уже потом пережила советы, немцев и снова советы. А они же уже зна-

¹⁸ Осадники — военные и гражданские колонисты, переселяемые польским правительством из районов коренной Польши в Западную Беларусь и Западную Украину. Осадники получали на льготных условиях или бесплатно участки (осады) по 12—45 га, кредиты, строительные материалы, различный инвентарь. Получали земельные наделы главным образом старшие и младшие офицеры. До 1930 г. в Западную Беларусь были переселены 4434 военных осадника, в 1920—1930-е гг. — несколько тысяч гражданских. Осадники селились хуторами, преимущественно вдоль советско-польской границы.

ли: надо, чтобы хлеб был спрятанный, чтобы сахар, соль. Я и пошла. Но, слава Богу, советы тихонько пришли. Прибегает ко мне сестра и говорит: «Уже тихо, можно возвращаться». Пришла моя свекровь тут на хуторок, забрала меня. Ну и уже советы пришли к нам ночевать. На кониках каких-то замороженных, а сами в черных рубашечках и беленькие пуговички, солдатиками. Ну они у нас переночевали и дальше пошли. И дальше пошли. Тихо. Мы им есть дали. Мы их приютили, утречком они скоренько пошли.

Как встречали Красную армию?

Радовались люди, как они шли. Радовались. Вот на этой улице стол поставили, как от нас на Минск *[ехать]*. Хлеб, соль. Красивенько встречали. У нас были коммунисты, но мы их не знали, что они у нас были: Сташевский, Пушкарская. Они были подпольщики. Но мы не знали, что они были, узнали потом, когда они свою автобиографию рассказывали. Они работали подпольно. А с кем они работали, мы ничего не знали. Не видели ни писем, ни бесед. А когда пришла советская власть, они пошли все в организацию. Пошли работать, они же уже люди понимающие. И другие, простые люди стол выносили *[когда встречали Красную армию]*.

А почему радовались?

Ну понимаете, свои же люди пришли. Такие же, как мы. Ну мы — белорусы, а они — Россия. Ну такие же, как мы. Поляки были у нас, у нас была польская власть. И учителя — поляки, и в горсовете — поляк, и на почте — поляк. Все были поляки. Ну не мы. Все на польском языке. Мы придем в гмину — ну по-польски: «Прошэ, прошэ». А мы сами с собой говорим, вот в школе по-польски говорили, а дома по-белорусски, дети с нами говорят по-нашему. В школе Закон Божий по-польски говорили, а наш не говорили. Батюшка Закон Божий читал два раза в неделю в школе. А католикам учительница вела урок, директора жена. Евреи шли в синагогу. А как идет батюшка в школу, так евреи летят, куда *[кто]*, чтобы не слышать, чтобы не встретиться с батюшкой. А тогда уже учителя дали им такой приказ: «Если вы не поклонитесь батюшке, не приветствуете батюшку, — мы вас исключим». Ну чего бояться батюшку? Ну чего мы будем бояться их раввина, если их раввин идет? Раввин в Турце был. А татар в Турце не было. В Мире были. Синагога была в Турце. В ней молятся, собираются. Кучки¹⁹ делают осенью. Какой-то праздник. С елками, так накроют елками. А наши дети какие-то

¹⁹ Еврейский праздник Суккот.

дурные. Иногда пойдут в те кучки, камни бросают. Чего и что? Лихо их знает. Ну не все, но вот найдется каких-то пара дурней.

Советская власть пришла. Все были рады. Солдаты были одеты в черные рубашки с белыми пуговицами. Несколько человек пришли переночевать ко мне. Мы говорили о колхозах.

Сразу начали назначать новую власть. В горсовете — Сташевский Лёня, был десятидворник — главный на улице. Один из них — Шейма. Они носили красные ленточки на рукаве. Ввели налоговую систему. Налоги были большеватые. Некоторые не могли их заплатить, а те, кто платил, — самим ничего не оставалось. Польские деньги обесценились в один день. Мы продали корову, а на следующий день на эти деньги смогли купить только 2—3 метра ткани и туфельки — стоимость [денег] упала.

В Турце было много евреев. Немцы убивали их там. Как ехать в Кареличи, налево было еврейское кладбище. Мой брат говорил (потому что я уже замужем была [*жила в Мире*]), когда били евреев, выкопали яму и их... И взяли еще [*ту, что*] выбрали ее депутатом. Ничего она не делала плохого. Выбрали ее в горсовет местный. На месте порядок какой, ну знаете, надо же, чтобы на месте человек какой был избран. Вот ее выбрали, она будто бы понимает, как руководить, порядок какой будет. Люди ее выбрали. Как били евреев, и ее забрали. А там же были турецкие парни [*полицай*], на нее говорят: «Беги!» Они ей махнули: «Беги!» И она убежала. И что забыла же куртку, она же раздевалась. Прибежала куртку брать, а тут немец нарвался и застрелил. Потому что там же [*в полиции*] было много наших парней, не один же мой брат. А она пришла куртку брать. Видите, какое счастье. А свои же защищали, хоть они были в обороне, подскажут когда-нибудь что-нибудь. Известно, свои дети. Может, и тетка, а может, и дядька, так мало что немец и немец. А если немец хочет взять кабана или что-нибудь, так они услышат [*и предупредят*], чтобы спрятали или припрятали. Полицаи добрые были. А что же им было сделать: власть пришла. А что бы вы делали? Вам власть пришла, винтовку дала и стой делай. Когда-то были самооборонцы²⁰, то же, что полицаи, то же самое. Они пришли, винтовки дали, работайте. Все полицаи должны были ходить на партизан с немцами. Если идут на партизан, то и наши — все шли вместе. Немцы их брали с собой, впереди ставили.

²⁰ Для поддержания своего «порядка» и борьбы против партизан и подпольщиков гитлеровцы создали из числа местных жителей так называемую вспомогательную полицию порядка (самооборону).

Брата забрали старшего, еще при поляках, еще был маленький. А пришли уже советы, ему винтовку дали в руки, и вместо армии он служил на месте. Первые советы²¹ дали ему винтовку. Советы пошли, он жив остался. Немцы дали ему винтовку. Он полицай был. Как немцы шли, приходили советы [*в 1944 г.*], так он пошел где-то. И по сей день мы не знаем, где он. Может, если бы жив был, так показался бы...

Погорели в войну, все сгорело.

В 1944-м родила я дочку (немцы после уже и пошли). И ей 6 или 7 недель было. Война стала [*наступала Красная армия*]. Парашютистки летали. А мальчику моему было 5 годиков. В лес пошли. А после пришли из лесу, все сгорело, дом. Муж поправил, и на войну забрали снова. И до этого был на войне, в плену сидел. В 1928 г. забрали и до 1938-го, в 1938-м у меня и сын родился, а в 1939-м снова забрали, так как забрали, аж пришел в 1942 г. В плену был. Его забрали в польскую армию на сутки или на двое [*на сборы*], а оказалось как забрали, так забрали. Он там был, и война стала. Советы к нам пришли, а потом и немцы. Потом от немцев освободили, снова советы в 1944-м пришли.

Когда мой муж был где-то в лагере, прислал какую-то посылку, так мы уже нашили себе платьица. Ситчика прислал. Это он был у немцев в лагере. А там же немецкая земля была. В лагере, говорил, как пошли к хозяину, то уже и ели. Работали у хозяина: он свиней кормил и пахали. Их хорошо кормили. Он попал в плен, а потом работал на хозяина. А после пришел в отпуск от немцев. А у нас тут тоже немцы стояли, так он взял справку. Тут была артель сапожная, так он тут при немцах в артели работал. Надо было ремонтировать обувь. Немцы послали тем [*хозяевам*] ответ, что он тут работает. А так могли под конвоем немецким и казнить. Поехал в Барановичи к какому-то начальству, надо же было откупиться, откупился. Малая родилась, 6 недель было, снова забрали. Но Бог дал — вернулся.

Этот домик уже строили, муж пришел. В 1944-м его забрали [*в Красную армию*], девочке было 6 недель, а пришел уже, как освободили, уже девочка моя ходила, в 1945-м. Побыли без него, может, полтора года.

Высылали в Сибирь после войны, некоторые [*полицаи*] не убежали, так арестовали. Тут была тюрьма, маленький домик. Давали им по много лет. Тюремю построили после войны, а тут построили что-то немцы. А судили и на 12, и на 15 лет. Судили. Много давали.

²¹ «Первые советы». Жители Западной Беларуси выделяют следующие периоды: «за Польшей» (1921—1939 гг.), «Первые советы» (1939—1941 гг.), «война или за немцем» (1941—1944 гг.), «Вторые советы» (с 1944 г.).

Приедут: «Ты, такой, такой!» Вывезут, да и все. У нас, соседей, они работали, кожи выделывали. Землю обрабатывали. Взяли семью, вывезли, да все. Потом вот там дальше, наши соседи [*их тоже вывезли*]. Потом какую-то молодежь. Учились в Барановичах, на медсестер учились. Они вывезли их, они сидели, потом вернулись. Они сейчас получают пособие за то, что они были вывезены. Немец себе вывозил молодежь, а после советы вывозили этих вот.

Я чуть не попала. Мы жили в том доме. А этих все нищих много приходило, голодающих. А мы все то то дадим, то это дадим. А я как дурная и говорю: «Ах, Боже ж мой, что война эта наделала, что этот Сталин наделал! Нищих так много!» А этот десятидворник меня за руку, и все. А как раз вот здесь, где маленький домичек, тут была тюрьма. И тут эта молодежь сидела, что их арестовали. Я думаю: «Боже ж мой, и я тут буду! И дитя же это маленькое, и мальчик, и мужа нет. Что я сделала!» Приехал мой папа и к этому [*десяти*]дворнику. А соседка говорит: «Слушай, Ванька, она тронулась, она с нами все время ругается. Вот и ляпнула!»

Соседка крестила дома ребенка моего [*была за крестную мать*], потому что двое первых деточек умерло. У нее был муж военный, он обучал молодых мальчиков, к армии [*готовил*]. Он поехал в Столбцы, а ее с детками вывезли. Маленьких двое деток. Она портниха была. Вывезли. Ну после она из России переехала в Польшу, потому что он был в Польше. Она была портниха, брала машину, а наши люди, что были в милиции, то уже не давали ей эту машину. А один: «Давай она будет солдатам рукавицы шить, хлеб заработает». И машину на воз, и на вокзал в Столбцы. И она жила там в России с двумя детками и была портнихой. И шила рукавицы, брюки, в армию. Она на квартире тут рядом жила. Когда ее вывозили, я хотела ей дать крупки с собой или чего. Так наши не дали.

А как жилось после войны?

Стали жить. Пошла на работу в колхоз. Колхоз был в Мире. Потом пошла в больницу. В больнице мало работала. Потом пошла на птицефабрику птичницей и оттуда пошла на пенсию.

У нас была земля. Когда немцы были, мы сеяли и работали. А когда немцы пошли, пришли советы, мы тоже сеяли, год или два.

После войны было трудно. Колхоз был, а хотели же держать корову. А сожнем руками, а тогда эту соломку жнем корове. И моя эта девочка (она после училась в медицинском институте). Жали мы эту соломку. Сорняков нарвали, приносили, сушили корове. Очень было тяжело. Потому что надо же было и колхозу. Давали сотки и травы косить. И нам

отрежет там кусочек сена [*сенокоса*]. И мы выработывали, корову кормили. Тяжело было. А строились! Стройка! У нас была корова и телка. Телка должна была отелиться. А у нас был сарай не оконченный там, дом сгорел. А скотина там стояла в том здании, оно уцелело. Мы отдали эту телку, и нам дали за телку дерево. Людям отдали. Люди из Лужи, они выезжали в Польшу, поляки²². У них было дерево, они еще не выехали, и нам они дали дерево, а мы им дали корову, потому что у них партизаны все забрали. А у нас была матера свинка и дала нам много поросятков. А там у людей не было ни поросят, ни коров, потому что все партизаны забрали. Так мы давали по поросенку людям, а нам люди приезжали на лошади, привозили то дерево. На этот вот дом. Свекр был, и моя свекровь была. Лужа — это родина свекрови. Рожь росла у нас посеянная, еще до колхоза. Было 4 морга земли своей. У нас было посеяно зерно, еще была война, у нас еще немцы были. Мастера делали дом, а мы сжали, обмолотили и им дали зерно, хлеб. А они сами восточники²³, из России приезжали, они и построили этот дом. А потом уже кончали сами. То поросенка продавали, то то. Не окончили. Окончили только одну маленькую комнату, чтобы ребенку сесть. Тут люди жили, дай Бог им здоровья, так они нас взяли. А так никто меня не хотел брать: ребенок маленький, три месяца. А на зиму, говорят, будет же плакать. А уже пеленки замерзали [*плачет*]. А она была спокойная. Я ей дам сахара, хлеба в тряпочку наложу, и она сосала и спала. И мальчик в ногах. Четыре семьи было в доме. Наша семья была: я, двое детей, свекр и свекровь. Одна женщина еще там жила, мать с дочерью, одна семья. Все болели тифом, но наша семья нет.

А те хозяева так нас полюбили, плакали, когда мы уходили. Маленькую комнатку окончили, пошли. Ничего мы им не платили, так пустили. У них дров не было, а мы имели дрова, нам же было близенько — на углу второй дом. Мы тут [*на пожарище своего дома*] печь сделали, есть готовили поросяткам и корове. Там только спали, а тут я и стирала, все. Мы не платили, мы давали дрова, топили печь. Они рады, что протопить есть, они же старики. Еще мой свекр был сапожником. И сапожки поправит, туфли. Так кто-нибудь принесет или сыр, или яйцо, так мы

²² В результате послевоенных соглашений между Польшей и СССР был разрешен выезд поляков из СССР в Польшу, независимо от того, где они находились на момент принятия постановления.

²³ «Восточниками» жители Западной Беларуси называли жителей советской Беларуси, Украины и России.

уже поделимся с ними. А потом, как мой хозяин пришел, так он пошел в артель сапожную. Он был хороший сапожник.

Как было с хлебом после войны?

После войны, где тот хлеб?! Адечка какая-то, а горький! Свежр же сапожником был, так заработает. А носила молоть аж за двенадцать километров. Это на свою родину (Турец). А на своих же плечах. Да и ночевала там ночь. А девочку кормила [*грудью*]. Пришла, а девочка перестала брать грудь. А мои груди разнесло страшно. Тяжело было, в мельницу занести, на плечо. А сколько занесешь — пудик, больше не поднимешь. Пару лет после войны было так. А потом стали уже как-то продавать хлеб, хоть и карточки были. А хлеб был какой-то... Так картошку сажали. Картошка, травка, муки — да и что-то же было уже. С голода не умирали. А коровку держали все время. С хлебом было трудно первых пару лет.

Все же погорело. У моей мамы лен был, нитки натяли, так моя мама выткала такими клеточками красна-синими, и мы пошили себе платья, юбочки и рубахи льняные. Наткали, набелили и голые не ходили.

В магазин была с вечера очередь, чтобы купить мальчику на ножки ботиночки. И ночуем там около магазина. Придешь, а когда возьмешь, а когда и нет, ничего не возьмешь. Как станут драться, как станут скубтись. Но купила ботиночки, и костюмчик какой-то купила. Помню, мягенькие ботиночки купила ему, целую ночь в очереди стояла. А за сахаром! Придешь, тот сахар принесешь — и плечи черные, и голова разбитая. Пусть Бог обносит. Тяжело было. Хлеб да соль. Картошка главное. Так уже ж не голод, уже не умрешь.

Были люди, как-то торговали. Поедут, привезут. Так они же дорого хотят. Или бензина достанешь, вот палить лампочку, так то муки, то ржи надо дать. Как-то же кидались, как-то меняли. Что-то же было. Сахара не было где достать. Трудно было сахар достать. Как на лекарство купим как-то, хоть ребенку на лекарство. Кто ж его так пил или ел. Первые годы тяжело было.

Дочке шести [*лет*] не было, как пошла в школу. Мы копали картошку, ее оставили с бабушкой. Все дети пошли в школу, а ее оставили на улице. Плачет. А у нас жила дамочка на квартире, да без детей. Пришла на обед, а она плачет: «Отведите, тетя Мария, меня в школу». Что же это делает, эта квартирантка, одевает ей платьице, вяжет бантики [*ведет в школу*]. Говорит: «Возьмите дитя в школу, потому что треснет за день на улице. Нет же детей. Пусть посидит у вас хоть. Придут родители да что-то будем делать». Прихожу я домой. А она: «Я в школе была! Так учительница сказала, чтобы помыла чисто руки и уши и завтра при-

шла». Что же мне делать? Думаю: «Иди!» Ночь она спать не спала, все чтобы скорее идти. Да и пошла. А после вызывают в школу, говорят: «Смотрит на учительницу, так не моргнет, все слушает». А после прибежала из школы, плачет: «Нам учительница рассказывала как Зою Космодемьянскую мучали».

Когда моя девочка шла в школу (ей не было 6 лет как пошла в школу), так уже сказали, чтобы бабушки, дедушки шли в колхоз. Она пошла в первый класс: «Бабушка, учительница сказала, чтобы шли в колхоз, потому что я в школу не буду ходить». Хозяин не пошел в колхоз, хозяин пошел в артель. Я тоже не пошла в колхоз, я ходила вместо свекрови [*на ферму*], а потом я пошла на птичник. И нам давали участки, как пошли в колхоз, участки на картошку. Мне дали участок, что я была вместо свекрови, она в колхозе телятницей была. Она поила телят и загоняла вечером, и мой мальчик помогал. Все на цепях было. И ей цепь ударила в глаз, и ей в Минске удалили его. Но давали ей тоже сотки, картошку сажали, поросят держали. И продавали поросят, и себе кололи. Продали поросенка, бабушка купила ему велосипед, потому что он ходил в школу. Он утром везет ей уже есть, где она телят пасет. А я уже ухаживаю в доме. У нас сарай был, мой хозяин построил, потому что сразу не было: у одних положим сено, у других [*что*]. Тогда я жну, копаю картошку — и целое лето все хожу [*отрабатываю*]. Мой отец говорит: «Делай свой». Он и помогал нам строить. Колхоз пришел — забрал. Это же не правильно они сделали: это же родители его в колхозе были, а он числился [*как*] семья отдельная. Он был в артели. Но они приехали, такие были вредные, и комиссия, и все. Ну забрали. У нас не осталось склада. А тогда колхоз и землю забрал. Уже нечего и класть в тот сарай. Этот сарай и теперь стоит еще. А колхоз забирал и коней, и коров, и сарай.

Некоторые не шли в колхоз. Моего мужа сестра, она была замужем. Он не пошел в колхоз. Там пойдет, построит кому дом, кому что. Ничего ему не делали. Ну не имел он привилегий хороших. Он все против был, против. Он и голосовать не шел. Он говорил: «И крышу мне не давали покрыть, была солома». Он просил шифер — не дали, потом снова что-то — не дали, так он и прожил. Были люди, что не шли в колхозы, ну вот гончары, столяры. Ну вот у нас кому было в колхоз идти: старенький отец, к ней [*бабушке*] пристали: «Иди-иди». Она телятницей стала. Никто же не хотел идти на ферму. На ферму идти — надо от зари до зари и ночь. Ну вот она вставала в четыре, надо же наварить теляткам. Она кинула-ринула и пошла, а в доме, а хозяйство? И хозяйство, и на ферму — целый день надо быть. Ну на ферму пошли такие, которые

были свободные, не имели хозяйства. Были такие, что были незамужние старые, пожилые панны такие. Одна была свинарка, вторая — доярка. Ну были доярки и семейные.

А уже как бабушке глаз удалили, она не могла идти в колхоз, так я на ее место. Заяц — Заяц.

До вечера, до темна лен треплем, придем раненько, треплем, стелем в поле, сушим, оббиваем его. Тяжелый труд был. Оплата была совсем плоханькая. Не помню этих денег, может, совсем не давали, копейки какие-то. Очень было тяжело, очень было тяжело. Идешь из колхоза, карзиночку картошки какую-нибудь хватанешь. Страх был. Строго было. Но вот в карман положишь, зернышек курам посыпать в карман положишь. Или принесешь, запаришь и себе блинчик спечешь. Ну а что же было делать? В 1950-м пошли в колхоз.

В колхозе у нас хорошо было. И лен выделявали. Мой мальчик подрос, учился в Минске в Технологическом институте и ходил в колхоз на работу. Как он ехал учиться, ему деньги колхоз выплачивал. Неплохо нам в колхозе было, получали деньги.

А после колхоз расформировался на две части. Часть — открылась птицефабрика. Я пошла на птицефабрику. Как я не была в колхозе. А бабушка уже инвалидом *[была]*, хотя никто инвалидности ей не давал, потому что мы не добивались, потому что дурни были. Нам никто не сказал. Давали ей 20 рублей. А если бы была инвалидом, было б много, но нас никто не поучил. Она имела три операции. И глаз, и кисту, ногу сломала. Жила около сто лет, в 1993-м умерла. Ее фотографировали в газету, она была одна *[из старожил]* по Гродненской области.

Меня пригласил директор, чтобы пошла за птичницу. Никто не хотел идти. А я думаю: «Пойду. Надо же детей учить». На птичнике много денег давали. Но работа-то была тяжелая. Кружечкой цыпляткам водичку наливать. Руки, все эти вены поразрывают. А жарко! Там 35 градусов, там маленькие цыплятки. А после я пошла на большие, после на куры. Еще и на пенсии немного работала. Потом дочка родила вторую девочку и не было куда ее *[девать]*, так я уже ту девочку растила.

Я весила 45 кило, как была на птичнике. А что ж вы думаете! Корова, свиньи, куры, цыплята. А в 6 часов быть на ферме. Затоплю печь в 12, управлюсь до 4, туда-сюда, на ходу посплю и бегу на работу. Время обеда — не поешь. Корову подоить, поросятам дать. А как лето, — у свекрови операция: то глаз удалили, то ногу сломала, то кишку вырезали в животе. Три операции перенесла. А мне же в больницу лететь. Я не могла ходить, спать. Я заболела на легкие. Дочь поступила, дочь аж на третий год поступила, два года по конкурсу не проходила.

Птичник давал деньги лучше, чем в колхозе. *[На]* трудодни в колхозе давали нам зерно, картошку копаем — процент брали хороший, перебираем картошку — по мешку за день давали. Лет десять в колхозе была. На птичнике деньги каждый месяц давали. Под конец уже и в колхозе какие-то деньги были. Там прогрессивка была. Вот льна мы много натрепали или сделали *[много]*. Уже была какая-то добавка, какие-то деньги. Не голодали.

А я в 1960-м, наверное, пошла на птичник, уже девочка училась в институте. Сын учился в Технологическом институте в Минске, это был тогда Лесотехнический. А дочь поступила в Гродно в медицинский институт и уже в Столбцах вышла замуж, там родила.

Надо было на 6 часов цыплят идти кормить, я в четыре и пять иду, караулю шофера, чтобы передать передачу в Гродно, там что-нибудь, баночку или что спакую, караулю шофера, автобус, который идет до Гродно. Так я уже прошу, чтобы он взял, так она там встретит. А сын уже закончил учиться. А свекр умер в 1955 г. В 1955-м сын мой пошел учиться. Свекр очень плакал, что внучек пошел учиться, голодный там будет. Платить за учебу не надо было. Дали общежитие, а мы уже довозили ему питание сами. Отец рюкзак на плечи — и в Столбцы пешком, потому что там уже будет электричка идти. А Столбцы — 20 километров. Он стипендию немножко какую-то получал. Потом он на втором курсе поехал на целину, первый раз был набор на целину, Кустанайская область. Должны были поехать на два месяца, а были три. Говорил: «Степь, зданий не было, только кустики». А был урожай хороший пшеницы. Стоги пшеницы. Стоговали. Вот уже два месяца — нет и нет. Еще на месяц оставили — закончить уборку. Приезжает черный-черный, оборванный. Яше благодать, *[что]* вот такой кусок толстого сала дала соленого в мешочек. Не хотел брать. Мы ему на плечи — бери. Будешь *[отрезать]* по кусочку. И говорил, что это сало было, еще как и ехали домой, всем на пальчик дал. Подрос сильно. Приехал черный, высокий. Ну говорит: «Папа, заработал я денег. Папа, разреши часы мне на них купить». А уже закончил первый курс. Говорит: «Нас обманули, нам надо было больше денег дать». Они же много насушили и наготовили, но комиссия себе взяла деньги. Купил часы, 100 рублей. Это ему дали 100 рублей. Это он работал в Кустанайской области, такая палатка была большая, была буря, эту палатку сорвало, и несло эту палатку. А есть им аэропланом привозили. Там консерву. А он из дому сахара взял кусками, торбу и сала толстого. Так они и прожили. А говорил, что урожай был! Они пшеницу стоговали.

Интервью с Александром Степановичем Шпаком, 1918 г. р.

Записали *И. С. Маховская, И. Н. Романова,*
г. пос. Мир Кареличского р-на Гродненской обл., 12—14 июля 2006 г.

Папа мой, Шелестов Андрей, с Воронежской области, а мама, Ани-сья Ивановна, с Кожева. Я фактически под чужой фамилией, под фамилией первого мужа матери. Первый муж мамы был Шпак Степан, поехал в Америку на заработки и пропал там. Может, в 1910 г., перед войной. Мать была вдовой, у нее была дочь Ольга от того Шпака.

В 1914 г. была война. В деревне стояли солдаты. Она сошлась с солдатом. Потом революция, этот солдат остался. Дезертировал, остался у мамы жить. С полгода жил, и нажили меня. Тогда он надумал поехать навестить родственников. Побыл, едет сюда — все, граница¹. Он там и остался. Но он знал, что родился сын. Тогда он 5 лет не женился, и мать 5 лет не выходила замуж. Через 5 лет мать снова вышла, взяла в примы Терентия Андреевича Максимовича.

А мой отец там деловой был, председателем сельсовета и колхоза, в партию вступил, был уже партийный, и его гоняли по работам. Он все выполнял хорошо и в 1939 г., как перешли границу², сразу пишет письмо, ищет нас. А там женатый был, у него там детей не было, только взял жену с сыном своего товарища, который погиб на войне. Сын был Федя, он был на море капитаном второго ранга.

Получаем мы письмо. А я ни грамма по-русски, только по-польски учился. Мать плачет, говорит, это же отец твой прислал. О, какая радость была! И я вам скажу, как-то завидно было, у других отец есть, а у меня нет родного. И этот отчим не очень такой добрый был, после, как я уже подрос, так он меня, так сказать, полюбил.

Я учился на портного. Могу шить, что захотите. В Кожеве учился у Штыцко Владимира. После две зимы учился в Радуни, у Василя Гурина.

¹ Согласно условиям Брестского мирного договора (3 марта 1918 г.), среди прочих условий от России отделялась часть Беларуси. Граница устанавливалась по линии Двинск — Свентяны — Лида — Пружаны — Брест. Брестский мир был аннулирован согласно Версальским мирным соглашениям (1919 г.). Однако в ходе польско-советской войны и согласно условиям Рижского мирного договора (21 марта 1921 г.) территории Западной Беларуси и Западной Украины включались в состав Польши.

² Сентябрь 1939 г. — присоединение Западной Беларуси к БССР.

И с ним еще одна девочка поехала из Мира. Она в другом институте училась. Отец ее врачом был, скот лечил. Поехала я их в Столбцы про-вожать. Боже! Дали какой-то вагон, телятник, что телят грузят. Окошечки такие вот, маленькие. А много их в Столбцах собралось, отовсюду. На плечи эти рюкзаки. А какой же он был! Маленький, зачуханный. Какая же это жизнь была, это же не теперь. «Прощай, земля целинная» — все пели песни. Они уже побежали в эти вагоны. Музыка. А букеты уже им! А их много!!! И они поехали убирать в Кустанайскую область, из каждого института. Назначили.

Приехал как раз в копание картошки. Штаны полатали, рукава полатали, и пошел учиться.

Вы ходили в церковь при советах?

Я ходила в церковь все время. Мне советы немного грозили, как мои дети учились. Грозили, что поедem в институт, выгоним ваших детей, [за то], что вы в церковь ходите. А я говорю: «Нет! Москва делает. Я не иду, не хулиганю, не краду. Я иду, молюсь, чтобы мои дети были здоровые, чтобы все были здоровые. Вот Господь Бог дал, что наш храм мирский ни разу не горел». Угрожали [мне]. Одна была, она мне: «Поеду, поеду, выброшу твоего сына!» Она пострадала: ее в доме задушили. Вытянули язык, ножом пропороли, в доме задушили. Сильно мучили, голову просекали. Она жила одна в доме. Она была еврейка, была за нашим замужем. Ее семью немцы застрелили. Она все мстила. В Англию поехала, нашла одного человека [полицая], который застрелил. А стреляли — немцы заставляли. Взяли наших людей, оружие дали, повели: «Стреляй!» И она поехала в Англию, и нашла того. Но он уже старый. Его уже не судили, ничего. Он пожил пару месяцев, взволновался и умер. Говорит мне: «Ну, поеду я уже в Мир, и поеду в Англию, привезу человека из Англии, и тут мы его будем казнить!» Слышу, Рубинову похоронили. Я: «Что такое?»

Это Пасха была. Я пошла в церковь и дочку взяла. А мою девочку сфотографировали и пропечатали в газете, что она в церковь ходит, что вино пьет. А меня назавтра вызвали в школу. Я говорю: «Знаете, моя мама, моя бабушка всю жизнь ходили и меня водили, и я взяла, повела ее в церковь. Ну она выпила вина, молилась, крестилась». — «Нельзя!» — «Я больше не поведу». А она хорошо училась. И я больше не повела. А она плачет.

Муж умер в 1991 г., ему был 81-й год. Мужа звали Евгений Константинович Заяц. Муж в артели работал до пенсии, он с 1910 г. Еще немного и на пенсии работал, а после уже и оставил. И я одна теперь. Теперь, слава Богу, [на жизнь] не надо грешить.

Я был уже подростком, может, 15—16 лет, хлопцы другие одеты красивее, а мне отчим не старался что-нибудь лучшего. От, что перепало там. Завидно мне, товарищи мои лучше одеты, сапоги лучшие. А у меня — нет. А двое с нашей деревни служат у пана, это Бояры, Цыринского сельсовета. У войта служат. А войт тот был осадником, Мартин Роля. Хлопцы на год-два старше меня. Пришли они домой и говорят: «Знаешь что, приди к нам служить, коров пасти». Я думаю: «А что, что такого, заработаю». Говорю: «Мама, я пойду служить». — «Иди». Назавтра они поехали или пошли, пошли, тогда мало кто ездил. Сказали мне, куда идти, я и пошел, это километров 10. Прихожу туда к ним: «А не надо нам уже пастуха». Тот говорит, Лёня звался: «Ну хорошо, я отведу тебя к другому пану». Отвел к другому пану, Рулевич фамилия: «Ну что, 10 злотых за месяц. Согласен?» «Ну хорошо, остаюсь». Я у них пробыл 2 недели. О, брат ты мой, там 10 коров, 2 коней, накормить, напоить, о... Потом весна стала, значит, камни собирать на клевере. О, как я пособирал — спина болит! А кормить не очень так это чтобы хорошо кормили, там бульончик какой. Ну потом эта пани говорит: «Ну что, Александр, учись коровы доить». Думаю, о... Ну нет, уже тут не пойдет. Прошло 2 недели, говорю: «Пойду домой белье поменять». «Ну иди». Я как пошел, — до свидания. И денег не забирал, и не вернулся туда.

Тогда приходит снова тот Лёник, говорит, нужен уже пастух к ним туда. Я к ним туда уже иду. Остаюсь у них коровы те пасти. Ну коровы пас, может, 2—3 раза, дети его пасли. Были Зютэк и Регина. Ну и что, также 10 коров было у них, двое коней хороших, в яблочки, красивые. Наше дело было в поле работать, 20 га земли. Так я лучше любил работать, чем лежать возле этих коров. Я не любил лежать. А что там лежать: изгородь, загнал, они же никуда не убегут. Навоз вывозили, помню, 100 параконных возов навоза вывезли. Под картошку. Потом садили картошку, потом косьба — косили. Я любил это делать. А вот этот Лёник и еще один с нашей деревни украли кусок сала, их выгнали. А я один остался. Тогда набрали других, девушек и парней, а я тот самый. Мои обязанности были такие: рано отнести молоко — 2 ведра, в пакт отдавали. Там сыр делал по фамилии Волчок. Носил я с километр 2 ведра молока. Ну ничего, молодой был, крепкий. Отнесу, а дневной удой поставят, центрифуга была большущая, может, на 2 ведра, и крутили, и сметану отбирали, а это свиньям — отгон. Так я что приловчился. Стоит оно неперекрученное, черпак там такой, я себе раз, сметанки. Раза два-три — хорошо! Потому что плохо кормили. Ну вот суп сварят

там, шкварка та бегают. Ну хлеб, ну такой корм. А вьядлины⁴ до черта у них, так не дают, чтоб кусочек вьядлины. Тогда я: «Не пойду на работу! Я договаривался коров пасти. Не пойду на работу! Если не дадите вьядлины, так не пойду. Дайте вьядлины поесть — пойду работать!» То эта пани: «Александр, ну то ходзь, дам кусок». Хлеба еще я поел — пошел работать.

И вот однажды мне очень помогло. Сижу я в кухне, обедаю. А к нему [хозяину] приехали 2 полицианта польские. Там выпивают, закусывают, дверь открытая. И один из них, Мартинек, говорит: «У мне ест бардзо ладны хлопак. Але часто з Хэнькаю круцисе». Он добрый был человек, Мартинек. «А за цо круцисе?» — «Бо яна зле яго карми. Я кшычэ на ёй. А як кажа, накорми добра, то роби и спева!»⁵ ...Это правда была, я любил и петь. И мне тогда очень помогло. Значит, если что: «Не пойду на работу!» А потом вошло в привычку, и на второй год остался еще. Также 10 злотых в месяц платили. Первый год, как я у них служил, делал один [человек] им печь. У них старый дом был, так новый дом построили. Делал печи кафельные. И я помогал. А тот тяп-ляп, руками глину. А я мешал-подавал. Ну те печи сделал ни к черту. На второй год прихожу я к ним служить, давай переделывать печи, взяли этого Блэха из Мира. Помогаю я этому Блэху делать. Так этот Блэх психованный был. Ну потом говорит мне: «Олек, ты бардзо ладны хлопак, але, ну цо, батрак. Зостанься до мене вучыцца за муляжа, з тебе бэндзе человек»⁶. Я думаю: «Грязная это работа каменная». Говорю: «Но мне же нужно закончить служить». «О, так, разумем. Надо кончить. На други рок»⁷. Думаю, мне не нравится это. Лучше, чтобы на столяра! А то за каменщика!

Оделся я тогда, приехал домой, лучше всех парней! Заработал. Оделся, лучше ни у кого одежды не было. За осень, покуда коров пас, 60 злотых заплатили. И все потратил на одежду. Купил я полубекеш, красивый, вышитый таким хромом, пуговички такие, как каштановые. Один пьяница продал. Он 50 злотых тот полубекеш, а он за 20 злотых продал. Из ткани такой, бобриск называлась, сукно такое. Как пиджак. А тот пьяница поносил 2 недели да и продал. Потом купил сапоги, костюм

⁴ Вьядлины — копченое мясо (бел.).

⁵ «У меня есть очень хороший парень, но часто с Хэнькой ссорится». — «А чего ссорится?» — «Потому что она плохо его кормит. Я кричу на нее. А, как говорится, накорми хорошо, так будет работать и петь!» (польск.).

⁶ «Олек, ты очень хороший парень, но, ну что, батрак. Иди ко мне учиться на каменщика, с тебя будет человек» (польск.).

⁷ «О, да, понимаю. Надо окончить. На следующий год» (польск.).

и все. Сапоги хромовые, может, 20 злотых. А тот полубекеш на костюм одевали, как куртка такая. С ремнем. А воротник — цигейка. На вате, теплый. Я его 8 лет носил, любил его, он красивый был. А зимой пошел я шить.

Приходит весна. Что-то мне в голову ударило, думаю: «А чтобы правда пойти к этому Блѣху?» Надумался — пошел. Прихожу сюда в Мир, захожу к нему. Как раз он обед несет. Мне тарелку наливает. У него дом был большой. Пообедали. Говорит: «Ну цо, застанешся до мне вучыцца?»⁸. А я думаю: «Но сколько же он скажет, чтобы я платил?» Потому что попала мне у портного как: он взял четырех, три платили, а я бесплатно был. На два года, может, 40 злотых. «А ты, — говорит, — ходи задаром». Потому что я пошел домой, у мамы прошу денег, а она говорит: «Где тебе взять этих денег?» Я пришел, говорю: «Мать денег не дает». Ему жалко стало, он посмотрел на меня: «Хорошо, ходи задаром». На уступки эти пошел. И я был у него первый ученик, лучший самый. Лучшую работу я выполнял. Шили кожухи, бурки такие шили, костюмы шили, только мужские. Думаю: «Сколько же Блѣх скажет, чтобы я ему платил?» «Пане Блѣх, а на яких то бэндзе варунках?»⁹ Я не сказал, сколько платить. «Я тебе бэндэ плоциць на месяц 15 злотых»¹⁰. Я аж подрост. Думаю, буду учиться, а еще 15 злотых!

Блѣха звали Францишек, а жену он Миська называл. Ему было, по-моему, 50, а жена моложе была. Жену он выписал по газете с Польши. Он и сам был с Польши, с Варшавы. Его брат был инженером тут, у князя. И потом спровадил брата своего. Детей у Блѣха не было. Блѣх после войны умер, году в 1950-м. В войну была здесь баня, так он был банщиком.

Люди удивлялись, как я у него учусь, он был очень нервный, был псих. На день тысячу раз ругается-ругается на меня, а я — ругайся! Я молчу. А потом он ругается — я смеюсь. Он злится. Не бил, только ругался. Он поляк был, так по-польски ругался. Ругается-ругается, то ему не так подал, то ему не так сделал, так все ругается. А потом уже вечером помылись, поели (а работали по имениям, у панов), после уже добрый, уже разговариваем. В Обрине был Кащиц, мы там ремонт делали. Потом делали у пана, Асташин, отсюда километров 20, там Живицкие были паны.

Я уже с ним весну поучился, а осенью меня поставил старшим. Делали мы около Ворончи баню и сушиню, такое здание, в Литаровщине.

⁸ «Ну что, пойдешь ко мне учиться?» (польск.).

⁹ «Господин Блѣх, а на каких это будет условиях?» (польск.).

¹⁰ «Я тебе буду платить в месяц 15 злотых» (польск.).

Эта было примерно в 1937 г. И работали там два каменщика старших, а я молодой, так меня ставили старшим каменщиком. Печи делали, кафельные. Я все мог делать, и штукатурку, и здания, и подвалы. Блѣх был хороший мастер, и я стал неплохой.

Я уже был кавалером. Поеду на велосипеде в другую деревню гулять. Я не засиживался дома, не любил. Приехал — велосипед в куст бух! Целую ночь гуляй, приди — забирай и езжай. Первый велосипед я откупил от полицианта. Я работал в Жуховичах, там через дорогу полициант, у него велосипед «Дюркуб» назывался. Тот велосипед — два новые ни к черту за тот старый, такой хороший был. Я 50 злотых заплатил. Половина. А ему дали новый, казенный. Так он потом меня увидел, говорит: «Тот, старый, лучший нового, новый тяжело ходит, а этот как бабочка». Я на нем долго ездил.

В Обрине парни нашего года парабками были. А мы ремонт делали с Блѣхом. Один год ремонт комнат, а второй — в подвале, там вода текла. Дали нам подсобников. И одного парня не любили те. Он там учился тоже на столяра. Не любили его, а я его защищал. Нельзя обижать парня. Значит, спим мы все на сене, восьмером, он около меня спит. Я его защитник. Однажды: «Пойдем в сад за яблоками!» — «Ты не иди!» — на него. А я говорю: «Нет, пусть и он идет». А там сторож был, это панские яблоки, Кащица. Но Кащиц отдал в аренду еврею какому-то. Тот поставил сторожа сторожить. Ну мы же молодежь, ну нарвали в карманы яблок... Я его защищал, не давал в обиду. И знаете, он мне помог в жизни. Прошли годы, он стал полициантом при немцах. И был такой палач, гадкий, неизвестно какой, убивал своих, такой палач. В Жуховичах было. Забилась у них плита пеплом. А я жил еще в Кожеве, холостяком был. Приезжает один: «Шпак, иди, плиту поремонтируешь». Я приехал на велосипеде, вычистил-вычистил. А вот вскакивает он (их четыре у него были, такие головорезы): «О, здоров!». Узнал, а мы с того не виделись. «Здравствуйте, пане коменданте!» Он был не просто полицай, а комендантом. «Это мой друг!» — этим говорит. Какой я его друг... И после это мне очень помогло. Меня никакой полициант не тронул — Мацуков друг. Брала в батальон [полицейский] сюда, в Мир, набирали молодежь. Я говорю: «Пане коменданте, меня в батальон берут». — «Не будь, не иди». А если бы я попал в батальон, — 25 лет [сталинских лагерей] и все.

Когда я учился, он [Блѣх] платил мне 15 злотых в месяц. И портному я ничего не платил. Вот такое счастье. Этот портной набирал себе учеников. Того портного посадили в тюрьму [Штыцько Владимира с Кожева арестовали за попытку перейти в СССР], тогда мы пошли еще с

одним к Гурину. Штыцько вел пропаганду, там был такой Юрко Бычко, моего возраста, так рот разинет, всегда слушал это все. Я так мимо ушей пускал, мне лишнего ничего не надо, мне работа нужна. А тот Юрко был неизвестно какой любитель. Как пришли советы, — пошел на кладбище памятники бить, кресты. На православное, на свое кладбище. Советы же не любили кресты, значит, и он не стал любить. Потом комсомол стали организовывать, он в комсомол вступил, я так никуда не вступал, ни в какие организации, ни в польские, ни в русские, ни в какие, я знал работу, и все.

Когда пришли советы, ставили какое-то представление. Даже я играл какую-то роль. А его не приняли в спектакль. Он злой. Пошли мы уже танцевать в школу, а он ходит, зубами скрипит, сам не знает, чего он хочет. Я говорю: «Юрко, зубы сломаешь, что ты?» Так он набросился на какого-то парня беззащитного, этот парень не виноват, и давай его бить. И ножом ему ухо порезал. Тогда его забрали и посадили на год. В войну он попал в Андерсову армию¹¹. Потом приехал, уже чести ему не было такой. Заходил к нам в фотографию, говорил: «Чего я такой дурной был?»

...В Обрине работали. Потом на другой год снова приехали. Он первый приехал, а я через неделю пришел. Что-то я занят был. Пришел. Меня вниз, на парабковскую кухню отправили питаться. Плохо. Ага, я не буду терпеть! Я говорю: «Пане Блѣх, берите меня туда наверх». Но он не мог меня туда взять. Управляющему сказал, Царюку. Этот Царюк не берет меня туда, а выписывает меню. Там была Пшыготска, старший повар. «Вот меню, чтобы порция была в день!» День-два подавали по тому меню, а потом снова. Я плюнул и пошел от Блѣха.

Тогда сажу я дома, хозяйство было, приходит один, говорит, что подвал они сделали сами, но хотят, чтобы я оштукатурил подвал. «Когда? Хорошо!» А его брат с другими договорился. А тот ничего не понимает, нигде не учился, но только как у них штукатурили дом, он мешал и смотрел, думает, так и я сделаю. Андреем звался. Пришел штукатурировать — не получается у него! Потом как-то братья эти поговорили, один говорит: «Шпака с Кожева» — «О, давай!». Тогда за Шпаком поехали.

¹¹ Армия Андерса — регулярные войсковые формирования польского эмиграционного правительства в составе Польских вооруженных сил на Западе во время Второй мировой войны. Командующий — генерал В. Андерс. Создана на территории СССР в августе 1941 г. — марте 1942 г. как Польская армия в СССР на основании советско-польского соглашения от 14.08.1941 г. для совместных действий на советско-германском фронте.

Обед уже, днем, приехали за мной, это 3 километра, там близко. Они говорят: «Мы тебе заплатим за целый день, только приди». Я прихожу, а вот какой-то парень делает, что-то мажет, пэцкает, не то. Я говорю: «Слушай, откуда ты?» — «Я с Жухович», — говорит. А я слышал, что там какой-то Андрей есть, что на гармошке играет. «Это, может, Андрей ты?» — «Ну Андрей. Так. А ты где учился?» — «Известно, — говорю, — учился, я понимаю». И вот мы сделали эту работу. За день сделали, вечером заплатили, рассчитались и разошлись. И поголос какой-то пошел, что Андрей — каменщик и один человек. Тут километров 10—15 Высадовичы. Приехал к Андрею, один договаривается делать филяры и фундамент (филяры — это столбы такие цементные). Этот дядька у Андрея в доме, а он на велосипед — и ко мне в Кожево. Приезжает: «Слушай, Шура, дядька говорит такую-такую работу. Что ему сказать?» А черт его знает. Я не знал стоимости. Я говорю: «Полтора злотых скажи за день». Полтора злотых, это пуд ржи будет. А он, сукин сын, договорился за два злотых. А я не знаю ничего. Я покупаю шнуры, заказал, сделал угольник, чтобы было все необходимое.

Приехали, меня же никто не знает, меня никто не видел. Около него крутятся как пчелы. Трех человек вызвали копать фундамент, около него все. Я говорю: «Так командуй, что же ты?!» А все же здесь, и мать, и отец, и братья. А он: «Ты командуй, я же не знаю, что командовать». Потом вечером мать-старуха говорит: «Кажется, Шура — мастер». Там такие люди были, что 30 с лишним гектаров земли. Три брата, все женатые, в одном доме живут, а это уже строят, отделяться будут. Ой, жили они крепко. Один, старший Иван, поехать, подвезти, туда по делам. 10 коров было. Сыр делали, а этот Павлик, средний, сыры делал, столяр был. Знал и сыр делать, и что прибить-забить. Володя, меньший самый, здоровый парень был, орать в поле, и нанимали людей. Стол метра 3. Все эти люди, которых нанимают, за одним столом, и они, и все. И может, 5 или 6 блюд на столе. Это я впервые таких видел: и работникам то, что себе. Ну сделали мы ту работу, какой-то человек едет с Юрович: мне надо то сделать. Договорились. Ну потом пошло и пошло.

Значит, присылает мой отец письмо [*после присоединения Западной Беларуси к СССР*] и пишет: «Может, кто письмо найдет, чтобы сообщили мне». А мы же сами тут. Тогда появились у нас курсы какие-то, русские. Пошел я на курсы эти, пару недель — и я уже сам письмо написал отцу. Тогда отец уже присылает фотографию свою. Сфотографировался и я, послал отцу. Это 1941 г., тогда не пускали за границу. Покуда я ходатайствовал о пропуске, пока паспорт сделал, только в марте я туда поехал, в гости к отцу. Познакомился в 20 лет с отцом.

Отец говорит: «Я тебя должен выучить, ну что же ты печником стал, нет, надо учиться. Ну а как, нравится тут у нас?». Я говорю: «Нет, не нравится». А там у них зима какая-то была, не такая, как у нас. Он в деревне председателем колхоза был. Я говорю: «Летом приеду к вам». — «О, нет, — говорит, — летом война будет. А тебя заберут в армию».

И правда. Приехал я, и 5 мая забрали меня в армию. Послужил я полтора месяца — и война. Служил в Курской области. Попал я в школу младших командиров. 250 человек нас было в школе. Потом повезли нас через Москву на Калинин, под Великие Луки, и там мы вступили в бой. И нас за одну ночь, может, тысяч 30 загребли. Ну что у нас было, у нас было по паре патронов, по десятку, может, две бутылки со смесью бросать на танки. А у него такая сила сумасшедшая. И потом там, в Невеле, нас, может, 30 тысяч забрали.

Сделали лагерь в Невеле, оградили квартал, и нас туда заперли. На день давали чашку баланды (мука заколоченная), баланды такой и пару сухарей. А как мы только попали, нашлись мы — 12 человек из нашего района, Мирского. Как набирали, 25 человек было наших. Помню, тут построили в военкомате, на меня: «Шпак, выходи из строя!» Вышел. «Вот пока доедете до части, ты будешь командиром. Вот это ваш командир». Там, в лагере, собрались 12, а остальные, кто его знает, где были, может, погибли. Надо одного старшего выбрать. «Шпак, ты будешь старшим!» Я везде старший. Ну хорошо.

Я уже команду тут. В первый день удалось мне и двоим пойти на работу грузить пшеницу немцам. И они нам позволили набрать с собой зерна. Так мы, вещмешки у нас были, набрали, тогда кальсоны сняли, завязали и насыпали в кальсоны, через карак, этой шинелью накрылся. Позволили брать сколько хочешь. Какие-то добрые попались. И мы пришли в лагерь — это нам большая помощь была. Я пошил торбы, были простыни у нас, и рассыпал это зерно, наверно, 50 кило было, а может, больше, может, и сто. У солдата была же и нитка, и иголка. У парня, я не помню откуда, была с собой простыня. Я: «Вы стерегите хозяйство, вы, пару человек, достаньте воды, вы — дров». И вот так, тому — то, тому — то. И огонь, себе варим. Нас 12 человек. Втроем или вдвоем на котелок. С целым лагерем же делиться не будем. На работу только один раз попало, а так больше никогда не попало.

Там тот лагерь был, просто квартал огражденный, и там жили. Там один на одном, было так их много. На возу бочка, и возит эту баланду... Помню случай такой. Солдат делит, украинец был, красивый, здоровый такой парень. Делил этим кубком. А народ, знаете же, наш, с котелком хватя! И попер! А я своим парням: «Не лезь, нельзя! Надо по порядку!»

А после немец как увидел, летит разъяренный с пистолетом, смотрит сюда-туда, видит — кубок у этого грязный. Он не понял, что тот делил, и сейчас же его убили, этого парня. Так жутко было.

Назавтра они задумали делить сухой паек. Организуют полки, роты, взводы. Полк — это было 1000 человек, рота — 500, взвод — 50, отделение — 10. Давали пшено, мясо (там немного конины), того-сего. А меня тогда выбрали на 50 человек. Я получу на 50 человек норму, прихожу, расстилаем палатки, тогда делю на 5 кучек все. Тогда на одного говорю: «Отворачивайся». Тот отворачивается. «Кому?» — «Тому». — «Кому?» — «Тому». Справедливо, чтобы никакого ничего. Каждый день давали. Я не помню, сколько это длилось, тогда нас погнали аж в Молодечно, 13 или 12 дней.

Пригнали до Молодечно. Это страшно было! По тысячи 3, наверное, такие партии каждый день гонят километров 40. Там тоже лагерь организован. Охраняли немцы, без собак были. По 8 человек гнали, по одной стороне, и по другой немцы идут. Ну были и такие, что отваживались убежать. Я думаю, что, ну человек 200—300, наверное, перестреляли. Никому не удавалось. Потом и нам с другом надоело идти, решили и мы убежать. Мы ночевали в Глубоком. У меня были часы карманные. И люди, как в лагерь пригонят, то кто что подает. Ну я за полбулки хлеба отдал часы. И с товарищем мы уже: «Давай поедим, будем крепкие и будем убежать». Назавтра вышли с того Глубокого, кажется, еще 3 дня до Молодечно гнали. Раньше шли — все лес да лес, а тут вышли — и леса нет. Километров 10 прошли — леса нет. А тут появился такой небольшой кустарник. Товарищ пихает: «Давай!» Я говорю: «Ты что, Иван, я боюсь, нет леса, куда мы будем убежать?» — «Что! Мы же договорились!» — «Нет, я боюсь». И на меня страх какой-то напал. Боюсь. Мы только с ним тихонько говорим, один — раз, выскочил! Бах — лежит. «А что, — говорю, — видишь?» Потом стали из деревни выгонять подводы и садили на подводы, потому что уже много кто падал. Раньше стреляли, упал — застрелили. А тут тех, кто упал, подвозили.

Молодечно. Хоть давали уже гуще, и, кажется, там лучше, но силы уже на низ, силы уже на низ... И значит, тут спасения нет никакого. Однажды думаю, надо пойти на работу, так, может, как с работы убегу. План у меня такой: не может быть, чтобы я погиб молодой, как так может быть! Я должен выйти из положения. Вот так! Такое у меня было намерение. Пошел на работу — невозможно катить бочки с бензином на машину. То те бочки, может, впятером катим бочку: бессильные — не можем. Не получилось у меня. На работу можно было не ходить. Где ж они денут: брали 10 человек, а там же 30 тысяч.

Зашел в один дом попросить что-нибудь. Говорят: «Солдатик, что ты, все поотдавали, уже нечего давать». Я вышел в коридор, вижу — стоит бочечка такая, там хлеб, корки плавают. Я за этот хлеб — да за шиворот, за шиворот. Вот счастье... Пришел уже в лагерь, товарищу своему хлеба даю, корки эти. Ну и сидим так, и надежды нет никакой. Там перегорожено было на такие клетки, под открытым небом, там и здания были, своего места не было ни у кого. Там был военный городок. Так, бывало, пойдешь в сарай, ляжешь в этот желоб, ляжешь, переспишь. Но на улице. Это было уже к осени. Один товарищ говорит (Саша был тоже): «Я слышал с того барака, что с той клетки выпускают, допрос делают и кто близкий к дому, выпускают». Я говорю, давай мы попробуем туда. Шли мы с обеда, а там низко ограждено. Он — раз, перескочил ловко, уже на другой стороне. А вот я прыгать, а немец — нагайкой мне, но я тоже перескочил туда, какая разница эта клетка или эта. А там группа идет — 50 человек. Тоже с обеда идут. Мы к ним присоединились. А они заняли это здание, склад был какой-то. И это у них собралась команда своя, и мы к ним. Так они к нам: «Вы чего?» — «Нас, — говорим, — прислал немец-офицер». Мы врем. Потому что знаем, что они сами сорганизовались, а для чего сорганизовались? На хитрость. Два раза на день есть ходят. Пост менялся примерно в 12. Они туда идут — пропускают. Командир идет, группу ведет — пропускают. Потом под вечер снова идут. Другая уже смена, она не знает. Об этом я потом узнал. Мы говорим: «Нас немец прислал!» — «Вон!» И как-то взялись за этого товарища и быстро за дверь. Взялись за меня. Если бы они взяли 2—3, они бы меня выпихнули, а они взяли, может, десятером, один за одного взяли и тянут. Как я нажмусь немного, так они затянули аж в тот конец. Снова оттуда тянут. Тягали-тягали — бросили. Я сел около стены и сижу. Пришел какой-то солдат, около меня сидит. «Я вас знаю». — «Откуда ты меня знаешь?» — «Вы были командиром». Ну где командиром, или там, что в лагере было, или то, что взводом, я уже не знаю. Не спрашивал. А тут около стола сидит группа, тоже узнали, наверное. «Слушай, а как твоя фамилия?» — «Шпак». — «Так будь ты у нас командиром!» Вы слышали, это чудо какое-то! Я говорю: «А что же тут у вас командовать?» — «Такая группа, 50 человек, надо же, чтобы старший был». — «Ну если хотите, то буду». Прихожу я к столу, дают мне тетрадь, всех список. Я уже командир. Только выгоняли, а уже командир! «Ну, — говорю, — парни, товарища моего выгнали, надо же и товарища сюда». — «Ну, раз такое дело, надо». Тогда открываем дверь: «Саша, заходи!»

Я командир, а Саша уже помощник. Чудо! Ну и что, как я уже раскусил, э-э-э! Вот что: тот командир не знал как избавиться! Если немцы обнаружат, — командиру пуля в лоб! Так после я раскусил, почему же это они меня так ласково приняли. И тот командир против ничего не имеет. А потом пошли, день, второй, третий. Я молчу, никому ничего не говорю, но думаю: «Вот в чем дело! Значит, он хорошо понимает, если немцы обнаружат, — командиру пуля в лоб. Всех не перестреляют, а командира первого». Я тогда думаю: «Нет, надо как-нибудь выкручиваться». А тут заходит один полицай, из наших, из пленных полицайи были. Помогали немцам организовать. Я бы не сказал, что они что-нибудь вредили для своих. А повязка у него белая, полицай. За порядком смотрели. И вот один заходит полицай. Я говорю: «Слушай, как тебя зовут?» — «Алеша». — «Откуда ты?» — «Из Днепропетровска». Я говорю: «Я недалеко, мне километров 100. Придумай ты что». Вот такой намек даю. Я же знаю, что он такой, как и я, мало что сказали — полицай! «Хорошо, — говорит, — я поговорю, у нас есть старший полицай, Митя зовут». Скажем, разговор был в обед, а может, под вечер приходит тот Митя. Ну, они полные, наевшиеся, а мы — кости и шкура. Они ели сколько хотели. Там уже варили что-то получше. Ну и что, приходит: «Кто Шпак?» — «Я». — «Пойдем». Тут меня уже затрясло, думаю — стрелять. Иду, думаю: «Что он же не говорит ничего?» Иду. Навстречу немец: «А это что?» Говорит: «Веду с работы одного». Вот тогда я повеселел. И привел меня за изгородь такую, что там специалисты отобраны были. Там разные специалисты. Я так не знаю, когда их отбирали, но там, в той клетке, тысяч 10 было, специалисты. Меня пустил, ни слова, по дороге ни слова, сюда пустил: «Заходи!» Я и зашел в эту клетку.

А тут живот болит, не могу. Зашел, где-то воды нашел в котелок, пошел в подвал, огонек горит, поставил, накипятил. Кофе пью, какой-то насыпал. А черт его знает, откуда он был, насыпал, попил. И лег там, в подвале, переночевал. Назавтра немцы пришли. Переводчики: «Строиться, выходи строиться!» Вышли все. «Так, русские, становись! Белорусы, становись! Поляки, становись! Азиаты, становись! Латыши, становись!» И может, 10 наций, все встали. Думаю: «Кем же мне быть, холера его знает. Буду поляком, они соседи с поляками, может, лучше милость будет». А польский [язык] же хорошо знал. «Украинцы, становись!» Тут украинцы были. А я прозевал. Русских назад за проволоку, латышей — всех, всех! Украинцев повели где-то в другую сторону. Вот, думаю, вот тут-то да! Потом последних поляков — за проволоку! А я раз — за угол, спрятался и стою, думаю: «Что же делать, как дойти к

этим украинцам? Что-то там другое будет». А тут бежит (это Бог помог), бежит тот Митя, полицай, запыхался, бежит. И около меня близко пробегает. Я: «Митя!» — «Чего же ты здесь?» — «Отведи меня к украинцам». Он меня гонит впереди к украинцам. «Это, — говорит, — один украинец остался». Тогда поставили украинцев: «Кто 2 тысячи километров имеет от дома — выходи из строя! Кто тысячу километров — выходи! Кто пятьсот — выходи!» А мы все стоим. Нас 36 осталось по 100 километров. Тогда тот Митя пошел, выписал документ на мой адрес, он украинец с деревни Кожево, и выписал пропуск, пошли.

36 человек, всем дали документы. А белорусам нет. Только украинцев отпустили. И с этим Митей мы пошли. Зашли в Молодечно в один дом. Там-то покалечили! Попросили есть, дали чашку молока, хлеба. Как я поел — понос, и не могу! Идти не могу! Живот болит, гвалт, и неизвестно что. Ну мы как-то прошли километра, может, четыре за город, хутор какой-то, зашли на этот хутор, покатылся я, по полу качаюсь. А Митя сидит, огурцы уже были, куча огурцов в доме, сидит за столом, ест огурцы, хоть бы что, нормально. А я качаюсь. Входит одна девушка. «А, Яденька, хорошо, что ты зашла. Подвези ты этого солдатака». А ей по дороге с нами 15 километров ехать. И нам на Ивенец надо. Она согласилась. Этот Митя говорит: «Я хоть идти буду, а он хоть пусть едет». Вот и тот Митя ехал, коник тот дряхлый был, и Митя ехал, и я ехал. Заехали в какой-то городок, он и назывался Городок, местечко. Она пошла в аптеку, каких-то таблеток, порошков мне каких-то — ничего не помогает. Бабы несут кислого молока — ничего не помогает. Болит и все. Пока мы доехали, уже стемнело. Она говорит: «Ну что, у меня ночевать будете». А она одна жила, мать недавно умерла, а братья рядом жили. Ей присоветовали, чтобы она дала мне первача, вот она чем спасла меня. Она дала мне чуть не стакан, большую половину. Я выпил и говорю: «Я залезу на печь». Залез я животом на печь и уснул там. Так она мне рассказывала назавтра: «Я лазила ночью тебя слушать, ты уже умер. Ты был неживой. Холодный весь был. И я уже планирую, как хоронить тебя». И так она уже затопила печь и думает, как хоронить солдата. А я встаю. Она как крикнет: «Господи! Так ты что? Ты же умер, как ты встал?» Я говорю: «Как умер? Я не умер». «Ай-яй-яй», — обрадовалась она. Ну и давай, убила петуха, давай суп варить. Уже и живот тот перестал болеть, уже поел того супа, нормально. Ну и разговорились. Я рассказал кто я, откуда, что да чего. Два дня у нее были. Митя тот, как я выйду во двор, уже крутится, говорит Яди: «Давай, я останусь у тебя». Она: «Нет!» Тот Митя выйдет во двор, она говорит: «Шура, останься ты у меня хоть на месяц, я тебя откормлю. Тогда пойдешь домой». — «Бо-

юсь я, Яденька!» — «Митя, — говорит, — хочет, его не хочу, а тебя оставлю». Я думаю: «Боже ты мой, Боже, я же на человека не похож, зачем же я тебе нужен?» Я говорю: «Яденька, я боюсь, снова запрут в лагерь». — «Ну так идите».

Через 2 дня мы пошли. Прошлись немного, снова живот болит. Я говорю: «Митя, Ядя рассказывала, что самогонки давала мне». Тут Митя в селе там спросил про бутылочку самогонки. А у него и деньги были, куча денег. Полицай, а холера его знает, откуда они были. У меня не было ничего, одни вши. Он достал самогонки — ничего не помогает. Тогда он нанял подводку и до Ивенца доехали. А там [в лагере еще] один парень был, говорил: «Как будешь идти, скажи родителям, пусть придут в лагерь за мной». Через меня всех выкупили. Не знаю, сколько это стоило. Может, гостинцы возили, может, золото возили, или сало возили, я этого не знаю. Как я пришел, передал всем, кто там оставался, и всех выкупили. Всех привезли.

В Ивенце мы переночевали у того отца, и Митя дальше нанял коня, и нанимал, пока мы до Мира доехали. Вышли мы на площадь, едет дядька, а мне же надо передавать парням, здесь вот Симаково, тот Саша из Симакова, Аюцевичи. Я еще до дома не доехал, уже давай передавать. Из Озерского был Наранович. Дядька из Аюцевич. «Подвезите нас до Аюцевич. Нечай Ануфрий где живет?» А сосед его как раз. Приехали, показал дом Ануфрия. Заходим мы с тем Митей: «Дядька ваш Иван в Молодечно в плену, немедленно езжайте, выручайте. И передайте тут в Озерское — Наранович Гриша, в Симакове — Русецкий Саша. Вот вместе езжайте». Не верит тот дядька, не верит никак. Еле я убедил его. Фотографии висят: «Вот ваш Иван, вот». Тогда он поверил. Ну и нас отвез в Кожево. Сын его запряг коня и отвез нас в Кожево с этим Митей. Тогда через неделю приходит и тот Алёша, я ему адрес дал. У меня уже нас парней пятеро в доме (четыре брата от этого отчима, я пятый) и двое чужих. Так я их устроил у хороших людей в Жуховичах, тех парней своих. Не помню, сколько они были, год или сколько. Алёша пошел в партизаны, снарядили его. С партизан удрал в полицию, с полиции — не знаю, может, в Барановичи отправили. А Митю потом в Германию забрали.

Забирали всех бойцов, в каждой деревне по 50 бойцов было. Как русская армия была разбита, все по деревням остались. Немцы не протестовали, в лагерь здесь не забирали, отдавали людям. А потом уже в партизаны пошли, кого не забрали в Германию. Кто в Германию, кто в партизаны. У моей сестры был боец — в Германию попал, у соседки был — в Германию попал. Бойцы эти назывались «русские солдаты после плена».

В партизаны я не ходил, потому что не было смысла: пойдешь в партизаны — расстреляют семью: 5 братьев, мать, отчим. Только одного брата забрали в Германию. А меня спасло ремесло. В Жуховичах строили клуб — меня на клуб, бригадиром был. Был из Медведки, каменщик, из Хлюпич один, из Малышкович два и я — пятый. Я самый младший — меня старшим ставят. Не знаю, почему это так. И пока немцев не прогнали, до тех пор я был строителем. Клуб в Жуховичах строили для немцев.

Потом в Советскую армию забрали. В Германии был. Был же адъютантом начальника штаба дивизии артиллерийской. Вот! Видите, мне как везло.

Как освободили, может, неделю, может, две прошло, не помню: всем мобилизация. Полностью всем до такого года идти на войну. Ну и пошли. Из деревни все. А я женился, еще в войну. Хотели меня забрать в полицию, а мне подсказал один, секретарь гмины, говорит: «Женись, потому что холостяков будут брать, а женатых не будут». А я ухаживал за девушкой. Немедленно расписался, женился, и ко мне никто в дом не зашел, а парней забрали.

Как пришли Советы, забрали нас в армию. Загнали нас, три деревни, там до 50 лет, наверное, брали. И вот в Рязань нас загнали в лес, за Оку. Ока — широкая река, там пароходы ходили. Нас загнали в эту Рязань. И значит: «Кто строители, кто плотники — выходите!» 20 человек, выходу и я. Это в 1944-м. «Ты будешь бригадиром». Ну слушайте, ну разве я прошусь? Все. Я же молодой, а были старые, были постарше мастера.

Строили землянки. 19 рот было, я был в седьмой роте. Землянки, по-моему, 50 метров длиной и 10 — шириной. Лес носили за 15, за 10 километров солдаты, бревно, как телефонный столб. Это была осень. Ну и построили мы эти землянки. И я отличился на этих землянках, видать.

Там кормили очень плохо, одна вода. Потому что дурные, бесхозяйственные. Надо дисциплина, порядок. Мне потом наши парни рассказали, в чем дело. Значит, идут получать паек на склад, ведет офицер. Они по карманам разберут, а в котел нечего. Какие 10 человек наберутся, спрячут в лес, загребёт тушенку, картошку ту или что, а котел пустой. Раз приходит мой командир. Отводит меня: «Ну как строительство идет? Может, кто не слушает, может, что?» — «Нет, — я говорю, — все слушаются, работают хорошо. Но знаете, питание плохое, невозможно». — «Ну как плохое? Не может быть!» Он же знает, сколько по норме. Я говорю: «Товарищ лейтенант, а можете ли вы на нас, на 20 человек, сухой паек?» — «Могу!» Выписал нам на 20 человек сухой паек —

во наедаемся! Я поставил повара одного, сам наблюдаю, сварим, поделим — наедаются парни! И работают! И я, видно, отличился там, потому что потом через какое-то время приезжает генерал Брюханов, организует себе дивизию...

Занимали мы около Минска, Юхновка, Колодищи, это наша часть все была. А штаб был в Юхновке. И вот только мы приехали, утром вызывает генерал. Пришел лейтенант какой-то или майор, может, говорит: «К генералу. Придешь, доложишь: “Товарищ гвардии генерал-майор, по вашему приказу красноармеец Шпак прибыл!”». Я так и доложил ему. Этот генерал говорит: «Садись. Ну, — спрашивает, — сколько, что закончил, какой специалист?». «Ну, — говорю, — строитель, ну, портной». Он задал мне пару таких вопросов по строительству. Печь, например, около деревянной стены на каком расстоянии ставится? «Ну сантиметров 30—25». Он, наверное, тоже разбирался. Так вот так: «Будешь ты при штабе дивизии строителем. Будешь строителем, будешь строить землянки. Дам тебе несколько человек, будешь строить». Так я догадался, наверное, там хорошо написано было. И я остался при штабе дивизии. «Может, — говорит, — знаешь сапожников, портных? Подскажи». Я человек 10 еще насчитал. Тот сапожник, тот сапожник, тот портной. И всех оставили при штабе дивизии. И я там землянку построил, потом котел вмуровал. Сам, лично, своими руками начальнику штаба печку сделал. Мы стояли там месяц. Люди построили дом после войны, а печи не было, он там жил. Я ему грубку такую красивую сделал. Посмотрели, что я специалист, ну и после с одним портным надумали мы, как попасть в штаб тыла. Знаете, кому охота с винтовкой. Новоселов был капитан, и он нас вербует. Мы говорим: «Хорошо! Будем!» Он просит — нас не отдают отсюда. Тогда меня отправили в командировку в Минск машины оббивать фанерой. Буды такие делать. «Шевроле» и «Студебекер». Одна для генерала, вторая для начальника штаба дивизии. Буда фанерная такая, в ней жить в лесу. И вот две недели мы там строили. Там человек 10 нас поехало. Мне: «Ты побудь поваром». Ну хорошо, я поваром, они там делают эти машины, а я стреляю воробьев. Сварю есть, они придут — все в порядке.

Потом приезжаем мы в Юхновку ту, станция Городище там. Нету. Землянка пустая. Где наши? Не знаем, что делать. С нами один офицер, замухрышка какая-то офицер там был. Бежит солдат, связной наш. «Коновалов, а где же наши?» — «Поехали на фронт». — «А что же нас оставили?» — «Здесь, — говорит, — еще начальник штаба остался, санбат еще здесь». И связной этот еще здесь. А у нас уже есть нечего. А я же знаю, где тот начальник штаба дивизии, я же там печь делал. Подъезжаем мы

туда, под тот дом, этот офицер боится идти: «Иди ты, Шпак!» Пошел я: «Товарищ подполковник! Нас оставили, мы приехали из командировки». — «Я знаю, знаю о вас!» — «Так мы же голодные, нет у нас есть чего». Пишет нам записку в санбат: «Получите там провиант на неделю и занимайте квартиры, живите до распоряжения». Ну мы получили, загораем. Потом тот Коновалов прибегают: «Собирайтесь, парни, сегодня поедем».

Приехали в Минск на машинах, погрузили на платформы, ну и все, уже части последние погрузились, а наши уже две недели как там. Бяла Подляска, первая станция [в Польше], там уже они в лесу, сделали землянки, все, они там живут. Едем в этих машинах, сидим на платформе. В кабинах, в будках. Приехали в Барановичи, прибегают адъютант его: «Шпак, начальник сказал, чтобы ты поставил печь ему, буржуйку, сегодня». — «Хорошо». Я пришел, ну там дырку прорезать, трубу эту вставить. Поставил, поезд тронулся, едем. Начальник этот со мной разговаривает, говорим, говорим. Остановка. Я говорю: «Товарищ подполковник, я уже пойду». — «Иди!» Я и пошел к своим парням. Приезжаем в ту Бялу Подляску, уже Польша. Даже там одну на станции видел знакомую из Мира. Осталась у кого-то там, булочки продавала. Хозяйка пекла булочки, а она продавала.

Еще только на станции, еще не спросил, где наша часть, мой взвод. А вот едет тот начальник, подполковник тот: «Шпак, иди сюда!» Подхожу. А он на машине был, «Виллис» называлась. Подошел: «Ты хочешь в баню?» Я не знаю, что ответить. Что за баня? Думаю, думаю... «Не повредило бы», — говорю. «Через час подходи к тому дому», — показывает. А он уже поселился в том доме. Через час прихожу — на самом деле в баню! А как раз с нашего взвода парни топили у поляка баню. Поехали мы мыться. Тот адъютант один, и он, и один майор из Москвы. И наши парни моются, из моего взвода. Я говорю: «Товарищ подполковник, может, я пойду уже со своими парнями?» — «Ну иди». Я пришел, они уже привели, где та землянка, я же не знаю в лесу. А землянка там немного выкопана, палаткой обтянута, бочка стоит из-под бензина, топится, тепло. Дверки вырезаны, труба выведена, буржуйка сделана. И тепло. Там нас сколько, может, 30 человек или больше, не помню. А спали так: веток наложено, шинель под бок, шинелью накрылся. Вот такое спанье. На земле ветки сырые. Не успел я уснуть, приходит один лейтенант, говорит нашему лейтенанту: «В 6 часов поднимешь Шпака, начальник штаба берет его за адъютанта». Слышали? Чудо...

В 6 часов дневальный уже: «Шпак, вставай!» Так и так. А я уже сам знаю. Говорит: «Иди». А он в той машине спит, и адъютант его там, и значит, пост возле него стоит: «Стой, кто идет?» А ему уже сказано,

этому посту, что будет идти Шпак. Тогда я говорю: «Свой». — «Иди!» — «Что же делать, еще же темно, рано очень». — «Сказал, как придешь, — буди». Я тогда бух-бух в машину эту: «Товарищ подполковник, красноармеец Шпак по вашему приказанию прибыл». — «Заходи». Зашел, зажигает свечу, одевается: «Пошли в штаб!» Недалеко было. Пошли в штаб. «Я тебя хочу взять себе в адъютанты. Ты у меня будешь правая моя рука, ты мой будешь телохранитель. Согласен?» Кто же не согласен? «Согласен». Ого, какая должность! Королю чем плохо! А я говорю: «А Носков?» — «А я его отправляю». Он Носкова того невзлюбил. «Вот иди сейчас в машину и жди, пока я приду». Я прихожу в машину, тот Носков говорит: «Ну что, может, тебя хочет взять на мое место». Я говорю: «Придет — скажет». Он пришел: «Носков, иди в распоряжение Жабина. Со мной будет Шпак». И я с ним пробыл два года. И до Германии, и еще год в Германии после войны были. То, как я отходил, то он заплакал и сказал: «Сколько жить буду, такого человека, видеть, больше не будет». Вот что он сказал. Это его слова.

Получился дурной конфликт. Значит, из Жухович один был шофером, у нас два шофера было. Был дурасливец, если бы не свой, так я бы его выгнал, но свой парень... Ай! Он меня однажды чуть не убил. Едет, не присматривается ни на машины, ни на что. Один был хохол, тот был хороший шофер. С одним он ездил, с одним я ездил в войну.

Я в 1946 г., по-моему, в июне или июле, не помню, демобилизовался. Хотели, чтобы я там остался учиться на офицера, я только старший сержант. Ну я не дал согласие. Я говорю, я уже женат, уже сын у меня есть, я не хочу. Уговаривали, может, месяц, ну потом я сказал, что не люблю военной службы. Все. Отпустили. Демобилизовали.

В 1948-м я уже устроился фотографом. Научился в Германии. Я же был адъютантом, время было у меня. Фотоаппарат купил потом у одной немки, дал ей колбас, масла. Марки «Фотокор» был, немецкий. Разными потом снимал. «Киев» был, я уже их растранижил. Я работал здесь в Мира в ателье фотографом до самой пенсии. Я на курсах был месяц и получил шестой разряд. В Минске. А седьмой разряд давали только с высшим образованием.

Немец научил фотографировать, показал — и пошло как по маслу. Я вижу — фотография. Захожу, говорю, чтобы он пришел меня сфотографировать. Гера-штрасзе, это улица. «Я, — говорит, — в час приду». Вижу — идет, аппарат несет. Заходит, а мы уже после войны жили, девушку взяли поваром, мы не питались в офицерской столовой. Она была с Поволжья немка, она и русский [язык] знала, и немецкий. Мы, может, четырех сменили. Две взяли сразу, как война кончилась. Кончилась вой-

на, я говорю: «У нас же хватает всего, давайте дома будем варить». Ну этот начальник: «Организуй». Я говорю: «Возьму повариху». В лагерь пошел, лагерь там был. «Девчата, кто хочет поваром к нам, нас четыре человека. Два шофера, начальник и я». Одну Юлька звали, беленькая такая. Говорит: «Но берите двоих». Ну ладно, хватит еды. Ну они сплелись с офицерами какими-то, работы нет. Вижу, не хотят слушать.

Потом из Германии я уже приехал на мотоцикле. Мотоцикл взял. Привез. В Германии у меня 3 было, с коляской новый BMW, все там осталось. А этот маленький был, как минский, так я на поезд погрузил. У некоторых отбирали, а мне как-то удалось. Я привез, и тот, что шофером был, мопед привез. Приехали в Барановичи на поезде. Заехали к знакомым, вещи оставили там, чемоданы. Поспрашивали, у кого там бензин, залили бензина и, как черти, прилетели домой на этих моторолах. И я долго ездил на нем. Потом один говорит: «Продай». Я думаю: «Хорошо». Говорит: «Дам тебе новый велосипед и денег сколько-то. Так давай, я уже поеду». Он не умел ездить. Плохо включил, и скорости полетели. Так он и стоял у меня сломанный. Потом один приехал из Жухович и купил, дал 5 пудов ржи.

Беднота была неизвестно какая, когда я приехал в Жуховичи. Тесть был пьяница, толку не было никакого. Я давай работать, печи делать, фотографировать. О, помогла фотография, поеду на деревню фотографировать. Пару чемоданов материала привез, материал был, поеду фотографировать. В очередь становились, я шелк-шелк-шелк-шелк, потом приеду — карманы денег. Года два, а после, в 1948-м, уже в организацию устроился. В промкомбинат. Ну и потом был разъездным фотографом, а как уже сюда переехал, — уже в ателье. И до конца, до пенсии.

Интервью с Владимиром Владимировичем Лобозой, 1922 г. р.

Записали *И. С. Маховская, И. Н. Романова,*
г. пос. Мир Кареличского р-на Гродненской обл., июль 2003 г.

Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

Отец у князя¹ служил шорником, это по-белорусски «рымар», по-польски «рымаж», по-немецки «затлер». Сбрую для лошадей делали. Вот и мне пришлось поработать там. Отец был мастером, старшим, а

подмастерьев было еще хлопцев 4, и я тоже был подмастерьем. Очень много было лошадей у князя. И не только рабочие, потому что тут же у него были фольварки, отделения в Аюцевичах, Уша, Тетра, Великий Двор (возле Городеи).

А он получал — дай Боже! Хоть, говорят, князя, помещики издевались — неправда, это все ложь. Может быть, где там и издевались, но не у нас... Мы корову не держали, потому что на что она? Отец получал 5 литров молока, и я — 3. Всего 8 литров молока, почти ведро. Зачем она нам корова, зачем обуза? А коров держали — пашня бесплатная, пастух княжеский, все, мы никаких дел не имели. Огород свой был, грядки. Выращивали помидоры, огурцы, лук, морковку, свеклу, картошку. Для картошки 44 сотки моему отцу давали, князь [давал] на своих землях.

Было у него [у отца] две дочки и я, еще была третья дочка, но ей годик был, она умерла. Дочкам одной 17, другой 18 лет [Маня и Соня].

Я вам покажу расчетную, обрахунковую², книжку отца. Тут записано, где родился, с какого условленны [принят на работу], с 1 апреля 1938 г. по 31 марта 1939 г. Дальше: «Згодзоны до працы в характэжэ рымажа в маёнтке Мир на час от 1 апреля 38 до 31 марта 39 на настемпуенных варунках³: пэнсия (это зарплата) — 202 злоты в год плюс 86 рочни за ужыване власных инструмента⁴». По 24 злота в месяц. Кроме этого, получаешь ржи 984 кг, 396 ячменя, пшеницы 96 и 396 последу, это для свиней. Из ржи хлеб пекли, ячмень мололи на блины, пшеницу — булочки пекли. Опал (дрова) — сколько надо. Роля уноважа⁵ — 44 сотки. Правда, это для отца, он старший мастер был, так ему 44 сотки. Это отца книжка, мою отец сжег. Живность (сколько у тебя есть сараев) надо было покупать самому. Куры, утки (гусей не разрешали, потому что они пачкали везде).

3.08 получал, 72 злоты получил. Дальше, тут 10% стоимости лечения и лекарства, 22 гроши. Мы платили только 10% за лечение, а 90% князь оплачивал. Вызываешь врача, отмечалось, что он был у тебя. Он относил в контору, и контора 10% на тебя, а 90% — на князя оплачивала.

Отец все по 72 злоты получал. 30.06, потом с 01.07 по 30.09 72 злоты получил. 24 злоты в месяц получал, но каждый месяц не получал, вот когда договорится с этим [кассиром]. У некоторых по 10 лет задолжен-

² Расчетная (польск.).

³ Принят на работу шорника в имении Мир на время с 1 апреля 1938 г. до 31 марта 1939 г. на следующих условиях (польск.).

⁴ Плюс 86 ежегодно за использование собственного инструмента (польск.).

⁵ Земля удобрена (польск.).

¹ Михаила Святополк-Мирского.

ность была. Денег не было. Придешь к кассиру, постучишь в маленькое окошко: «Пане Ковалевич, может, деньги есть?» — «Нет!» Раз, шторку закинул, все. А кому пожалуешься? Боже, к князю! До князя никто не доходил! Управляющему еще можно. Но выкручивались как-то, и в лаптях никто не ходил, в сапогах ходили, а девушки в туфлях. А дети — дай Бог вашим детям носить то, что я носил. У меня и сапожки были, зимою — валеночки хорошенькие были, ботиночки, все это шилось на заказ. Когда вырастал, отдавали тому, кто похуже жил, младшим отдавали. Паробки же хуже жили, чем мы. Они не 24 злотых, а 10 получали, и им уже проблема была купить. У нас в Мире никто не ходил в лаптях. По деревням — да. И на базар приходили в лаптях. «Ах ты, лапотник», — говорили. Еврей на что-нибудь разозлится, обзывал так. А они [жители местечка] и холуями называли нас, потому что у князя работали. Хоть он в 10 раз хуже живет, но он это о-го-го!

[Дома княжеских работников] называли «чвараки», этих чвараков было до холеры. В них в каждом было 8 семейств. Дом общий, поделен на комнаты. Каждому отдельный вход. 4 чварака было. По 8 семейств и больше. Кроме этого, были по 4 семьи. Тоже там стояли. Эту часть Мира называли Маёнток. Там, за речкой, за спиртзаводом, был кирпичный один. А остальные были деревянные. Который при дороге, то уже кирпичом обложили. Конюшни были за больницей сразу.

В 1929 г. моего отца уволили, а за что — просто ни за что.

Князь уволил?

Да. Ну видите, вот отца из-за того уволил, что жена ему [управляющему именем князя Пысевичу] сказала: «У Лобозы дочки, видишь, как одеты! У меня даже такого пальто нету, он ворует, значит! Значит, уволить надо!» Вот такой, что б это разобраться... Отцу говорили, что ты пойдешь к князю, а отец был такой, не пойдет. «Ну что я ему скажу? Проститься? Я не воровал! Это за честные заработанные деньги куплено все. Я проживу. У меня руки есть и голова есть».

Отец работал на заказ?

По-польски назывался «топицер», это обойщик по-нашему. Диваны разные, эти кресла мягкие, матрацы на пружинах [перетягивал], это в нашу обязанность входило. Так он, как появился в Мире, комнатка маленькая была. А евреев же много было, так один другому рассказал, и видят, что человек делает на совесть. Потом мы с той комнаты ушли, наняли себе вторую, старушка была такая глухая, комната больше уже была, так он брал к себе домой [работу]. Жили хорошо. Были тут автобуса уже два, двух евреев. Возили в Городею, в Новоградок. Двух братьев автобусы. Можно было нанять. Каждый день ходили, как сейчас —

маршрутный автобус. Не дорого ли? Мне не приходилось. При Польше, это еще в году где-то 1930-м. Они узнали, что отец занимается этим делом, так они, чтобы автобус не стоял долго, потому что это ж для них заработок, и срывает линию. Так он, фамилия его Кравец, заключил договор с отцом: за 5 дней, чтобы ты все сидения нам оббил. И он, бедняга, всю ночь не спал, не ел, а я больной был корью. Это ж тогда корью болели дети, а меня завесили, отгородили, а он ночью стучит. Так он: «Сынок, ты уже прости меня, я тебе куплю что-нибудь в подарок». Я уже молчу, деньги — 100 злотых за те сидения — это корова, за 5 дней! Корова заработал. И он мне потом ножик, перочинный ножик [купил]. И я с тех пор, и в армии был, и на фронте был, и у меня всегда ножик в кармане, всегда. И теперь. Ну не этот ножик, а уже другой. А я всегда ношу с собой ножик. Вот это мне в памяти осталось.

А потом, ну что эти заработки. Кашиц узнал, что есть мастер, и пригласил его к себе в Обрино. Это в 1930 г. 1929/30 г. я здесь уже в 1-й класс пошел. В 1-й класс в Мире ходил, а 2, 3, 4-й — уже в Яремичах, откуда моя жена. Но я ее не знал тогда, бегали такие маленькие три. Она 1925 г., я — 1922-го. Переехали мы тогда не в Обрино, а в Яремичи, потому что мне было далеко ходить в школу в Яремичи. И мы там жили, наняли комнату. Вообще, домик наняли. И там жили. У нас было в Яремичах 2 комнаты, в спальне был пол, а на кухне был цемент. Вот скажите, тогда не было еще такой моды, чтобы курей держали где-то в курятнике отдельно, нет, дома, и у нас были печь и подпечек, это специально уже делали печники, то курей туда загоняли. На лето выгоняли, на дворе они были все время, а потом, когда уже мы были в Мире, курей не держали.

А про школу что можете вспомнить?

Наказывали в школе, и мне было даже, хоть я учился неплохо. И где было? В Яремичах. А учитель, он меня так уважал, Незбжицкий, такой высокий, черный, был поляк. Так при школе комнатка была, он там с матерью жил, холостяком был. Такой черный, борода растет. По-белорусски он, может, понимал, но не разговаривал. А я приехал из Мира, и одежда у меня другая уже, и я уже из другой сферы приехал туда. А он был в Обрине. И во второй класс в Обрино ходил, а в третий должен был пойти в Яремичи, но снова в Обрино пошел, снова к этому Незбжицкому. И вот как-то довел. Кончили мы уроки и идем домой. У меня рюкзачок такой был, а у них нет, у них обыкновенная такая торба, пошитая с холста, и на какой-то веревочке или там ремешок, и все. У меня рюкзачок, внутри картон, а сверху брезентом обтянутый. Коричневого цвета. Даже они удивлялись: «Гляди, какая котомка у него!» Купил

отец в Мире. Да здесь все носили такие. Учитель этот другой раз за ухо как завернет, то ой-ей-ей! А не дай Бог ногти отрастишь, и там чернота эта, так он что, берет ключ и ключом как завернет! Господи! Мне-то не приходилось ни разу, а дети аж плакали. А мне за что, ну что такое провинился, разговаривал что ли, раз сказал, два, а потом там одна девочка была, и у нее сумка была, и ремень был при сумке. И он этим ремнем как стеганул мне по руке! Ай-яй-яй! Я потом на эту девку говорю: «Знаешь что, или ты эту сумку дома оставишь, или что-нибудь другое прицепи!» Она назавтра приходит опять с этим ремнем. А мы, хлопцы, взяли ее поймали, обрезали ремень и отдали ей. Вот так. И она уже на следующий раз носила на шнурке. Но чтобы он не бил. Так бывало, что в угол поставит на колени. Колени ж заболят, хочется присесть. А одного поставил и руки заставил вбок держать. Устали руки, он опустил: «Цо ты рэнцы опустил як когут кшыла свое!»⁶. Снова поднимает он. Наказывал сильно. А если урок не выучил, — двойку получишь, за это не били. Бывало, я иду домой, а он едет на велосипеде. Останавливается: «Сядай!»⁷. Я на раму сажусь. Никого не брал, а меня — пожалуйста. Я одет был не так, как эти. Чистенько, культурненько, по-городскому. У меня штанишки были ежели летом — коротенькие. А там у них — никто [не одевался так]. Длинные штаны, как клеш [они носили]. Как сейчас. Сейчас уже немножко начинают шортики. Гарцеже⁸ все были в коротких штаниках.

Городские от деревенских сильно отличались. Я вот, когда уезжал, ой, хлопцы: «Ты не уезжай, не уезжай!» Сдружились. А вообще есть у меня что-то такое организаторское. Могу организовать.

⁶ Что ты руки опустил, как петух крылья свои! (польск.).

⁷ Садись (польск.).

⁸ Гарцеры — Союз Польского Гарцерства (Związek Harcerstwa Polskiego) — самая большая открытая и аполитическая организация детей и молодежи в Польше. Главная цель — воспитание у молодого поколения патриотизма, братства, дружбы, веры, справедливости и др. В 1930-е гг. гарцеры развивали разные виды спорта (особенно те, которые связаны с туризмом и наукой выживания), участвовали во многих соревнованиях. В 1930-е гг. были организованы дружины зухов («zuchy»), которые готовили младших детей (от 6 до 10 лет) к вступлению в ряды гарцеров. Структура: зухи (zuchy) — дети 6—10 лет, гарцеры и гарцерки (harcerki i harcerze) — дети 11—13, старшие гарцеры и гарцерки (harcerki i harcerze starsi) — 14—16, путешественники и путешественницы (wędrowniczkі i wędrownicy) — молодые люди 16—25 лет (<http://www.shdm.harc.pl/historia/>).

Уезжали снова в Мир?

А на место отца был [взят] такой Плюта. Георгий Плюта. Он работал, даже учился у моего отца, его поставили. Он женился на польке. И начал командовать. И вот 4 года мы там жили, в Яремичах. А он за 4 года купил себе участок в Мире и построил дом. И потом как дошло это до князя и до Пысевича, вот кто вор, не Лобоза, а Плюта. И того Плюту — вон, и поехали к отцу и предложили ему возвращаться назад. И мы в 1934 г. назад сюда.

На своих хлебах хорошо, а у князя лучше?

У князя лучше, конечно. Он же получал столько денег, что... Четверть коровы за месяц, а зерна сколько!

Видно, сам Пысевич сказал, что не Лобоза вор. Это такие хоромы себе построить, это штука была — ого! За 4 года! А отец был такой честный. Он вот ежели идешь сапоги сапожнику заказывать, потому что мы ничего не покупали в магазинах, все шили. Сапожников тут была тьма, Боже! До черта их было! И евреи были, и белорусы наши. Он [отец] берет сапожника, идем в магазин, тут был еврей Добрин, и полный набор на сапоги [покупаем], чтобы не было разговоров. А у нас же были кожи подошвенные. Я вот, когда работал уже с отцом, мы берем лошадь, приезжаем сюда к этому Добрину, к еврею, и берем полную кожу. Коровья кожа или из быка. Толстая такая. Нам нужна была, мы выдавливали манжеты, сальники то есть, для насосов на спиртзавод, в колодцы или вот выездная конюшня. Что-нибудь, если тоненькая кожа, тоже что-нибудь надо было, из этой самой кожи мы делали. Так можно ж было и подошву из этой кожи. Так он нарочно не хотел, чтобы на него [думали]. Потому что все равно ж донесут, что вот, Лобоза, и сапоги шьет себе с княжеского. Так он не хотел. Берет сапожника, идет, [берет] набор, и делает сапожник. У Добрина продавались только кожи. Там набор и на сапоги, и на голенища, и на переда, и на подклейку, под наряды, ну все можно было купить в магазине.

Мой швагер (муж сестры) в последнее время был при князе лакеем. Его звали Егор Хмель. Георгий, но его по-простому — Егор Степанович. Раньше был другой швагер, другой сестры муж — Найба Валентин. Тут его князь любил, но он и красивый был мужчина. Он с детских лет привык. И они жили оба в замке. А этот Егор Хмель был столяром, а столярная мастерская была в замке.

А что случилось с Валентином, что потом Хмель стал лакеем?

Он запил. Егор работал в столярне. Прямо со столярни забрал его и все.

А что лакей делал?

От, допустим, князь проснется. Его надо вроде одеть помочь, он же старичок был. Помочь ему одеться, постель застелить.

А ваши сестры кем работали у князя?

Эта вот, Маня, она никем не работала. Они просто жили там [в замке], потому что их мужья [Мани и Сони] работали [Егор и Валентин]. Моя между прочим и мать все время прожила с отцом и нигде не работала. Она только как домохозяйка была. Нигде. Младшая сестра [Соня] при княгине Наде была, это сестра Базыля [племянники князя Михаила Святополк-Мирского]. И поскольку она [Соня] времени не имела, князь нанял для них нянюку смотреть Флориана [их сына]. Няня жила у Сони. Они уже были в большой комнате. Отапливали дровами, тепло было, и она там жила, коечку поставили и все.

Я малышом приду туда [в замок], сестра Соня: «Иди туда!» Мне что-нибудь вкусенького, мороженого мне принесет, Боже мой, я его ем-ем это мороженое, так уже вкусно! Съем и пальцы оближу. Когда Соня замуж выходила за Валика, то свадьба была в замке. И мы с Яремич приехали сюда, и все за счет князя. Там зал такой большой, длинный, назывался пшэдкуня⁹, значит, перед кухней. И князь присутствовал на свадьбе.

Второй мой швагер женился в 1929 г., Егор. Он боялся, что Маньку его кто заберет. Она всю жизнь была такая доходяга, никто не думал, что она столько лет проживет, уже 92 года. Красиво одевалась, лицо такое дробненькое было. Раньше была заправка по [улице] Красноармейской, не доходя поворота на замок, там керосинка, как мы называли, была, это государственное было. Там на этом месте был дом большой деревянный, и мачеха Егора там жила, и ему там комнатку выделили, Егору, и первая дочка там родилась его, Люда. А потом уже он перебрался в замок вместе с женой и дочкой, потом там еще сын родился, потом еще дочка, Оля, которая сейчас с ней живет. Она в 1930 г. родилась, Люда, а Степа — в 1932 г., Оля маленькая была. Когда война, мы прятались в Симаковом, она боялась: «Дядя, дядя, нас бомбить будут». А женился он, там [в Яремичах] мы еще жили, но нам уже объявлен расчет, 1 апреля мы уже перебрались в Мир. У нас была свадьба Егора. Я помню, еще маленький был, мне дали две такие вазочки на цветы, подарок ему занести, а я такой стеснительный был. Скажи: «Это Егору, это Мане». Я подошел, сказал, они мне конфет дали, и я бегом.

Была такая Мария Русецкая. Даже скажу между прочим, я ухаживал как-то за ней. Они богато при Польше жили, золота было, Боже мой! Даже и теперь говорили, что целая 3-литровая банка золота. Так она и не использовала. Внук забрал в Минск. Так она говорит: «Ой, мы богатые были, у нас князь деньги одолжал!» — «И у меня, — говорю, — одолжал». — «А брешешь!»

Ему курить запрещали — Михаилу. А ему хотелось. И он дал нотацию моему швагрю Егору: если увидишь папиросу у меня в руках, бей мне по рукам и забирай папиросу, я тебя за это не накажу. Ну, ему, значит, курить захотелось, а у него такой халат какой-то красный из холста, из полотна. И одежда у него была льняная, и халат красный. Я иду по парку, и он увидел меня, а у него монокль был такой большой на шее. Так посмотрел: «Володя!» Я посмотрел, он на балконе был. Я уже шапку снимаю: «Здравствуйте, Ваша светлость!» — «Здравствуй! Зайди сюда, ко мне!» А была калитка маленькая со стороны озера, можно было пройти в замок. Я захожу, а он уже успел выйти, уже ждет меня внизу. А у него насыпана была клумба, и там розы росли, и стоял стол железный, на столе нарисована шахматная доска и фигуры такие большие-большие были. И он сам с собой играл и так хорошо играл. Мой швагер Егор тоже играл хорошо, но только один раз удалось ему обыграть князя. Он, значит, зашел на эту клумбу и зовет меня, я прихожу. «У тебя есть деньги? 20 грошей?» Я говорю: «Нет, Ваше сиятельство, нету». «Ты зайди к Мане (моей сестре), ей не говори, что это для меня, и попроси, как будто тебе на тетради надо эти деньги. И когда она 20 грошей даст, принесешь ко мне сюда». Сам сидит, ждет. Я пошел к Мане, и ну где же там, Мане я признался. «Только, — говорю, — ты ж не говори никому, ни Егору! Князь попросил у меня 20 грошей». Она мне дала 20 грошей. Я прихожу к нему. Он, значит, карман такой длинный, он полез, там эти, медяки, ну не медяки, серебряные это были. Вынул, посчитал — 80, и моих 20 злот. «На, иди к Писецнеру».

Еврей тут вот, где костел, и рядом первая была такая хибарка кирпичная. Там был часовой мастер Глуск, еврей. За часовым мастером там был аптечный склад, Чарны [владел] еврей. Тут вообще их было процентов 70—80 населения — евреи. Все магазины были еврейскими. Дальше был Писецнер. Сигареты, консервы можно было купить, шпроты я, помню, покупал для швагров своих. Соберут где-нибудь на бутылочку... А они дорогие были, но не нашим ровня теперь шпротам, о-о-о! Далеко эти шпроты! И у него сигареты продавались. Только у него были эти сигареты, плоская назывались. От слова плоский.

⁹ Помещение перед кухней (польск.).

«И купи эти сигареты». Они с фильтром, позолоченный наконечник, это стоит злот. 20 штук там было. Я принес ему. Он за эти сигареты, в карман, меня по голове погладил: «Молодец! Ты ж никому не говори! Я тебе деньги эти отдам! Хорошо?»

Вот проходит неделя, я иду по парку, я уже специально смотрю, что бы отдал эти 20 грошей. И он на меня смотрит. Я ему «Здрате, Ваше сиятельство!», и он головой махнул: «Здрате!» Ничего, не зовет. Думаю, забыл старик. Второй раз иду — не зовет. Третий раз иду, это ж в промежутках там три-четыре дня проходит. Иду я, а он заметил: «Володя, иди сюда!» Думаю, елки-палки, опять будет просить! Ну иду. Прихожу, опять туда завел меня и в карман, достает мне 2 злотых. А 2 злотых — это о-го-го, это 2 пуда жита можно было купить. Ну не 2 пуда, пуд жита это 1,20 было. Но за 2 злотых женщины в поле в летнее время снопы вязали, не могли заработать столько. Злот — все! А 2 злота — это ого! Большие деньги были. И он мне 2 злотых. Я ему говорю: «У меня сдачи нет, ваше сиятельство!» А он: «Не надо, не надо, это тебе. Ты ж никому не говорил?» — «Никому!» — «Ну молодец!»

Я Мане отнес эти 20 грошей, она не хотела брать, так я говорю, у меня ж больше осталось. Вот так князь у меня гроши одолжил.

Там, в озере [*возле замка*], до того рыбы много было, карпы вот такие большие. Ежели чешуя, луска, то была как 5 копеек. Но они в летнее время под вечер туда ближе к спиртзаводу выплывают к трубе и на бок ложатся, и на солнце греются. А мои уже швагры эти, и Валик, и Егор (там в замке был немецкий карабин Вальтер, не Маузер, и патроны были), залезли на олешину и караулят. Как только карп подплывает — бах в него! И он сразу на низ. И они тогда берут лодку, багор и плавают. Не багром, а были ости, когда длинные зубья набивали в планку деревянную. И шуку. А тут как отворот делали, чтобы назад она не могла. Они этим пробуют, пробуют. Который раз долго, часа два, а он на дно ложится и потом попадет, вытягивают.

А можно было ловить рыбу тут, разрешали?

Не всем. Шваграм разрешали. Мне разрешали. Там от самого спиртзавода, где речечка впадает в озеро, можно было ловить любому. Ну уже пробовали некоторые и в озере, там островок маленький был, на островок залезут — и уже с озера. Ловили. И плоточки, окуньки. А тут возле замка был малинник. И вот я за эти малины зайду, значит, с удочкою. И только закинешь удочку, плоточка есть и есть. Да такие хорошие плотки! Ну стоять надоедает, так я присяду. Там даже табуреточка была маленькая, швагер мне сделал. Я сел и удочку закинул — плоточка, удочку закинул — плоточка. Все. Князь увидел: «Кто там рыбу ловит?»

Я встаю: «Это я, Ваше сиятельство!» — «А, Володя! А ты мне на завтрак рыбки дашь?» Я говорю: «Хорошо, Ваше сиятельство! Принесу». Я набрал штук 5—6 хороших плоток. Приношу на кухню [*повару*] Вере Ивановне. Она: «Что это ты принес?» — «Меня князь просил». — «Ну хорошо, а я ему что-то другое думала на завтрак приготовить».

Работники княжеские могли купаться, если жаркий день летний. Во время косьбы, жатвы, тогда парабкам князь разрешал купаться. В столлярне сделали лодку и купались. Ну и я. Я имел право.

Сколько классов вы закончили?

При Польше 7 классов, и все. Потом можно было и в гимназию пойти, но как-то тогда не стремились к этой науке. Ремесло — вот это, так сказать, то, что хлеб давало. И еще одна причина. Я ж то православный, белорус, и нас как-никак, особенно после смерти Пилсудского, начали прижимать. И евреев, и нас — белорусов.

А как прижимать?

Абы где не устроишься в какое-то учреждение. Допустим, гимназию я окончил, после гимназии еще лицей был в Несвиже. Гимназия в Столбцах была, и лицей — в Несвиже. После 7-го класса гимназию кончаешь, не знаю сколько лет, потом 2 года лицей, и уже учитель. Ну там уже по какому профилю — я ж не знаю. Потому что были у нас последние мирские учителя.

А много или учиться в гимназию?

Не. Хоть из Мира ходили, да.

Так или только католики?

Нет, и наши — белорусы. Я знаю только не из Мира, а из Трошиц, деревня тут, километров 7. Монько был один. Тоже учился. Не успел закончить, как война началась. Я в 1937 г. закончил школу, а в 1939-м война началась. Все. Сенюта, из мирских, закончил лицей, нам преподавал потом польский язык, гимнастику. Потом в 7-м классе я был, так была Трушинская, тоже мирская. Наши — белорусы. Тоже польский язык преподавала.

Была такая организация (она и теперь в Польше существует) — Гарцеже. Гарцерская организация. Сколько мне, я и хотел, ну что там такого политического, но отец страшно поляков ненавидел, ну просто не любил: «Не пушу и все!»

А что давало, если бы вы были в этой организации?

Я вам скажу, что дало, что я не поступил. 2 года просидел в 6-м классе. За то, что не пустил отец меня. Оставили на второй год меня. Отец говорит: «За что?» — «За то, что ты меня не пустил!» — «Черт их бери! Хоть ты 5 лет будешь в одном классе, но не пушу!»

Нужно было всем, кто учился в школе, обязательно вступать?

Евреев и татар не принимали. Только белорусов.

Гарцеже все время были в форме?

В школу можно было ходить и в другой [форме]. А можно и в этой. Форму шили. У меня тоже была такая форма, только уже без погон. Шортики коротенькие и фуражки. Учителя Шульц (польский язык) и Сенюта дружиновы — глава отряда гарцерского. Арифметика, история, математика, природа, девочкам — работы ренчнэ¹⁰. Труд. А мальчики — с деревом. Учили немецкий язык, но я уже не учил, потому что уже не преподавали.

А что делать нужно было в этой организации?

Вот, допустим, комсомол. Пионеры были тогда, назывались зухы¹¹. А после зухов можно в гарцеже. Я вот что ни просился: «Папа, пустите!» — «Нет! Не пойдешь! Поляков, этих гадов, я ненавижу!»

А почему? Наверно, досадили они ему как-то?

Ну как они ему досадили? И работал же на этой работе, и неплохо получал. И поляков не любил.

Я в гарцежах не был. А каждое лето на каникулах этих гарцежей за плату, 6 злотых надо было платить, и ездили, был там обуз гарцерски¹², Рацки Бор, это в Браславском районе, озеро Древяты, лесок и озеро. И мы в этом леске разбивали палатки, и вот нас из Мира было тогда 5 человек, и отец дал мне уже не 6, а 9 злотых заплатил. Потому что взносы — 3 злотых за год. И я три недели там был. Игры военные, ходили под самую латышскую границу, видели через границу латышей, в таких больших шляпах соломенных там косили сено. Бедно-бедно там люди жили, Боже мой! Отец не пускал в гарцеры, а в лагерь пустил. А потом опять — не пойдешь! Там весело было, загорел. Только мальчики были. Много, со всех Крессов Восточных¹³. Столбцы, Барановичи, Новогрудок. Люди там жили плохо, приходили к нам под кухню, на кухне вот что останется, так они уже им сливали.

А почему Вы пошли работать в шорную мастерскую?

Машины у князя грузовая и легковая были. Больше здесь машин не было. Только у старосты, староста, как ну сейчас председатель райисполкома. Район был в Столбцах. А здесь как сельсовет — гмина Мир

¹⁰ Ручные работы (польск.).

¹¹ См. сноску 7.

¹² Гарцерский лагерь (польск.).

¹³ Крессы Восточные — Восточные окраины, так в Польше назывались земли Западной Беларуси и Западной Украины.

называлась. Так он, бывало, едет на машине, а я — бегом на дорогу, понюхать этот запах, так мне нравился запах отработанных газов. Ну что ж, не пришлось при Польше. Князь заставил, я хотел в слесарне остаться после окончания школы, 7-го класса. Отец пошел к князю, так тот говорит: «Нет, мне не надо в слесарню, там у меня полно. Ты ж уже старик, а мне шорник нужен будет, бери его к себе и учи». Боже мой! А я так не любил эту шорную мастерскую! Но я к любой работе. Там работали шорниками уже 29 лет, а я лучше их шил.

А князя Базыля помните?

[...] Базыль [племянник князя Михаила Святополк-Мирского, владельца замка] такой шухерной был парень! Я помню, были мы еще пацанами, а он такой уже, гвоздик. Ну а были такие парни здоровые, которые уже работали. Он собирает [их], особенно в субботу. А тут же евреев было, Боже мой! А у них же суббота, как у нас воскресенье было. Праздник. И они вот по этой улице и туда к Яблоновщине, в лесок. Туда и обратно. Одни туда, другие обратно. Прогулочки такие делали. Мы их называли «маламанты». Духовные школы тут были ихние, синагоги. И они тут учились на раввинов. Так тут и с Германии, с Бразилии, с Америки. Откуда их только не было! Тут самая главная была школа. Так их и самый главный раввин умер здесь, в Мире. Заболел 17 сентября, он там больной лежал. На самолете доктора привозили, не помог. При Польше еще умер, может, 1937 г., кто его знает. Улица же была не [то, что] сейчас, бульжничек лежал. А мужички-то ехали, колеса все были на деревянном ходу, а дерево железом окутают. Так тут ды-ды-ды, ежели проедет мужичок, подвода. Так они, чтобы тихо было, выстлали всю улицу соломой. И стояли, караулили день и ночь, чтобы кто-то спичку не подкинул. Так они стояли, караулили. И он все же умер. Его хоронили тут, в Мире. А евреи при похоронах, ежели кто-нибудь возьмет маленький колокольчик и зазвонит, они сразу — раз, останавливаются и кладут его [покойника], еврея этого. Нельзя звонить. Если колокола в церкви там или что, как зазвонят, все, они кладут, и пока не успокоится, нельзя [нести покойника]. Так мы уже специально, у меня и теперь этот колокольчик в гараже есть. Так нас гоняют. Толпа, Боже мой, сколько их было тут! И его похоронили на еврейском кладбище.

И вот по субботам Базыль после работы собирает всех, кто покрепче, а мы, свистки малые, все за ними. Тут олешичник есть возле озера, возле спиртзавода. На деревьях очень много граковых гнезд. Полезем, граковых яиц наберем, кто яиц, а кто вместо яиц камней наберет в карманы. И тут возле забора. Теперь-то нет забора, а раньше был, дощатый забор, потому что сад тут был княжеский посажен. Возле забора сядем

и сидим, чтобы евреи не заметили. Вот когда их соберется группка такая побольше, по его сигналу, он свист подает. Как свиснет, и все хором по этим евреям: кто яичками, кто камнями. Боже мой, ой-ой-ой-ой-ой! «Мы в полицию заявим!» Где там полиция против князя! Что вы, полиция! Он потом: «Молодцы!» Всех собирает, и мы сзади с маршем, с песнями сюда, в Мир. Идем в Мир. Кто же против князя что скажет? Что вы! Ни полиция, ни кто другой. Идем в Мир, а тут в Мире было между прочим 4 ресторана при Польше, 4 еврейских, один поляк [*держал*]. Ну были такие дешевенькие. Называли Шепшель. К этому Шепшелю ведет нас, всех садит. «Так, каждому по стаканчику!» Ну нам уже не стаканчик. А он уже доволен, Шепшель этот: «Ну что, ну что, пожалуйста!» И, значит, наливает всем, а нам конфет. И мы уже тоже довольные. И весело же было, как еще! А между прочим при Польше очень весело было! Очень! Тут на спиртзаводе была пожарная комната такая, там бочки, насосы стояли. И просит уже управляющего, можно, чтобы потанцевать, особенно в воскресенье. Суббота же рабочий день. Пожалуйста. До 12, потому что завтра же на работу. До 12 — свет, электричество. Электрический свет. «Пожалуйста — гуляйте. Только что было тихо». Ну и вот. Танцы ж всегда это...

Когда князь Базыль жил, то частенько были нападения на них [*евреев*]. А потом, когда уже князя не было здесь, уже никто не организовывал.

Сколько Базылю лет было, он же вроде и немолодой?

А у него дурости хватало! Он еще холостяком был. А он и в армии был даже польской. И в армии он там чудеса творил, но уже ради князя поблажки ему были. Где-нибудь машину украдет, приедет, служил в Барановичах. А потом князь видит, что дело такое, что он таки жуликоватый. А у князя даже в Америке была тоже какая-то усадьба. И он его туда, знаете, у князя знакомств было до холеры. И он его туда, в Америку. Ну этот что, князь... какого-то умершего миллионера жена, дважды старше за него, наркоманка какая-то. Увидел ту жену, машина у нее перwokлассная, женился на ней там, в Америке, и привозит ее сюда. А у нее был сын. Он был где-то моего возраста, Билли. Он в футболе все правила знал. И бывало, возьмет футбол¹⁴, свой у него был, возьмет и как раз там, где лошадей выгуливали.

А вы в футбол играли еще до приезда этого Билли?

Нет.

Он вас научил?

Ну так у нас футбола не было, у нас ежели и был мячик маленький, ну толкали его ногами, ну где ж там футбол заимеешь. Ого! При Польше это дорого было. А он с футболом приходит. Он по-русски ж не мог, только по-английски. И мы давай гонять этот футбол, и он с нами, уже команды нам назначил. Где там мы правила будем соблюдать! Он по-своему говорит, что надо так, мы — подумаешь! И другой раз штурхача дадим этому Билли, и он с плачем пошел домой. Мы ему под ребра трохи натолкаем, и пошел домой с плачем.

А в какие игры играли еще?

В футбол играли, в лапу, в чижика. Все игры были детские.

На гитаре сам научился играть. А гитара у сестры была. Муж ее Егор Хмель сам сделал гитару. И очень хорошую. А играть не умел. Он такой специалист хороший, она такая меньше гитары, эта и гриф уже. И сестра играла. Ну и она меня заохотила. Да, Боже мой! Я в 1935 г. фотоаппарат выписал из Варшавы! 10 злотых стоил фотоаппарат. Так мне ж дорого.

Их [*детей управляющего Пысевича*] возили в детстве в школу, они в школу еще не ходили, было такое, пшедшколе¹⁵ называлось. Ну как бы подготовительное такое. Там их и кормили, в основном там поляки, дети таких чинуш. Так их возили, специальное было. Это было в Мире, а где — не помню. В основном монашки этим пшедшколом занимались. Один раз и нас захомутали туда с другом. Как раз польское Рождество было. «А куда вы идете? Може на хойнке хцэце?»¹⁶. — «Ну почему же нет?» Пришли, они нам конфеты, и то, и другое, ну песенки мы умели польские петь. Это они, чтобы нас уже в польскую веру. Ну где там! Мы там побыли, поели, и домой пришли. «Пшыходьте, пшыходьте». — «Добре, добре»¹⁷.

Три сестрички и брат был [*у Пысевичей*]. Они специальную такую тележку сделали маленькую, и была лошадка такая маленькая, как пони. Называли Куцык. Я потом как подрос, то сам стою, а ногу мог закинуть на него. У нас был Василь Крупка, и возил их на этом маленьком возке в пшедшколе. Там и кормили их. Там были разные дети, ну которые ходить могли.

А еще были шутки над евреями?

Были. Ну какие шутки? Не шутки, а издевательство.

¹⁵ Детское учреждение типа детского сада (*польск.*).

¹⁶ Идете на елку (*польск.*).

¹⁷ «Приходите, приходите» — «Хорошо, хорошо» (*польск.*).

¹⁴ Имеется в виду мяч.

Вот когда у них кучки, праздники. Я не знаю, как это по-еврейски. Это осенью бывает, когда дожди начинаются, и у них даже у многих ежели собственный дом делали, чтобы часть крыши (метра 2) поднималась вверх, ну потом после кучек опускалась. Они поднимали вверх, чтобы дождь, ну они там обедали, принимали пищу под дождем. Это они считали, ежели дождь их не помочит, значит, они паршивыми будут. Парша — это кожа облущивается. Это ж называли «жид паршивый». Так мы, бывало, идем со школы, а школа была как раз против клуба, чуть дальше, деревянная. Вот там я все 7 классов отходил, только 2, 3, 4-й я в Яремичах учился. И мы идем, бывает, собрание или танцы в школе бывали, идем оттуда и или каштанов, или палками какими, и стараемся туда в эту дырку попасть. А они уже как выскочат: «Ой, сволочь ты!» По-еврейски, и хам ты, кацапы нас называли. Кацапы — это украинцы. Кацап — это узел по-украински, так их кацапами называют. Вот иногда дурусть какая-то зайдет, то в окно постучим. Насквозь это все еврейское. Только дом один мой стоит не на еврейском. Тут был поляк один Сенкевич, уехал в Польшу. И тут был бесхозный плац. А тут за мной — еврейский плац, да тут все евреи были. Поляков или белорусов мало было.

А евреи белорусов называли: «Уй, хамуло ты, хам». Первые на нас никогда не нападали евреи, не приходилось. В ответ что-нибудь, или камень, или кулак, или палка. Считали себя не хуже евреев. Евреи хуже.

Чем хуже?

Чем хуже? Потому что он еврей.

А над татарами не шутили?

Нет.

И над поляками?

Нет.

Только евреи смешные были?

Только над евреями. А у них же вся торговля была. Все в их руках было.

Были специальные тут эти, тоже евреи, держали лошадей, таких, толстые такие лошади, и ездили в Городею, их называли балаголы. Ездили в Городею за товаром. Они знали, когда товар приходит, и он привозит — и сюда, этому еврею. У них лошади здоровые такие были, как нагрузит, везет с Городеи, сам уже не садится.

Вот, допустим, приходишь в магазин. Надо тебе что-то такое, вплоть до того, что автомашину. Надо тебе. «Слушай, будет, сейчас будет». Вот моя сестра старшая Маня. Она год училась у портнихи, и она уже кончила, и нужна была машина, зингерская машина. Отец пришел к еврею,

а тот специально, как агент какой, откуда-то привозил — я не знаю. Привозил себе, ну он, конечно, на этом зарабатывал. И приходит к нему: «Слушай, мне нужна машина швейная». — «Хорошо, приходи через недельку». Отец приходит с дочкой. Пришли — стоит 7 машин, пожалуйста, выбирай. Она села за одну, вторую, третью. Как выбирается машина. Я тоже на машине хорошо шью, не хуже какой портнихи. А сестра шила платья и пальто, что хочешь, мне рубашки, когда я в школу ходил, шила. Заказывали, и она шила. Она прожила весь век и нигде не работала, только дома, как и моя мать. Когда машину выбираешь, надо брать ткань тоненькую-тоненькую. Ежели она не будет стягивать, значит, бери эту машину.

У них [у евреев] почти что все, кто чуть богаче, у каждого была прислуга. Вот которые по деревням плохо живут, шли в наемные к евреям.

А хорошо евреи обращались со своими работниками?

Хорошо. И платили, и кушали хорошо. И вежливые были такие. Но даже бывало то, что на честность проверяли их. Возьмет деньги, положит на земле, ежели она заберет эти деньги, себе присвоит, старались уволить: «Нет, ты нам не подходишь, иди». Никакого договора, ничего. У князя хоть книжка была брахункова.

[...] В Мире только евреи [пекари] были, даже несколько у них было. Один, я вам говорил, Цвик. Пекарня была у него. Любой хлеб пекли: хлеб черный и булочки выпекали, любой, какой хочешь. Ой, какие булочки! Пальцы оближешь. Она сахаром вот, изюмом, маком посыпанная.

Вы маленький ходили к евреям за булочками в пекарню?

У них не пекарня, а магазин. В магазин ходил.

Родители не пугали, что евреи на мацу заберут?

Неправда это. Но между прочим моя жена, она в Яремичах жила (там тоже были евреи), так был такой случай, что ее хотели прихватить евреи. Это перед Пасхой что ли они пекли мацу, она такая тоненькая-тоненькая. Ага. И катками такими покатана. И они в эту мацу употребляли кровь человеческую. Не обязательно в эту, допустим, они оставляют вот кусочек мацы на следующий год, и потом ежели расчиняют уже в будущем году мацу печь, считается, что эта кровь переходит уже туда. И она Бог знает, сколько лет будет. Заволокли [ее] в какую-то комнатушку, так она давай бить, окно там побила, давай выбираться оттуда. А еврей: «Что ты, дура, чего ты кричишь, мы тебя так это хотели...»

Так что получается, чтобы взять кровь на мацу, человека убить надо?

Убивали...

Так пропадали дети?

Пропадали. Но это редко-редко когда было. Искали, бывает что и находили виноватого. Но у нас не было такого случая, тут у нас, в Мире, чтобы кого-то убили, не было.

Получается, что в Мире евреи неправильную мацу ели?

Ну почему неправильную! Может, откуда-то им присылали кусочек мацы с этой кровью, они тут растворяли. Это уже считалось, что она с христианской кровью. Они обязательно старались угостить этой мацой, обязательно. Я, допустим, ходил, тут был Заблоцкий, такой старый, бородатый, магазинчик был у него продовольственный. Там и сахар, там и разное такое. Отец договорился с ним, потому что не всегда деньги были у нас, чтобы купить. У меня такая маленькая книжечка была, и я с этой книжечкой в школу иду, после школы захожу к этому Заблоцкому, вот это здание по центру площади, вот он там торговал. Я захожу туда, даю ему книжечку, что надо, я ему говорю: «Мыло, сахар, масло растительное, селедка». Он мне дает, записывает себе и мне в книжечку. Все. И потом уже, когда отец получает деньги, относит ему, считает и ему платит. Так он такой довольный был и всегда нам мацу приносил. Всегда. И кроме мацы, так и булку принесет. Такое сдобное, такое хорошее. Как у них праздник, уже это Пасха, пекут и стараются, чтобы брал только у него. Маца без соли, но ели [*смеется*].

А как евреи свою Пасху праздновали, не видели?

Бог их знает. Танцев у них никогда не было. Там, где была пожарная, по улице Первомайская, там пожарная была, там зал же большой был. Ну так танцы ежели были, то все танцевали, не только евреи. Евреи тоже приходили, танцевали. И евреечки.

На кучки шалаши-то они не делали, они старались, ежели у кого там забором отгорожено, чтобы с улицы не видно было. Обычно они осенью эти кучки. И как дождик, они стараются выставить еду и кушали, и дождик на них [*надал*]. Это уже хорошо, не будет парши. Или частично крыша поднималась, метра два. Она поднималась туда, самый верх крыши, называется конек, там были какие-то завесы, и она поднималась, тут палки подставлялись, и с неба было открыто, и дождик падал туда. Они все время там держали открытую [*крышу*], пока кучки. А кучки, я не помню, сколько. Несколько дней. А дети еще и как хулиганили. Палки, каштаны. И яйца, конечно, не куриные. Насобираем скворцовых, от галок, а галки гнездились в замке. А я в замок доступ имел, так мы уже знали, где галки гнездятся. Яиц насобираешь, и туда яичко — плюх!

Не любили евреев?

Да, собственно говоря, не любили. Ну чего, ну кто его знает. Не нравились. Вот я сидел в 6-м классе с одним евреем. Резник Ицко. У его отца мельница была тут, и динамка была, он свет давал на Мир. И вы понимаете, это ж он жил хорошо. И вот от него какой-то селедкой пахло. Ну что-то такое противное. Я вот сидел рядом с ним. Да почти что от всех пахло селедкой.

А поляки, они считались выше нас. Это как коммунист выше на целую голову беспартийного, так поляк выше белоруса. Потому что он поляк, а я кацап. А мы их пшеками [*называли*]. Я когда в школу ходил, дружил с поляками. Хорошие были хлопцы. «Польская морда», и так называли.

При Польше начальники какие-нибудь, учителя, полициянты, по-польски говорили в семьях, а вот были такие пониже, простые, так они по-белорусски говорили. А гонору все равно было много.

А какие у нас тут поляки!

А татары настоящие?

Татары тоже не настоящие, они своего языка не знают. Вот этот Мурзич. Раньше тут мечеть была, во время войны сгорела, и мулла был, а потом мулле этого, не знаю по какой причине, его уже снесли, обыкновенный был хозяин, Муха, а потом уже стал этот Мурзич, он наставник истории, на фронте не был, не знаю, где он был, бронь получил, и на фронт не взяли его. Татары говорили по-польски, по-белорусски, они в основном по-белорусски. Татары простые люди. Ежели к ним хорошо, то и они будут хорошо относиться. Микаманович, тесть Мурзича, он кожи вырабатывал для князя, так мы всегда вместе были на праздники. Татары в основном выделкой кож занимались, брали от населения. Потом выращивали вот зелень какую-то, редиску, лук и на базаре продавали, это тоже у них.

В мечеть ходили по пятницам, наверно, утром, я не помню, они в пятницу не работали, у них выходной.

А восточники от западников отличаются?

Восточники¹⁸ как-то вместе держатся. Они всегда хуже нас жили, даже они уже и сами признаются. Вот мои сестры двоюродные со Смолевичского района, там деревня Курково есть. Они там родились. И по-

¹⁸ «Восточниками» жители Западной Беларуси называли жителей Советской Беларуси, Украины и России.

том при первых советах¹⁹ мать продала все и приехала сюда к нам. «Ой, Владик, выручай, может, я тут как-нибудь». А потом отец умер, и она умерла, так эти дочки говорят, что мы как приехали сюда, так мы как в другую страну, как в рай попали. Даже солдаты в 1939 г., когда наступали сюда, освобождали нас от хлеба, от соли, так они говорили, что тут у нас под боком маленькая Америка. У нас же тут что хочешь было, что ты только хочешь. Швейную машину. Велосипедов — хоть звались, каких только хочешь. Между прочим велосипед мне отец купил в 1937 г., он и сегодня на ходу у моего внука. Я ему настроил, он и сейчас ездит. Отец заплатил 150 злотых, потому что он взял в рассрочку на три месяца. А так можно было взять за 120 злотых. Корова с телушкой.

Когда Пилсудский умер (12 мая 1935 г. в 8 час. 45 мин.), после него остался Рызд-Смиглы. Мы его и не видели и не знаем, что за он. Тогда в Польше был президент Мостицкий, и все равно Пилсудский был старшим. А Мостицкий у нас в Мире был, без охраны, без ничего, я его видел вот как вас, он проходил. Выставка была большая, кто корову, лошадей, особенно лошадьми тут занимались.

Так тут выставка сельскохозяйственная была?

Да, и Мостицкий сюда приезжал. И вот выбирали, тут особенно лошадьми занимались, выращивали хороших, брали для армии польской, очень дорого платили, каждый старался, чтобы вырастить такую лошадь.

А пожарная дружина была в Мире?

Было две пожарные дружины, княжеская и в Мире, тоже добровольная. Это ж не машиной, как сейчас, там же бочками возили. А что та бочка? Раз-два и воды нет. А что пожар будет ждать, пока он воды привезет? Правда, не одна была бочка, несколько. Было, кажется, два насоса, вручную качали. В каждой деревне была команда. В Великом селе не было, но в Яремичах, в Турце были команды. А наша команда брала первое место по всему району, даже столбцовская команда уступала нашей. Проводили соревнования на быстроту, и строевым ходили, поворот налево, направо, назад и т. д. И потом насос приводить в движение, как шланг раскинуть, качают воду как-будто, потом уже отбой, как сливать воду со шланга, быстренько бежит, перебирает руками, вода выливается. И наша команда почему [*лучшая была*]. Потому что наша команда по воскресеньям всегда проводила занятия учебные. В выход-

ной, а также в рабочий день, кто ж даст в рабочий день тренироваться? Там, на спиртзаводе, было здание, где насосы хранились, бочки, пожарный инвентарь там, возле этого самого и проводили занятия. Базиль присутствовал при этом. Именно княжеская команда занимала, не мирская. Тут еврейчиков много было в Мире, а еврейчики к труду не особенно. У них оркестр хороший был. Очень много было евреев в [*мирской*] команде, наших мало было. Вот этот Космаевич был начальником каким-то, что стал начальником Красной гвардии. Они ежели проводили занятия, то не каждое воскресенье. Евреи — коммерсанты, и у каждого свое [*дело*]. А у нас что, отработал в будний день, а в воскресенье — выходной. Бывало, что по чарочке дадут после занятий.

Как действовали, если начинался пожар?

Трубачи были. Рапницкий Александр у нас, у них был другой. Если пожар, он трубит, кто услышит, то бежит, берет лошадей, а у кого они брали лошадей, я не знаю. Собственных лошадей не было у пожарной дружины. По улице Первомайской была дружина, тут недалеко горсовет, за ним метров 20 по правой стороне. Нет там уже даже и фундамента, жилые дома стоят. А было большое здание, танцы делали. Я подрастал и все мечтал, скорей бы мне подрасти, я тоже пойду в пожарную команду. Они ничего не получали за работу. Если поедешь на соревнования, то уже пьянку хорошую устроят. Соревнования и в Столбцах, и в Яремичах проводили.

А кто проводил эти соревнования?

Был со Столбцов Пётух фамилия. И вот интересно. Там Пётух, а в Яремичах был командующий пожарной командой Кокореко. Ну и они, значит, знакомились. Тот сразу руку подал и говорит: «Пётух!», а этот на него: «Кокореко!» Так этот на него: «Цо, пан зе мне кпи?»²⁰ — «Нет, — говорит, — это настоящая моя фамилия». Пётух был как бы инспектором всех команд Столбцовского района.

Я не помню, чтобы был пожар. Но команда должна быть. При советах уже не было, потому что все развалилось, спиртзавод отдельно. А в Мире тут не знаю.

[...] В пожарной артисты выступали. Приезжали, допустим, откуда-то из Польши, но они на русском языке, какая-то труппа приезжала. И вывесили объявление, мы идем со школы с Сережей Нарбутовичем, смотрим, читаем, а сзади стоит какой-то мужчина и смотрит на нас: «А вы согласны участвовать в представлении?» Мы посмеялись. «Не смейтесь, нам надо 2 мальчика, говорить много не надо. Несколько слов только

¹⁹ Жители Западной Беларуси выделяют следующие периоды: за Польшей (1921—1939 гг.), Первые советы (1939—1941 гг.), война или за немцем (1941—1944 гг.), Вторые советы (с 1944 г.).

²⁰ «Вы что, надо мной издеваетесь?» (*польск.*).

скажете. Зато мы 2 билета для родителей бесплатных дадим. И сколько мы будем стоять, то вы сможете бесплатно приходить и родители». Ну что, мы с ним согласились. Видят, что мы по-русски говорим, сделали несколько репетиций, и мы выступили там. Назавтра мы пришли в школу, директор школы нас вызывает, я в шестом что ли классе был. «Ты был в этом самом? В театре русском? А почему? А ты знал, что нельзя?» — «Знал. И родители были». — «Марш домой, и скажи, чтобы родители приходили!» — «А почему Косинувне можно?» — «Цо вольно воеводе, то не тебе, малы смроде!»²¹. Я беру маму и прихожу. Он отчитал ее, мама пошла домой, а я — в школу. Но я был еще. Втихаря проберешься. Спектакль был, не помню, про любовь, про все, знаете, как спектакль.

Приезжали борцы, боролись. Там и русский, и немец, и поляк. И потом вызывали наших. Кто хочет, приходите, поборемся. И были желающие. Николай Найба высокий такой, здоровый парень, в кузнице молотобойцем работал. И чтобы доказать, что он такой сильный, ему кладут наковальню на живот и по наковальне молотами бьют. Вот он сильный такой. Сильный-сильный, но там нужна ловкость. Вертким надо быть. И он выбрал самого легенького поляка, он худенький был. Пришел этот Коля, этот намного ниже, схватились, туда-сюда, он потом этого Колю через голову, только пятки засверкали, и как лякнул об это, об пол! И все... Ну так, а что ж, он думал тут! Если бы поборол поляка, то была бы премия какая-то.

Еще один из Мира был, вышел на сцену, сам выпивший, ноги грязные-грязные. Люди давай смеяться с него, а надо ж раздеться до трусов. И подошел это борец к нему и послал его туда подальше. Тут все давай смеяться, а он все время, когда клали бульжник, так трамбовка такая тяжелая, так он трамбовал. Так мускулы у него такие хорошие. Ну что мускулы твои, тут надо тренировка, мускулы какие у тебя бы ни были б. Утек с этой сцены. Люди посмеялись с него и все.

Билеты были: дешевые по 50 грошей, по злоту, по два. Богатейшие занимали первые места. Пуд жита полтора злота, даже до двух доходил перед жнивом. Это дорогие билеты были, да. Артисты останавливались в гостинице. Вот здесь, на нашей улице, где поликлиника, и тут вот домик как раз стоял, большой сарай, что можно было заезжать туда с лошадьми. Рядом с поликлиникой на углу Московской и Красноармейской. Гостиница не такая уж большая, я даже не знаю. Еврей Богатин держал. Деревянная была, один этаж. Сколько стоило в гостинице оста-

новиться — не знаю. Не пустовала гостиница. Шли в гостиницу только те, кто побогаче. А кто бедный, где ж ему... Пришел, и обратно идет домой, хоть ночью.

Артисты представление каждый день показывали, народу много ходило. Там сцена была, стулья. Детям хотелось пойти посмотреть, хотя дорого. Но у меня не было такого, ежели что, то попрошу у мамы, и она даст, ежели посчитает нужным.

Расскажите о приходе советов в 1939 г.

Мне очень нравился советский гимн. А у швагра был детектор с наушниками, и я к нему иду и сижу до 12 часов ночи, чтобы только послушать советский гимн. Я вообще люблю. Мне так нравилась музыка, что они играли.

А вы слушали по радио, как там хорошо жить в Советском Союзе, верили?

Конечно, а почему ж не верить?

Приходу советов население сопротивления не оказало, но на границе постреливали. В полдень слышали гул. Танки и машины въезжали в Мир. Солдаты со звездами. Всем «Здравствуйте» говорили. Все жители были довольны. Первый советский солдат, которого я увидел, был на лошади, одна нога — в ботинке, одна — в сапоге.

При поляках махорка стоила 60 грошей, была хорошая, настоящая, солдаты хотели меняться своей плохой махоркой. Молодежь курила папиросы «Аванта». Гончарикова и Разводовская Маня дружили, шли по длине в одинаковых пальто, солдаты начали показывать на них и говорить, что идут помещичьи дочки. Солдаты обманывали с деньгами. Андрей Высоцкий имел хорошие часы, солдаты предлагали купить за 30 рублей облигациями. А он подумал, что это 30 злотых, но это было не так.

Как проводился обмен денег — злотых на рубли?

Злотые на рубли не меняли. Новые деньги можно было получить работой или житом.

Советы забрали из замка выездных лошадей, а остальных раздали служащим замка. Лошадей позабирали, нам пораздавали. Создали 2 колхоза. В колхозы вступали «добровольно». Создали школы. Учителя неграмотные, умели читать и писать только на русском. Было много арестов и репрессий. Швагров арестовали и отправили в ссылку.

Председатели колхозов местные — где кто лучше работал языком и пил водку (на пьянство не очень обращали внимание). Лобецкий очень богатый, трудолюбивый человек, его бы в пример всем, а они его — в ссылку.

²¹ «Что позволено воеводе, то не позволено тебе!» (польск.).

В княжеской церкви при советах зерно лежало спиртзаводское. Там разграблено. Вы знаете, дверь входная, была такая дверь дубовая и на ней кресты, кресты, кресты вырезанные. Ой, там красота была, Господи! А колоколов 3 или 4 было, ну не меньше 3.

После прихода советов в 1939 г. сразу задумали [открыть] водочный завод. А там была пекарня при Польше, отдельное здание. В этой пекарне хлеб пекли для польской армии. В Снове стояло польское войско. Это княжеская пекарня была. Могли и мы брать этот хлеб, князь брал. А в Мире этим хлебом не торговали.

Магазины долго и не побыли. Раз-два, евреи поняли, что тут брать товар им больше негде. Потому что они завозили товар с Баранович, может быть, откуда-то еще.

При советах покупали про запас, потому что было так, что не было и мыла, то как привезли, то надо брать — и на чердак.

При первых советах возвышали евреев, ого! Попробуй скажи «жид» — годик и отхватишь. Один. Ежели больше будешь говорить, и больше получишь. Говорили уже «еврей». Сами жиды не ходили и не жаловались, никто ж не поверит. Надо свидетелей.

А многие евреи заняли тут посты при первых советах?

Да. Вот тут даже один есть Космаевич, потом его вывезли в Сибирь. А при первых советах был начальником Красной гвардии, вроде как милиция. А до этого воду газировку продавал в подвальчике тут, где столовая, на углу. Язык хорошо работал: «Еврей, меня утесняли!» Понимаете, как будто поляки их утесняли, вот и взяли.

Я помню, как выбирали делегата в Москву просить Сталина о присоединении Западной Беларуси к Восточной. И они своего, кузнецом он работал, Брук Нохим Герцелевич, рекомендовали: «Вы что, это рабочий человек, это кузнец!» И как они ни пробивали, чтобы его в Москву послать, все же не получилось. Послали Анну Сташевскую. А вы знаете, райком партии решал все. Что-то я даже не помню, чтобы голосовали. Просто сказали, что Сташевская поедет, и Сташевская поехала, все. Тогда ж райком что сказал...

На большие должности евреев не выдвигали. А в райкоме первый секретарь райкома был Сосинов, еврей. Он оттуда, восточный. Начальник райотделения милиции тоже еврей был. Бронепольский, что был в ЦСУ при райисполкоме. Когда Сталин умер, бедный, плакал, так плакал. Так жалко ему было изверга! А мне, я тогда в контору зашел, там такая Клава была Котова, [она] на меня: «Вы знаете, Владимирович, Сталин умер». Я говорю: «Ай-яй-яй». На душе радость такая, как будто у меня праздник. Думаю: «Слава тебе, Господи, изжили мы со свету

этого изверга! Сколько ж он издевался над людьми, Боже мой! В книге «Память»²² посмотреть, сколько репрессированных».

Много беженцев [евреев] было. Не только из Варшавы, а с окрестностей. Райком партии ([беженцам] надо ж работать, что-то кушать), так нам приказали в водочный завод [взять] евреев. Взяли. Ну они ж не привыкли к работе, одна была, помню, такая быстренькая, лучше наших работала, а другие были такие вялые, что не дай Бог! Мужчины были тоже евреи.

А где эти беженцы поселились?

Их расселили по Миру.

Я был сначала, и бутылки, и за спиртом ездили, воду качали, ну как подсобный рабочий. А потом меня фильтровщиком, он разводит водку, делает, чтобы определенной крепости была водка. Не, 40° — много, 39,8°. Все! А 40° — много, никогда не вложишься, потому что выпивают же, а крадут, да я и сам не против. Я не крал, я брал. Я пол-литра спирта каждый день. А что там такого? А друзья? Ну, может, я не каждый день. Но всегда чарка была дома. Меня приветствовали в армии, как я заведующим столовой был, у меня всегда водка была со мной.

Мастером был старый поляк при первых советах, Шмурея фамилия. Как директор его вызывает, так он: «Как я ему надо, то нехай сам придет». [Директор] нашел причину, чтобы уволить человека. Они что нашли, грузили на воз посуду, уже полную водкой, машин мало было, возами отправляли. На воз грузили и обнаружили в бутылке паука. Но это ж не мастер виноват, это ж контролер, браковщик. Была водка «Особая московская». Потом кончились этикетки. Приходят на него: «Товарищ мастер, кончились этикетки». — «Что кончились, а какие есть?» — «Есть «Пшеничная»». — «Клей!» И вот надо было поставить женщину, и она зачеркивала [бы] «Пшеничная», и не было бы никаких претензий. И вот эти две причины, и его с мастера прогнали. А меня на его место.

С Белостока приезжали к нам за водкой, не было водки у них, заводов не было. И мне, Боже мой, я ж мастером был, только по моему решению можно [было] отпустить. Так они, что закажешь, привозят — из одежды, из обуви, с продуктов. У меня всего хватало. Это при первых советах. Потому что по 4 дня некоторые ночевали в очереди. Спали прямо на возах. Барановичи, Столбцы, все окрестности приезжали за водкой, с сельпо, с райсоюзов, частный, конечно, никто не приезжал. 8 рублей пол-литра, а ежели с натуральной пробкой — 8 руб. 05 коп.

²² Памяць. Карэліцкі раён. Минск, 2001.

А так — капсуль, это из картона, выдавлена пробка и закупорена так, перевернешь — и не течет. А литр — 15 рублей.

А нас, меня и сына инженера с завода Оболонкина Митю, послали [*за торфом*]. Спиртзавод палили торфом, а здесь на Миранке производства не было, так возили. Там далеко Кисловщина есть, деревня, там тоже болото большое торфяное, возили. А кто возил? Транспорта у нас не было пока при спиртзаводе, возили частники, за каждую привезенную тонну 40 рублей платили. И нас послали в Жуховичи, а Оболонкина — в Шанский сельсовет. Я нашел женщину, депутатом была, я с ней поговорил, и мы прошли по деревне, она ж знала, где у кого какие лошади есть, и все, и пошли, а там недалеко от Жухович, и пошли повозки эти с торфом. Ну а ночевать мне сельсовет выделил домик рядом с сельсоветом. Там старички жили, они мне кровать какую-то детскую, наверно, дали, что я не помешался. А зимой это было, так я ноги выставлю, пока ноги не замерзнут, в комнате холодно. Я ночку, другую, а потом вижу, там евреечка эта, Циля. Я говорю: «А где ж ты тут?» — «В библиотеке, заходи». Я одну книжечку взял, вторую, потом посидел, говорили, вижу — стемнело, она меня не прогоняет. Потом всю ночку просидели с ней, одну, вторую, ну а потом нас на другой выходной поменяли: его в Жуховичи, а меня в Шанский сельсовет. Кто-нибудь едет с торфом, подсядешь к нему и приедешь.

Как для Вас началась война?

Как немцы шли, директор спиртзавода Кровопусков Игнатий Яковлевич запряг лучшими лошадьми княжеский фаэтон, чтобы убежать, и меня с собой не взял. Сказал пойти к конюху, чтоб дал лучшего коня. Взял. Поехали с Соловьёвой из Мира. Доехали только до хутора Володько. Соловьёва уговорила меня ехать назад в Мир. А ночью были слышны взрывы. Пришел домой, мать рыдала.

В Мир пришли немцы. Сопrotивления оказано почти не было. В Мире был магистрат, а главный был бургомистр. Магистрат находился по улице 17 сентября. Центр сожгли. Был установлен комендантский час. Как только темнело, никто не выходил на улицу. Управа немецкая находилась в детском саду.

Немецкий порядок был жестким. Всех лошадей и коров забрали. Работали, как при князе, но платили меньше. В городе было 70—80% евреев. По деревне ездил немецкий танк. Подъезжает он к дому, высовывается танкист и спрашивает: «Юде?» Хозяин дома растерялся, и кто-то сбоку сказал: «Юде, юде». И немец выстрелил в дом из танка.

Гетто было в замке. Всех согнали в замок, ненадолго, их скоро расстреляли. Некоторые даже удрали были, но немного. Вот с нами работал

Ицко шорником. Он попросился у отца: «Ты поговори с комендантом, чтобы в рымарню, чтобы поработать у вас». А у него была жена и дочка в этом гетто. У них же на левой стороне звезда еврейская, а некоторые так просто тряпку желтую, и на плечах тоже. И он приходил к нам, так и мы ему приносили что-нибудь покушать. И я говорил ему: «Ицко, утекай оттудова, там же можно, вот днем выйди, днем никакой охраны. Ежели вот так напрямую в Володерово иди, там найдешь партизан». — «Нет, не пойду, а куда жена, дочка? Не пойду, я вместе с ними. Так Бог решил, что мы должны погибнуть». Настолько религиозные, что они добровольно шли. Если бы наши, то собралось бы несколько парней и кинулись бы на эту охрану, ну пусть одного-другого там застрелили бы. А охраны там было 3—4 человека пьяных, гнали их. А они, как овцы, послушенькие, шли на эту яму. Сами себе копали могилу.

Этому Ицку разрешали выходить. Комендант разрешил ему, и тот, кто их охранял, ему сказали, что имеет право. А остальные не могли покидать, только организованно выходили на работу и возвращались. Выгоняли с гетто на работы, тут спалено было много, грузы грузили на подводы, вывозили куда-нибудь, на черные работы на такие. Там была возможность, там половина могла убежать в партизаны. Полиции их охраняли. Ну немцы не будут такой грязной работой заниматься! И полиция, и немцы расстреливали. Пьяными понапиваются! Могли выпить!

У нас там в маэнтку забирали, один был, притворился переводчиком, как будто он немец, он не похож на еврея, а жена и дочка копии евреи, а он работал в слесарне. И он как переводчик был. У него была такая хватка, как ты ни говори, еврей евреем. Погрузили его везти на расстрел, и его погрузили с женой и дочкой. Ему, видимо, специально дали, чтобы убежать, тот, который вез на расстрел, дал бумажку: «Занеси в контору». А машина стояла, даже не видно было от конторы. И этот принес в контору бумажку и сам пришел в машину сел. Потому что жена там с дочкой. Да и я бы сам не смог бы. Вот один, он переводчиком был там. Он сейчас где-то в Израиле ксендзом, не раввином, а ксендзом²³. Он приезжал сюда даже [*в 199? г.*]. Так комендант немецкий его

²³ Речь идет об Освальде Руфайзене. Выдав себя за выходца из польско-немецкой семьи, стал переводчиком сначала в полиции, а потом и в гестапо. Доступ к секретной информации Руфайзен использовал для спасения узников мирского гетто. Был арестован, но смог убежать из Мира и спрятаться у четырех монахинь ближайшего монастыря. В 1945 г. под именем брата Даниэля он вступил в католический орден кармелитов. Умер в возрасте 76 лет в Хайфе 30 июля 1998 г. (*Зуборев Л.* Крестный путь из Мира отца Даниэля // Советская Белорус-

любил. Он при коменданте переводчиком был. Он [комендант] не знал, что он еврей. И вот когда должны были расстреливать евреев, он ему, этому переводчику, говорит: «Знаешь что, завтра поедем расстреливать евреев?» А этот ему так ответил: «Я своих братьев не поеду расстреливать». «А ты что, еврей?» — «Как хотите, считайте, еврей — не еврей, но братьев своих не поеду расстреливать». И его арестовали, и посадили. Но ему удалось как-то вырваться, и он удрал в партизаны и оказался в Израиле.

Сын фотографа со мной в один класс ходил. Он уже с одной евреечкой, она беженка из Варшавы, такая низенькая, а он высокий. И они полюбились, и когда их вели на расстрел, я-то не видел, но говорили [шли она и] Гольдинов сын обнявшись. Пришли под яму, их расстреляли, и они упали в яму оба. Фотограф еврей был. Они говорили Гольдин, а мы Гольдин его называли. Фотограф на этом углу был, а гостиница на этом. Мог он свет регулировать, электрический. Фотографии хорошие были. Там и жил, там и фотоателье было.

Друг у меня был Сережа Нарбутович, между прочим он княжеский сын. Мать его была горничной у князя у Ивана²⁴. Сережку так и называли Князюк. Между прочим Базыль его любил, родные братья получают. Сергей — мой лучший друг. В Австралии в мотоциклетной катастрофе погиб. При немцах пошел добровольно в полицию. Я ему говорю: «Сережа, зачем тебе эта полиция?» — «А что я буду делать?» От, дурак! Как-нибудь пристроился бы. А я же был в шорной мастерской. Работал. «На что тебе эта полиция? Ты ж не знаешь еще, что может быть. Это же еще война идет, а ты уже залез в эту полицию!» Ну потом, как уже отступали, он ушел с немцами. Письмо мне из Англии прислал. Он пишет, что сразу мы с немцами — в Германию, потом попали в Италию и пошли в партизаны итальянские. Потом оттуда — в Англию. В Англии женился. В Англии то ли ему, то ли жене климат непригодный был. Так много наших в Австралии.

Полицаяев?

Да, в Польше, в Англии, в Канаде. Сквозь их хватает.

Так Сережа в полицаи пошел, потому что нужно было где-то работать?

Ну да. Ну кто его знает. Работать! Работать он слишком не хотел. Князюк! А другой работы не было. Так он пошел.

А много вообще мирских пошло в полицаи?

Мирских, да, подходяще было. Многие вступали в полицаи, хотели власти. Крень, Аберган, Пузиновский, они из Прилук и д. Озерское. Они потом стали бандитами. И Левковичи, и Бахрушины, и Стома Иван, Дашкевич. Ежели пооставались тут — 25 лет получили. 7 лет отбыли там и, как Сталин умер, поприходили.

[*Как-то сидел у девушки*] при немцах, полицай заходит. Он: «А ты чего здесь?» Ну знакомый, Боже мой! «Того, что и ты пришел, чего ты пришел?» Так он: «Марш отсюда!» А я: «Ты что, шутишь?» Он пистолет достает! А дело пахнет порохом. Ну я встаю и за дверь вышел. А он — бах! Куда-то вверх. Если б захотел, конечно, убил бы. А так куда-то вверх целую обойму эту и выстрелил. А я как деранул! Назавтра приходит ко мне в мастерскую, он тоже высокий был, приходит, смеется. «Здрате». — «Здрате». — «Ну ты трохи струхнул?» Я говорю: «Слушай, ну ты вот мне дай пистолет, а сам сядь с этой гитарой, и я приду, струхнешь ты или нет?» — «Ну ладно, но больше не ходи туда». Я понял, все. И так я больше и не пошел.

Вацек Перейра с другом Колей Герасимчиком были в Мире тут в воскресенье и затеяли драку с одним парнем, и его добра налупили, а тот немцам заявил. Жуковский фамилия его. И их хотели в Германию отправить. Они ехали уже поездом и возле Красной горки спрыгнули с поезда и пошли в партизаны. Потом, когда Красная армия освободила, его в армию взяли.

Жук Костя и Рапницкий Костя. Их заставили навоз выкидать, а они вместо навоза пошли в полицию, а потом Рапницкий попал в Англию, а этот Жук Костя перед самым приходом Советской армии сюда с партизан утек в армию, был на фронте и даже ордена у него. И потом пришел сюда уже, демобилизовался и ухаживал за какой-то девушкой — Валишевская Сара. Серафима, а ее Сарой называли.

Во время оккупации приходилось общаться с немцами?

Наши, советские, бы это никогда не сделали как немцы. Они больше доверчивые, чем наши. Наши так, ой-ёй-ёй! Это мы однажды в парке [сидели], у Жабка был свой аккордеон, он хорошо играл, мы вышли в парк в воскресенье. И те летчики, человек 5, пришли, ну на музыку, все, и девушки, и парни пособирались. А мы уже тоже во время оккупации общение имели с ними, и сам уже немного нахватаешься этого немецко-

сия. 2005. № 123. 30 июня; Еврейская Карта Мира. Штетл Мир // http://www.sem40.ru/world/shtetl_mir.shtml). Отец Даниэль — герой романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». М., 2006.

²⁴ Иван Святополк-Мирский, брат последнего владельца замка Михаила Святополк-Мирского.

го. Один немец попросил аккордеон, давай играть, мы давай подпевать, слов не знаешь, то хоть мелодию. Они посмотрели: «Ну гуд, гуд, комарад, ком! Идем с нами!» Идем! Нас 6 человек, пошли вместе. Через проволоку, завели в свою казарму, где они спят. Водки поставили. Нахлебались и мы, и они. И тут давай играть, веселились, хоть бы что. Ежели бы я при советах это рассказал, ой! Во, что было бы!

Офицеры или солдаты это были?

А кто их знает, летчики, конечно, офицеры.

Я в шорной мастерской работал, при немцах даже. И отец также. И на лошадях, паробки, и мастерские, все так, как и было при Польше, так и при немцах.

Что я делал этому коменданту немецкому! Мои руки меня спасли. Он жил там, где Нона сейчас живет, наверху²⁵. На имении княжеском был комендант. На спиртзаводе был другой. У нас Штекель, а там — забыл фамилию его. Спиртзавод работал, спирт вывозили. Даже водочный цех работал. Там потом уже при этих советах²⁶ крахмал делали.

Из чего делали спирт?

Из картошки, зерна любого, кукурузы. Да любое, что бы ни было. При Польше — только с картошки. С зерна уже при советах стали делать. При немцах — с картошки. Брала в деревнях, приходят — налог. При них те же самые работали работники, что и при советах. У Штекеля на погонах 2 каких-то кубика, что за звание было — не знаю.

Он только со мной, нас было 4 подмастерьев, но он ни к кому, как придет — ко мне: «Майстар, вот то-то и то-то мне надо». У него сынишка был дома там, в Германии. «Ты мне футбол пошей!» Ну что ж ты сделаешь, надо шить, потому что не будешь шить — получишь нагаечки.

А вы уже умели шить эти футболы?

Так вот пришлось научиться. Я после того и не делал. Я подобрал кожу юфтовую. Тут татарин был, выделывал нам кожи. Желтая такая. Я ее вымазал маслом, не этим маслом, а для машин, я пошел в подвал (подвал там был для спирта), а там в бутылках какое-то немецкое масло было, очень хорошее, желтенькое-желтенькое. Я вымазал эту кожу, выкачал, так она сделалась на такие крупинки. Хорошо, что у меня сохранился польский футбол еще со школы. Его уже выкинули. Я взял домой, немножко подремонтировал, когда в школу ходил. Отец мне подремонтировал, и гуляли с хлопцами. И этот футбол у меня остался. Он из 8, наверное, частей. Я эту частичку одну вырезал, а она такая, понимаете,

вроде не полумесяц, а вроде, как дуга. Я вырезал, сделал шаблон потом на картоне. И таких 8 кусочков вырезал и потом давай сшивать. Тяжело было, конечно, тяжело, но тут что сделаешь. Сшивал дратвой, льняная нитка, ее в несколько столок свиваешь, потом воском намазываешь, и получается дратва. А внутри футбола — камера, а где взять — это его дело. Я ему сшил, ой, он такой довольный.

Заплатил?

А как же... Спиртом. Не помню сколько. Потом приходит ко мне с переводчицей. Переводчица наша недавно умерла. Шура Плютова. Но она хорошая была, между прочим не продавала наших. Она и жила с этим комендантом, но хорошая была. Потом, конечно, отсидела свое, не помню, сколько она была на этом севере. Это после войны уже ее сослали. Я когда пришел из армии в 1946 г., то она уже была в Мире. 3 декабря 1946 г. уже дома был.

И эта ж тоже сидела, Мария Русецкая, за то, что ребенок был от полиция. Тоже отсидела. Она все ко мне подмазывалась после войны. «Что ж ты, — говорит, — не заходишь?» А я говорю: «Что ж я буду заходить, Бакунович же заходил». Я уже слышал, что она родила мальчика и где-то закопала, как на Жуховичи ехать, то возле столба. Других таких случаев не было. И она уезжала в Германию, а потом обратно возвратилась. С немцами ушла, но куда она дошла, я не знаю. Наверно, с этим полицаем уехала, не знаю. Приехала сюда в 1944-м, уже наши пришли сюда. Наверно, в 1944 г. и сослали ее. На север сослали. Куда точно — не знаю.

Комендант пришел ко мне зимой в шорную мастерскую с переводчицей. И она говорит, комендант имеет сына, ему 3 года, у него там есть 2 козы, и он хочет, чтобы сын катался на тех козах. Пошить на них сбрую, упряжь. Говорю: «Никогда не шили». — «Я знаю, что ты сможешь!» Господи Боже, вот задача! Хорошо, что у нашего одного, Миша Томашкевич, у него была дома коза. Говорю: «Миша, знаешь что, веди козу сюда, у рымарню, бери сена или клеверу, подкинем, ей тут тепленько будет. Будем мерять шлеи». (Как на лошадях тоже бывают шлеи, не хомут, а шлеи). Отец дал нам кожи. Давай! Отец, правда, к нам не прикасался. Пошили шлеи, постромки, которые цепляются за коромысло это, потом лейцы, вожжи по-русски, потом крыжоуки, мы на лошади шили крыжоуки, и каждый конь в отдельности, ежели я потянул за левую сторону, оба коня получают одновременно команду налево или направо. Ну и что ж, понесем до коменданта, я и Миша Томашкевич, что козу приводил. Принесли мы, куда — на кухню, Ноны Сергеевны сейчас кухня. Варили там. Принесли, как раз Шура Плютова, переводчица

²⁵ В доме управляющего князя.

²⁶ «Эти советы», или «вторые советы», — период с 1944 г.

была: «Может, сбрую принесли?» — «Да». — «От, хорошо! А комендант в таком хорошем сегодня настроении». Она наверх к коменданту побежала, он сказал, чтобы мы шли туда. «Один ты, Володя, иди». Я пришел наверх, а мы где-то газетки достали, завернули, все культурненько. Принес, разложил ему, вот одна, другая шлея на козы, вот эти вожжи, упряжки такие хорошенькие, это, что были польские, остались, уже не пожалели. Ай-яй-яй, подошел, обнял меня этот фриц, чуть не целует: «Ой, гуд! Ой, гуд, от мастер!» Спрашивает, сколько нас? Я показал — 5. Ага. Садится, пишет записку — 10 литров спирта. Он же не обязан. Мы ж зарплату получаем. Зерно и марками немецкими. 10 литров спирта — это премиальные для нас. А мы взяли канистру, уже предусмотрели, взяли канистру 20-литровую, во дворе поставили. «Но только, — говорит, — чтобы на работе я вас не видел пьяными!» А у него всегда с собой была нагайка. (Между прочим эту нагайку я тоже ему плел. Спросил: «Умеешь ли?» — Я говорю: «Умею»). «Получите, — говорит, — нагайки».

И мы с этой запиской идем в спиртовой подвал. А там был Дивак, он когда-то при Польше был акцизником, но потом уже при советах его в подвал поставили, так и при немцах он работал. Он польский и немецкий хорошо знал. Принесли ему записку: «Ой, пане Володя! То ж тут 10 литров написано, а канистра на 20 литров». — «Пане Дивак, ну мы, может, чем-нибудь отработаем вам, может, вам что надо?» — «Ах, нех вас холера возьме! Идь, бери»²⁷. Мы пошли под кран, потихоньку пустили, то полную канистру набрали. Отец говорит: «Но пить я вам не дам абы как!» Идем на обед — по рюмочке выпьем каждый, ну не чистого спирта, а разведем. Вечером уже побольше, по 2 рюмочки выпьем. Больше 2 месяцев мы это спирт пили, пока его выпили.

Нас в батальон забрали, всех молодых, кто на маёнтке работал. Там школа была деревянная польская, и нас в школу всех. Должны были обмундировать. Это на партизан ходить. Формировали из местных. Не знаю я, какой он был, там эти наши хлопцы много не побыли. А я часа 2 там был. Ну мы как раз чемоданы (а с собой же водки взяли, закуски, все, то что ж — идем в батальон!), и только чемоданы раскрыли, чтобы по чарке сделать, — а вот приходит полицай Карабан Николай (а он шизофреник, тоже забрали его, какой-то неполноумный): «Лобоза Володя!» — «Я». — «Домой идите». «О, Господи!» — думаю. Только этот чемодан раз — и домой. Папе говорю: «А что так?» Говорит: «Комендант пришел и спросил, где мастер, я сказал, что забрали в батальон, он

тут же по телефону». И меня отпустили. Я говорю, это руки мои меня спасли!

А потом недельки две они побыли, их там кормили, немного, может, учили строевым или каким-то там ходить, кто его знает, они даже на партизан не ходили. Их потом распустили. А на партизан полицаи в основном ходили. Отряд был полицаев. И охраняли ж тут, правда, и немцы были кое-где на охране, и к нам приходили охранять имение бывшее. Каждый день приходили вечером, а утром уходили. Пока не освободили, тут гарнизон стоял. И комендант этот был, а потом уже Штекеля куда-то, не знаю, а после него был Банза. Здоровый такой громила. Ой, то фашист был такой гадкий, не дай Бог! Этот, ежели ты работаешь, он тебе не тронет, Штекель, но ежели ты филонишь или пьяный, то получишь за это нагайки. Стрелять он, правда, никого не застрелил из наших. А вот Банза — тот гадкий был такой, не дай Бог! Это были бурты с картошкой, как ехать на Столбцы, — сад за садом. И женщин перед посадкой картошки повели (из наших бывших, которые с имения), собрали, повели туда, и они перебирали. Так он заставлял, чтобы на колени вставали, так на коленях перебирай картошку. Надоедает, болят же колени, ну кто там присядет, кто как. Он что, зайдет, там кусты, там боярышник растет, акация росла. Так он в кусты зайдет и наблюдает: как кто-нибудь из женщин присел, — он тут же бегом и нагайкой! Вот издевался. Такой гад был, паразит. Он уже был до освобождения. Не убили, удрал, преждевременно удрал.

А партизаны тут были?

Мне принесли письмо и сказали: «Вы работаете среди немцев и могли бы нам помочь какими-нибудь сведениями». Действительно, я мог помочь. Ежели бы я знал, что это письмо действительно от партизан. Но постольку, поскольку она, Новицкая, ухаживала с этим Бразовским, с полицаем, а меня этот Бокунович гнал с пистолетом, а они были друзья (они добровольно пошли в полицию). Так я думаю: «Вот что, принесла мне письмо от партизан, — думаю. — Голубушка, где-то Бокунович через Бразовского подал мне это письмо». Они назначили встречу в субботу в 6 часов вечера, чтобы я был. За Миром есть [река] Миранка, там мельница на речке была. Возле мельницы встречу назначили. Я думаю: «О, брат ты мой, я выйду за Мир, а тут за Миром: “Ты чего, куда ты?” — и пулю мне в лоб, и все». Это ж могло быть такое? Могло! Я потом объяснил ему, потом уже, Новицкому. У него этот Панкрат был, сейчас в музее висят [фотографии], все груди в орденах, медалях, Боже мой, ох, вояки! А сколько вы людей побили там, мирных людей. Я помню, картошка моя сидела там, за больницей. Когда работал на автобазе.

²⁷ «Холера тебя побери! Иди, бери» (польск.).

Я картошку бороновал и еду, сижу в передке. Идет старичок и все оглядывается: «Может, подвезешь меня до Мира?» — «Хорошо!» — «Ты сам откудова?» — «С Мира». — «О, то ты Новицкого должен знать?» — «Конечно!» — «Сволочь эта, гад, паразит, моего сынка забил!» И многие, вот допустим, кто-то любит девушку в деревне, и он к ней, и он пулю всаживает тому парню, и все. Тогда ж ну какие права были? Никаких прав!

До войны Новицкий корчи драл в лесу, пни уже старые, так они выкорчевывали. Вот кем он был до войны. У князя он не работал. Как война началась, так в партизаны пошел и в партизанах уже... Комсомольский отряд, кажется, у них был. Я имел возможность пойти в партизаны, я родителей жалел. Потому что пойду в партизаны...

Новицкий был начальник разведки. Партизаны мало тут ходили. Немецкие летчики были, гарнизон был, вооружены были сильно. Полетают-полетают немного, и потом на отдых, сюда. В Мире стояли. Где пересекает Ленинградская Красноармейскую, вот здесь уже проволока и никакого дальше движения. Оттуда выселили людей, там только немцы и полицаи были.

После освобождения вас мобилизовали в армию?

Да. Помню, мы кабана [*коменданту*] кололи, а отец был специалист по забою свиней. А здоровый кабан, как лошадь, клыки черные такие, сколько ему лет было — черт его знает. Так мы подошли к этому — он сразу на нас зарычал, где там! Хай ты сдохни! Загрызет. Так мы на эту свинарку, ты как-нибудь веревку на него завяжи. «Хай он, — говорит, — провалится, он меня загрызет!» — «Ну то выпусти». Я пошел, взял карабин у коменданта, выпустили его, я сложился — и бах! В шею. Он повалился, а прибежали хлопцы и его ножом [*добили*]. И мы его уже разбирали перед входом как к Ноне Новицкой, ну и все, он знал, что большевики наступают, надо ж было с собой набрать. А ты разумный, но мы ж тоже не дурни! И вот хорошо, что я этого сала, мяса наворовал, так я хоть с собою кое-что взял. А так у нас два подвинка, да здоровые, килограмм около 70—80, такие были, два кабанчика было. И отец их вывел, утекал, потому что ж немцы могли забрать, так он утекал, где Яблоновщина, он туда. Немцы как начали строчить отсюда, с Мира, а там уже наши наступают, так он в лес корову, ну корова была на веревочке за рога привязана, а свиньи утекли, и так утекли и пропали. Ну кто-то присвоил, загнал в хлев, да и все. А тут мобилизация, и пришлось идти, да надо ж было с собой что-то взять. Это в 1944-м, мне 22 года было.

В 1944—1946 гг. служил в Германии. Так наша часть и осталась, сперва там, в Берлине были, в Берлине закончил войну. А потом летние лагеря, в лес и т. д., потом уже в город вступили. А я писем, Боже мой, сколько я писал писем! Я больше писем и обратно получал. А другие в неделю или в две недели одно письмо. Ну так, как вы пишете, так и... Я и друзьям, и подругам, и родителям, и сестре... Вот у меня письмо. Это с фронта. Это еще треугольники были. Это я писал сестре. Она уже умерла.

16 апреля 1945 г. Такое, так сказать, генеральное наступление было на Берлин. Последнее уже. Как ему дали, там с прожекторами даже это отмечается частяком по телевизору. Я вот участвовал в этом. Наша часть... где тяжелее, туда и бросали. Так вот я пишу. «Письмо твое я получил вчера, но не имел времени отписать. Готовились к сегодняшнему наступлению. Знаешь, Соня, сижу и пишу письмо, а за 20 метров ничего не вижу за дымом и пылью от стрельбы. Такую мы сегодня фрицу сделали неожиданность, что еще свет не видал такого наступления. За 2—3 шага один другого не видим, не слышим. Такая вообще стрельба и гул. На днях будем в Берлине, и конец войне. Дорогая сестричка, скоро-скоро увидимся. Добиваем врага в его логове. Пока все живы и здоровы. Писать много не буду, потому что не имею времени. Хочу написать сегодня 4 письма. Одно тебе, одно Мане, одно (тут вот вырвано, не знаю) и одно Стасе Русецкой». И дальше тут оборвано.

[*После войны*] там же [*в Восточной Беларуси*] голод был, Боже мой! Сюда за продуктами ехали, приехали некоторые семьями, они и остались. Даже теперь здесь жить лучше жить, чем там.

Был в лесу, навел на радиостанцию «Свобода». Сижу в кабине, слушаю: «В Советском Союзе первый секретарь Леонид Брежнев умер». Думаю: «Что? А тут же ничего». И дня три, наверно, тут ничего не было известно. Я только хлопцам сказал, только вы молчите. Про то, что Брежнев умер. Ну почему не сказать сразу, он что, воскреснет что ли? Дурная привычка не говорить правду.

И Валика, и Егора арестовали уже, как вторые советы пришли, за то, что были при князе. А Валик в основном-то тоже, что князь, а потом еще шофером был при немцах, на полторке евреев один рейс завез в Яблоновщину [*на расстрел*]. Ну что ж, сказали, погрузили: «Вези!» Повез. Как будто он виноват! Не дашь согласия — сам пулю получишь! Сослали в Коми АССР. А вернулись они в 1955-м или 1956-м.

Мы слышали здесь какие-то истории про еврейское золото...

У каждого еврея было много золота. Может быть, в замке еще замуровано, кто его знает. Есть, до холеры этого золота было. И тут кероси-

новый склад сделали в этом подвале. И они видят, что как будто свеженькая кирпичина замурована, и они, значит, постучали: там вроде бы пустота, они достали, а там золото. Уже советы тут были, после войны. Между собой поделили и все.

Находили еще. Вот этому отдали на хранение, Русецкому, моему соседу. Он сапожником был. Он даже по-еврейски разговаривать умел. Он таким лисливым²⁸ хлопцем был, хоть он и женатым был. И он каждому в доверие вошел. Они ж знали, что им ханá, убьют, и у каждого золото было. И они: «Стёпа, нá тебе золото, ежели мы выживем, то дашь нам там половинку или сколько, а ежели умрем, забьют нас, значит, себе заберешь». И вот один сынок евреев, он знал, что родители отдали ему [*Степану*] золото на хранение. А он демобилизовался вместе со мной, мы вместе ехали, в Городец остановились, у родственника моего переночевали, потом родственник запряг коня, и приехали сюда, в Мир. И он растворился, я даже не помню его имени. И он пришел через некоторое время до Стёпы, а жена у него была, ой-ей-ей, язва такая, что не дай Бог! Она нас всех: паробки эти княжеские, холуи эти! Она себя считала ого, а безграмотная была, но она — мещанка, в Мире живет! А моя сестра сапоги к нему принесла ремонтировать, пришла за сапогами, а Стёпы не было, она на кухне сидит, а он в прихожей, это еврейчик. И он к ней: «Тетя Надя, я знаю, сколько вам дали золота мои родители, дайте мне хоть половину». — «Какое золото, никакого золота мы не знаем!» — «Ну как это, не знаем, я ж знаю, сколько даже». А родители погибли. А он остался. «А где дядя Стёпа?» — «Нету, нет, и его не будет, иди-иди отсюда». И она так его и прогнала. И он, уходя, говорит: «Ну вы с этого золота никакой пользы не будете иметь». И правда. Скоро этот Стёпа заболевает раком, умер, а она, ой-ей-ей! Как этот сын издевался над нею, Боже мой! К машине «скорой помощи», так он говорил: «Иди! Какого черта ты не можешь! Переставляй ноги скорей!» На мать. «Ты мне уже надоела!» В общем и она так умерла, в муках умерла. Дочка тоже замуж не вышла, а она уже в годах была, тоже рак легких, и умерла. Этот самый Сима был в армии в Семипалатинске, и пошли на охоту, и он офицером был, и где-то друг друга долбанули, и ему в глаз одна дробина, и в мозгах и теперь она сидит. Глаз выбило. Потом рука, нога левая у него... Ну так он ступает, но не жилец. Долго лежал в Ленинграде. Это Стёпа мне рассказал, что беда у нас случилась.

На улице Первомайской сажали деревце, копнули, а там какой-то горшок или что-то выкопали. А там госбанк был, когда уже район был. Так заведующая хватанула оттуда, а остальное государству отдали.

Интервью с Марией Адольфовной Шатило, 1923 г. р.

Записала *И. Н. Романова*,
г. Минск, декабрь 2004 г.

Началась война и моего отца забрали в армию. Он был при командире разведчиком. А мама без него родила мальчика. Мы жили в Томашевичах, километров 20—25 от Минска. Там почти всех повысылали. По одному [*человеку*] осталось. Там, говорят, четыре деревни уже, никого не осталось.

Дед был в обозе. Лошадей забирали, если дед или кто не ехал, значит, их и не вернут. У нас было две лошади, так он в обозе был. Вернулся, уже кончалась война, где-то в 1921-м или в 1920 г. Отцу передали, что наша деревня почти вся сгорела (раньше крыши были соломой крытые). А у нас сгорело два теленка, и все сгорело. А отцу передали, что двое детей сгорело. А он говорит, что двое нет. И командир его отпустил: «Уже, — говорит, — война кончается». Как вернулся отец, и дед вернулся. Но дед мало пожил, вскоре умер. И отца брат вернулся, также у красных воевал. Все у красных.

У нас было своей земли полдесятины. Дедушка арендовал землю у помещика. После войны эту землю никто не хотел обрабатывать. Пока отец в армии был, так мама обрабатывала только возле дома и свои полдесятины. А эту не обрабатывала, и она за три или четыре года бурьяном пошла, его не удрать. Папа ни за что не хотел [*этой земли*]. Так ему сказали, что посадят [*в тюрьму*], если он не будет обрабатывать. И они стали обрабатывать ту землю. Папа говорил, что все руки были в кровавых мозолях, он плакал. Кустарник нужно было высекать. И мама с ним. Разработали землю. Урожай снимут, только обмолотят, так уже эти приходят, приезжают, все выметают, обыск делают и в сараях, и в склепе, везде. Все, что находят, забирают. Это называлось «разверстка». Комсомольцы придут, все отберут. Была колода, там — пчелы. Так пришли и все из колоды достали, и пчелы наши пропали. ...А ему [*nane*] фактически земля не нужна была, и маме не нужна. Мой отец был хороший мастер на руки. Папа делал и лестницы, и сани, и бочки, и лож-

²⁸ Скользким, подхалимом (*польск.*).

ки, все. Моя мама шила очень хорошо, она в монастырь ходила, училась у монахов. Она как замуж выходила, ей подарили лошадь, а за лошадь выменяли машину американскую «Зингер».

В Царицыне был страшный голод, говорят, там люди людей ели. Привезли людей в Минск. Так отец мой поехал, взял женщину с ребенком и мальчика, мама говорила, небольшой мальчик, лет 12. У него родители с голода умерли. Привез он эту женщину с ребенком и этого мальчика. А тут воюют. Там какие-то банды были, я и не знаю. Остались в ящиках где-то патроны, ну эти мальчики берут эти патроны, на камень положат, палкой дадут — он стрельнет. Кто-то там подсказал, то эти мальчики убежали. Так они родителей забрали. А мою маму не забрали, потому что мальчик же не наш был. Они, как их родителей забрали, к нам пришли ночевать. У мамы и этот маленький был [*ребенок*], и эта женщина — нужно смотреть. А они, эти мальчики, спрятались, тогда ночью пришли, плачут. Плакали-плакали, мама говорит: «Что же мы сделаем? Родителей забрали». И они пошли, куда — мы и не знали. А как с Севера вернулись, нам сказали по секрету (тогда нельзя было ничего говорить), что прислали [*письмо*] через несколько лет, что они во Франции оказались. Может, так, как меня, их люди растили. Меня же мама не растила, люди растили. То они там и остались, а тут всех их родителей повысылали.

Родители жили за то, что папа делал и ложки, и бочки, все. Вozил, продавал. А мама шила. А тут и дети, да все, и попробуй шить. Дом еще не окончен был. На веранде и кухне пола еще не было. Только комната была, спальня. Мы же также до высылки вдоволь не ели. Нам не давали. У нас было так. Утром все садятся за стол, у всех нас были деревянные ложки, деревянные миски. Отец сделал. А у мамы была железная ложка и миска эмалированная. Мама была на лучшем почете. Нам наливают по черпаку. Поели. Брат старший, я с ним очень дружила, так он говорит: «Будем из одной миски есть». Я выливаю ему, он ест [*говорит*]: «А ты держи ложкой свое». Я поставлю ложку и держу. Он ест-ест и все съел. А тогда я: «А-а, он все съел!» Мама говорит: «Все, больше давать не буду!» Но тогда все же мне нальет. А после хлеб убирали, так на столе не стоял.

Мама с младшей [*дочкой*] лежала в Минске в больнице летом. Мама зимой ударилась и родила ребенка. Сильно болела. Отец остался с нами: одна маленькая, годик, Лянгина, я и брат Ольгерд. Нянек брать нельзя тогда было. А сестричка, ну до чего она красивенькая была, Лянгина, Лянгинка, Лёня. Мама понесет, так все бегут смотреть, какая кра-

сивенькая девочка. Отец остался [*с нами на хозяйстве*]. А две коровы, две лошади...

Я должна была покормить курей, собаку, овец выгнать. А брат должен был коров и коней смотреть. Папа в выходной к маме в Минск поехал (мы в воскресенье никогда не работали), а нам сказал идти в Подлядье, там была свадьба. Ольгерд нас повел. А дождь такой был! Так мы сняли платица, брат закрутил их в кошик какой-то. А Лёня была очень развитая девочка. Она сказала: «Я не пойду в одних трусиках, буду одеваться!» Брат говорил, чтобы не одевались. А она зашла за сарай и оделась. Пока до дома добежала, — вся мокрая. А трава выше нас и мокрая. Платья подогнули и пошли. Пришли мокрые, тетка нас на печи посушила и меня взяла за ягодами.

Я очень быстро ягоды собирала, черника уже была. Мы пошли за ягодами, и я где-то отстала от нее и потерялась. Тетка моя испугалась, давай искать, кричать. А я давай бежать. Бежала, бежала, прибежала, а там двое мальчиков больших собирают ягоды. Я кричу: «Браточки, родненькие, скажите где, как?» А они говорят: «Как твоя фамилия?» А я фамилию свою не знала. Говорю: «Герасимович». А они: «Мы Герасимовичей знаем девочку, там меньше девочка. А как зовут, как отца зовут?» Я сказала. Так они: «Твоя фамилия Шатило». Тогда они услышали крик там и говорят: «Беги туда». Я бежала-бежала, а уже нет там. Я тогда бегу-бегу по лесу, кричу, плачу. А там пастухи пасли коров, я испугалась этих пастухов. А они говорят: «Дитя в лесу летает». Они ловить меня. Я убежать. Убегаю, кричу. Один поймал меня и носит на руках. Ну а тут коровы, то туда, то сюда. Говорит: «Тяжело бегать, я не могу с ней бежать. Апустишь, тогда не поймаешь, она же убежит. Дитя в лесу!»

Они мне дали сала поесть, хлеба поесть. И я говорю: «Нет, я уже не буду от вас убегать. Вы меня пустите, я от вас никуда не побегу. Я буду с вами, только коров я боюсь. Вы только заведите меня к Герасимовичам». Они дали мне какую-то сумочку, сделали какую-то плетть из прута, и я уже бегаю тут в лесу с ними. Говорят: «Мало этому Адольфику досталось, жена в больнице лежит, и дитя потерялось в лесу».

А тетка бегала-бегала. А дело уже к вечеру, она побежала в другую деревню Шабуни и сказала, что потерялось дитя в лесу. А там родственники мамы. И одна, и вторая деревни высыпали и кричат, бегут в лес все. А эти хлопцы кричат, что она тут, с нами. Они хватают меня на руки и один другому передают, чтоб быстрее было. Как шпульку кидали: бегут, один другому перекидывает. А тут тетка выбежала, она в другой стороне была. Тетка так расплакалась: «Вот этому Адольфику горе. Де-

ти маленькие, и она заболела еще с весны, а уже и посевная прошла, а она все лежит в больнице».

А маме уже кто-то передал, что я потерялась в лесу. Она плакала, кричала, голосила: «Ты мне дитя потерял!» Папа приехал домой, попросил соседей, чтобы посмотрели скотину, всех нас забрал, [*посадил*] на воз, едем к маме. А папа же не спал и день, и ночь, нужно же уснуть. А брат знал дорогу в Колядичы, а сюда в Минск не знал. Так управляли подводой то я, то Ольгерд. Мы ехали-ехали, а тогда — две дороги. Он: «Сюда надо!», а я: «Туда надо!» Заспорили, не можем ехать. Давай папу будить. А папа [*показал*] туда, как я сказала. Папа всегда как на базар ездил, то брал меня или Ольгерда править.

Приехали. В столовую заехали. Пошли в больницу. На автобусе ехали. Папа за этот [*поручень*] держится, а я с Лёней за ноги, за штанины держимся. Я на всю жизнь запомнила. Приехали к маме и решили фотографироваться. А я все равно плачу. А они мне деньги подкидывают, а я собираю. Нам за все, что делали, давали копейку, полкопейки или две копейки. Мы складываем, а потом нам покупали сандалики или платица. Все у нас так, в деньги. Вот я стою, держу деньги в руках, насобира-ла и плачу.

Успокоили маму, поехали домой. Мама выписалась, привез ее папа домой. Работы много. Папа на жнейке жнет, мама вяжет, я с малыми, а брат крутит перевясла и носит.

А у нас к крыльцу привязали лестницу, чтобы овец кормить. Через эту лестницу я не могла перелезть. Вот тут была скамейка возле окна, и я не могла на скамейку влезть. Так брат прибежит, палку вытянет, тогда я вылезу. И уже вяжем с ним перевясла. А я говорю: «У меня, Ольгерд, не получается, раскидываются, у тебе вот хорошие». Так он говорит: «Ты складывай солому, а я ее буду перекручивать. Вот раз-раз и готово. Хоть у тебя раскидывается, а я переправлю. Иначе у мамы не будет перевясел». И вот мы берем резгинки¹ за плечи, у нас, у двоих, были маленькие резгинки, и вдвоем идем, несем маме перевясла. А эта и еще одна, маленькая, с годик, если меня нет, кричат на крыльце. И еще одно [*дитя*] было в люльке. Тогда папа уже возьмет меня, запрет обратно. А сами думают: «Где это я вылезает?» Мама говорит, что она влезает на скамейку. Мама взяла, положила на окно около крыльца конфеты и говорит: «Марийка, возьми конфеты и дай младшим и себе возьми». А папа через окно из дома смотрит, как я буду конфеты брать. А я же ма-

ленькая, не достану. Я пошла, взяла кочергу и кочергой как дернула, так все конфеты и слетели. Мама говорит: «Видишь, я говорила, что она влезает, конфеты взяла!» А папа: «Ничего подобного, я смотрел. Она взяла кочергу и кочергой все скинула».

Брат меня провезти хотел. Взял коня, подвел к забору, я стала на забор, на голову влезла, а ног дальше у меня не хватает. Он меня за юбку тянет, а я за уши коня держу. Это была такая спокойная кобыла Дэрашка, мамино приданое. Оводов много. Она как мотнула, так я и слетела с нее и побилась. Плачу. Ольгерд говорит: «Не плачь! Потому что меня будут бить». Что же, я молчу, а мне больно! Мама каждые два-три дня раздевала нас и мыла в корыте. Как раздела меня, а я вся черная. Так она говорит: «Вот, наверное, Ольгерд ее избил, вся черная». Папу звала. Папа посмотрел, а у меня и под мышками, везде, как летела. Он говорит: «Так не побьешь. Это она где-то залезла и сбросилась». А я не говорю где. Я была такая, что не говорю, у меня не добьются ничего.

Утром я курам дам, собаке. Он [*Ольгерд*] корову выгонит. А овец пасли по очереди. Сколько овец — столько и пасешь. Вот мы стали с Ольгердом пасти. Овец гоним, по всей деревне занимаем. Пасли мы все лето, как говорили «очередь отбывали». А тогда... волки летят! Мы с той стороны от деревни, а волки вдоль деревни летят. И схватили одного ягненка. Мы кричать, плакать. А тут овцы полетели в деревню, и мы летим за ними. Выскочили — кто с граблями, кто с косой, кто с вилами. Кричат: «Это же надо! Покати горошек пошлет, так вот и волки овец подерут. А сам всю работу поделает. А нам нужно самим пасти!» Папа услышал этот крик. Отцепил от жнейки коня, и на коне без седла, без ничего. Летит. А мы как услышали этот крик, полетели от деревни. А там была речушка такая, а над речушкой мостик. А аир был больше меня. Мы под этот мостик и спрятались вдвоем. Папа летел на коне через мостик: туда пролетел — нету, летит к деревне, спрашивает. Говорят: «Они полетели туда, под этот мостик. Мы видели, они туда полетели. Нашел пастухов — покати горошек!» Папа подъехал, встал на мостик. А Ольгерд уже боится. А я встала на мостик: «Папа, мы здесь». Папа схватил меня, схватил Ольгерда. Меня на одну ногу посадил, Ольгерда — на вторую. Целует нас, обнимает. А я плачу, так плачу, что прямо заливаюсь. Кричат: «Ягненок нет». А папа говорит: «Я вам отдам своего осеннего, большего отдам. Я рад, что дети мои живы». Мама стала плакать, что осенний большой уже. Папа сказал: «Если я сказал, то отдам уже, хоть дети живые!»

Мне надо было убрать со стола, посуду помыть, собаке дать, курам дать. Это была моя работа. А Лёня, ей было года три, она в зале должна

¹ Резгинки — приспособление из связанных веток, на них носили сено, солому и пр.

кровати застелить и пол подмести, а если нужно, то и помыть пол. Иногда начнем спорить, то мама говорит: «Ты больше, в кухне она ничего не сделает. Она не достанет даже посуду поставить за заслонку». Ложки же были деревянные, часть тарелок была деревянная. Надо было за заслонку [*в печь*] поставить, чтобы высохла посуда. И хлеб убрать, и все. А я становилась на стульчик, тогда и работала. Делала все.

Как папа работает в поле, пашет, мы должны были с Лёней занести папе суп. Мама сварит, а Лёне уже — хлеб и сало. Мы просим: «Дайте нам сала». А мама говорит: «Нету. Папе надо, потому что папа тяжело работает. Если он будет плохо есть, то он не сможет работать. А вы ничего не делаете, то вам и так. Вот картошка вам будет». И всегда картошка и капуста. Сварит картошки в мундирах, и капуста. Вот мы и ели. А шкварку нам давали только в воскресенье. И то, как блины на ней пожарят. А так нам шкварку не давали. Мы несем папе. Я говорю: «Пусть Лёня несет жбан». А мне жбан был тяжелый. Мама говорит: «Она младше, она не понесет этот жбан. А ты большая».

Нам играть разрешали только там какое-то время в воскресенье. А в такие дни мы целый день должны были работать. Взяли картошку перебирать. Меня, Лёню и Реню спустили в подвал, а Ольгерд работал всегда с папой, барановал там, всегда с лошадьми. А мы уже эту работу. Опустили нас, а там жаба как прыгнет! Мы плачем, боимся этих жаб. Но пока не переберем, нас не выпустят из подвала.

Папа сделал в саду такой шалашик. И вот показали мне на часах: как стрелки будут так, всех малых положить спать днем. И маленький друг мой не хотел нигде быть, только у нас. Единственный сынок у родителей². Так я этих положу. А его куда? Мама говорит: «Ты его тоже положи». Я положу и песенки им пою. Они поспят.

А грядки прополоть. Там свеклу, морковку — это пропалывали. А в цветнике мама никак не успевает, так я говорю: «Я прополю». Мама говорит: «Ты где помяла, ты не то, что нужно вырываешь. Хватит, то прополи, там свеклу, морковку, это ты знаешь. А это никак тебя не научишь».

Стала зима. У мамы все голова болит. Мама как встает в четыре часа, так и я встаю. Я почему-то не спала, и днем никогда не спала. Мама со свечкой, и я. Идем. Там что помогаю.

У меня была очень хорошая память. Вот если папа читает газету, я сзади хожу и смотрю, как он читает. Он почитает, а потом я возьму стульчик, сяду в кухне. Мама там возле печи что делает, а я ногу закру-

чу, как папа, и читаю. Мама говорит папе: «Глянь ты, наша Марийка читает!» И вот они никак не дойдут, каким образом я читаю. А я читаю! Ни одной буквы не знаю. И вот они берут газету и перекручивают вверх ногами. Это одно слово закладывают бумажками. Я каждое слово точно скажу. А как она читает?

Стала зима. У нас был ток, там, где сено, солома. Так надо было от туда [*сено*] переносить к сараю через весь двор. Вот Реня, Ольгерд и я, мы должны всем наносить. Скотине наносить, чтобы было что есть. Мы ходим, накладываем сено и солому. И так целыми днями. А в выходной Ольгерд запряжет собаку в сани и уже нас катает. Вывезет на улицу, так вся улица, все дети соберутся. Я сяду с меньшими, собака тянет. Этот мой друг как начнет кричать. А я звала его «братик». Мама говорит: «Ольгерд твой братик. Ты не должна его звать братиком. Это чужой мальчик». А как мне его звать? Лёня? Так Лёня только же девочка бывает! Раз так, будет братик. Он сядет ко мне на колени, а эту [*маленькую сестру*] возьмет да и набьет, штурханет. А она плачет. Такая была, что не отбивалась. Она плачет и все. А я отбивалась.

Санки поломались, брат стал их ремонтировать. А я затягиваю на стог сена, столько было снега. Гололедом покрылся. Залезла, натянула, села. И собаку привязали. Как потянула собака, санки перевернулись, а я под санками и пролетела. Мама услышала, схватила меня, трясет. Папа прибежал, трясут. А я ничего не говорю, ничего не помню. Тогда Ольгерд говорит, когда я в себя пришла: «Почему ты ничего не говорила, я у тебя спрашивал, а ты ничего не говорила? Почему ты ни маме ничего не говорила, ни папе? Тебя трясли, тебя целовали, а ты ничего не говорила». А я и не помню ничего.

Я, когда волки схватили ягненка, заболела и стала все время кричать: «Волки! Волки, волки, волки!» Как только глаза закрою, так волки. С мамой спали Лёня и Реня. То папа возьмет меня к себе спать и держит, обнимет, держит. А я все равно вырываюсь: «Волки!» Мама говорит: «Вот погубили дитя». Они меня возили и в Озеро, и в Пятеевщину, и в Минск, к бабкам [*шентухам*] всяким возили и ничего не могли сделать. В доме стали гулять волки. Так как кожушок перевернем и волк — я, то все хорошо. Как только кто-то — волк, я на стенку лезу, кричу, спасения нет.

В выходной папа всегда любил потанцевать. В костел сходят, и папа берет маму потанцевать. А мы уже за штанины: я с одной [*стороны*], Лёня — с другой, Реня — с третьей за штанины. Они всегда танцуют. Тогда папа возьмет меня и Лёню, или их двоих и трам-пам-пам, с ними уже танцует.

² Отец мальчика раскулачивал семью Марии Адольфовны.

А мальчика Лёню, я его братиком звала, привозили к нам. Отец его говорил, что нашел бы няню и его бы смотрели, но он нигде не хочет быть. Целыми днями плачет. Тогда их мать заболела, где-то в больнице лежала, так они привезли его, у нас чтобы и ночевал. А мы спали за печкой с Лёней, а Реня с мамой, а папа уже на кровати. Так мама нас на кухню *[отправила спать]*. Там была кровать. Мы взяли и заболели, простудились. Мама плачет: «Вот видишь, нет где послать, хоть бы на ночь забирали, а то не забирают. У нас своих полный дом, и тут только простужаются». Как приезжал отец этого мальчика, папа всегда пол-литра ставил. А тут как приехал, так папа говорит: «Как-никак, дорогой, но сыночка забирай. У нас просто некуда деваться, нет где постелить. В кухне эти дети заболели». И он стал забирать. Тогда стал привозить только в выходные. А этот мой братик говорит: «Меня только воспитывают тобой. Говорят, если я буду все делать, исполнять, то меня привезут, а если не исполню, они меня к тебе не повезут. А я хочу тебя всегда видеть, то я им такое сделаю, что они не разберутся». Я говорю: «Так возьмут да побьют». А он: «Я им такого наделаю! Так и знай, если меня не привезли, значит, знай, что я там наделал, то наделал».

Приехал его отец с ним к нам. Коня повод набросил на столбик. Этот конь заржал, наши кони заржали, он поднял голову, тряхнул, полетел. А мы во дворе были. Я бросилась к забору. Он, этот мой братик, бросился к забору, взобрался, а я не умела лазить на забор. Он меня встал, этот конь летает вокруг. Так повыскакивали *[взрослые]*. Мама бежит: «Ой, убьет, убьет!» Я не слезу. Подошел его отец, снял меня с забора. И прицепился к моему папе, что он специально отвязал коня, чтобы его сына убил. Я говорю: «Дядя, никто его не отвязывал. Он оброть как поднял, как тряхнул головой, оброть и слетела со столбика. Он сам летал». Он так посмотрел на меня, тогда схватил этого своего сына и на коня. Тот сын кричит, не хочет домой ехать. Он на коня — и помчался.

А у мамы все время голова болела. Очень много работы. Пеленочки я стирала и такое мелкое также. А это же все маме надо было стирать. Я сижу на печи, утюжу. Ольгерд сидел на лежанке, я как повернулась, выпустила утюг, и этот утюг на него. Он заплакал, значит, я должна его поцеловать. Я берусь, чтобы его поцеловать. А он побежал и сажей испачкался. Я: «Я грязного не буду целовать». И дошло до скандала: «Помойся!» А он не хочет. Так мама взяла ремень и говорит: «Я сейчас с вами разберусь, со скандалом!» Он помылся, я уже должна поцеловать.

Мы с братом очень дружили. Мама говорила: «Как их развести. Она его так пестует, что он как вырастет, женится, то ни с одной женой не уживется. Кто так будет его смотреть, как она». Как его куда завезут, так

он там плачет, а я дома. *[Говорили]*: «Вот покуда его нет, так она ночи не спит».

А папа делал всем шкафы красивые, где какая девушка замуж шла. Никто такие шкафы, как он, не делал. Мама моя посмотрит на человека и скроит сразу *[платье]*. Где какая замуж идет девушка, так к маме. Пришли к нам наши родственники и плачут. А у нас самая жатва. Там где-то был кусочек такой, что жнейкой не было как развернуться. Пришли, просят, чтобы мама пошила венчалное платье на свадьбу и платье для шаферки. Мама плачет: дети, да еще не сжато... «Тетенька, мы вам сожнем». Мама взялась шить им платья, а они пошли жать. В обед пришли к нам обедать. Я становлюсь на стул, все ставлю на стол, что там сварено. Хлеб на стол, скатерть на стол стелю. Они только жахают на меня: «Разольешь, разольешь». Я только гляну на них: какое тут разольешь...

После к нам прицепились, что это брали работницу. Мама говорила: «Сгорело бы это поле! На лихо его было прибирать?! Пусть бы птицы его съели». Так все и пропало.

Папу вызвали в сельсовет и сказали, чтобы расписался, что выедет. Папа подумал: «Четверо детей, все маленькие». А если кто не расписывался из мужчин, так их забирали. А тогда одну вышлют. Уже в 1929-м начали высылать. Он рассчитывал, что своими руками на хлеб себе зарабатывает. И вот написали на высылку. Восемь дней дали на сборы. Из дому чтобы ничего не брали (все переписали у нас), там дадут.

Мама говорила: «Давай куда-нибудь уедем». А он: «Как уедем?» Четверо детей, одно под одним. И одно только умерло недавно, пятое. И мама моя беременная.

Ночью прилетели. Папа пошел коней запряг. Еще и собаке мама вынесла, дала. А тут одевать. А тут быстрее гонят. А у нас пола не было в кухне и в сенцах не было, так Лёничка не может переступить. Так один ногой как дал ей под задницу. Мама за руку подняла. И мама забыла даже кошелек на столе. Так все похватили. А одеть *[детей]* не было во что. Разослали подушки, одеялами накрыли и поехали в Фаниполь.

[...]

Нас выслали в 1930 г., 3 марта. На нас документов не сделали, что раскулачивали, но туда подали, что относимся к кулакам. А когда возвращались, тут некоторым *[выплачивали компенсацию]*, кого раскулачивали, то нам ничего не давали, так как на нас не было документов.

Довезли до Фаниполя. А в Фаниполе как только сгрузились подводы, коней забрали и сразу поставили караул. Ночью. Эти дети плачут! Там людей набито!

Сразу как сказали, поедem, то мы прыгали: «Поедем! Поедем! Поедем!» Папа говорит: «Надейтесь!» А там уже плакали. И вот нас отгружать на поезд. Поставили охрану. Там я не помню уже сколько держали. И вот они: «Грузись!» Сколько можешь, столько носи. А сколько человек может понести на себе? А ему нужно детей нести. Детям было: одной два годика, второй четыре годика, а мне было шесть, мне 25 марта кончилось семь. А тут умерли между ними, то ударится где. Работы было много, нанимать [*рабочую силу*] нельзя было. Много неживых рожала, а которые поумирали маленькие. Ну взяли там сала, там еще что. Но они уже и нести не могли, как была отправка. Оно все и осталось. Папа очень ценил свой инструмент, он долота, какие рубанки — все сложил, а это же все железо, тяжело. А мама нас несет, двоих, а меня уже за руку. Я обычно зацеплюсь за юбку и иду.

И так нас повезли. Подогнули вагоны эти, что возят товары, мама говорила, что телятники. А там на полки разбито. Мужчины, которые могут, стоят, а женщины с детьми на полках. На полках не было как сесть. И стоять же все время не будешь. Так на кукишках³. Мама села на кукишки, меня напротив себя. Мне дала на руки Реню, это два годика, а себе на руки, на колени взяла Лёню. Я плачу, что ноги болят, не могу держать. Сидим, холодно, замерзли все. Нам же сказали, что как привезут, нам дадут все то, что у нас тут было. Едем, мама говорит Лёне: «Вот приедем, нам дадут коровку. Вы пойдете доить с Манюсей». А когда мама доит (у мамы руки очень болели), то мы — она и я — маме помогали доить, станем под коровой и доим. Четыре годика было ей, она говорит: «Вас обманули! Мы едем умирать!» Аж все обмерли. У всех слезы полились.

А мне что-то заело, что меня будут помоями кормить такими, как я собакам мешала. А один: «Да тебе и помоев не будет. Ты будешь мох и сено, и траву, ты будешь гной есть!» А этот выскочил: «Так-так, ты будешь гной есть!» А я говорю: «Неужели же вы мне есть не дадите?» А Ольгерд: «Мы пойдem на небо, а ты пойдешь в тюрьму. Тебя заберут в тюрьму, и ты пойдешь в тюрьму». Я на них посмотрела, страшно мне стало, нехорошо.

И ой-ой, в вагоне плачут, кричат, кто умирает. Нас везли, я не помню сколько. Ехали-ехали. Останавливается где-то, выгонят всех, чтобы оправились. У нас мама взяла нам ведро деревянное. (Раньше же были деревянные ведра, деревянные ложки. Мы же не были богатыми. Все отец делал.) То в ведро. А уже как выгонят... И снова. А какие, если

мертвые, так их выбрасывают. Дальше едем, около меня какая-то женщина умерла, какой-то ребенок. Я поворачиваюсь, смотрю, а мама мою голову отворачивает.

И вот привезли в тундру. Елочки небольшие такие, и снег. А снега там метра полтора, как вбросишься, так и не видно. Я так думаю, что привезли нас за Котлас, потому что туда, куда нас после загнали, был Котлас, а это было дальше: сделали рельсы в сторону, туда, дальше.

Когда остановились, мужчины соскочили, кругом оббежали весь состав — впереди рельсов нет! И мы тут вышли. Мне бросилось в глаза: там торчат из-под снега руки, головы, ноги. А наверху, на снегу, лежит девочка моего возраста. В красненьком платьице. А рядом мальчики по годика три лежат, за ручки держатся, лежат. А я такая была, что все запоминаю, как увижу что, то буду помнить. Я как-то нацелилась, смотрю на эту девочку и на этого мальчика. Мама говорит: «Что ты смотришь? Они же мертвые». А я говорю: «Почему они не встают? Лежат на снегу?» Мама и там еще кто-то говорят: «Они мертвые, замерзли». Мама меня отворачивает. Знает, что я буду уже плакать.

Мужчины облетели все вокруг — ничего нет. Подходят мужчины, человек 5 или 6, к нашим мужчинам, которые с нами ехали, и говорят, что их вчера в такое же время привезли и сгрузили, и состав пошел, их не запустили в вагоны. Они думали найти где-нибудь населенный пункт. Говорят, километров 25—30 прошли в разные стороны мужчины, но нигде населенного пункта не было. Видно, говорят, тут болото было. А мороз был такой! Тут уже весна, а там еще мороз большой.

Тогда мужчины все: «В вагоны!» И все бросились в вагоны. Меня папа подбросил, помог этих детей забросить, побежали на те места, где сидели. А Ольгерд с папой в коридоре. У Ольгерда даже портянки примерзли. Плакал. Не обогревались вагоны. А там мороз был до 40 градусов. А папа все инструмент не оставлял.

Все заняли места. Открываются ворота, заходят солдаты: «Выходите!» А тут заговорили все: «Не будем выходить! Все равно, если тут все мертвые, какая разница». А они: «Выходите! Стрелять будем!» Мама схватила меня к себе под колени, и этих, как курица, накрыла нас. А эти, что там с боку стоят: «Стреляйте!» А они покрутили, покрутили винтовками. Я рвусь, чтобы глянуть, а мама держит меня за голову. И этих держит, как курица. «Стреляйте!» Они не стали стрелять. Сколько они ни шумели там, сколько ни пугали, винтовки наставляли, но стрелять не стали. И пошел состав обратно, задним ходом. Говорят: «Нас назад везут, домой».

³ На корточках.

Сколько он там шел задним ходом? Но довольно много. После он уже вышел задним ходом на эту линию, и уже поехали. И нас завезли в Котлас. В Котласе сгрузили. Сгрузили на берегу Северной Двины. Там были склады, семь складов из досок сбитые с полками для товаров. На полках этих разместили. Там только весной приходят пароходы и привозят на целый год товары. Вот нас в один барак. Сколько-то здесь продержали на берегу, после загнали в один склад, все по полкам, по полкам, по полкам. А оттуда выгнали людей, кого мертвого вынесли, мертвых выкидывают сюда и снегом присыпают. Назавтра снова нас выгоняют из этого. Прибывает снова состав. Их — в тот барак, а нас — в другой. А оттуда выкидывают. И так семь дней выкидывали нас из бараков. У нас одежды не было. У брата был кожушок, а у меня пальтишко, а у этих не было, мама закручивала их в одеяло. Маленькие все простудились.

На восьмой день нас погнали в Великий Устюг. Там в церковь загнали. В церкви уже стало теплее. Там уже все поломали, иконы, все сломано и разбито на палки так, чтобы сидеть. И вот загнали туда. Тут начали умирать. Как стали умирать дети! Прежде всего дети начали умирать и старики. Я сижу, а возле нас тут одно [дитя] умерло, второе. Вот там эта девочка умерла, мама плакала без конца, и я плакала. Я троих помню, как умерли. Мама меня отворачивает, чтобы не смотрела. Все умирают. И тот, и тот...

Из Беларуси приехали люди, чтобы забрать там чьих-то детей. И вот отец отправил моего брата, ему было восемь лет. Можно было оставить [в Беларуси] детей перед высылкой. И мамина сестра приезжала в Томашевичи, она еще девушкой была, лет двадцать: «Я заберу хоть немного детей твоих». Мама: «Где я, там и дети будут!» Они же не рассчитывали, что так их будут уничтожать. Они рассчитывали, что она будет шить, отец работать. Земля им не нужна была. Они рассчитывали, что как-то да будут кормить.

Отец отправил брата. Я очень плакала, кричала. Я с этим братом очень дружила. Он старше меня был, он меня смотрел. Мама говорила: «Эти неразлитые были». Если его не было дома, то я не спала. Когда меня не было, то он не спит... Как Ольгерда отправили, я встала в дверях и плакала все без конца: «И жить я не хочу. Все! Ольгерда нет. И я не буду...» Мама занесла меня в больницу, а у меня температура. Меня забрали со скарлатиной.

Больше мы его не видели. Моя мама с ума сходит, письма, телеграммы шлет, а ей — ни слова. У нее здесь же [в Беларуси] мать была живая, недалеко, в Колядичах, ее здесь брат жил с семьей, мамина сестра, отца

сестра с мужем. Но [как позже выяснилось] их также всех потрясли. Папина сестра, когда объявили высылку (у них только один ребенок был), то они собрались и бежали. Оставили дома 80-летнего отца одного, дед лежал больной, не мог ходить. А они спрятались, поехали где-то в город. А папина сестра жила там в одной деревне. Он просит: «Пойди, принеси мне хоть немного меда поесть». Она пошла брать, они за нее, и тут же арестовали. Тут же всех выслали. Выслали в Бобруйск. Все забрали, все хозяйство, все, и — в Бобруйск. А тут стали эти колхозы. Так мамина сестра сразу записалась, и брата жена записалась. Но все равно мамино брата выслали где-то под Кавказ, в шахты работать. А мамин брата второго выслали в Москву. А жена осталась, вот сестра осталась. А бабушка больная совсем была...

Я как простудилась, то заболела скарлатиной. Меня берут в больницу. А [родители мои] из больницы приходят, а тут одна уже сканала, а через несколько часов — вторая. И получилось, что две мои сестры и соседней мальчик в один день умерли, и мама была беременная, и она сбросила. И вот они положили в могилу... Мама и папа поседели. Сделались седыми. Маме 31 год, она седой сделалась, даже ресницы седые.

Стоят у меня [в больнице] под окном ночью. Через окно разговариваем, я на нижнем этаже лежала. Я говорю: «Чего вы стоите? Идите к Лёне, к Рене. Чего Лёню, Реню смотреть не идете? А! Они умерли! И я жить не буду!» Они принесут мне есть, а я как кину и думаю: «Раньше если бы так кинула, то они бы ремня мне как дали!» А они стоят и плачут надо мной. Медсестры и врачи говорят: «Плачьте, не плачьте, но все равно она жить не будет. Все равно. Вы молодые, дети будут». А у родителей уже никого нет. Они все под окном, все под окном. Они меня уже обманывают, показывают бумажку: «Ольгерд письмо прислал, скоро приедет». А я уже знала, что это все обман, ничего не правда: что они мне бумажку показывают, а сами стоят всю ночь под окном. Я стала как старый человек, все понимала.

Тогда их отправка, они узнали. А их все время перегоняли ночью, днем не гнали, ночью. Они узнали и пришли ночью. Меня медсестры подали через окно. Маме сказали о какой-то траве. Сказали: «И там, где вы будете жить, будете травами лечить. Заберите ее». Они ночью меня украли из больницы. Принесли меня домой, а тут отправка. Мама говорит: «Хорошо, что забрали. А то бы осталось тут дитя». А я так заболела, что не могла даже говорить, только пищала. Руками и ногами я не могла. Я лежала, опухла вся.

Нас в Устюге когда держали, местное население собралось из Устюга и ближайших районов на митинг. Такой митинг: «За что их уничто-

жаете, за что так издеваетесь?!» Люди же видели, что нас никуда не пускают, только мертвых выносят. «За что?!» На этот митинг женщины не пошли, а мужчины все пошли. Я еще не в больнице была, девочки были живы. И вот выступает там оратор: «Они бандиты, ходили, грабили людей, убивали людей, ходили резали». Так эти местные кричат: «А детей за что? У вас же здесь больше детей, чем взрослых. Они дети, такие же дети!» Там мужчины так плакали. Мой отец сказал: «Если кто-нибудь выживет, то поезжайте на родину и узнайте, как мы жили. Я, — говорит, — ни одному человеку ничего не отказал. Пользовались и молотилкой, и веялкой, и всем давал. Никому не отказал. Где какая замуж шла, где кому дом построить, все шел и делал». Ну так уже плакал мой отец, что я запомнила...

Привезли нас на Верхнюю Тойму и сгрузили на берегу. На барже привезли. Я наверху на барже лежала, то так опухла, что и смотреть уже не могла. Снесли. Я опухла вся. Мне соли нельзя, хлеба нельзя. Только сахар. А я на сахар смотреть не могла. Раньше, думаю, я бы так не делала. Мне что-нибудь под нос есть, так я как дам, так и вылетело. А потом я уже и руками не шевелила, и не говорила, так лежала.

Привезли в Тойму, сгрузили. Там сколько-то продержали, после говорят: «Идите, себе ищите квартиру». Мой отец пошел в сторону километра три. Там была деревня Типаки. И вот понравился он там хозяину одному. У них было два дома: один на лето, второй на зиму. А уже весна, так они перешли в летний, а нам зимний дали. Был Юхнович с нами горбатый. Его нигде не берут. А они немного родня нам были. Папа просит хозяина, чтобы его взяли. Хозяин: «Тебе будет тесно». Папа говорит: «Нет. Мы помиримся, все хорошо».

Как привезли меня, все местные сбежались. Кто молоко несет, кто яйца. У них шанечки пекли, тесто раскатают пресное или квашеное, а на верх — творогу или пшенки. Моя мама говорила, вот приеду, так буду печь. Хозяева приносят траву, мама меня усадит в корыто, опустит меня, а я наверх всплываю, опухшая, так мама держит меня. И они, сколько там местные принесли, парят мне какие-то травы, и в этих травах мама меня парила.

А я не ем. Мои родители подумали и говорят: «Мы не даем ей есть. Так будем всю жизнь мучиться, что ее голодом заморили. А сахар она не хочет, то, что даем, не хочет. Все равно она умрет, ничего не ест. Спросим, что она будет есть». Я сразу сказала: «Соли, дайте мне соли!» Они взяли (там глиняные кринки, как миска сделана; здесь миски, а там назывались «кринки») и соли принесли. А я встать не могла, так я так пригнулась и ладонями кринку ко рту и как стала есть соль! Так мама

плачет, и папа плачет: «Одну соль ест ребенок!» А я наелась соли. А они: «Что тебе еще дать?» А я: «Дайте черного хлеба». Они дали. И вот я стала есть соль и черный хлеб. Стала есть и стала выздоравливать.

Где-то уже около осени я стала немного выздоравливать. Стянула ноги с кровати (там такие из досок были). Мама с папой в зале были, ели. Я решила как-нибудь выйти. Поднялась, а идти не могу. А у них мода была скамейки вокруг стен ставить. А у меня ноги искривились, руки искривились, я одной рукой держусь за скамейку, а второй рукой поднимаю ногу. А там такая форточка была, я подошла, а мама: «Ой, Манюся!» И заплакали вдвоем. И я упала. Они схватили меня, подняли, на кровать положили. Я потом уже спрашивала: «Чего вы плакали?» Так мама говорит: «Плакали! Руки искривились, ноги искривились. Страшно смотреть. То дитя было как дитя, а то стала как какая уroda».

Моих родителей погнали лес грузить на баржи. Надо же было работать. Они должны были работать по 12 часов. Сразу как приехали, их сразу гоняли. А меня уже хозяйка смотрела. А я такая была, что пойду к той бабушке поговорю, к той бабушке поговорю, всех повыспрашиваю, всех расспрошу. И они меня любили. И маму, и папу. Мама шила кому что надо. Папа кому что надо делал. То они всего нам: и молока, и творога, и всего. Все у нас было. Тогда папу моего ставят бригадиром. Лес по 6 метров длиной, а 20 сантиметров толщиной. И вот это женщины тягают. Он сказал, что бригадиром не будет, говорит: «Я не идиот, чтобы женщин заставлять такие бревна носить. Мужчины не могут. А беременных женщин заставлять лес тягать — это только безбожники могут». А мой папа был верующий, молился очень. Так они его избili, загнали в склеп и закрыли на ключ.

А у нас было знакомых много, даже и в милиции. Мама — кому платье пошить, кому что, а папа столы делал и стулья. Им [*местным*] очень нравилось, как он бочечки делал. Он же не брал продукты из дому, а взял инструмент. Очень нас уважали. Так папе уже там старались хоть через окошко знакомые подать что-нибудь. Передали, что загнали папу в погреб и не подпускали, даже воды не давали. Мама носила, чтоб что-нибудь передать, так и не подпускали, даже близко не подпускали. После пришел сосед хозяев и сказал, что их будут гнать на тракторную базу. Я с мамой пошла. Мама беременная. Мама узелок связала, там хлеба, ну что могла, продукты какие. Мама говорит: «Видишь пыль — это их гонят». А эти [*охрана*] уже на конях гарцуют вокруг. Куча. Много людей гонят. Мама говорит: «Ты стой на дороге, ты маленькая, тебя, может, бить не будут, а меня могут убить». А тут канава, а там болото. Так она там спряталась в кусты. Я вышла, около дороги встала и стою,

держу этот клумок. А тут бросились втроем, подъезжают милиционеры. Подъезжают: «Чего стоишь?» А я, как дитя: «Там папа мой идет. Я хочу передать». А они на этот клумок: «Это бомба тут!» На меня: «Это бомба, ты хочешь положить бомбу». А я не знала, что это — бомба, да говорю: «Что?» Так он как дал нагайкой мне по рукам. Я этот клумок выпустила, и сама упала. А он коня подогнал и на дыбы передо мной, я же маленькая. И мне стало казаться, что я под конем. Я испугалась, бросилась в канаву. И в канаве поплыла туда, к маме. Вся мокрая я выбралась к маме. Вылезла, кричу. Уже и мама вылезла. Но они побоялись в болото лезть с конями. Папа мой шел самый последний и поднял этот узелок. Мама говорит: «Он видел тебя, он слышал, как ты кричала».

Там одна женщина умерла, мой отец делал гроб. Ее брат жил там, так он поскакал на Завал (деревня там так называлась), чтобы моего отца как-то спасти. А ему четыре дня есть не давали и избивали сильно. Он просто не мог идти. Туда прилетел этот брат, чтобы уговорить этого начальника отдать моего отца, пока не поправится. А то он и умер бы сразу. И нашего папу [они] забрали себе. Мой отец у них был месяц или два, пока совсем не поправился. Они ему и молоко давали, и все, лечили. Одним словом, местные там жители очень добрые. В Беларуси таких нет. Они последним спасали.

Мама тут была. Пришел папа на выходной (давали иногда), а хозяин говорит: «Там бревно гнилое около реки лежит, надо было бы распилить». А что же папа, семья здесь живет, пошел пилить бревно. Тут прилетели комсомольцы и за папу, хватают его: «Ты враг, ты портишь дерево». А дерево-то гнилое было. Папа выскочил и бегом к хозяину, а от хозяина в баню, а из бани туда назад бегом. Они летели, тут вызвали милицию. Прилетели, маму гоняют: «Где он?» А она и сама не знает, где он. Тут местные подбежали, меня нашли и привели к маме. Мама моя взяла меня на руки, а сама беременная и носит меня. А они кричат: «Пусти ребенка!» А я за шею хватаюсь и кричу. Так они взяли да плеткой лякнули. Потом бросили и пошли.

А мама моя грузила тут лес, беременная. У нее через ребенка пошла кровь. Этот мой брат, он купался в крови. Как у нее началось кровотечение, так ее освободили от работы и погнали нас на поселок. А там нигде ничего не растет и населенного пункта нет.

Я еще плохо ходила. У меня ноги были кривые, потом выровнялись. Выбежали, попросили, чтобы меня посадили на воз. Меня посадили и посадили девочку такую, как я. А как увидели, да подлетели, да по этой девочке нагайкой. Эта девочка упала с воза. А я сзади сижу на возу. А они коня, так, как те передо мной, подняли на дыбы. Я как испугалась,

как начала кричать, соскочила с воза и полетела в речку, там река Верхнетоемка называется. А там гора высокая. А мама за мной. Да меня поймала, да тянет, а сама беременная, вся в крови, меня тянет. А я кричу, на чем свет кричу, и кончено.

Ехали километров около 30, в Вершино. В Вершино местные люди пустили ночевать. Мама на лавке уже постелила мне. А сами они на возах сидели. Это уже под осень было. Там уже холодно было. Мама мне: «Спи!» А у меня так страшно голова болела, что я не могла. Я говорю: «Я не буду спать». Мама говорит: «Ну не будешь спать, так я буду!» Мама моя легла и сразу уснула. А я сидела, а тогда меня начало трясти. Хозяин все смотрел [за мной наблюдал]. А у меня с перепуга язык затянуло туда, в глотку. И я билась, билась, уже пена со рта, кончаюсь. Хозяин давай будить маму. Тут все всхватились. Мама всхватилась, меня на руки, давай трясти. А тут же надо свечку в руки дать. А возы стоят на улице. Свечку искать. А там бабы сидят на улице, спрашивают: «Что случилось?» А мама: «Там Мария умирает». А они: «Она испугалась». Одна, она умела заговаривать, прибежала и березовым дегтем мне намазала под нос, хотели рот, но рот не раскрыли мне, под нос и губы мазали, грудь помазали. И пока мама нашла свечку и прибежала, то я уже спала. Она схватила меня, как начала кричать, уже последняя же... Женщины забрали и говорят: «Она спит. Она спит, не трогай».

А был такой хороший врач. Одолжила мама зонт там у женщин и за семь километров прошла. А дождь такой лил! Пришла к этому врачу. А врач говорит: «За мной приезжают, я в такой дождь буду идти?» А мама как заплакала и говорит: «Кто нам коня даст, кто нам что даст? У меня последняя, я уже двоих похоронила раньше времени». Он пошел, оделся и пошел. Мама сзади бежит и над ним все зонт держит. Пришел, посмотрел и говорит: «Это от испуга у нее. Следите, — говорит, — чтобы у нее язык не заваливался». Дал лекарства, написал, сказал: «Как приедете, так по этому рецепту возьмете лекарства».

Еще две ночи в дороге ночевали, после приехали.

Нас пригнали в поселок. Уже бараки были. Но пола еще не было. Только бревна накатаны. И песок. Такие бараки. А тут как раньше людей пригоняли, то ни домов, ничего не было. Загнали их в лес, бросили им топоры и пилы. Там река Охтама, так они ямы к берегу повыкапывали и там положили камни. И вот они там грелись. Все те люди умерли: кто замерз, кто умер. Те все умерли, других подгоняют и подгоняют.

И уже в школу надо идти. Мне уже семь, восьмой год. Меня не берут в школу, что я больная такая. Я стою и плачу. Я три дня стояла в дверях

и плакала. Мама пошла к коменданту и говорит: «Что делать? Плачет и кончено, и нет спасения». Так они говорят: «Пусть идет. Только не заставляйте, хочет — пусть идет, нет — так нет». Ну я как пошла, так и стала учиться.

Родился у меня брат Антон. Он родился 16 ноября [1931 г.]. Там уже снег был, зима была во всю. А мама как стала рожать, нам выбросили одежду и в дом не пустили. «Идите, — говорят, — там обеды скоро разберут, а то опоздаете». А у нас же часов ни у кого не было. Мы побежали в столовую. А нам уже там говорят: «Шатилиха родила мальчика». Я уже прибежала смотреть мальчика. Принесла этот обед, что нам там давали, какую-то подливку в кастрюльке. Мама уже сидит с этим мальчиком. Я рада! Вот братик уже есть! Прыгаю.

Мама написала папе. Папа мой бросил все на завале, накупил, набрал какое что мог, что люди дали. И с санками продуктов приехал. Я как раз в столовую побежала очередь занимать, и папа идет. Я так обрадовалась! Папу уже целую, обнимаю. Ну папу я уже повела. А нас поселили в одной комнате сразу две тогда или три семьи. Там две девочки были, у них мачеха была. А отчима забрали, он не расписался [что выедет на высылку], так его забрали. Те побежали и сказали, что к Марии папа пришел. А там почти в это время другая родила, Косачевская. Ну они взяли и поменяли детей: того положили около мамы, а Антона около Косачевской. А он пришел, смотрит, на того смотрит, а этот же — возле мамы. А я тоже смотрю. А он схватил Косачевской Казика и целовать. А я: «Ха-ха-ха! Папа не узнал, папа не узнал! Папа своего сыночка не узнал, папа своего сыночка не узнал!» А он положил, да схватил, да давай целовать Антона и говорит: «Я так и думал, что этот мой». Папа прыгает, я прыгаю с папой. Жизнь, есть жизнь...

Бревна там трактором тягали, трактор зацепит бревно и уже тянет. А мой отец предложил им тракторные сани, ледянку сделать. Тянул он хорошо, а они все по его рассказам делали. Ледянку поливали водой, а после она сама под снег, и вот они так тягали. Отца они ценили.

Брату посчастливилось: он родился, и у коменданта родился мальчик, в одно время. Дома рожали, там больницы не было, только можно было сходить к врачу. Коменданту очень понравился мой брат: «Такой, — говорит, — красивенький! Я бы ничего на свете не хотел, чтобы мой был такой красивенький». А его — какой-то страшный, какой-то нос. Так комендант придет, моего брата за щеки...

Голодовка была. Мой папа опух с голода. Ходили в деревню, все, что было, меняли на макуху. Раньше макуха была, скотине давали. Так вот, этой макухи. Но с этого же не проживешь. А тут заходят некоторые,

просят. У папы если есть кусочек хлеба, он и отдаст. Мама плачет: «Сам опухает, дети опухают, а он отдает». У моей мамы стала цинга. Она не могла есть ничего, зубы ее все шатались, летели. И кормить молока не было. Выписали лука. Как съела лука, так малому груди заняло [отказался от груди].

До года Антона я носила везде, травками всякими. Травок всяческих собираю. Там был шавель, оборотник, крапива. Все мы это ели. А мой брат начал ходить рано, до года. Потом ноги стали кривиться, и руки, да все. Врач говорит: «Не позволяйте». Потому что там как какие начинали ходить, то у них ноги погнулись. Но где же там! Ребенок, кто его будет смотреть? Мама же на работе целый день, я смотрела. И тогда комендант посмотрел и говорит моему отцу (а отец мой и коменданту что-то сделал, доски пилил): «Антон (а там Адольф не было имени, а Антон), езжай ты на завал, там близко деревни, там около людей, то как-нибудь выживешь. А тут твой мальчишка все равно умрет. Мне очень твоего мальчишку жалко. Я бы ничего больше не хотел, чтобы мой был такой». У него такой некрасивый был. А папа говорит: «А я уже не поеду. Буду здесь умирать». Папа опух, и сильно.

Но поехали. А меня не отдали. Я уже осталась в садике аж за четыре километра. Я уже окончила первый и второй классы. Второй я уже окончила одна, без мамы и папы, меня же им не отдали.

Полгода на четвертом поселке была, заведующей была наша, Голенчик, [так] нам хоть хлеб давали: 200 грамм в день, какой-то суп давали, 8—10 грамм давали крупы на ребенка. Она уже смотрела, чтобы нам давали. Тогда вышло постановление: с какого поселка дети — туда и отправить. Вот меня на пятый поселок и отправили. Где-то четыре километра в школу. А у меня не было в чем ходить. У Ольгерда были сапожки, они стали мне тесные. Папа оставил мне кожи подремонтировать. Я отдала сапожнику эту кожу, чтобы подремонтировал. А он эту кожу забрал, а сапожки стянул, они мне на ноги уже не влезли. И кожушок его был, и кожушок порвался. Так снег выпадет, а я бегу по снегу. Деревья вырублены, стану на пень, ногами поляпаю, потопаю — и дальше. И я так вот кончила второй класс.

А на пятом поселке поставили заведующей комсомолку, что приехала. Она получала на всех хлеб. На всех давали пять булок. А она утром булку, в обед булку, вечером булку, приходит, берет хлеб и пошла. А мы же побольше уже были, а там дети и маленькие были, все вместе. Так нас нянька, больших, позовет и показывает: «Вот, дети, смотрите, она булку забрала и пошла». И мы видим, что она понесла булку. А как делят, то выходило как коробок спичечный хлеба на день. Детей много.

Если бы еще все [нам], а то она же почти две трети забирала. Из пяти булок она три брала, а две оставалось.

А там выслали украинцев. Их привезли где-то в 1933-м или 1932-м, я точно не скажу, весной. Их уже не так, как нас везли, у нас по дороге очень много умерло. А их привезли — уже бараки были. Они приехали с детьми. А наши как ехали, то почти все дети умерли. И вот украинцы, и все дети начали умирать. Как стали дети украинцев умирать, украинцы от злости, от обиды подожгли лес.

И я опухла. Я уже не вставала. Заведующая сказала, что которые [дети] есть не встают, не надо их и беспокоить, пусть спят. А я уже с кровати вылезти не могу. Я, когда опухла, не захотела уже есть. А что мне дают, я своим подругам отдаю: ешьте, а я не хочу. Прислал дядя через Красный Крест посылку. Прислали четыре килограмма сала на папу. Эти женщины пошли и отдали все мне. А я, как кто просит, отрезаю, даю. Всем даю. Знакомый, незнакомый — даю. И в бараке даю. Так я и раздавала.

Комаровские — это соседи наши (мы из Томашевич, а они из Боханов) — видят, что я умираю, а их отправляют туда же, в Верхнюю Тойму на работу. Они принесли чемодан: меня положить в чемодан и замкнуть (замок я дала им). Замкнут и вывезут. Я маленькая была. Они меня положили в чемодан, замкнули. А тогда поговорили, что повезут вещи за километров 20 вперед. Это дня три в дороге надо быть. «Так если она в дороге задохнется, а вдруг этот чемодан вверх ногами перевернется? И привезем родителям мертвую». Так они объяснили мне тогда, что не могут меня взять. «Мы скажем твоим родителям».

Они, как приехали туда, сразу нашли моих родителей и сказали им. Моя мама бросила брата там с отцом, а сама не дорогами — там лес все, а просеками. И вот когда она пришла, я уже не вставала, лежала в кровати. Я вылезла из кровати, иду, а ноги уже не могу переставлять. Ноги уже такие тяжелые. Мама моя на улице такая красивая стоит! А я вся опухшая. Она стала просить, чтобы отдал меня комендант. А комендант говорит: «Не имею права». Мама говорит: «Она же все равно умрет». А он: «Что умрет, за это мы не отвечаем, а отвечаем за то, что отдадим».

Мама бросилась к комендантixe. Чем она ей угодила? Что там у нее было, что та комендантixa попросила, написала ему [коменданту], чтобы он ей отдал. У нее колечко было. А их как гнали туда, вещи оставили тут, на горе в бараке. Там еще что-то мама ей отдала, и она написала. Мама дала ему эту записку, он говорит: «Я имею право дать только родителям на 24 часа, а больше я не имею права дать. Я выпишу разрешение, сможете пройти там в Тальце (а до Тальца еще 12 километров), я погоню посылать не буду. А если не сможете пройти, я тогда не отвечаю».

Мама за меня — и идти. А я идти не могу. Мама вещи сзади привяжет, меня впереди, потом меня назад, вещи вперед. Надо же и одежда какая. Пришли мы в Талец, это 12 километров. Там ограждено все проволокой, а вокруг все болото. А там уже наш из высланных, Шуба, был, из-под Минска. Вот он: «Еще только четыре часа осталось, а идти еще сколько, что вы за четыре часа сделаете, куда вы зайдете?» А мама: «Дано разрешение — значит пропускайте!» А тут вокруг колочая проволока и собаки, а там дальше болото. А в болото если кто пошел, то утонул. Он взял собаку и подводит ее ко мне. А собака больше меня. Я испугалась. А он говорит: «Вот эта собака обнюхает, если через четыре часа не будете здесь, я посылаю эту собаку, она на ваших глазах разорвет ее на кусочки». Я: «А-а-а!» — кричу. Мама меня толкает: «Молчи!»

Мама меня просит: «Ну хоть пять шагов ступи, ну хоть десять шагов ступи!» А я совсем идти не могу. Я говорю: «Мама, все равно я умру. Вы меня бросьте, да и все. Идите вы Тоника смотрите». Тянула меня мама, тянула. И слышно, там по низкому тракту подводы идут. Она меня посадила и побежала туда. Встала на колени перед подводой. Остановились, спрашивают: «Что случилось?» Она говорит: так и так, умирает последняя. Взяли. У них на возах была солома, и меня под солому взяли положили и накрыли. Всадят, проверят — дышу ли я. А мама бежит по болоту, около дороги по бокам, чтобы следов не было, где по воде, где как. И так меня привезли в деревню Милое, до Вершин была еще одна деревня. Там все люди сбежались. Местные жители так жалели нас, потому что они их близко к нам не пускали: все было колочей проволокой [обтянуто]. Кто молоко несет, кто яйца, кто творог, кто что. А я уже ничего не хочу. А мама говорит: «Вот, ты же не оставила сала нам, все съела, а этого уже не хочешь». А я как стала плакать, так она не рада была, что и сказала. Они говорят: «Оставьте у нас. Мы привезем потом». А у мамы грудь налилась, у нее молоко, малыш этот, Антон, сосал. Она и пошла. А меня еще целую неделю они у себя продержали.

Потом я немного окрепла, и они меня перевозили, одни другим передавали и после привезли к отцу, к маме в Типаки. Пока привезли, я уже стала ходить. Там мы жили. Папа работал, строил дома, бараки строил. Мама с ним строила. Маме ударило бревно, заболела нога. Рожей заболела. Там хозяйева давай лечить, бабок [шентух] вызывать. Мама попала в больницу. Папа берет меня на стройку. Я пошла помогать, бревно держу, папа пилит. Он чистит, а мне держать надо. А тогда брус мне по руке, упал мне на пальцы, я стала плакать. Папа как начал плакать: «И одну покалечил, и вторую покалечил». А я уже стою, молчу, сама себе на руку дую [думую]: «Еще и папа умрет, никого у меня не будет».

Оказывается, что он заработал эти деньги — пишут еще два человека, своих. Он заспорил. Ему говорят: «Такого никто не пропустит, что один бараки строил». А он говорит: «А жена?»

Нам посылки слали отсюда — из Беларуси. Посылки приходили от Красного Креста. Приходит, вызывают и спрашивают: «От кого?» Мой отец не знал, отправили назад. Потом снова пришла, отец снова не угадал, снова пошла. Так четыре раза. Потом папа вспомнил, было написано: «Москва, Красный Крест. Пешкова». Потом мне папа сказал, как спросят от кого, говори: «Москва. Красный Крест. Пешкова». Я получила. Посылки были по 4 кг. Проверяли. Часть забирали будто бы в общий котел, а забирало начальство. Были гречневая крупа, молоко сгущенное. Пришел комендант, хотел забрать или выменять молоко сгущенное. Мама не отдала, сказала: «Дети никогда не ели, пусть попробуют». Посылки шли до 1935 г., примерно раз в месяц. Узнали, что 6 сентября 1934 г. умер отец, перестали идти посылки. Отца родственник нас искал через Красный Крест. Наверное, это он и слал посылки. В 1935 г. отменили карточную систему. А нашим не продавали в свободной торговле. Наших узнавали по одежде, по разговору.

А посылка как придет, там потом все заберут, говорят, что в общее. А это они сами все забирали. А там скотина умирала, так они людям ее варили. Конь от коросты пал, так сварили этого коня в столовой. Я лежала — у меня ветряная оспа, я вся усыпана, у мамы цинга, ноги опухли, она не ходила. А нас в комнате было четыре семьи. Я на полу спала, под кроватью у Антона, больше не было как поставить. Утром встали эти соседи (у них два мальчика большие, один младший). Так они встали и подняли сорочки, вот так вот — тут около пупа красное, а тут вот — такое розово-красное. Короста напала, высыпало сразу от пупа. И пошли, вся семья пошла, и мать пошла, и эти три мальчика. Пошли в болото. Болото там было как сметана, черное. Брли на краску, красили юбки, брюки. И вот я сама видела, как бросаются люди, вот с горы как кинутся! И это болото, как немного затянуто, растягивается, а после сразу эта трава, как мох, затягивает. Люди заражались, и некоторые умирали. Очень много.

В болото бросались и потому, что жить невозможно было. Вот даже украинцы пробовали убежать: пройдем, не пройдем? Лучше утонем! Многие шли, тонули. А многие уже до того доходили. Все равно ничего не предвиделось. И вот так все люди уничтожались. Это же надо придумать...

Я уже с Антоном выйду, а дети рвутся взять Антона на руки, посмотреть, а мама говорит: «Никому не давай». У всех детей стала короста на руках. Очень расчесывается.

Когда в Котлас нас загнали, так молодые парни, лет по 17—18, у них стала борода расти, и люди очень многие с ума сходили. Гриб был, он тронулся умом. Его жена убежала с детьми, а он сошел с ума. Еще были из нашей местности два молодые парня.

Мою куму, что меня крестила, отец взял в один дом, потому что их нигде не брали. У них был один ребенок, первый, только родился. И он, как их выслали, по дороге умер, где-то еще до Устюга. И она обезумела. Стала на себе и одежду рвать, и догола разорвет. Забирали их где-то, или в дом сумасшедших, или куда, но забирали.

В 1933 г. где-то вывезли они меня. И туда привезли детдомовских. Их не так, как нас под стражу, а их свободно пустили. Их растили и ничему не учили: они не умели постирать одежду, они не умели пол помыть, они не умели еду приготовить. Ничего не умели. Я папе говорю: «Что это за люди? Ничего не умеют». А там двери не замыкали, только метелку вставят, у северных людей там воров не было. А у отца валенки были. А детдомовцу ходить не в чем. А мы жили напротив. Так они его избили сильно за эти валенки. Первый раз же моего отца побили сильно, когда он сказал, что не будет бригадиром. Он уже пух, все время после того опухал, у него сердце стало болеть. А тут снова побили. Я не знаю, как их государство считало, но мы знали, что они детдомовские. Позже их кого убили, которые убежали. Так я маме иногда плакала, что если бы они не являлись, так меня бы в детдом забрали. Мама говорила: «Зато у тебя есть голова и руки, а то бы мякина была, руки к жопе приросли».

Я пойду днем в лес одна ягоды собирать, чернику. Скажу в какую сторону пошла, так папа с работы бежит туда. Я поставлю две корзины, наберу, сижу папу жду. А тогда уже папа идет и песни поет. Он поможет сесть на пароход. Я покуда еду до Тоймы, это где-то 20 с лишним километров, продам. У меня это хорошо покупали. А обратно возьму литр водки и двадцать пять километров пешочком. Я ягоды собираю, сушу, сдаю. Грибы собираю, сушу, сдаю. А мама все: куда идти по грибы, по ягоды, все у меня спрашивает. А я говорю: «Мама, что это всем мамы говорят, а вы у меня спрашиваете?» Она говорит: «Как тебя слушаю, тогда идет у нас хорошо, как против тебя пойду, то ничего не идет».

А родители зарабатывали очень мало, им платили мелочь. А как сюда [обратно в Беларусь] приехали, маме даже пенсию не могли начислить. Работы делали много, а платили мало.

Я уже ходила в третий класс, где-то в 1937 г. Кладбища запахали (они были между двух деревень). Те, что пахали: «Вы все хорошо делаете, но плохо, что запахиваете». Там река выгибалась, а с другой стороны ручеек был, а между ними — большой участок. Там сеяли рожь, пшеницу. Все очень хорошо росло. А вот так занимало кладбище большое. И вот приказ, что это культ личности. Запахать все кладбища. На всех поселках запахали. Там были кресты, в это время все умирали, там хоронили. Самая старая могила была, может, лет 6—7. Это же не старые могилы. Их все запахали. Как запахали, так пошли черви. Вот такие вот, с палец. Черные и лохматые. Черви как пошли, то идут все равно как шеренгой. И всю эту рожь, все это съели. По дороге идти мы боялись, обуви же не было, босые, боялись ступать. Как в школу шли, то мы обходом, речкой, переезжали через речку и за речкой шли. А тогда здесь четвертый поселок, тут к мосту выезжали, выходили на берег и шли по дороге. И что вы думаете: съедали все время [рожь]. На следующий год посеют — съедят черви. Что посеют — съедят. Я поехала в 1947-м, то там ничего не могли посеять. Уже после и бросили сеять. Ничего не выходит, бросили сеять. Так оно пустошью и лежало. Ни кустов, ничего там не было. Пустошь.

Каждый плакал по своим могилам. Мы думали, что Бог нас так наказал. Говорили, что это еврейское. Что в Библии написано, что все равно всем светом будут править евреи. А тут поставили кресты! Вот Бог и наказал. Все делают евреи. А после уже, когда я начала в деревни заходить, а там есть кладбища, я удивилась и спрашиваю: «А почему в деревнях не запахивают кладбища, а тут запахали?» После войны вернулся Стрепетов. У него в войну умерли девочка и мальчик. По лет 8—10. Так их могилки запахали. Он всю войну прошел, и когда их командира убили, он начал командовать. Его наградили. Он же был уже награжден, да все, и то положил лапки, землю сравнял. Положил лапки и могилки не сделал. Такое было нападение. А что мы могли сделать?!

Отца отправили в Сефтру. Там еще как бараки строил, так комнатка у нас была, а туда как пригнали, то уже такой дом старый. Ни отопления, ничего. И нас в этом доме держали. Отец сделал полки сверху, и нас уже на полки. А потом стали умирать люди тут, они: «Идите, ищите квартиры». И так мы перемололись. И мой отец умер в 1934 г.

Мой отец говорил, что если бы свободно пустили, он в Беларусь никогда бы не поехал. Там, на Севере, очень лес хороший. Весь лес был (на четыре километра просека, между двумя километрами визир) под номерами. Царь очень следил за лесом. Лес был очень чисто убран. Когда начали подсоску делать, мой отец плакал. Говорит, что это погубит

лес. Такой лес! Подсоска — это они срезали кору и спускали смолу. Отправляли за границу. Лес жгли и — за границу. Потом выжигали пни. Это все думали посеют. Однако при нас ничего не посеяли. Где высекли, там только кустарник.

Папа мой говорил: это не поймешь, что делается и куда делается. Что это за государство?! Такой там лес был, что нигде в мире такого не было! Лес был строительный. И этот лес заставили наших высечь. И сплавляли. И в Белое море. Даже пароходы не могли ходить, загружено было лесом. В каком это государстве так делается? Мой отец плакал по этому лесу. Просто плакал. И я также недовольна. Так рубили лес! Так все уничтожали!

Умер отец, мама осталась с двумя детьми. Он очень переживал. Говорил маме: «Я никогда не думал, что ты так попадешь. Что ты будешь делать с двумя детьми?» Попрощался с нами и так он и умер.

Я пошла в няньки. Маму сняли оттуда и отправили на поселок, я не знала куда. Я побывала в няньках, а где-то под Новый год мне хозяйева отказали, сказали: «Дедушка уже не будет работать, уже сам будет смотреть». Я сразу пошла в этот барак, где мама жила, там мамы нету. Я пошла на кладбище, где отец похоронен. Решила замерзнуть. Я сижу, слышу, поют, кого-то везут хоронить. А на Севере ночь все время, до Нового года немного начинает прибывать [день], а летом солнце совсем не заходит. Идут ко мне мужчины. Закричали: «Ребенок на кладбище! Ребенок на кладбище!» Я легла между могил, чтобы меня не видели. Мужчины подходят: «Чего ты здесь?» Я: «Я к папе пришла». — «А почему ты не на поселке?» — «А там все равно умирать, так лучше я около папы умру». Та женщина, что приехала девочку хоронить, кричит: «Возьмите, я ее заберу себе, вместо моей дочки». Вот они меня принесли, она меня взяла на руки, тогда на повозку посадили. А я обмерзла вся уже, трясусь. Так они взяли меня на руки, несли меня на руках километров восемь. В Монастырек, и еще дальше. А у них овчины — это холодные шубы, у них оленьи кожанки. Так они меня вот так вот закрутят и несут. Принесли они меня, прибежала эта, что была у нас заведующей, что у нас хлеб забирала. Так она сразу: «А, Шатило! Разве, скажи, я плохо смотрела вас?» Я говорю: «Да». Смолчала, а потом решила сказать: «Да, хорошо смотрели. Нам давали на всех пять булок, а вы три забирали, а нам, как спичечный коробок, давали. И когда у украинцев дети все умерли, украинцы пошли и подожгли лес. Тогда нас отвели: ложитесь около реки. А лес вокруг горит...»

Они ее вывели и где-то, видно, убили. Я не видела, но мне потом сказали: «Мы не допустим, чтобы наших детей такие воспитывали». И я

потом видела там, где наши похоронены, и ее подписана могилка. Я так думаю, они ее убили.

Они меня продержали до самой весны. А я все думаю, что я буду им надоедать, я уже лучше пойду. Уже как будет, так будет. А они догадливые были, они меня не отпускали. Говорят: пойдет где, да замерзнет.

Пришла на пристань, сию. Уже ягоды начались. Далеко лес, а я не знаю, где мне, что. Ребенок есть ребенок. Я сию, ко мне подходит капитан, разговаривает со мной. Потом он меня уговаривает, чтобы меня удочерить. А я: «Бегают мыши, я словлю маленьких мышек, а за мной наблюдают, тогда я выпущу». Ко мне подходит его жена и спрашивает: «А зачем ты отпускаешь мышек?» Я говорю: «Потому что у них нет мамы». Вот где птички или кто, я всех выпускаю. Мне кто что даст, сию. А этот капитан уговорил, чтобы меня удочерить. Я соглашалась, и пошли уже туда, где переписывают. Мой папа умер, так я соглашалась его папой звать, а моя мама где-то же есть живая. Так я: «Моя же мама где-то живая!» Вскочила и побежала. Этот капитан перевелся в другое место. И они потом за мной долго наблюдали, чтобы забрать. Говорили: «Как так, что за мать, что бросила. Ты же не знаешь, где твоя мать». А я уперлась: «Мама где-то живая. Как так, все умерли, и еще я сойду?!» Мама как сказали, она прямо летом летела, чтобы забрать меня в поселок.

Мама нас не может прокормить. Брат в садике. А в поселке много не заработаешь. Она и зерно сушила, и овец пасла, и свиней кормила, и все меня привлекала. Я пошла учиться снова. А ума [не было], не было кому подсказать. Я говорю: «Ай, все равно меня учить не будете, ай, я брошу». А мама: «Бросай!» Мне и мама, и папа все говорили: «Мы тебя учить не будем. Это мальчики пусть учатся. А девочки должны есть варить, шить». Меня готовили на швею, учили с детства. Я бросила [школу]. Приходят к нам учителя два, из наших, высланных. Мама на работе. А я тут есть варю, печь топлю. И брат тут. Они: «Почему не ходишь?» А я: «Нету за что, надо работать». Они дождались мамы и маме говорят: «Она так хорошо училась». А мама: «Такая жизнь, что все равно. Что толку, что будет учиться?»

Все же я пошла учиться. Стало очень трудно. И мама моя убежала с поселка. Остались брат в садике и я. Мама моя убежала и заболела. Она там, у хозяев, что мы жили, лежала, наверное, месяца три. Пошла и устроилась глину делать. Это ногами месили глину. Стала месить, у нее открылось кровотечение, она была и так сорванная. Моя мама все время была на тяжелых работах. У нее уже желудок оторвался. Она совсем была инвалидом. Стояла на пилораме, на погрузке. Так ее руки вот так вот повывкручивало. Она ложку могла только засадить сюда [показыва-

ет]. А ноги также вот так вот. У меня ноги также, потому что я тягала большие грузы, так у меня ноги также стали во так, но не так сильно, как у мамы.

Мама заболела, не заплатила за садик, так они мне его [брата Антона] отдали. Заведующая привела и отдала. Это было летом. Я уже третий класс закончила. Как хочешь, так и живи. Ну что я?! Контору убираю, учусь и почту ношу. Значит, за контору мне платили 7 рублей. А за почту — 5 рублей. Это двенадцать рублей. А хлеб стоил рубль двадцать. Вот сколько я зарабатывала. А больше нигде. А хозяйства же не было, только какие травы рвали и ели, крапиву там, оборотник, наварю. Смотрю, мой Антон стал пухнуть. Приехал комендант, я Антона взяла на руки, в контору пришла и на пол кинулась. Кинулась на пол с ним, как начала плакать. Так комендант говорит: «Как это так? Надо же было в детдом отправить». А они: «Где-то же у нее есть мать, если бы совсем не было». Он говорит: «Подумаешь. Ребенку ребенка отдали. Забрать ребенка!» Забрали Антона, отвезли в садик. А садик был в четырех километрах.

Я все почту ношу и контору убираю. Я окончила четыре класса. Тогда бабы говорят мне, что мама той, с которой мы в комнате жили, выходит замуж. Но мне сказали не говорить ей. А ей сказали, что это моя мама выходит. Я в конторе пол мою, а она приходит и говорит: «Сиди, сиди! Драй, драй пол, а твоя мама замуж выходит!» А я: «Моя как моя. А твоя точно выходит!» Как начала ж она кричать, как начала плакать. А женщины на меня: «Мы же тебе говорили! Ты же старше, зачем ты ей сказала?!» Ее и на руки брали, и целовали, а она кричит. Я говорю: «Тихо! Вот мне дадут за почту 5 рублей (а за контору мне авансом давали), и пойдем, пойдем посмотреть, как наши мамы замуж выходят».

И вот я получила 5 рублей за почту, и мы пошли. Это 75 километров до района, а там еще километров 30. А брат в садике был. Я пока тут была, так перегон носила. Он говорит: «Ты молоко мне не носи, а перегон». Молоко дорого. Перегон 20 копеек стоил, а молоко 60.

Пришли к маме. Ту так сразу отвели к маме. А моя мама уже отвыкла и не знает, что делать. У нее отсчитывают на Антона, она и прожить не может. Она давай мне выговаривать. Там какой-то нашелся жених. Она: «Иди назад». А я: «Нет, я назад не пойду! Может, в няньки кто возьмет, может, что». А она: «Кто такую дурную в няньки возьмет?» Я: «Нет!» А назавтра ночью этих мужчин (там были все административные) всех забрали и расстреляли [и мамино жениха].

А был там Кантор, он где-то из-под Пятеевщины, был начальником там. Он, наверное, ей немного посочувствовал, отправляет мою маму и

Ариничиху в Монастырек на сплав. А на сплаве работали в основном местные. Там платили уже хорошо. Там мама зарабатывала 12—13 рублей в день. А я тут месяц должна была работать за столько. Я малая была, но также пошла. А я не могу бревно повернуть. И так, и сяк. Так мама: «Я себе еле поворачиваю, а еще тебе буду!» Я багор, что бревна тягать, не могу держать. Тут догадались: нужен учетчик лесоматериалов, на зарплату. Мне только 14 лет. Мама там попросила женщин, чтобы стали свидетелями, что мне 18 лет. И меня взяли приемщицей леса. Я принимаю лес. По Северной Двине, по кашалям гонят лес, а я ставлю точки в тетради: каждое бревно, какой сорт. Потом подсчитываю. Работали по 12 часов. Эти пойдут, а я посчитаю сколько кубометров, выпишываю зарплату, сдаю в контору. У меня принимает сплавная [контора], и отправляют этот лес за границу. Так сколько я приму, столько и у них, получалось одинаково. Ко мне претензий никаких не было. Ко второй смене были претензии, ко мне — нет.

Еще мало. Никто не умеет на карбасе ездить (карбас, как лодка, на него могли коня поставить). Из наших никто не умел. А я была черт настоящий. На карбасе нужно кипяток развозить. Из Двины пить нельзя было. Там много пароходов разных, вода грязная была. Нужно было кипятить воду и тогда кипяток развозить в бочки. 12 бригад было, каждой бригаде нужно было по 2 ведра завезти и вылить. Мне нужно было 24 ведра завезти. Мама говорит: «Я тебе помогу дров напилить, воды помогу наносить, а ты развезешь. А я пойду домой есть готовить». Это по 75 рублей на каждого, выходило нам 150 рублей на двоих. Тут 100 рублей мне платили, а там 150! Так я тут отработаю, только сдам документы, а мама уже дров напилит, воды наносит. Прихожу, дрова пилим. И мама идет домой. Два больших котла стояли, закипачу, наливаю в бидоны и везу. Так я и моталась. Как зайду домой, так сразу валилась. Мама мне ужин варит и потом в рот пихает. А я только глотаю. Мама плачет: «Был бы отец жив, не мучилось бы так дитя».

Мама мне говорит: «Те деньги, что ты получаешь: 100 рублей учетчика, эти 150 рублей, ты клади себе. А одежду я за свои куплю». А я выросла, все, что у меня было, на меня не налазит. «Поедешь учиться!» Потому что когда мама сказала, что не будет учить, то я очень плакала. Мама решила, что я уже теперь пошла зарабатывать, то какой-то толк будет. Ну вот я собрала где-то 750 рублей. Мама мне пошила платьице, костюмчик пошила, пальто где-то купила, где-то в уцененке, но купила мне пальто.

Вот мамы нас проводили и мы пешочком снова аж туда в Горку. Нас не брали в местные школы. Для нас были отдельные. Мы страшные

преступники были. Там же были школы в Сефтре, в Верхней Тойме. Но туда нас не брали. Мы должны были аж в Горке учиться. Это где-то 35 километров до Верхней Тоймы, а там от Тоймы километров 120 на Горку, другой сельсовет. Очень далеко было. Пешком все шли. Дня четыре или пять шли мы. Общежития не было, там на квартиру просишься. И вот мы пришли. Я уже опоздала. Мне попались очень хорошие хозяева. Поповы их фамилия. Все их звали Кирич и Киричиха. Я им помогала: и постираю одежду, и пол, печки натоплю. И они никогда не сели без меня есть. Они всегда сажали меня посередине за стол. Всегда. А керосина не давали. И дедушка нащиплет лучин, и пока я письменные [домашние задания] выполняю, он мне светит. Всегда светит. Очень хорошие люди были. И они у меня за квартиру не стали брать, ничего не брали. Ну я им помогала, что могла, то все делала.

Окончила 5-й класс. Передали сводку, что будет пурга, это было 6 июня. Директор меня очень уважала. Она всем сказала, чтобы не шли. А мы посидели, посидели, а дождя нет. А продуктов уже нет, надо идти. Мы и пошли. Отошли на 15 километров. Мне сказали, что мама моя на сплаве.

А я совсем уже ничего не боялась. Могла встать на бревно [которое плывет по реке] и кататься. Мама говорит: «Что же она делает?» Я на душегубке (из бревна выдолблена), на ней надо было одному, а я вдвоем, перевезла девочку. А мне говорят, что мама моя на шестом поселке. Она там лежала совсем больная. Я приехала назад. А у меня ботинки совсем развалились. Я сняла их, перевязала через плечо. А тут такая пурга стала! Ливень со снегом. А потом сильно снег один сыпал. А снега уже по косточку. А я дорогу теряю, назад все возвращаюсь, ничего не понимаю. Тогда я решила идти около речки. И пришла в поселок. Пришла в третий поселок (ближайший) к маминой подруге, а у нее уже семья была. А она как открыла: «А, Боже мой! Хоть бы в ботинках шла, а то босая!» Я заболела.

А там передали, что я уже замерзла. Эти дети (6-й класс, они шли позже), они знали, что я раньше пошла и не дошла. А там, на кладбище, была свежая могилка, девочки пошли и плачут там.

Я пошла. А назад надо снова реку перейти. Я и перешла по бревнам. Лес плывет, а я прыгаю с бревна на бревно. Пришла в шестой поселок к маме. Мама больная лежит. И я сильно заболела. Пришла в больницу. А у меня температура 40°. Я говорю, что пойду домой, а они меня в больницу кладут. А я: «Мне домой надо, у меня мама больная». Они: «Завтра пойдешь, а то еще утопишься». А у меня как стала лихорадка, трясет. Так я и пролежала полмесяца.

А я всегда опаздывала на 1—2 дня в школу, пока расчет. Иду я, вещи все на мне. А тут слышу, все кричат: «Идет! Идет!». Как схватили на руки, как начали бросать. Вся деревня выбежала, радовались, трясли, подкидывали.

Когда я пришла за 130 километров, уже было три пятых класса. И знаете, так интересно было, учитель вызывает, а каждый по-своему говорит. Языки отличаются, и слова по-другому называются. Там были люди с четырех районов, все русские, но все по-разному говорили. Раньше ж было обязательно только четыре класса. Наши охтомские так старались учиться. Тут был один, Голенчик, так он после, как вернулся, тут директором школы был. А мы говорим учителю языка и литературы русской: «Вот, один так говорит, а другой так, а третий так, а вы ставите им пятерки». Так он нам отвечает: «Россия очень большая. И у каждой местности свой акцент, свои наречия. Свое все. А письменный чисто по-русски. Письменность везде по-русски должна быть. Не будет же в каждом районе своя письменность».

Там детей стригли под машинку, чтобы отличались, если убежит. Все и мальчики, и девочки были острижены. Там местного населения не было, только начальство. А детей продавцов, начальства местного не стригли. А наши так некоторые и плакали, и кричали, что ни делали, и видите, всех под машинку. Вот если в класс зайдут, так будут видеть сразу. А шли в начальство из этих детдомовских, которые уже выросли в детдомах. Их никто и не знал, они приходили и под окнами слушали, и в сарае.

Где наши жили, там расценки были больше чем [е] половину меньше. У верхнетоемских большие были. Если поднимали шум, они рассказывали: «У вас чтобы загнать лес по Пеняге в Северную Двину, так это надо большой расход, поэтому расценки меньше».

А летом уже меня разоблачили [*что несовершеннолетняя*], я же в промхозе не могла нигде устроиться. А начальник сказал: «Это хорошо, что она так работала, что сдала, на то и зарплату выписывала. А если бы расхождения — кого судить?»

И меня нигде не взяли. И я пошла в колхоз. А что в колхозе: весной пахала, бороновала. Тяжелые работы. Потом летом косить, грести сено. Женщины в основном гребут. А тут дождь пошел. А что делать? Надо же зарабатывать. Я прошу у председателя: «Дайте мне коску, косить буду». Он принес мне маленькую коску, я пошла косить. Больше, больше. Потом я наравне с мужчинами. И я шла не сзади, как некоторые, а всегда шла вторая или третья, за бригадиром. Мне коэффициент поста-

вили наравне с мужчинами. Женщинам ставили 1,2—1,3, кому 1, а мне — 1,5.

Вот я заработала и снова поехала учиться. А тут уже поляков гнали. Поляки приехали, я училась в шестом классе, может, в 1939-м⁴. Их гнали куда-то дальше. Они везли деревянные вещи: ведерочко деревянное, бочечку деревянную. Так все выбежали, и говорят: «В лес едут и дерево везут! Везли бы что-нибудь хорошее!» Они в лаптях.

Они долго эти поляки были. Я уже в колхозе работала. Я с ними подружилась. Оказалось, что они из Волковыска. Они знали моего дядю, что там работал. Они говорили, что им здесь лучше. Может, боялись, может, что. Говорят: «Вы хоть одетые ходите. У нас ничего не было. Коробку спичек надо купить, так десяток яиц надо. Очень все было дорого». Они говорили, что все промышленное очень дорого было. Купить на платье или что, то очень дорого было, в самотканое одевались.

Как стало моему брату 7 лет, он заболел, так, как я: у него припадки стали [*эпилепсия*]. Надо было уже в школу, а его припадки как возьмут! Я пришла, а мама говорит: «Побудь около него, я в магазин сбегаю». Я осталась, а он как упал, припадки как начались, а я как испугалась, да схватила его на руки, да шлепаю еще... Его начали лечить. Лечили его, лечили — не помогает. Там одна женщина заговаривала. Сказала принести черный-черный платок и замок. И вот этим черным платком, если он упадет на этот платок, связать и закрыть этим замком. И она уже заговоры какие-то говорила. И чтобы этот платок никто не взял, и этот замок не взял. И вот я занесла, она заговаривала при мне. А тогда: куда деть платок — вокруг голые люди, босые, всем надо. Взяли в туалет бросили, чтобы никто и не нашел. И он поправился.

Антон надо посылать, а школа где-то километров за 18 от мамы. Мама говорит: «Уже что 18, что 35 или 50. Так ты бери его, ты и обмоешь его, и есть сварить. Я в седьмой пошла, а он в первый. Тут уже война началась. Я хотела в Беларусь ехать. Уже собралась, выехала. А тут объявили, что заняли Бобруйск. Я в Бобруйск собиралась, туда выслали папину сестру. Они там были, приглашали. Так я выехала, а после вернулась».

Во время войны работать было некому, мужчины, которые были, так их забрали. Там были Луцевич, Окулич, 1930 г. рождения. И вот они идут пахать. За плуг тут не могут держаться, держатся вот здесь — ниже. Как плуг в пень, они не могут уже ничего сделать. А я была старше,

⁴ Имеются в виду репрессии на территории Западной Беларуси (которая была в составе Польши), после присоединения ее в 1939 г. к СССР.

мне уже было 18—19. Я подхожу, плуг набок, кони кругом, и они пошли. Они окрепли, я их звала Орлы, мои Орлы. Они так старались, работали. Дети, горькие дети! Мой брат все время тоже работал. Навоз возил, обеды носил, пока немного подрост. Они работали, а этим детям ничего не дали...

Потом поставили эту комендатуру, им надо было давать данные, что нашли врагов. А врагов-то и не было!

В 1941-м, как началась война, привезли евреев из Гамбурга туда. И вот евреям дали телогрейки, ватные штаны, одели. Нам давали 400 грамм хлеба, им — 800. Нам только кто сек лес и возил (навальщики) [800], а эти все работы, то 400 грамм, а детям — 200 грамм. А им всем по 800 грамм. Они не пошли ни одного дня на работу. Только один выходил, придет и стоит. Так мастер говорит: «Вы уже не гоняйте их. А то ж те с него смеются». Они говорят: «Отправьте нас в города, на завод, так мы будем работать, а тут мы не будем работать». Тогда их продержали где-то всю зиму, кормили их и позволили им ехать в города. Это в 1941 г. Начался 1942 г. А я окончила школу, одежды у меня нет. Какое было пальтишко, порвалось. Мороз. Одеть нечего. Когда войдешь в барак, то тело горит огнем. Прыгала. Бежишь за конем, за подводой — прыгаешь. И деваться некуда. И нигде нам не давали одежды, нам не давали ни телогреек, ни штанов. Моя мама фураж возила. Они [евреи] попросились, чтобы их подвезла. Они же идти не будут! То они отдали штаны и телогрейку, один и второй. Мама подвезла их в Верхнюю Тойму. Так вот в этих штанах и этой телогрейке я всю войну проработала. А что одна та телогрейка, там две сразу надо. Латала, перелатала.

Дают мне фондовских коней, этих забирают, а дают фондовских. А фондовские необученные. А я сама не умею. Меня научили запрягать, послали лес возить. Я была такая, что я коня никогда не ударю. Одной такого коня дали, что он не идет ни за что, упадет чуть что и лежит. Так она вместо того, чтобы поговорить с конем, пугой как даст, а он раз — оглобли выломает. Мне как дали, так этот конь шел безотказно.

Там Зубреи были. Они приехали с Полесья, кажется. Их выслали позже, в 1939-м. Вышло так, что у них всю семью постреляли. Они ходили все в лаптях. Тряпки вот здесь накрутят, а тут шнурами. Зимой и летом ходили в лаптях. А у меня, когда не было чего носить, то я с кожи вырезала, какие старые туфли веревочками вот здесь привяжешь, потому что невозможно было. На сенокос идешь, колется, невозможно ходить, так веревочками привяжешь там. Так выкручивались. А лапти не плели. Мы из-под города, так не плели, а те, что из деревни, так плели. И поляки в лаптях все приехали.

Старший сын Зубреев был на фронте. А отец старый был. Сидел, курил. Приносят ему похоронную. Он как курил, как бросил сигарету, ему стало плохо. Баба бегаёт: «Ой, деду плохо, деду плохо!» Он как бросил ту сигарету, и больше в рот не взял.

Дочка их, она была лет на шесть старше меня, но была меньше меня на целую голову (я считалась большая). А надо лес возить, и она стала на меня [говорить], что я больше. А председатель сказал, что я еще несовершеннолетняя, мало что большая, но наваливать на меня нельзя. Поссорились. А у меня парни там находились, кавалеры. Говорили, что я самая красивая. А так ли или нет? Мастер говорил мне, а все на фронте, а этот уже старый. Так я говорю: «Замуж не пойду, пока война не закончится». А он: «Так что, будешь своих ждать?» Я говорю: «Не знаю, кого ждать буду. У меня и телогрейка рваная, и штаны рваные». (Там ходили в штанах ватных.) Так он как разошелся на меня, как стал меня грызть. Сказал, чтобы я первая выезжала. А если я первая (а там километров десять), то конь идет первый [прокладывает по снегу дорогу другим], а остальные по полозах. Первый да молодой конь не загружается. А если норму не выполню, меня же посадят. Так я решила делать еще один рейс, пусть и позже. И я делаю лишний рейс. А навальщицей эта дочь Зубрея, что на целую голову меньше меня. Подводы подходят, так наваливай, а лес — это очень тяжело. Тяжелая работа. (У меня все внутри подорвано, и у мамы моей.) Так она: «Я Гришину скажу!» [что лишний рейс делала на фондовских конях]. А я: «Хоть и самому Сталину!» А я шла на то, пусть меня расстреливают. Я была досажена на свою жизнь, меня и мама не могла воспитывать, я в страшной работе росла. А после я еще и плохо слышать стала, у меня голова очень болела. Пусть меня расстреливают, я не боялась.

Тут значит взяли и поссорились с этой девушкой. Я-то никому не хотела плохого, я сама понимаю, что ей тяжело. Но что делать? Куда хочешь, туда девайся. Меня на правление вызывали в колхоз, что я хочу угробить коней, а у меня же фондовские.

Приехали НКВДисты. Я возила дрова к баракам. Надо нарубить и завезти. А там есть деревья — руками не обхватишь, стоят, может, по тысяче лет сухие. Я взяла пилу, думала, что отпилю, а потом топором подсеку. Пилила-пилила кругом — и не повалила. Тогда я более тонких напилила. Привезла. Коня своего отпрягала. Я была такой человек, что меня животные любили, я никогда ни одно животное не ляснула пугой. Могу помахать. Я смотрела, чтобы конь не взмокрел. Эти не отпрягали, так поставят в хомуте припряженных, только отпустят. А я снимала, поставлю, чтобы конь отдохнул: хомут да это все ж тяжелое. Они захо-

дят, а я ботвы там сварила, поставила, ем. Заходят, садятся напротив втроем. Я ем. «О, даже и ест! Даже и лошадь распрягла!» Я говорю: «А что конь не хочет и отдохнуть? Положено коню отдыхать». Тогда они: «Что вы в лесу говорили?» А я и забыла, что говорила. Говорю: «Ничего не говорила». «Вы говорили там что?» (А когда ж она сказала: «Гришину скажу», я же сказала: «Скажи Сталину»). «Так что вы говорили? Что вам бригадир говорил?» (Она бригадиром была). Я говорю: «Что говорила? Что надо коня беречь на посевную. Я и сама знаю». «Так поэтому вы распрягли?» — «Поэтому и выпрягаю, чтобы отдохнул мой конь». — «Не хочешь с нами разговаривать, заговоришь под елкой».

Под елкой, так под елкой. Все, и пошли. Тогда я еду. А там лес возить надо было километра, наверное, 3 или 4, пролет был. Ко мне рядом садится комендант Елисеев. Он мне и говорит: «Что ты наделала? Я тебя еле отстоял, как это можно было так сказать?» Я говорю: «Она меньше меня, вся мокрая. Она сама не может на ногах держаться». Голодные же. Какой там паек — 800 грамм хлеба. Да в то время он был из мякины, не чистый хлеб. Он говорит: «Я еле вас отстоял. Я уже и доказывал, что несовершеннолетняя, что еще не понимает ничего. А они никак». А я говорю: «А что я виновата, что меня в 6 лет забрали?!»

Там один парень хотел оправдаться, описал, как его и всю его семью забрали. Сосновский. Что тот Сосновский, работал как черт, и его забрали. Он написал Калинину. И его убрали. Все исчезли. Я спрашиваю: «А за что вы его? Он же хотел оправдаться. Он написал, что ничем не виноват, что работали, что служил в армии». Он отвечает мне: «Нам приказ. Если мы не выполним, то нас расстреляют». А мне сказал: «Язык надо держать за зубами». А так бы меня расстреляли. Они же сказали: «Под елками». А что я такого сказала? Это они хотели меня расстрелять, что я не пошла в свидетели. Других погнали и ей [дочке Зубрея] дали 25 лет. Это за то, что она мне сказала, что я лишний рейс делаю. А я не пошла и ничего не сказала, так меня бы за это расстреляли. И занесли в дело.

Мы работали [в леспромхозе], а летние работы как только начинаются, посевная работа, нас переводили в колхоз. Потом в колхозе закончишь, начинаешь в леспромхозе. Мы без конца работали. Леспромхоз с ноября по июнь неделями забирал, а январь — март — всегда леспромхоз.

У нас все спасение были — козы. Мы и там держали коз. Как только война началась, купила я маленькую козочку. Это получила на трудодни 10 килограмм ржи, и мне за них дали козочку. А меня посылают на леспромхоз возить лес, а с собой же не будешь возить козочку, так я завела

маме. А мама еще одну купила, и развели коз. И там, кто выжил, они все держали коз. Молоко же козье очень питательное.

Меня отправляют на сплав, а нужно было идти мимо Охтамы, так выехал председатель, чтобы меня забрать в колхоз. Я говорю: «Не знаю, меня направили. Комендант что скажет?» Так он слетал к коменданту. Комендант говорит: «Она несовершеннолетняя, пусть идет куда хочет».

Так я пошла в колхоз. В колхоз я пошла косцом, а зимой на лесозаготовки, лес возить. И потом уже, в 1943 г., уже мне 20 лет. Там падеж большой был скотины. А мужчин всех, какие были, забрали на фронт, а что бабы могут сделать. А план надо было вдвое делать: и мясо, и масло. Все для армии. Они мне предложили [пойти] заведующей животноводством, я испугалась. Сначала согласилась, потом плакала. Но я настолько упрямая была, я решала сама. Передают: мороз больше 40°. А воду носить скотине надо. А доярки опухшие, голодные. Все вымерзло. Все посева померзли. Даже корнеплоды померзли. Мороз рано был в 1943 г. Так зерновые — только мякина, никакого зерна больше не дали. Надо же было выжить. И выживали — коз держали. Я думаю: скотину надо поить, а она [дойрка] из одного ведра трех [коров] напоит. Говорю: «Гоните! Выгоняйте!» 40—45°. «Гоните поить!». Тут в корыте все время вода была. Подошла [корова], напилась, назад, напилась, назад. И сама стояла, подгоняла. А кормить нечем было. У меня был Шиманский, тут из-под Минска высланный, ему девяносто с чем-то лет. А они все меня как-то любили. Так он говорит, я тебя научу. Я буду резать веники, а ты эти веники запаривай в котел и корми этим коров. А тут у меня украли сено. Подхалимы к коменданту были. Сено украли, у меня не хватает. Я кормила, кормила. Надо 25 мая выгонять, а у меня 10-го нет корма. Я отсчитала, что коньям, коней надо кормить — посевная. Снег по колено. Комендатура молчит, и председатель молчит. Что хочешь, то и делай. Ты заведующая животноводством — вот и решай. Я этих коров и овец: «Гоните!» Так они пойдут, где лапки, где ветки. И что вы думаете, ни одна не пропала! В тех колхозах на веревки подвешивали [коров, потому что сами не стояли], удои упали. А у меня ни одна не пропала. И удои! Получилось так, что вышел наш колхоз в передовые.

Ко мне на экскурсию приезжали. Обо мне в газетах писали и по радио передавали. Тогда пришла комсорг в наш поселок и мне говорит: «Надо вам вступить в комсомол». Я не отпиралась, потому что боялась так сказать. Говорю: «А я в комсомол боюсь поступать, потому что я боюсь через два кладбища идти на собрание. А кладбище запахали, и я боюсь ходить вечером». Так она говорит: «За вами будут приходиться и будут отводить». Я и правда боялась одна идти, у нас в поселке больше

не было с кем идти. Ну и я согласилась. Она говорит: «Нашим девочкам-комсомолкам негде выдвинуться, негде им что-то такое сделать, чтобы о них заговорили, писали в газетах. Так получается, что мы совсем плохие. А так будет хоть от нашей организации, что комсомол работает». Я дала ей заявление, они меня приняли. Не обманула: всегда за мной приходили и меня отводили. Вдвоем или втроем.

Тяжело молоко возить, так председатель дал мне пленного немца. А Солька схватила палку и давай его дубасить. Я вылетела на крик: «Солька, Солька! Что ты делаешь?» А она: «Он моего мужа убил!» А нам же дали под расписку, не убивать же их. Так она плачет и кричит: «Он моего мужа убил!» А он поднялся и говорит: «А ты видела, что я твоего мужа убивал?» — чисто по-русски говорит. «А за кого твой муж шел? Ты когда-нибудь Сталина видела?» — «Нет». — «Так вот и я Гитлера никогда не видел. Кому эта война нужна?!» — «Так чего ты пошел воевать?» — «А чего твой муж пошел воевать? Ага, расстреляли бы?! Так и меня расстреляли бы. Я учился на третьем курсе. Нам объявили, институт наш закрыли, и всех нас на фронт. Мои родители даже не знают, где я нахожусь. А я вместо того, чтобы закончить этот институт, без ног, никому не нужен. А ты чего за Сталина мужа послала? Пусть бы собрались Сталин и Гитлер и били друг другу морды. Так они нас. А если кто-то не подчинился, то расстреливают. А кому охота под пулю становиться?» Даже жалко стало. Тогда председатель назавтра забрал его и отвез, назад сдал.

Меня наградили медалью «За доблестный труд в Отечественную войну», медаль и свидетельство. Как дошло до коменданта, он как разошелся: «Какое имели право прислать, не спросив у меня?» Все колхозники шумели, что она так работала. Так нет, он вызвал меня и забрал: «За то, что ты не помогаешь нам». А я не шла в свидетели. Во-первых, я судов боялась. А во-вторых, я знала, что *[тех, кого судят]* расстреляют, и не хотела идти. Я считала, что пусть меня стреляют. «Ты нам не помогала, а помогаешь только врагам народа». Они мне предписывали выдавать молоко детям, чьи отцы на фронте, то пол-литра, а у кого расстреляны, то стакан. А как они будут жить? А я всем по пол-литра. И вышло, что я всю зиму даю всем по пол-литра. Проверит ведомость, начнет кричать. А причину *[чтобы забрать медаль]* нашли, что я еще молодая. И комендант забрал. Он все с наганом ходил. Так я говорю: «Возьмите своей жене». Так он: «У моей жены хватает разных наград. И у меня хватает. Это не ваше достижение, это мое достижение». Так я говорю: «Это вы работали?»

Я была неопытная, не знала, что делать. А они как делали. Брали самую лучшую корову и писали, что медведь задрал. А сами ставили ее отдельно, и доярка им ее доила. Ему отдавала масло, творог, а потом эту корову забирал и продавал. Приносят мне подписывать. А я говорю: «Ни одной же коровы не задрал медведь». А ему это передали. Я масло ему взвешиваю, отдаю. Я думала, они только из нашего колхоза брали. А комендант говорит: «Вот из пяти колхозов дали, у тебя удои больше всех, а масла ты меньше всех дала». Ага! Так оказывается, что со всех колхозов брали! Корову выбирал самую лучшую. И я честно писала, сколько корова давала. Я была неопытная, работала честно, все честно записывала в книжку.

Чего еще комендант на меня взелся. Там была председателя любовница. А у меня украли прямо возле дороги скирды сена. Стала узнавать, узнала, что Окуличиха повезла на подводе. Куда же она дела, у нее же одна коза? Думаю, пойду коменданту скажу, чем же я буду скотину кормить. Пошла к коменданту. Э-э-э, комендант как поднялся на меня и слушать не хочет. Крик поднял. Потом я пошла, комендант в поселок прибежал и побежал к Гришину. А Гришин нигде не работал, а и мясо, и масло, и всего у него вот так. Будто бы дочь присылала, она где-то на молочном заводе работала. Все это была липа. Я вижу, что комендант туда побежал. Этот Гришин поднимается, и пошел туда, где куры стояли. Там сидела в коробке кура, на цыплят посадили. План же был, надо было 15 сажать. А там одна высланная была, что умела отбирать по яйцам. Вот она отобрала 14 курочек и 1 петушка. Такие там были опытные люди.

Вот сидела там эта курица, а он на меня с криком: «Курице тут холодно сидеть. Посади в бочку!» Птичница говорит: «Ну что же я буду делать?» Пересадила в бочку. А эта птица вылетела, все яйца перебила. Из бочки вылететь поесть-попить ей же надо было. Вот они собирают собрание. Приходит комендант. А наш комендант где-то был в командировке, так заменял его комендант из Тальца Елисеев. Елисеев зашел, говорит: «Я тебя поддержу». Я думаю: «Что такое?» А оказывается, зачитывает собранию этот Гришин акт, что я нанесла колхозу огромные потери, что это вышло бы 14 курочек, эти 14 курочек еще по 14, а эти бы нанесли столько яиц!.. И на десять лет насчитали. А я сижу и думаю, это за десять лет не заработаешь. Елисеев встал и говорит: «14 курочек яиц нанесли бы. Но так никто не считает. Человеку за всю жизнь это не отработать». Он говорит: «Поставить ей на счет яйца, снять с нее, сколько стоят яйца». Я уже и обрадовалась.

Нам было очень трудно в годы войны. Мы работали по 18 часов. Во время войны надо было заем давать. Все фронту. И вот собрание: у кого что есть. Каждый работающий должен был по 2 тысячи. А в колхозе же получали мало, на трудодни сколько там давали. Так люди, кто козочек растит, продаст, а кто на сепаратор [*молоко*] (в нашем колхозе купили отдельный сепаратор маленький) перегоняли, били масло. Я ездила продавать масло в район, километров 80 надо было ехать. Вот мне дали человека, и мы везли, там продавали. Я как первый раз поехала, а там такая строгость! Я уже подумала, что, наверное, меня хотели обворовать. Я продала масло — два мешка денег. Так у меня никак не принимают. Не написана заявка, а я новая. Не принимают. Я говорю: «Ни за что с деньгами обратно не поеду!» Потому что раз меня увидели здесь, что с деньгами, то у меня могут все забрать. Выходит тут женщина, что со мной раньше лес возила, а сейчас работает здесь в банке, говорит: «Зайдем в комнату, я вам помогу». Я считала-считала, да как испугалась! А я где-то ноль не дописала, а у меня денег не хватает. Она пересмотрела, оказывается, я ноль не дописала.

На трудодни дали по 2 мешка мякины, все померзло в тот год, даже корнеплоды. Такой мороз в тот год был.

Там ко мне цеплялись. В основном цеплялся тот, за которого я замуж не пошла. А там очень много леса нагнало. По Охтаре же сначала гнали. Так прилетел: «Давай людей, чтобы лес гнали». Я говорю: «Мы же колхозники». Я пошла к председателю, так и так говорю. А он: «Мы же не леспромхоз. В колхозе работы много. Тебе, — говорит, — надо, так и иди расправляй». А он прилетел, наделал крика на меня. И я пошла. Один на один. Я одна стала разбирать по бревнам. И два дня ходила разбирать. 6 рублей мне насчитал за это.

[...]

Колхозы объединили. И я еду уже домой, в Беларусь. Маму мою не отпускали. А меня отпустили.

Такая обида на Беларусь была... Когда война началась, я думала: «Пусть себе ее и берут!» И уже когда они подошли к Москве, то я уже другая была. Мама говорит: «Ты посмотришь хоть, как яблоки растут». Я это не помнила, как они растут. Говорю: «Мама (ель семь или восемь метров в высоту), вон там вырастет яблоко, так полезь достань». Так она говорит: «Дурень, ты, яблони же низко растут». А когда я отъезжала, так мама уже плакала. Меня уговаривали, в местные колхозы приглашали. Приглашали как специалиста, завживотноводством. Думала, все ровно будут знать, что кулак. В школу не брали нигде, так из меня будут духи мотать. И тут мотают. Комендант все поотбирал.

Я еду и чувствую, что за мной уже наблюдают. Надо было в Котласе пройти санобработку. Мы в баню заходим, и заходит мужчина. Нигде от мужчины этого не спрячешься. Что ему надо? А потом те, кто поехал в Беларусь, неизвестно куда подевались. Вот мой кум, который меня крестил, поехал в Беларусь и неизвестно куда делся. И много кого я знала. Куда они делись? Неизвестно. Ну как они могли не доехать?

Я еду, на нарах напротив меня мужчина, молодой мужчина. Если я иду в уборную, он стоит около окна. Если я выскакиваю молока там пол-литра купить, там, где остановка, на улицу, и он выходит. Я ничего не говорю, только думаю.

Я приехала в Минск, меня на вокзале поймали. Прицепились ко мне: «Документы». Я показала документы. Один человек в гражданке, а двое — милиционеры, говорят: «Отпустите ее, я ее знаю. Она из моей деревни». А они: «Отпустишь, так потом не найдешь». Мне этот [*человек в гражданской одежде*] предлагает, ключи дает от комнаты. А я не пошла. Я села на вокзале, посередине зала, чтобы меня все видели, и ночевала посреди зала. Я иду домой, а меня догоняют. А здесь были дома разбитые, магазин разбитый, разломанный. Тут розвальни были. Догоняют. Я перехожу на ту сторону, и они на ту. А там впереди стоят трое. Я сюда, и они, вижу, сюда переходят. А я одолжила коляску (там наши родственники были по Могилёвке⁵). Я туда — они туда. Я тогда иду напрямую, уже на середину вышла. А они: один цап меня за руку, а другой — за шиворот сзади, а третий — за вещи. А вещи у меня были где-то килограмм 80 багаж. Уже выхода нет. Я схватила коляску, подняла почти что над головой, да вокруг себя. А коляска деревенская, большая. Вокруг себя как дала, так они полетели. Я вылетела вот туда, первый дом около [ул.] Семёнова, здесь мамина сестра жила. Крику наделала, они все вышли. Так те до лужи долетели. Там была лужа большая.

Я поехала в свою деревню. Съездила в Красное, помолилась. Поехала в свою деревню. Я приехала узнать, где брат Антон. Мы боялись писать, что он здесь. Он удрал. Поехал учиться в Архангельск на слесаря, а чтобы учиться на слесаря, надо было 7 классов, а у него было только 5 классов. И он на крышах поездов добрался сюда. И нам не сообщили. Этот, что с ним поехал, знакомый, со мной работал его родственник, так тот прислал фотографии. И я поехала его искать. Брат здесь оказался, на железной дороге учился. Устроила тетка.

Поехала в свой колхоз. Наш родственник, хоть далекий, но тоже Шатило, председатель. Я когда приехала, глянула на деревню, то испуга-

⁵ Улица Могилевская в г. Минске.

лась, там только три дома. А где остальные? Я все же помню Томашевичи. Томашевичи застенек назывался, дома в один ряд стояли. Говорят, что повысылали. Когда? Нас же первых выслали. Построились двое. У одних там сгорел дом, перенесли сюда, и другие двое. Три дома...

Приехала туда, пошла, спросила председателя. А тот, что нас высылал, уже в сельсовете работал. Его тоже судили, сослали в Бобруйск. Он там уже умер. Я пошла туда. Как все сбежались! Сколько людей! Как сказали, что я приехала, так там со всех деревень этих сбежались посмотреть. А у меня слезы вот так вот льются. А волосы! Никогда больше так в жизни, волосы, мне казалось, стали вот так [*показывает вверх, плачет*]. А они все руки подают, говорят. Один говорит: «Я же с твоим отцом воевал у красных, разведчиком был». Второй говорит: «Вот ты зайди в любой дом, где шкаф сделан, — это все твой отец делал. Девушка где какая шла замуж, он делал всем шкафы. Вот пойдешь, какая где девушка шла замуж, у некоторых и теперь висят подвенечные платья, это все твоя мать шила». Тогда говорят: «Ты пойдешь, посмотри на ферму, тут у нас молотилка стоит, это твой отец руками делал. Молотилка ваша, косилка ваша в колхозе до этого времени. И веялка».

Помещик купил веялку, а они малые пошли с кузнецом (брат был двоюродный его) и чертежи поделали. Кузнец железное делал, а отец мой деревянное. И сделали веялку. А раньше цепями молотили, веяли так, и жали только серпами. А у нас жнейка была. Свое сожнут и людям давали...

Говорят: «Вот пойдешь, посмотри!» А у меня волосы вот так вот [*показывает вверх*]. А у меня на душе: «За что же вы его? За что же вы его убили?!» И мне говорят: «Мы тебе дом построим. Вот там построим. Если хочешь, так на том месте, где ваш дом стоял. А ваш дом и еще три дома забрали и сельсовет открыли. Поэтому не можем вернуть, нет вашего дома. Так поставим, лес дадим, дадим пару ягнят, пару поросят, дадим телушку, все дадим». А я думаю: «Боже, что я буду делать, никого нет? Все забрали, а сейчас все дадут...»

А тогда, как пошли все, так председатель (он, когда высылали, в армии был): «Вот разгособились! Говорили, что ни одного живого не выпустят. А вот же выпустили!» Жене говорит: «А теперь все давай. А как всех выпускают?! Что мы будем делать?» А я: «А что делать? Вы же все забрали! Все растянули! Все попропивали!» Я встала. Тогда подумала и пошла, пошла к тетке. Заливаюсь слезами. Пришла к тетке, тетка вернулась, а в их доме школа. Она устроилась школу убирать, так там был такой домик, кухня, они на этой кухне жили. Я кинулась на кровать. Так плачу, так плачу. А ее муж говорит: «Чего ты так плачешь?»

Если тебе здесь так плохо, так едь в свою Тойму. Тебе там хорошо было, вот и едь». Сюда приехала, снова едь! Я и думала съехать, только не туда. Там уже все, кто вернулся, забрали семьи. Я плачу, ничего не говорю. Говорю: «Поеду!» Тетка говорит: «Пойдем, посмотрим, на кладбище сходим».

Пошли на кладбище, она говорит: «Вот это Ольгерд похоронен». А почему же Ольгерд? Я говорю: «А почему же самая большая могила? Он же маленький был, здесь женские меньше могилы». Папины две сестры, бабушка и дедушка, четыре могилы. Четыре и стоят. И самая большая могила Ольгерда? Если бы она хоть на меньшую показала. Так я говорю: «Почему самая большая?» У меня сразу зародилось подозрение. Дело в том, что нам на Север не писали, куда он делся, как в воду канул. Посмотрели. Пришла. А тогда у меня зародилась мысль, что он жив. А кто бы меня тут на вокзале встречал? Ключи давал? Ага! Меня же тоже хотели удочерить. Значит, его также кто-то удочерил! А раз он приехал сюда, здесь умер, значит, должна где-то могилка быть. А я посчитала, что нет здесь его могилки. И у меня зародилась мысль, что тот на вокзале — это мой брат. А то, что его иначе зовут, фамилия, так мне тоже говорили изменить фамилию и взять его отчество [*того, что удочерить хотел*], а имя — какое хочешь. У меня в мозгах все крутилось: а кто бы мне чужой ключи давал, а кто бы меня защищал чужой? В Беларуси этого нет. И вот у меня зародилась мысль, что брат мой живой и все тут.

А эти все передают, и они все приходят на меня смотреть. Одни приходят, говорят: «Вот мы хоть пожили при немцах. И пожили, как высылали. Хоть поели. Чтобы еще высылка или война, хоть пожили бы». А я говорю: «Пожили бы, хорошо пожили бы! А если бы тебя?» Так она: «А меня за что?» Я сижу в хромовых сапогах, у меня пальто было, шапочка была. Мне мама на козла выменяла там пальто. Коз мы держали. Так была одета. Не то чтобы шикарно, но одета была. Так она: «А у меня что, нет ничего. Из мешка юбка, и та рваная. Вот я в лаптях и лапти рваные». Я говорю: «А что же вы так живете?! Вы же нас выслали! А чего у вас здесь нет?» Я председателю сказала: «Мы же помогали в тылу фронту. Всем обеспечивали». А он: «Мы вас не просили. При немцах нам лучше было». У меня и заело: «Здесь уже не люди, здесь звери. Лучше им при немцах было!» Что делать, что говорить.

Те, что нас высылали, себе все брали: куда же они его девали, наверняка себе. Забрали там кольца, часы мамины. А тогда мама сестра поехала. А этот был старшим по деревне, тоже Шатило, вместе пили-

гуляли. Так она поехала, как стала плакать, кричать, так он ей кинул там несколько колец.

Когда я вернулась в Томашевичи, говорили: «Она, наверное, приехала золото свое закопанное забрать».

Я приехала осенью. Родные, я чувствовала, боялись помогать, не хотели. Даже папиной сестры муж. Он мне сказал: «Вот скоси, выкопай картошку, а больше мы тебя не будем смотреть». И куда хочешь, туда и иди. Приехали ее дети (в их доме школа была, они жили только в кухне), их посадили есть, а мне: «А ты, Маня, подожди. Вот я там поставила свиньям картошку вариться, так четыре картофелины дам». Мне такая обида! И деваться некуда. Я побежала к другим. Думала, там дадут поесть. Ни черта! Давали понять, что никому не нужна, что все боятся. Думали, что я такая, что сяду на них...

Я пошла в Минск. Где пойду, объявление прочитаю, меня выгоняют. Подходит офицер, подходят то в военной, то в милицейской [форме] и меня выгоняют. Я пришла, набирали военную часть, я думаю: «Пойду». Взяла документы, пошла в военкомат. Меня берут. Тут выхожу, а этот мне: «Ишь куда захотела! Там всех солдат с ума посводишь». Я говорю: «Так помоги мне устроиться».

Я пошла в колхоз. Думаю, я в этот не пойду, а в соседний. Я не понимала, что они все знают. Там был отца друг, он нас потом и раскулачил. С отцом пил, у нас рос его сын... Он нас и выслал. Я смотрю и не могу узнать: папа мой или нет, папа мой или нет? Он же как умер, мне всего девять лет было.

Я как переболела, я не стала людей узнавать. Не знаю, почему. Пришли тут на болоте и сидят, я вижу, что сидит мой отец с моим братом. Вот действительно вижу: мой отец с моим братом. И я думаю, мой же отец умер, я же сама была на кладбище, сама видела. А почему я вижу? Отца вижу...

Я сказала ему, что все поумирали, [рассказала] как выслали. Он: «Ну хорошо, работай». Я работаю, но бригадир настолько была... Будто бы верующая, будто бы друзья, с моим отцом учились, учителя нанимали, что ходил по домам (одного учителя на несколько деревень, учили старших, а старшие уже младших). Так вот, я корове положу сено, она достанет — своим отдаст. Мои коровы стали хуже. Тогда моих коров переводят со Станковщины в Чернолески. Там пастбище между деревнями, а это дороги. Что коровы будут есть? Мои коровы, я вижу, совсем голодные. Я пошла в правление колхоза. Вика растет, ее же запахивают. «Дайте мне покосить вику коровам, коровы голодные совсем». Они: «У нас нет людей кому косить». Я говорю: «А мне не надо людей. Я

сама скошу и привезу». Я подою, а тогда молоко сюда везу. Я накошу целый воз. Коровам как раскину. Мои коровы писают молоком! Я этим и говорю, что с отцом когда-то были, дали пристанище мне, взяли на квартиру: «Нате вам бидон молока, а это уже мне». Бидон они брали от меня, потому что их коровы почти ничего не давали. Наши местные коровы были маленькие. А это немецкие у меня, большие, рябые — черные с белым.

Обо мне тут раз и в газету написали, в «Советскую Беларусь». Приезжает сосед и говорит: «О тебе передавали по радио». Я говорю: «Хватит надо мной издеваться!» Потом он и газету приносит. Я тут на ферме зимой ношу этот корм, говорят, Голенчик приехала, это была в поселке заведующая садиком, и из райзо, из Москвы. А я оборванная-оборванная. Телогрейка вся оборванная. Не было у меня еще ничего. А тут фуражный ящик стоял, я за этот ящик и спряталась. Тут спрашивают: «Где? Вот же была, вот же была. Вот недавно была». И меня нашли за коробкой и вытягивают. Все подходят. И Голенчик за руки, и эта из райзо за руки, и из Москвы за руку, и председатель за руку, и заведующий. Все за руку со мной здороваются. «Вот мы тут приехали. Ты хорошо работаешь. Ты сделай так, как там сделала на Севере». А я говорю: «Откуда вы знаете?» Она говорит: «В “Правде” же о вас писали, а здесь читали». А я не думала, что оттуда, с Севера, «Правда» сюда попадет. Обо мне писали в местных газетах, ну и в «Правде» писали. Мне предлагали завживотноводством в колхоз «Гастелло», туда как я приехала. А они, оказывается, по газетам меня нашли. Я отказалась. Да там наши люди были. А тут будут «кулак» да «кулак». Кулак, это черт знает что. Нет, я отказалась. Тогда там мне предлагают бригадиром. А я: «Нет!» А эта бригадир как разошлась. Ее работа. А меня — весь фураж тягать, воду наливать каждый раз одна за всех. У меня кровь из носа лилась. Я заболела совсем. Одна подходит ко мне и говорит: «Вот курсы есть в Минске на счетоводов. Сколько ты тут будешь мыкаться, столько над тобой будут издеваться». А здесь не вышел еще этот, что корм возит, так я вынуждена была возить, если он не выходит. «Пойди, скажи председателю». Я пошла, сказала, и поехала капусты, что осталась, нарубить скотине, уже осень была. Надо же подкармливать. А прилетел заведующий, да схватил топор, да на меня: «А ты, кулацкая морда, да смогла все, а почему сама не навозишь?» — «Я вожу, — говорю, — сколько могу». А он с топором. А я такая сильная была, руки схватила, с этим топором возимся. Он же мужчина. Ну и не далась. Привезла эту капусту, как стала плакать. Тогда он прилетел сюда и меня всякими словами, матами. Какой только грязи на меня не говорит. А я, что я буду гово-

ритель. Я только: «И вам то самое, и вам то самое». А он: «Что?» Я: «Все, что вы говорите, то все вам». Так он плюнул, полетел. Тогда пришел председатель, так бригадир говорит: «Не надо было уже так, и с топором, и всякие маты-перематы». Он стоит, молчит. Куда мне тут оставаться?

А тут эти курсы. Я пошла в сельсовет. Мне уже давали место бригадира. Я говорю: «Дайте мне справку на получение паспорта, я хочу поступить учиться». — «А, учиться, это хорошо, хорошо».

Я приехала в Минск, получила паспорт. Уже приехала моя мама, в 1948 г. ее отпустили. За меня мама доила, а я утром подою, а вечером еду. Так мама доила. У нее руки больные, у нее оторваны от позвоночника все внутренности от тяжелой работы. Но она доила один раз, а я два раза [*в день*].

Я уже училась. Поучилась, иду домой. А меня ловят. Они хотели меня под поезд бросить. Уже не втроем, а вчетвером возле вокзала в этом парке поймали. Один говорит: «Спустим под люк». А второй: «Не надо под люк, я с ней расправлюсь». Сбегал куда-то, прибежал. Оказывается, он сбегал на вокзал, узнал, когда поезд будет идти. И вот ведет меня. Идем мы с ним под руку. Они были в маске, я их никого не знала. Ну иду я и думаю: «Как только будет идти поезд, я за него схвачусь и не выпущу из рук, уже под поезд, так оба под поезд». Ну получилось так, что поезд не шел. Они сказали, чтобы я явилась в это же время завтра сюда. Но я не пришла. Я у тетки жила тут на квартире, а после ночью ехала коров доить, а они не знали. Пришла, а тетка говорит: «Что так поздно?» Я не сказала, боялась. Я никому никогда не говорила, что, где, как.

И тогда попутной [*машиной*] туда, вечером учусь, а ночью приезжаю домой. Откуда у меня только силы брались? Сама не знаю. А эта бригадир говорит: «Ишь, захотела место захватить». Я говорю: «Не надо мне ваше место. Я уже здесь не работаю, я уже в Минске». Она как полетела, да сказала председателю. А председатель меня искать, не могут найти где. Они два года не могли найти меня. Я уже два года отработала в артели, потом на велозаводе. Так они на велозаводе меня нашли.

А у меня прописка была сельская, но главный бухгалтер сказал: «Я из колхоза не брал, мы ее взяли из артели». И меня не отдали. Я тут стала работать. Пошла на курсы, училась.

Когда организовывали курсы, спросили: «На каком языке преподавать?» Я думаю, если на белорусском, то я не пойду. Я же не знаю. Все закричали: «На русском». Ага, на русском, значит, я буду. Задают задачу, и никто не может решить, только я поднимаю [*руку*]. «Ага, Шагило,

идите, объясните, как вы решили». Я пойду, расскажу, расчерчу все, правило расскажу. А мне: «А где вы учились?» Я говорю: «В Архангельской области, в Горке училась». «Так вот, знайте, в белорусских школах эту арифметику не преподают, потому ни один человек не решил». У меня все списывают, один другому передают. Так все и закончили. Курсы платные были. Я платила 450 рублей. Шесть месяцев курсы были. А кто куда пошел, нигде не смог работать. Я устроилась в артель «Красный партизан» в Красном урочище. Шить верхи к сапогам, рабочую обувь, ботинки. У меня хорошо получалось, уже ученический окончила, стала шить. А тут, кто их знает, откуда они узнали, говорят: «У вас есть, что вы заканчивали курсы, помогите сделать баланс. Никак не могут сделать баланс». Я пошла, расчертила, все составила, баланс готов. Они мне еще что-то дали, я все сделала. Они меня назад не пускают. Я дня три или четыре сидела, плакала: не пускают обратно работать. И так пришлось мне там работать. А в бухгалтерии 600 рублей в то время оклад, а там я до 1000 зарабатывала. У меня мама больная в деревне, а я голая, нет у меня ничего, за квартиру надо платить. Брат отдельно жил, учился в железнодорожном, потом его в армию взяли. Его как-то ошибочно раньше на два года в армию взяли. Ему предлагали сверхсрочно, квартиру давали. Он написал, чтобы я и мама ехали туда, к нему. А я написала, что я уже наездила по свету и никуда не хочу ехать. А мама пусть как хочет. А мама в плачь: «А мать так как хочет, а она не поедет». А тут маму мою взяли в колхоз.

Я поехала в костел, меня вызывают к ксендзу. Я захожу. Он меня спрашивает: «Сколько у вас образование?» Я говорю: «Два класса». Он говорит: «Обманываешь! У тебя 7 классов. Где работаешь?» Я говорю: «Где придется». Мне говорят: «Мы знаем, что ты на велозаводе работаешь». Мне сразу стрельнуло в голову: «Я приехала молиться! А почему меня спрашивают, где работаешь?» «Где живешь?» — «В Минске». — «А сколько населения?» А я что-то сказала 5 тысяч. Что-то сказала совсем такую смехотворную цифру. Тогда они спрашивают: «Сколько на заводе работает человек?» Я знала, что где-то 18 тысяч. Но я сказала: 1,5 тысячи. Я наоборот так все говорила, чтобы они поняли, что со мной нечего говорить. Тогда они давай: «Какие цеха, как работают?» А я все наоборот. А этот тогда закричал: «Вон из костела, недовярка⁶!» И выгнали меня из костела. А я подумала: «Бандиты!» Эта они хотели выгнать меня с велозавода. А велозавод меня очень ценил. Не было таких

⁶ Маловерующая (*польск.*).

математиков. И я с автоматом, счетная машина такая, по всем цехам ходила. В тот цех вызывают, в тот. Везде расчеты делала.

Мамина сестра была подпольщицей [*в годы войны*], Ломака Мария Францевна. Ее муж потом погиб. Они были здесь партизаны, подпольщики. У нее было знакомых много. Мою маму знали тут все, она же тут из Колядич. Ее взяли в колхоз. А мы что-то уже нажили: корова была, свиньи были, куры были, козы завели. Мама говорит: «Давай будем строиться». И пока идти под город, мы уже построились, вот этот дом построили⁷. Я одна его строила. Мама была там, в деревне, а записана была здесь, в колхозе. Ну и построились. Скидали дом, он со старого всего. Ну одним словом, построили, обложили, живем. А брат демобилизовался, приехал сюда. Здесь он не пошел на железную дорогу (а у него был уже пятый разряд), пошел на тракторе, подговорили его, а там только четвертый разряд. И так он мало получал. И он поехал в Магадан на заработки. А когда мама заболела уже, лежала, так дали телеграмму ему, он приехал и здесь остался. Вот он получил квартиру, здесь работал на СКБ, крупном предприятии, у него много наград тоже. Его ценили как хорошего специалиста. Меня здесь наградили на велозаводе только «За доблестный труд», снова дали другую, но ту же мне не отдали «За доблестный труд в годы войны».

Я больше 26 лет на велозаводе работала. Как я попала на велозавод? Главный бухгалтер этого завода говорит: «Все хорошо, но нет такого человека, который бы арифметику знал». А эта, что со мной занималась на курсах, говорит: «Я знаю такого человека». Он говорит: «Скажите, чтобы пришла». А мне написали материальный учет сдать, принять зарплату там в артели. Перестановка бухгалтеров. А я материальный учет сдала, а зарплату не приняла. 600 рублей, что ж это. Пришла, этот бухгалтер со мной поговорил-поговорил. Говорит: «Идите работать». Я говорю: «Не отпускают. Не отдают документы». А здесь уже бухгалтерские курсы. Они 6 месяцев, и уже 4 проучились, осталось только 2. Говорят: «Идите, занимайтесь, работать будете». Я говорю: «Как так?» Он: «Силой никого не заставят. Сдали, значит, сдали, а не приняла — правильно сделала. Отдадут документы». Они потом мне и отдали. Я пошла. А уже прошли все предметы, осталось только два предмета — бухгалтерский учет и еще один. Я сдала. А там нам уже аттестаты выдают. А у меня там ничего не сдано, никакого предмета. Я говорю: «Сдам». Я готовлю-готовлю, читаю, учу. Выйду, дойду вот туда до речки, нет, еще что-то я не знаю. Еще пойду, учу. Пойду на работу, а я работала уже на

велозаводе, но у меня аттестата не было. А потом пошла, где эти курсы проводят, и говорю: «Позвольте мне сдать бухгалтерский учет». «Хорошо, а что вы будете сдавать?» А у меня четыре предмета не сданы. Говорят: «Что будете сдавать?» — «Все буду сдавать», — говорю. Потом они два-три вопроса задают, я отвечаю. Следующий — отвечаю, тогда третий — отвечаю, четвертый... Экономика, кажется, предмет назывался, так ее никто больше, чем на тройку, сдать не мог. Так учительницу обвиняли. А я сдала, так она аж подпрыгнула: «Видите, можно знать. А вы говорите, что я плохо преподаю». Они говорят: «Мы такого больше не видели, все четыре предмета сдала за один раз. Мы посмотрим, чтобы дальше училась. Проверим».

Я пошла учиться. А что учиться. Белорусского языка я не знаю. Я заболела, пошла в больницу. Они говорят: «Не с вашим здоровьем учиться». А я белорусского языка не знаю. Буквы будто бы похожие. А я не знаю. Так я бросила учиться. Работала на велозаводе.

В 1978 г. вышла на пенсию.

Интервью с Еленой Александровной Левчук, 1924 г. р.

*Записали И. С. Маховская, Т. Новогородский,
д. Подбела Каменецкого р-на, 6—8 июля 2007 г.*

Семеро детей было. Двое умерло. Младше меня девочка умерла. В 10 лет умерла. Воспаление было, а когда-то воспаление никто не лечил, а теперь никто не умирает.

Когда-то Польша была у нас, я же хорошо помню эту Польшу. Умерла сестра в 10 лет. Дней несколько полежала и умерла, я заняла ее позицию. Она пасла коров, а мне шесть лет не было, и я пасла коров. И уже пасу. Заведет меня отца сестра за реку, сгонит коров, и я там сижу, сначала трое пасла, это целый год. А сейчас мои внуки не хотят. Раньше было 107 коров в деревне, а теперь стало 40, и на два месяца один раз нужно пасти, а им не хочется. А я пасла каждый божий день. Встаю раненько, и как солнышко всходит, мама меня будит. Если взошло, то я плачу, почему она меня поздно разбудила. А спать хочется! Как сейчас помню, мама на меня платишко надела, а спать хочется! Я пасла только своих коров, и тех, у кого нет детей, некому пасти, то уже просят. Центнер платили за целое лето. Шесть месяцев пасешь, и центнер зерна заплатят. Любого зерна. У нас другого не было, только рожь.

⁷ Сейчас это ул. Семёнова в г. Минске.

Я родилась тут, в этой деревне. Вот мой домик, я там родилась, а потом уже вот этот дом купила. Родилась я в 1924 г., мне уже 83. Возили в Иваново меня выступать. Артистка! В газете было написано про меня. Дали мне диплом.

У меня было 7 братьев и сестер, а потом двое умерло. Мальчик умер от кори, сейчас никто не умирает от этого. Я была вторая. А первую они привезли из России. При первых немцах¹ пугали, что немцы отрезают груди, и все убегали в Россию. Был такой приказ — принимать. Там принимали их люди. Мои были в Калужской губернии. Там жили, работали. Сначала папа работал. Он мастерил, был такой мастеровитый. Так жили. Потом жили тут. За землю судились. Кусочек земли нужно, нужно судиться. С папиным братом. Он жил там, дом большой был. Стали судиться, судились, может, пять лет.

Ваши родители поженились в России?

В России. Встретились так. Моя мама из Черноков, деревня здесь, Черноки, ну а парни, девочки встречались.

Мы когда-то еще за Польшей, выйдешь на улицу, запоешь, а теперь выйди на улицу, запой, то скажут — пьяная или дурная! А то выйдем на улицу — Боже мой, с песнями, поберемся друг за друга парни и девочки, идем аж под Черноки, чтобы слышали, как мы поем, назад идем сюда. Один хозяин был, что сделал скамейку на улице около дома. Раньше около каждого дома почти скамейки были. Говорит: «Девчата, не идите никуда, садитесь и пойте, потому что мне очень хорошо спать». А некоторые скажут, чего они пришли сюда, чего они голосят! А идем под речку, жать. Уже я подросла немного. В общем иду я с мамой жать. Мама говорит: «Хоть капельку, а хорошо, что поможешь». Были такие полосы, так жали. Я с мамой жну, спина болит, но жну.

Во сколько лет стали жать помогать?

В 10 лет. Я жала левой рукой. Отец ехал в лес к цыганам. Там такие кузни были, и уют. Цыганки ходят по деревне, обманывают баб. Яички собирают, то курицу дай. И они там живут, такими приедут шалашами. Такие, с какого брезента, тряпок каких, это, как у нас называют, «радюжку». И вот такие сделают вроде бы на возах такие красивые.

Цыгане там уют, серпы делают. Все делают. Но больше всего пред жнивом. В эту пору, то уже их полно там. Все делают: и топор, и все, что кому надо. И серпы они делали хорошие. Жала на левую руку, а потом взялась-взялась — и на правую. Так уже правой и жала. А топор [держат] и картошку чистить я левой, у меня лучше получается.

Родители ничего не говорили, что неправильно левой?

Говорили, говорили. Потом я уже подросла, лет 10 было. Очень хотела портничкой стать. У нас это было очень популярно. А папа говорит: «На левую руку как ты будешь шить, как ты будешь ножницы кроить?» Ножницами могу резать правой и левой. А топор и нож ни в какую не могу переиначить. Портнихи шили на машинках. Покупали машины. Дорого было. Не помню, триста злотых, может. Корова была 50 злотых, а за 70 злотых хорошую корову можно купить.

У нас было три компании. Были старшие девочки, а мы вроде уже были меньшие. Ходим, идем под речку. Тут речка недалечко, триста метров. А там по-над Пущей² деревень много было. И там девочки поют. И они кричат чем громче, чтобы мы услышали. Тут речка была. Мы жали, а вечером бежим на речку, чтобы помыться. За целый день и пот, и Боже мой. Такая жара, и все жнешь. Теперь уже прячутся, как жара. А когда-то жнешь целый божий день.

Колхоз настал, то уже комбайны пришли. Один комбайн там, собрались такие, пришло на ум, спалили тот комбайн, думали, колхоз раскидается. Думали, помешают. Спалили тот комбайн, потом они убегали, прятались. Нашли их и в тюрьму забрали. И что они сделали?

А как боялись люди этого колхоза! Думали, что с голода помрем. Как стали этот лен жать, то мы этот лен крадем в колхозе. Льна было много, ходим около него, треплем. Было такое приспособление. Потом сделали такое, что тереть его. Рвем, сдаем. Казалось, что будем голые ходить.

А за Польшей так: лен сеешь, его обрабатываешь. Купить-то было где, но негде денег взять. Негде заработать. И шили юбки, и кофточки вышивали. Кто украсит, и ходит в юбке, а кто в беленьком ходит. Уже вышьешь эту кофточку. Кужельное у нас называли. Кужель — лен. Его выделяют и прядут. Целую зиму прядем, прядем. А перед Пасхой, Великий пост называлось, — тчем. Кросна были такие. Верстак. У кого много было прядь, тот еще сдает кому. Сидим, когда до 12 и до часу прядем. На вечерках называется. Собираются все, не так как теперь, при свете, а лампа горит. А керосин дорогой. Около печки делали такие кучечки и там клали лучину. Смолистое уже привезут из леса, пенек такой, порубают на такие вот. И прядут при них.

Помню, пришли уже при советах, и брат уже в Каменце³ работал и говорит: «Давайте я вам свет проведу». А мама кричит: «Нет, не надо света!» Потом провели тот свет, засветили, а мама пришла в один уго-

¹ Во время Первой мировой войны.

² Имеется в виду Беловежская Пуща.

³ Районный центр.

лок, посмотрела, что-то там взяла, в другой зашла — тоже видно. Что там — что там. Она думала, что это как лампа. Есть такие лампы. У меня еще есть в кладовке. А она думала, что будет, как при лампе, а нужно будет платить. Свет провели где-то в 1950-м, может, в 1952 г. А в 1951-м уже колхоз сложился.

Девочки начинали прясть в 6—7 лет. Пряли коловротом. У меня на чердаке еще стоит. Знаете? Такая прялка. Сначала, когда треплют, слетает такой пух. Сначала прядем на веретено. Мне соседка говорит, а я пасла коров и вышивала. Я ей фартук вышила. И она говорит: «Я тебе дам прялку. Вот у меня есть старая. А я новую купила». Дала мне уже ту прялку. Папа ее подремонтировал. Ой, я уже была такая довольная! Самый лучший лен — это кужель называется. Рубашки с него шили, штаны мужчинам. Сорочки с воротником шили, и манишка была. Нужно было вышить. А на каждый день, то так просто пошьют. А женские без воротников шили, только если какая себе захочет, то с воротничком. А когда шили штаны, то делали такие колодочки с дерева, и были вместо пуговиц. Потому что пуговиц не купишь. Дорого очень. А деньги негде заработать. А можно было купить, были такие магазины в Каменце.

А на чем туда ездили?

Пешком. Пойдешь в лес, собираешь ягод корзинку и идешь 12—15 километров, собираешь полную корзину ягод, отнесешь в Каменец и продашь, может, что-нибудь себе купишь. Может, платице какое-нибудь, кофточку купишь. Мы ходили вот так через речку, то 8 километров, а вокруг, где теперь едут машины, то 12. И прешь эту корзину. Яичко курочка снесет, собираешь, масло от коровы — и в Каменец, потому что нужно что-нибудь купить.

Там каждый день базар был. И там были такие, как у нас называли, клетки: одна возле другой, одна возле другой. Такие домики. Один делает, другой пристроит, и там торговали. У них там все было. Все продавали: материал, что хочешь. Но не за что купить. Материал там покупали и сами шили. И мыло покупали. Всякое было. Такое хорошее. Пахнущее. В полосочку. Такой кусочек стоил 10 копеек. Мыло было разное, и розовенькое, и беленькое, и голубенькое. Стоило недорого — 10 копеек. А стирать — мыло хозяйственное. Сами варили такое мыло.

А как варили?

Такая сода есть. Я не видела. Папа у евреев там брал. Что хочешь, там достанешь. У кого одежда какая была, то кидали в котел, добавляли того мыла, и вываривается. Без того мыла не вываришь, а мыло вкинешь — то все растает.

И сахар покупали. Под Рождество поедут в Каменец, завезет папа фуру дров, продаст и купит селедки, сахару фунтик. Кусочками сахар был. Привезет и по кусочку даст. Не купишь того сахару, дорого было.

А куда вы ходили в школу?

Школа в Черноках была. У нас было 9 парт. Сидели по 4 человека. И тоже другой ряд, то уже по 2 человека и тоже 9 парт. И утром учатся 3—4-й классы, а после обеда малые — первый и второй. Чтение было, и стихи всякие. Я училась одни 6 месяцев и другие 6 месяцев. Всего 12 месяцев. А внук говорит: «А что, уже тогда 12 лет учились?» Я говорю: «Месяцев, дурень!». Я пасу скотину до Покрова, а потом уже кидаю пасти и похожу в школу до Пасхи. А после Пасхи же выгоняют коров. Опять я пошла целое лето пасти.

Когда были такие стишки, то я быстро запомню. Но не было времени ходить. Но если не ходишь, то штрафовали. У нас было спасение такое. Наш свояк был сторожем в школе, и уже там с учительницей договорятся, и она как-то выкручивалась и не подавала. А как подадут, то оштрафуют. Не помню точно, сколько был штраф, но много платили. А уже мои братья — один 1927-го, второй 1928-го — ходили в Дмитровичи. Там уже была платная школа. Сколько там было классов, может, восемь.

А в гимназию потом поступали?

От помещика ходили. Там был помещик. Там, где теперь у нас коровник. Там было самое гнездо. Помещик хороший. Поплавский. Три паробка⁴ было у него. И я, как подросла, ходила туда. Тетка моя ходила, папы сестра, и меня брала с собой. Косами они косили, не жали серпами у Поплавского. Мужики ходили зарабатывать. По 3 злотых за день. Целый день косят друг за другом, и подбирали [*за ними*] ту рожь, и я подбирала.

А ходили в лес, посадку садили. В 12 лет ходила, меня тетка брала. Малых не брали, но уже как лесничий придет, то тот лесник уже придет, моргнет на тетку и говорит: «Беги-беги в ямку за рассадой и там посиди». Я уже иду за рассадой, там набираешь корзину и сидишь уже. Он потом придет, скажет, что лесничий ушел, и я пойду дальше с теткой. Злотый за день платили. Я ходила 25 дней. Хожу-хожу, а папа подъезжает аж под Черноки, чтобы меня подвезти. А на другой день говорит: «Не буди, пусть отдохнет немного». А я уже раненько схвачусь.

Ходили в таких с валу⁵ сделанных башмаках, вязаных. Папа их еще подошьет каким брезентом. Лапти плели из лыка. Ходила в школу в

⁴ Работника.

⁵ Из валяной шерсти.

лаптях. Юбку старую порвем на онучи, накручиваем, туда лапти, завяжешь такие волоки, шнурки назывались. Их делали из пряжи своей работы. Из конопля крепкий такой шнурок. А дети, пока в школу идти, то босые, и зимой. А мы прядем, башмак тот кинешь под лавку, а хлопцы спрячут, то мы за прялку, и босиком по снегу. И не болели.

А где вы с мужем познакомились?

В деревне. На вечерках. Хлопцы танцевали на вечерках. У нас было много музыкантов, играли на гармошках. Придет музыкант, а мы прятки за печку в угол. Потанцевали-потанцевали. Полька больше всего была популярна. Вальс, краковяк, подыспан танцевали. Но польку больше всего, то хорошо согреешься.

Парней много было. Как праздник какой, парни приведут музыканта хорошего. Мы собираем по две пары яиц, несем куда потихонечку, а парни уже водку найдут, чтобы угостить музыканта.

Одна девка говорила: «Перепишу на тебя гектар земли, только научи танцевать». У них было две дочки и 12 гектар земли. Хоть ты умри — не научишь. Она что не умела, такого дрыгу под гармонию. И сколько я мучалась с ней, никак не научила.

Парни обижались, если приглашали на танцы, а вы отказывали?

Хорошо злится, но у нас такого не было, что потом набьет. Было такое: кончится музыка — и домой. Как выбежишь домой, аж пяты сверкают. Бежишь, а хлопец за тобой. А теперь я говорю, хлопцы убегают от девчат. Добежишь до ворот, ворота — хрясь, закроешь, и тогда через ворота поговоришь.

Хоть было такое, что рожали без мужа. Называли по-всякому, байструк. Теперь нет позора, а раньше был позор. Выйдет там за какого вдовца разве что. Раньше дома все рожали. Помогала старейшая бабка. В Шишовой бабка такая была. Выйдет, посмотрит-посмотрит на звезды и говорит: «Через столько-через столько будет рожать». Бабка такая, уже из лет вышла. Как кто родить должен, то запрягают коня и прут за ней. Тут же придет, посмотрит-посмотрит. Как ночью, то и ночью ехала. Скажет, когда родит, — так и будет. Кого взяло на роды, то всегда ехали за ней. Говорит: «Быстрее, быстрее в Шишово!»

А что готовили в вашей семье?

Накладет мама картошки в такие вертяги — большая миска, глубокая. Кастрюль не было, горшки покупали. Ехали по деревне, насыпали горшок ржи, и уже забирали его пустой себе. Мать в ту вертягу высыпала из горшка картошки, а семь душ. И там или молока, если есть, а большинство то квасу, луку наделаем. Накрошим зеленого луку, немного сметаны, немного молока, и так болтаем в нее картошку.

Борщ варили, щавухи. Варили капусту, свеклу. А с муки делали затирку. Муку в жерновах намелем, затирку с молоком сварим. А на Рождество с гречки бабку пекли. С гречки вкусно, только пока теплая она. Гречку сушат, и немного мама парила ее. И дрожжи еще покупали, а закваску делали сами. И оно так, как хлеб, пекли гречку, всходит, и уже на бляхи — и в печь. А на Пасху купит папа 20 фунтов муки. И уже спечем паски⁶.

А пили ромашку, мяту, мята помогает, если больной кто от живота. Молоко, квас. А чаю никто не знал. Из овса делали кисель.

Раньше дерево [плодовое] никто не видел. На целую деревню отец с соседом посадили этот каштан. Ему больше 100 лет. Ни у кого никакого сада не было. Плодовые деревья не сажали, наверно, землю жалели. Заборы ставили так, чтобы лошадь прошла с возом. Дворы делали узенькие-узенькие, иначе не хватит земли. Только у пана сад был. Но к нему-то не очень бегали, потому что пан одного подстрелил в ногу и судились. Пан выкупился, но потом мстил очень за то, что судился.

А пан на каком языке разговаривал?

Ну на таком... На польском, но в селе на польском не говорил. Хотя поляк был. Семья у него. Сестра была, двое детей родила и умерла. Пан забрал этих двоих детей, и они были у него. И было двое своих детей. Четверо всех — двое сестры, двое своих. Жена пана работала учительницей в Подбелой. В Подбелой было 4 класса.

Паробки князя жили в таких бараках, построены по четыре, по одной комнате на семью. Не богатый пан был. Паробков дети гуляли с нами, и те панские гуляли. Насадят тыквы, были такие длинные, семечек навывуцивают и приносят целые карманы. Панские дети не ходили в домотканом, как мы, а они в купленном ходили. Ходили вместе с нами, пели. А в школу где-то в Каменце ходили. Они вроде там и жили. А после школу уже окончили, не учились что-то дальше. Ходили к нам, приходили на вечерки к нам. Они были немного старше меня. Но они в нашу группу приходили. Их вывезли вроде бы в Сибирь, как советы пришли.

А пана Поплавского какие-то две сволочи застрелили. На одного упало дерево и перебило ему спину. И он за свой счет отправил его в Брест, а из Бреста — в Варшаву. Там лечился, но он не выжил, умер. Его сын застрелил пана. Он был за Каменцем, в Трусовском лесу. Двоих их послали, не было у нас транспорта, конями нужно было везти. Их послали, чтобы они завели его в тюрьму в Брест. Что там с ним было бы...

⁶ Пасхальные пироги.

Сослали бы, или как, ну, конечно, пусть бы посадили его. Шли-шли, загнали в лес, дали им ружье, дурням таким, два дурня было. Вроде бы такими полицаями заделались, и загнали в лес. То потом говорил уже, как выпивший: «Хо-хо-хо, я наставил ружье на Поплавского, а он просится, на колени стал передо мной: “Я твоего отца в Варшаву возил лечиться”. — А я бахнул — и все!» Вот такое удовольствие себе сделал, что пана застрелил. После говорили, что поломал руки и сдох.

Как уже советская власть, сделали такие ворота, красное полотно и два столба, и там написали, что встречаются советскую власть. Собрались мужчины на улице, то он вышел, пан, и сказал: «Знаете, хлопцы, забирайте все землю, коров, скотину забирайте. Дайте мне сколько я не знаю, 5 гектар земли». А он, как ходили к нему работать, то он берет косу и с мужчинами косил сено, и рожь косил. Но пахать он не пахал. Уже те паробки сами, шестеро коней было, восьмеро, потому что были такие, один маленький коник, только для поездки. «Линейка» называли, 4 колеса, такая бричка как бы. То уже старый отец его садится, объезжает лес, землю свою объедет, такой коник был. А шестеро коней было по паре для таких паробков, то брали там все обрабатывать землю эту, сколько у него было там. Все-все жалели. Что он мешал, пусть бы жил. Пусть бы, или вывезли бы, или в тюрьму посадили.

А хотели, чтобы советы пришли?

Почему же нет. Были такие, что и переходили границу. Там были и сюда приходили. Тайно вроде бы. Это потом мы уже знали, что тот-то и тот переходили туда.

Польшу разогнали. Да что там ее разогнали — за день! Немцы пришли. Заняли немцы сразу. А потом немцы сгнули, а уже наши заняли. В 1939-м немцы Польшу разогнали. Тут были немцы, те немцы пропали, как... без ничего. Немцы пропали, а наши уже пришли. Говорят, в Каменце полно солдат, и начинается советская власть. И уже сельсоветы открыли, то ж не было, гмина за Польшей в Дмитровичах.

Я как приехала в Германию⁷, то не умела есть. Расскажу вам. Приехала я. Были мы сразу на ферме такой. Ходили в лес, метры ставили.

А мне еще повезло. У нас там был сосед. Как мы уезжали на окопы, к нам пришла соседка и говорит: «Илена, ты умеешь коров доить?» Я говорю: «Умею». И они поехали куда-то, а я зашла ту корову доить. Она поставила банку на молоко, флягу двадцатилитровую. И ведро поставила. Я дою-дою, дою-дою, ведро надоила. А еще конца нет. Вылила в ту флягу с ведра и опять дою. И второе надоила. Двадцать литров надоила

с одной коровы! Правда, корова такая была здоровая, хорошая. Там клевер грызет скотина. И загородь у хозяйки одна на гектар загорожена, вторая. Там и ночуют, там и в дождь. Там живут. Запрягает коня, там подоят, и молоко забирает на эстакаду. И тот хозяин попал на окопы. Глубокие такие, противотанковые, широкие. Бежит-бежит, а я стою. Он — зир, и говорит: «Илина, ты чего?» — «Я, — говорю, — у хозяйки корову доила». Там командовали не молодежь, а старички под 80 лет. А там молодого не увидишь никого, уже в последний год в 16 лет забирали на фронт. И он мне говорит: «Иди сюда. Завтра пойдешь туда и туда». Написал мне бумажку. «Будешь ходить за 3 километра, возьми себе четыре девчины». Там белорусы были. Белорусы имели такие же карточки, как и немцы.

У нас барак был. В бараке хлопцы занимали две комнаты, наш начальник занимал, а напротив его комнаты мы занимали. 5 полек и 5 белорусок. Нам можно было в кино идти в клуб. Мы ходили 2 раза в неделю, два раза картина менялась. Нам можно было ходить до 10 часов, а как картина затянется, то и больше. На нас внимания не обращали жандармы. А полячкам нельзя было, они носили желтую тряпочку и там «П» написано. Как жидов, такая тряпочка, и там «Юд» написано. А восточные, русские, хлопцы носили «Ост». А у нас была белая тряпочка и красные колосья. Но нас не заставляли носить. Хочешь — носи, а хочешь — не носи. Один раз жандарм пришел, а полячка стала плакать: «Почему белорусским девчинам можно ходить в кино, а для нас — не?» А он говорил: «Кохано дзецко, я для тебе поведу, для чего⁸. — Ему было 80 лет, — Як мы шли пшэз Польшч, то ци 5 тыс., ци сколько погибло солдат от мирного населения. Нас даже с 5-го этажа стреляли. А как шли через Беларусь, то нас кобеты встречали яйками и млеко». Так было. Так правда было. В деревню как войдут, то выбегают из дома навстречу, чтобы только не зашел в дом. Выносят или яйца, или молоко, только иди дальше. И полячкам за бронибог⁹ не разрешали ходить. А мы ходили. Но с клуба шли сразу домой.

Молодые же были, наверно, и любовь была...

У нас было 12 хлопцев. Двое старые, а те такие же, как мы. Но никакой любовью мы не занимались. Прибудут с работы, и они просят: «Девчата, пустите, посидим вместе, поговорим». Мы приходим, письма пишем уже. Часа два нам нужно сидеть, плакать. Наплачемся, а иногда

⁷ Была угнана в Германию во время войны.

⁸ Милое дитя, я тебе расскажу, почему (*польск.*).

⁹ Боже упаси (*польск.*).

придут хлопцы и поговорят с нами, посмеемся. А одна у нас была, возьмет деревянные, «клёмпы» назывались, и выпрет хлопцев.

Пришел Новый год. Приходит начальник и говорит: «Двое хлопцев, пошли». Они принесли полубочонок пива. И еще приказал принести игрушек. Украсили мы ту елку как следует. Мы пошли к знакомым встречать Новый год. Пришли назад, а у нас елка голая. Хлопцы забрали игрушки. Плачем опять, по-всякому их обзываем. Потом они пошли на работу после Нового года, а одна осталась дома, она болела, ей операцию делали. Грудь что-то разнесло. Хлопцы как отдых, то курят, а мы — бух, попадаем, и простудила, наверно. Была дома, пошла к хлопцам в комнату, и у одного под матрацем нашла игрушки. Забрала их, и была тишина: они ничего не говорили, и мы не говорили. Всяк жили. Но никакой любви не было. Все плакали, как бы домой...

Нам писали из дома письма, что прилетают аисты и несут большие яйца. И мы поняли, что уже русские бомбят. Были всякие там, были и грамотные. Там украинцы работали на молокозаводе. То принесут, мы Пасху отмечали, то принесли целое колесо сыра, масла пачки, жарили. То уже как тревога, полетели самолеты, но покричала тревога, покричала, может, два часа прошло, и уже сказали, что полетели в другую сторону. Раз бомбили, я пошла в тот барак, мы там посидели, поплакали. Уже часто близко наши стреляют, и уже говорят, что за Неманом, в лесу, уже наши. У нас около города Неман проходил. Там наш город Рагнит, район, а область — Тильзит, а через Неман мост был такой большой, красивый. Подорвали.

Зима и лето. Другая зима пришла, забрали меня хозяева около фермы. Говорили, что им не разрешалось служанку держать, на деревне у них еще брат, отец с дочкой живет, им помогать послали меня. Я с деревни, все на свете знаю как делать. Сказали сено грести — я гребу, фуру класть. Там был поляк, пленный хлопец, запрыгнул на фуру и говорит: «Ну подавай мне!» Девчина была и я. Я говорю: «Ничего себе, он будет на фуре, а я буду подавать!» А он говорит: «А что, ты фуру накладешь?» Я говорю: «Лучше чем ты!» Он слез и говорит: «Посмотрим, как ты накладешь!» Я сложила такую фуру, завезли домой, побежали за хозяйкой. А хозяин был на фронте, часто его пускали в отпуск. Она пришла, обошла вокруг и говорит: «Боже, боже!» Мне уже было 18 лет. Она уже не знала, как со мной. А та другая девчина была неповоротливая. То они меня часто посылали туда, и 3—4 дня работаю.

Как привела меня хозяйка есть. Наварила есть, говорит: «Почисти картошку». А нам там мало было есть. Слали из дома сухари. Мама сдаст посылочку, ящик такой. Наварим кутьи, наварят когда брюквы,

когда свеклы. И та брюква была хорошая, вкусная. Хозяйка дала корзину, и я поняла, что нужно картошки. Я чищу, чищу ту картошку, может, 15 штук почистила. А она подошла: «Илина, ой, Боже, много!» А я себе думаю: «Чтоб ты подавилась, я сама съем, что там 15 картофелин!» Когда я работала на ферме, был дождь, то в лес не шли, а посылали в каменицу, такой каменный дом, длинный такой. И там хозяева свозили, у нас говорили, поставку платили. Подвал был. Там картошка была, брюква. Нас посылали туда перебирать картошку, брюкву. Мы закладывали 10 штук картофелин, обвязывались, и жандарм, который там стоял, не замечал. Придешь в барак, наваришь те картофелины, и уже поедим.

И я уже думаю, чтоб ты удавилась, я сама их могу съесть, что есть 15 картофелин. Сели есть. Чтоб она положила мне в мисочку, я зашла бы в свою комнату и съела бы. А тут кладет все хозяйка: и нож, и вилка, и ложка. А мы там в миску все картошки высыпали бы, а тут она кладет по 2 картошки.

Было у них двое детей, 15 и 13 лет. Старшая придет со школы, и все играла на этом. Меньшая меня замучит, все будет ходить за мной: как это называется? Как это называется по-русски? То она целую тетрадь исписала. То ложка как называется, вилка и все-все, что есть, то пишет.

Думаю, как же ж есть? Мама наварит картошки, в миску высыплет, квасу там. Я ж уже сажусь. Положила мне три картошки, две котлеты положила и подливочки полила. Я смотрю на них... А потом привыкла. Научилась, и уже три картошки не съедала. Я все время ела с хозяевами. Такая хозяйка была хорошая. Теперь мои говорят: «Бабушка, поищи их!» А я говорю, что их уже нет, дочки-то, может, где и живут, им где-то под 80 лет. Как война наступала тогда на наш город, Рагнит, то они женщин с детьми отправили в какую-то Данию, а где она, Дания, то я не знаю.

Ее с детьми отправили, а я с хозяином осталась, он был инвалид, в лет 40 женился, был уже старый. Уже побыли мы 3 месяца с ним в доме, потому что меня послали аж в Литву окопы копать против своих, заставляли, так приходилось. 5 тысяч нас вывезли из города Рагнит, рекой везли в Литву, а город, как, я не знаю, мы на поле были все. Мы кидали землю, и оставалось 7 километров до нашего города, и мы с одной идем, потому что месяц на тех окопах. Переменится что-нибудь, возьмем. И я зашла туда домой, а там закрыто, нет никого, и тогда я пошла в «Орбайтант», как они называли бюро. Я пришла, а он говорит: «Так что, уже тебя отпустят». А я горло раззявила сказать, что нет, но он увидел — и скорей ключи от дома, и там делай что хочешь. Я пришла домой, а там тарелок грязных! Он покушает и поставит грязную. Пол

грязный на кухне. Я быстрее воды набрала, пол вымыла, тарелки те помыла. Он пришел домой, все чисто. Спрашивает: «Что, хозяйка дома?» Я говорю: «Сбежали почти, пойдем опять». А он говорит: «Уже ты не пойдешь туда».

Наши стали наступать, и он уехал. А мы рабочие пооставались, и через два или три дня нас стали освобождать. Мы еще забились в такой погреб и стали ждать. Думали, немцы отступят, а наши придут, и мы готовы. А тут нет. Приходят, выискивают немцы. Пришел в черной такой одежде немец, всех забрал, вывезли нас опять на окопы. 2 мая нас на косу перебросили, там озеро такое идет, километр шириной. Нашелся немец, который хотел нас перевезти к нашим, и мы уже собрались. Говорит: «Лодками мы переедем, только скажите, что я не плохой немец». И мы настроились, а потом отменилось. Там у нас был из Ленинграда человек, говорят, что он был грамотный, учителем работал, и он сказал, что если на лодке заметят, то или наши, или те итак потопят в озере. А мы говорим, что все равно немцы запретят.

А где на косе жили?

А бункеры такие сделаны. В них ночевали. А если нет бункера, то на улице, где под кустом. Но мы мало там были. 2 мая нас перекинули, а 9-го война кончилась.

Все дальше, дальше отступаем. Были голодные, и где-то 7 мая нашли коня. Уже, конечно, сдохший, нарезали, понесли в море, помыли, наварили. Потом уже нашли масла растительного этого, жарили мясо. Слышу, говорят, что завтра выпускаем или 500, или 5000 самолетов и перемещаем косу. Я рассказала, что слышала по радио. Побежали хлопцы. Там лес такой здоровый был. Море Балтийское, а тут залив и такая километр в ширину коса. Лес такой большой, как в Пуше у нас. Побежали хлопцы и несут такие бумажки, афишки. Говорят: «Правда, правда!» И мы уже бросили жарить, бросили есть. Смотрим, девчата, друг на друга.

Раненько повставали. Летят три самолета к этой косе. Говорят, разведка. Сейчас будут летать эскадры и бомбить. Еще шесть, потом девять. И нету больше. А тут у нас два солдата! Прибежали такие, пожилые два: «Девочки, девочки, быстрее собираемся!» Как мы вышли на ту уже дорогу, а там уже людей, говорят, 25 тысяч на ту косу завезли немцы. Всяких, как они называли, «остлянды». Франци, русаки, латыши, и всякие-всякие, 25 тысяч. И уже наши в погонах, начальство бегают быстро, по трое, по четверо ходят-ходят, а там уже считают нас по трое, и уже 5 тысяч отсчитали, и уже 12 солдат дают. И уже и подводки дали, фургоны большущие, на пару коней. 12 подвод, и уже вещи грузите-

грузите. Отсчитали 5 тысяч, и грузите. С той косы речка, и уже тут нас гонят, везут подводки, а уже с этой стороны немцев пленных гонят.

Допрашивали... Допросы сильные были. Может, кто охотно поехал. Выдали нам документы. Прошли мы за ворота, солдаты нас пропускали. Еды давали, я все смеялась, что мы свиньям лучшую давали. Наделают такой каши из комбикорма. Старались, как бы пройти эти допросы. Сначала нужно было в баню, а потом на допрос. О, врачи приходили. Девять врачей приходило. Смотрели. И по-женскому, и всяк. И уже на допрос. А с допроса выдавали документы.

А что на допросе спрашивали?

Как сюда поехала. Сидит офицер, а сбоку я, и смотри только ему в глаза. Спрашивает: «Ну как забрали? Охотно поехала?» А я говорю: «Охотно, из-под бочки». Потому что было так. Бочкой накроет отец или мать, а сверху что-нибудь положат. Немец придет, сверху стукнет. По-всякому находили. И под печкой, и всяк. И забирали. Везли. Было страшно. Думали, что на смерть. А там такие же люди, как мы. Были хозяева и очень хорошие. У меня хозяйка была, как родная мать для меня, а хозяин был такой... Но он встал рано и пошел на работу, а я с ней целый день. И там хозяйка со мной обращалась хорошо. А некоторые были, как у нас есть люди, хорошие и плохие, так и там.

Когда уже выдали документы, приехали в Брест, а с Бреста — в деревню.

А как вернулись сюда, как местные жители восприняли вас?

Встречали, как своих. Колхоза не было, а вызывали в сельсовет, и почти каждый месяц ходи отчитывайся. Принимали в сельсовете как врагов народа, а соседи хорошо принимали, потому что у каждого почти был кто-нибудь [в Германии]. Из нашей деревни больше 20 человек. У меня брат там был. Брата забрали в 13 лет, солтыс¹⁰ отдал. Был здоровый такой мальчик, высокий. Как завезли туда, хозяин поставил коров пасти. Хороший был хозяин. И старшие там, в Германии были. И 40 лет были. Там со мной бабка была, ей, наверно, под пятьдесят было.

¹⁰ Староста.

Историческая справка. История Карелии: предвоенное и послевоенное десятилетия

А. В. Голубев,

Петрозаводский государственный университет, Россия

Предыстория

На политической карте России Карелия возникла лишь в 1920 г. в результате совокупности внешнеполитических и внутривнутриполитических факторов, определивших всю ее дальнейшую историю. В годы революции и гражданской войны наблюдался резкий рост национального самосознания среди карел, к тому же отсутствие у них автономии в какой-либо форме стало для Финляндии поводом заявить о своих правах на ряд карельских территорий. Эти причины легли в основу декрета ВЦИК РСФСР от 8 июня 1920 г., согласно которому, из ряда уездов Олонецкой и Архангельской губерний образовывалась автономная карельская область — Карельская трудовая коммуна (в 1923 г. преобразована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику) со столицей г. Петрозаводск. Во главе автономии встали т. н. «красные финны» — коммунисты и их сторонники, бежавшие из Финляндии после поражения в гражданской войне 1918 г. Благодаря эффективной экономической политике, проводившейся финским руководством Карелии в годы нэпа, было осуществлено быстрое восстановление промышленности и был обеспечен дальнейший хозяйственный рост. Этому способствовали и значительные экономические привилегии, которые получила Карелия благодаря сложной внешне- и внутривнутриполитической обстановке. В области национальной политики местное руководство стремилось к усилению национального фактора и развитию национальной культуры — под последним, впрочем, нередко понималось распространение финской культуры среди карельского населения. Однако малочисленность коренного населения края при острой нехватке рабочей силы диктовала необходимость ввозить в республику рабочую силу, что в перспективе снижало долю финно-угорских народов в составе населения республики.

Политическая история в Карелии в 1930-х гг. Национальный вопрос. Изменение демографической ситуации

К 1930 г. Карелия была регионом с ярко выраженной национальной и политической спецификой. В следующее десятилетие эта специфика была в значительной степени разрушена. Изменения во внутривнутриполитической обстановке, и в первую очередь в отношениях между центром и периферией, привели к утрате Карелией экономических привилегий, а ко второй половине 1930-х гг. — к репрессиям против финского руководства, которое было практически полностью уничтожено. Интенсивная политика «финнизации» карелов, характерная для первой половины 1930-х гг., сменилась борьбой против всего финского. В начале 1930-х гг. республиканское руководство вело активную политику по привлечению в Карелию финнов из Северной Америки, к тому же позитивный образ СССР среди финляндского населения в условиях экономического кризиса рубежа 1920—1930-х гг. вызвал массовую нелегальную иммиграцию из Финляндии. Как следствие, доля финнов в составе населения республики увеличилась с 0,9% (2544 чел.) в 1926 г. до 3,0% (13 350 чел.) в 1933 г. Массовые репрессии второй половины 1930-х гг. против финнов привели к снижению этой цифры до 2,0% (8322 чел.) в 1939 г.

Впрочем, в 1930-е гг. снизилась и доля других финно-угорских народов в составе населения республики. Здесь основную роль сыграл экономический фактор. Имевшейся в республике рабочей силы было недостаточно для освоения природных богатств края, поэтому в 1930-х гг. проводилась активная политика по привлечению переселенцев из других регионов СССР в Карелию. Так, доля украинцев в составе населения Карелии выросла с 708 человек (0,3%) в 1926 г. до 21 112 человек (4,5%) в 1939 г. Росту населения способствовала и широкая сеть лагерей ОГПУ—НКВД, заключенные которых использовались на строительстве Беломоро-Балтийского канала, в лесной промышленности и на других производствах. К 1939 г. доля финно-угорских народов в составе населения республики снизилась до 27% по сравнению с 41,6% в 1926 г.

Образование Карело-Финской ССР. Карелия в годы Великой Отечественной войны

Одной из целей советско-финляндской войны 1939—1940 гг. было изменение политического строя в Финляндии и в перспективе ее дальнейшее вхождение в состав СССР на правах союзной республики (вариант прибалтийских государств). Для этого во второй день войны, 1 декабря 1939 г., из финских коммунистов было сформировано Финское

народное правительство во главе с О. В. Куусиненом, являвшееся, по сути, марионеточным. Однако в результате упорного сопротивления финской армии и международного давления на СССР эти планы не были реализованы, и Финляндия сохранила свою независимость. Территории, захваченные в ходе Зимней войны, были присоединены к Карельской АССР, и 31 марта 1940 г. VI сессия Верховного Совета СССР приняла постановление о преобразовании КАССР в Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику, столицей которой оставался Петрозаводск. Основой для формирования правительства КФСР стало терийокское правительство Куусинена.

В годы Великой Отечественной войны две трети территории КФСР было оккупировано финскими войсками. В отличие от Беларуси большая часть населения успела эвакуироваться, к тому же финляндский оккупационный режим в Карелии был мягче, чем немецкий оккупационный режим в Беларуси. Историки приводят различные данные о потерях мирного населения, наибольшей достоверностью отличаются данные А. Лайне, который говорит о примерно 4600 погибших. Значительный ущерб был нанесен экономике края, однако сырьевой характер карельской экономики, в первую очередь лесной промышленности, позволял быстро приступить к восстановлению народного хозяйства после освобождения Карелии летом 1944 г.

Послевоенное восстановление республики. Миграция в КФСР

К концу 1944 г. в КФСР проживало всего 197 тыс. человек. Советское правительство, осознававшее важность природных богатств края для послевоенного восстановления СССР, вкладывало значительные средства в реконструкцию карельской промышленности. Малочисленное население не могло удовлетворить ее нужд, не могли решить проблему и те, кто возвращался из эвакуации или демобилизовался из рядов Красной армии: в 1945—1946 гг. их количество составило примерно 105 тыс. человек. Поэтому вплоть до середины 1950-х гг. правительство КФСР проводило активную кампанию по вербовке рабочей силы за пределами республики.

Наиболее активными регионами-«донорами» стали Белоруссия, Украина, ряд областей РСФСР. Как следствие, доля финно-угорских народов в составе населения Карелии упала почти вдвое. В 1948—1949 гг. республиканское руководство пыталось бороться с этой тенденцией, организовав массовое переселение в Карелию ингерманландских финнов, ранее депортированных из Ленинградской области преимущественно в Сибирь и Казахстан. К концу 1949 г. в КФСР переехала при-

мерно 21 тыс. ингерманландцев. Дальнейшие планы по переселению в республику ингерманландцев сорвал арест первого секретаря ЦК КП Карело-Финской ССР Г. Н. Куприянова.

Послевоенная миграция в Карелию значительно изменила социальный и этнический состав ее населения. Наложившись на последствия экономических, социальных и культурных реформ 1920-х и 1930-х гг., она привела к кардинальным изменениям в повседневной культуре и самоидентификации различных групп населения КФСР. Послевоенная социальная история КФСР — это, по сути, история окончательного распада традиционных жизненных укладов и формирования нового образа жизни и нового советского общества.

Дальнейшее уменьшение относительной численности финно-угорских народов в составе населения Карелии и исчезновение финляндского фактора приводят к тому, что 16 июля 1956 г. КФСР потеряла статус союзной республики и была вновь преобразована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР.

Интервью с Лемпи Павловной Киссель, 1922 г. р.

Записал А. В. Голубев,

пос. Чална Пряжинского р-на Республики Карелия, 25 января 2006 г.

Я в настоящем Киссель Лемпи Павловна, а девичья фамилия была Сударьнен. Я родилась 5 ноября 1922 г.

Где вы родились? Какое самое яркое детское воспоминание у вас осталось?

Я родилась в Ленинградской области, бывший Куйвозовский район, в настоящем — Всеволожский, деревня Лесквала. Эта деревня существует, в девяностом году я ездила с дочерью и внуком, мне хотелось показать свою родину. До этого, еще в восьмидесятом, в восемьдесят первом году, я ездила [*туда*]. У нас была семья — я, папа, мама и сестренок. В детстве мне, конечно, жилось хорошо, с родителями, папа меня очень любил.

В каком доме вы жили? Как общались с друзьями?

В деревне у нас были родственники — дети. Они приходили к нам, мы играли. У нас был большой сад.

А деревня была финская?

Да, финская. Недалеко от нас, полтора километра, была русская деревня, там одни русские жили. А в нашей деревне одни финны жили. В нашей деревне было примерно сто домов.

Из русской деревни ребяташки приходили к вам играть?

Нет, не приходили, расстояние большое.

А вообще хорошо общались финны с русскими?

Хорошо, не враждовали. К нам из Ленинграда всегда приезжали дачники. Я помню, три года приезжали муж с женой и девочка, мне ровесница была. Они на лето приезжали. Снимали комнату. Был хороший большой дом, усадьба была построена. Я, правда, своих дедушек и бабушек не видела, их уже не было в живых, когда я родилась. Я была у папы с мамой первым ребенком. До меня у папы восемнадцать лет не было детей. Мама была вторая жена. Папа [*первый раз*] женился, ему было всего семнадцать лет, а жене было шестнадцать лет. Это еще до революции было. Папа с 1886 г., а мама 1892 г. рождения. Папа меня очень любил, потому что долго не было детей и ждал всегда. Конечно, детство есть детство. Детство было хорошее. У нас сад большой был, все было свое.

Чем занимались ваши родители?

Родители были крестьяне. В основном у нас держали скот, землю обрабатывали, хлеб сеяли. Картошку и все овощи сажали. Молоко возили в Ленинград. Там, видно, у папы были места, может быть, в магазин, я точно не знаю. Папа всегда два раза в неделю ездил в Ленинград. Вокзал у нас недалеко был, наверное, с километр, а мы с мамой провожали и встречали его.

Вы запомнили время, когда начали колхозы вводить? Или, может быть, раньше стали налоги повышать?

Я помню, колхозы начали появляться в тридцатом, тридцать первом годах.

Что из себя представляло колхозное движение? Как их начинали?

Я плохо знаю, мне тогда было восемь лет. Я знаю, что люди почему-то не особо охотно шли в колхозы.

А родители дома обсуждали?

Сказали: «В колхоз». Наши тоже вступили в колхоз. У нас тогда было только три коровы, а до этого было больше коров. Помню, меня отправляли пасти коров в поля. Были пять коров и лошадь. Двух коров мы отдали в колхоз, и у нас осталась одна корова. Земли пока еще были не колхозные, а свои, единоличные. Мы кулаками не числились. Мы середняками были. А почему-то нас выслали в Сибирь. Это был тридцать

первый год. 7 апреля 1931 г. нас сослали в Сибирь. В Сибири, конечно, стала другая жизнь.

Как вас ссылали, помните?

Помню. Рано утром, в семь часов пришли и сказали: «Собирайтесь. Вам полчаса времени и собирайтесь». Одежду с собой можно было взять, но были какие-то ограничения. Можно было чайник, кастрюлю, даже самовара нельзя было взять. Все остальное осталось там. Потом нас повезли в товарных вагонах.

Много людей?

Да, целый состав. Все были финны. Ехали долго. Помню, на станции Луга мы простояли целые сутки. Вагоны были очень набитые.

Умирили люди по дороге?

Не так много, как эвакуированных, умирало. Я не помню, чтобы умирали.

А по дороге вас кормили?

Я не очень хорошо помню это. Мы останавливались, у нас, наверное, были еще свои запасы из дома. На вокзалах останавливались, и нам приносили кушать.

Каким было настроение ваших родителей в то время?

Наша тетья, когда узнала, вышла нас провожать. И соседи тоже провожали. Мама говорит: «Если нас высылают, все, держитесь, мы не плачем. Заслужили, что нас высылают из своего дома». Кто именно высылал, я их не знаю. Погрузили в поезд, поезд уже чуть ли не трогаться, приехал наш председатель сельсовета и говорит: «А вы-то куда едете? Вас никто ведь не высылает». Папа говорит: «Как же, поезд уже трогается, куда же мы теперь останемся». Все равно нас в следующий раз выслали. Потому что высылали партиями. Первая партия была до нас, в феврале, а потом мы, а потом, по-моему, еще раз. Первую партию в Хибиногорск отправили — Мурманск, нас — в Сибирь, а потом после нас — еще в Мурманск. У меня одна тетья попала в первую партию, а потом мы, а потом вторая тетья попала в Мурманск во вторую партию. В тридцать четвертом году высылали в Казахстан, мой дядя с семьей в Казахстан попали. Маме моей тогда было тридцать восемь лет, папе было сорок четыре года. Везли долго и выгрузили нас в Красноярске на левом берегу. Там, видно, знали уже, готовили бараки, было несколько барачков, но сколько, я хорошо уже не помню.

Это было в самом Красноярске или под городом?

Там есть правый берег и левый Енисея. На левом берегу был весь город, а нас высадили на правом берегу. Высадили-то нас, конечно, на вокзале [*на левом берегу*], а потом повезли на другой берег. Там все еще

было не доделано. Дверей и окон не было. Хорошо, что было лето. Мы в апреле выехали, так что это было уже где-то в мае, в начале мая. Нас было четверо, а места было не больше двух метров на всех четверых. Двойные нары были. Двойные нары начались для нас с Красноярска и долго тянулись первое время. Продукты нам давали, например мукой, а чтобы печь, люди копали ямы в пригорках и там пекли. Варили на кострах. Там мы пробыли, наверное, два месяца.

А ваши родители на работу ходили куда-то?

В Красноярске мама не ходила на работу. Мама была в положении, и у нее родился ребенок. Нас когда только привезли, это всех возмутило, всех погнало в общую баню: и мужчин, и женщин. Тогда народ был еще другого склада, чем теперь. Тогда еще молодежь стеснительная была, тем более деревенская. Всех в общую баню, вещи все продезинфицировали где-то. А потом нас расселили в бараки. Папа работал, а мама не работала, потому что сестренке было четыре года, и у мамы еще родился ребенок. Может быть, люди бы и убежали, но нас охраняли, даже с собаками. Мама ждала ребенка, но в бараке же не будешь рожать. Папа хотел в деревню отвезти, а не успели, эти собаки набросились. Мама испугалась, думала, что собаки ребенка разорвут. Она вернулась сюда обратно. Потом она заболела, она болела очень долго. Ребенок прожил только месяц. В Красноярске мы прожили два месяца, потом нас повезли вверх по течению Енисея, там Ангара впадает в Енисей, там была такая местность, стрелка, нас повезли по Ангаре. От Красноярска до Енисейска было четыреста двадцать километров, потом нас повезли по Ангаре — против течения. В стрелке такие пороги были, пароход чуть не утонул.

Кто с вами в поезде был, всех везли на пароходе?

Да. Кроме финнов, там были еще китайцы.

А как китайцы там оказались?

Этого я не знаю. Знаю только, что это китайцы были. Они странные такие, у мужчин косы были.

Вы с ними как-то общались? Помогали друг другу?

Нет, наверное. В это время не успели ничего. Везли нас по Ангаре, была деревня Рыбное. Нас высадили на кладбище. Где-то там была пристань, а нас на кладбище высадили. Мама у нас была больная, она ничего не могла, только лежала, ребеночек еще маленький был. Люди, конечно, помогали нам. Я-то что сама могла, восьмилетняя. Это все был тридцать первый год. Потом мы жили в Ангаре. Некоторые на этом кладбище целую неделю жили, пока расселили всех по домам. Поместили нас в церковь, а потом оттуда повезли в совхоз, из этого совхоза в

другой. Эту [местность] местные жители называли Южная тайга. Потом нас повезли на север по Енисею. Это Северная тайга. Напротив города Енисейска была деревушка Нифантьевск [Нифантьево], нас туда увезли. Потом рабочих повезли на строительство дороги, наверное, строительство уже было начато. От Енисейска увезли за 360 километров. Туда брали только рабочих, и маме нашей сказали: «Ты можешь поехать, можешь оставаться здесь».

А ваш папа где был?

Папа умер уже в Рыбном, он недолго там прожил, там была очень большая эпидемия тифа. Он две недели проболел и умер от тифа. Там очень много [людей] умирало от тифа, целыми семьями умирали. У нас только папа умер. Он заболел, больничного ему не дали. Он заболел в воскресенье, пошел [к врачу], ему не дали больничного, его отправили на покос, там он одну ночь проночевал. Потом его надо было привезти обратно и в больницу, и в больнице он умер в понедельник. Маленькая сестреночка умерла, еще когда папа был. Папа работал, а мама все лежала. Потом мама помаленечку начала ходить, и папа умер. Мы с мамой остались вдвоем. Поехали на строительство, оно называлось «Комсомольская дорога». Дорога соединяла линии (неразборчиво) с Соврудником. Потому что в тех местностях были золотые прииски. Викторковский был, Александровский прииск. А потом мы на строительстве дороги жили. Из детей только я одна была. Эти 360 километров пешком надо было пройти. Мне тогда десятый год был. Там тоже такие плохие условия были. Только один дом был в лесу, небольшой дом, и в этом доме жило 54 человека. Одна плита была, пекли на улице хлеб. Как только увезли нас, нам стали норму давать.

Там все финны были или уже смешанный коллектив?

Там все те же самые финны были.

Расскажите, пожалуйста, про условия жизни в то время. Все уходило на работу и вас оставляли одну?

Оставалась одна. Ни книг, ничего не было. Интернат от нас далеко был. В лесу, где мы жили, вообще ничего не было. Чем я могла заниматься? Сидела дома. В том доме: на улице пекли хлеб, какой-то разбойник пришел, украл весь хлеб. Потом стали его искать, нашли его и стали бить. Помню, я плакала: «Не бейте, не бейте его, вы убьете его». Так напугалась. Но как-то смело, могла жить одна в этом доме. Не боялась. В другом месте мы были — Талое — там дом был немножечко побольше. Потом мы жили в палатках, а в Сибири такие морозы были. Если 40°, конечно, было холодно. Целую ночь — у нас буржуйка была посреди палатки и эту буржуйку по очереди топили. У девушек всегда

такие хорошие волосы были, длинные косы носили тогда, волосы даже примерзали в палатках, так было холодно. Потом эту дорогу уже почти достроили, некоторых отправили на Соврудник, а нас повезли сюда. У людей всегда было настроение, что «вот нас повезут домой, вот нас отпустят домой», паспортов ни у кого не было. Потом нас снова привезли в Енисейск, в этот же Нифантьевск, откуда увезли нас. Здесь очень много людей умерло [в Нифантьевске]. Рабочих отправили, а иждивенцев оставили, много людей умерло. Потом нас привезли в село Маклаково, тридцать восемь километров от Красноярска. Там был трехрамный лесозавод. Там и колхоз был, и МТС, и лесозавод. Здесь нам уже легче как-то было жить. Это был 1934 г. Там негде было мне учиться. В Нифантьевске я училась в первом классе всего полтора месяца, а потом уже пошла во второй класс.

Вы по-русски говорили к тому времени?

Дома у нас были дачники, так что по-русски к тому времени я уже хорошо умела разговаривать. Я пошла в школу, помню, мама меня и дома учила, читать учила, когда мне где-то 6 лет было, мы еще дома были. Раз мы с мамой попали в больницу. Я скарлатиной болела, она меня научила читать, она меня научила вязать. Я по-фински умела читать. Когда из дому поехали, книг у нас с собой не было. Я пошла в школу, уже умела читать, и по-русски где-то научилась читать, сама не знаю, где я научилась по-русски, но пошла-то я в русскую школу. Здесь мы прожили пятнадцать лет. Всего в Сибири я жила восемнадцать лет. Здесь мама работала уборщицей. Была контора, там курилки, куда рабочие приходили греться зимой, морозы [в Сибири] такие большие. Однажды мороз был пятьдесят шесть градусов. Как отсюда до стенки [метра 3] такой туман, что дальше не видно было человека. Тут я училась. Летом работала. В тринадцать лет я уже пошла на работу — линии подметать, широкие такие были линии. Там лесопильный завод был, три биржи было, а лес поступал сплавом на лесозавод. Нас было три подруги, мы вместе учились. Обе были на год старше меня.

Русские?

Русские, одна была украинка. Мы всегда вместе учились, дружили, к экзаменам готовились. Все вместе делали. Когда поступали, с квартирами было плохо. Было две комнаты. Их семья была девять человек, да нас еще двое. Но все равно хорошо, мирились, уж никогда не ругались, ничего не делили. Мы даже на укладке вместе работали. Это было, наверное, где-то в тридцать седьмом году.

Вы запомнили репрессии в то время? В Сибири, там, где вы жили, как-то исчезали, пропадали люди? Искали врагов народа?

Нет. Там, где мы жили, там не было, там были очень хорошие люди. Всегда к нам хорошо относились. Я работала. Мы лес отгружали в основном на экспорт, в Англию. Сезон проходил с июня и по сентябрь. Потом я рубщицей работала три года. А до этого — названия-то были — крикуша, марками всегда грузили, сколько тут в марке досок кричит, а рубщик точкует. Там вот поработала, потом рубщицей три года работала. В тридцать девятом году я поступала в педучилище. Успели первую четверть проучиться, и было постановление, что надо учиться только на «пятерки», а если на «пятерки» не выдержишь, значит, нужно было платить пятьсот рублей в год. А мама уборщицей работала, сто двадцать рублей получала, так я ушла потом оттуда и снова хотела идти на работу. Мама сказала: «Иди, учись». Я пошла в восьмой класс, потом в девятый. Но в девятом я четверть не доучилась и пошла на работу. Мама плохо себя чувствовала, я, конечно, всегда маме помогала. Зимой мама уборщицей работала, большой объем работы был, эту курилку надо было топить, контора была, там три-четыре кабинета, надо было все топить и убирать. Я всегда помогала. Я говорю: «Мама, у тебя такое плохое здоровье». Мама говорит: «Принимают на ученика счетовода работать». Я сказала: «Мама, я пойду работать». В сорок первом году я пошла работать.

Когда началась война, изменилось что-нибудь в вашей жизни?

Для нас война как-то не так чувствовалась. Конечно, чувствовалось, что война, но материально не так сильно чувствовалась. У нас свой огородик был. Потом мы купили себе пристройку, где раньше мастерская была у мужа (*неразборчиво*), его арестовали. В тридцать седьмом, тридцать восьмом году много людей арестовали в Сибири, не только финнов, но и русских.

Вы поддерживали связи с теми финнами, которые тоже были в Сибири, или растеряли связи к началу войны?

В Енисейске [финнов] было много, а сюда привезли только шесть семей финнов. Там были русские, финны, поляки были, румыны. Во время войны были литовцы, латыши.

Как все эти национальности общались между собой?

Нормально.

Ходили в гости друг к другу?

Да. Дружили, всегда общались, вместе работали. Хорошо.

Они свою культуру как-то пытались сохранить?

Да. Но поляки как-то раньше других могли уехать, потому что мы числились всегда за комендатурой. Молодым, когда исполнялось шестнадцать лет, нам уже давали паспорта. А пожилым... Мама моя в сорок восьмом году умерла, у нее еще не было паспорта. Всегда надо было отмечаться в комендатуре. Потом я работала бухгалтером. В сорок четвертом году меня отправляли на курсы в Красноярск на четыре месяца. Потом я бухгалтером стала работать. В общем в Маклаково я проработала семь лет. Потом пришло постановление, что сюда, в Карелию, стали вербовать. И мы завербовались в Карелию.

В годы войны эти разные национальности пытались свои праздники отмечать?

Хотя тогда праздники были запрещены, например Пасха или Рождество, но люди все равно как-то по-своему отмечали. Каждая нация по-своему. Я, например, лютеранка. Там из лютеран были еще немцы Поволжья, потом приехали эвакуированные с Ленинграда. Финнов много приехало и немцев.

А по отношению к русским никто никогда не враждовал?

Нет. К нам всегда хорошо относились. Сначала только трудно было, когда нас только сослали.

А браки межнациональные были?

Были, но мало. Все между собой. Это в Карелии уже все перемешались.

А детей много тогда рождалось?

Там потом уже стали жить нормально. И рождаемость была такая...

А за вами ухаживали, когда вы там работали?

Да. Сначала у меня был... вместе работали, дружили. А потом мой муж. Они были сосланы в Мурманск в феврале тридцать пятого года. Он тоже финн. С Мурманска они в Кировске где-то были. У него были отец, мать и три брата. Потом их оттуда сюда, в Карелию, выслали. Один брат жил в Пудоже. А он жил с отцом и братом. Ему было шестнадцать лет, он учился в школе. Десятый класс он не закончил, он пошел куда-то работать, в другую деревню. В сорок первом году он в армию пошел добровольцем. Тогда еще Андропов был здесь, в Карелии. И как раз в призывном пункте был Андропов. И Андропов ему сказал: «Ты-то куда идешь? Тебе только шестнадцать лет, поезжай-ка домой». В это время оккупировали [место], где родители жили. Вообще их в Медвежьегорск призывали. Потом он остался в армии. Остался в армии, его взяли сначала в полковую школу, потом был приказ, что всех финнов убрать со школы. С полковой школы его сняли. Потом он попал... Потом он заболел, простыл, и его отправили в госпиталь. Оттуда комиссо-

вали, и он приехал в Сибирь. Мы вместе с его сестрой жили, в одном доме даже. Он приехал сначала в 1942 г. Там, в Сибири, летом только пароходы были, а зимой только лошади были. Ямщики, помню, ходили в шубах, и на шубу еще тулуп одевали, валенки, на валенки унты одевали. Например, девять лошадей было и три ямщика. Вот он в марте приехал с этим обозом. С армии приехал в этих сапогах, говорит: «Раз я так замерз, я даже упал, а лошади такие умные — остановились. Ямщики подумали, почему лошади остановились, подошли, подобрали меня». Потом после дня рождения, он родился в декабре, его забрали в Челябинск. Тогда всех финнов забирали не в армию, а с армии в Челябинск. Это трудовая армия была. Там ему было очень трудно, конечно. Там очень много умирало. Он называл цифру, но я не помню, это больше 20 000 финнов и поволжских немцев. Но в Сибири были, например, еще и ленинградские немцы. А когда в сорок девятом году стали вербовать, так мы завербовались сюда.

А приехали сразу в Чалну?

Нет. В Петрозаводске тогда был переселенческий пункт, все сюда прибывали, а потом люди сами ездили смотреть места.

Пункт был рядом со старым вокзалом?

Да. Переселенческий пункт был в Пятом поселке. Мы приехали в августе. Мой муж в Ленинграде попил пива холодного и заболел. Его сразу забрали с поезда на «скорой» в больницу. В военной больнице лежал. А с переселенческого пункта нам говорили: «Надо вам уже уезжать».

Вы уже с детьми были?

Нет, у нас еще не было детей. У людей-то были [дети], у нас еще не было. Мы жили вдвоем: его сестра, я и он. Муж не хотел из Сибири уезжать, он говорил: «Я был в Карелии, я знаю Карелию, там столько много камней, такая почва, а в Сибири очень хорошие земли». Там такая почва благородная, столько цветов, очень богатая природа. Селения-то в основном стараются [располагать] ближе к берегам рек. Потом сказали в Койвусельгу поехать. Сказали, что в Койвусельге можно хозяйство вести и работать. Поехали мы в Койвусельгу. Нас сначала в Мандере выгрузили, есть такое место, пять километров от Палалахты. В Койвусельгу идет дорога с Палалахты, Койвусельга — это четырнадцать километров от Палалахты. Потом мы пошли пешком смотреть эту Койвусельгу. Деревня-то деревня, а здесь поселок стали строить, но еще пока ничего не было. Опять нам пришлось в палатках жить первое время. Потом стали дома строить. Осень, помню, была такая теплая. Седьмого ноября мы еще ходили за брусничкой. Такая была хорошая погода. В Сибири погода не такая. Летом климат всегда хороший. Но мошки

зато! Эта мошка прямо заедала! Ходили в сетках. В Сибири у нас была корова, чтобы на покосы идти, надо сетку одевать и намазаться дегтем. [В Койвусельге] работала (*неразборчиво*), месяц работала на разных работах, а потом работала счетовод-кассиром, два года мы жили. Нас в стройучастке было двести человек, лесозаготовители были, но они, наверное, в деревне жили. Потом этот поселок строился, но мы всего два года там прожили. Там у нас уже двое детей было. Потом мне предлагали: «Если ты поедешь на курсы, тогда мы тебя заберем отсюда, с Койвусельги». Медпункт [от Койвусельги] был пять километров, район был, тогда еще Ведлозерский район был, пятьдесят километров. За деньгами всегда надо было ездить за пятьдесят километров, а дорог там не было. Дороги были, но плохие. Одна машина, с кем можно было ехать. А тогда время как раз такое было, что паспорта надо было менять через три месяца. Так вот дают машину за деньгами [*ехать*], так всегда народу полно в кузов надо было брать. Потом я пошла на курсы, а муж работал нормировщиком. Курсы были девятимесячные, у меня, правда, мальчику еще только полгода исполнилось, и на завтра мы поехали в Петрозаводск, учиться вместе. Там у меня знакомые были — двоюродная сестра, пока я на занятиях была, они его в это время присматривали. Так с месяц [*продолжалось*], потом уже переехали сюда. Потом я поступила на работу, сначала в стройучастке работала, потом в пятьдесят третьем году поступила в леспромхоз, так и проработала до пенсии.

Спасибо!

Интервью с Полиной Поликарповной Левкиной, 1925 г. р.

*Записал А. Ю. Осипов,
с. Шёлтозеро Прионежского р-на Республики Карелия,
20 июня 2006 г.*

Я — Левкина Полина Поликарповна, родилась в 1925 г. в Горнем Шёлтозеро Шёлтозерского района бывшего.

Кто вы по национальности?

Вепс по национальности.

Скажите, пожалуйста, откуда родом ваши родители?

Родители тоже родом отсюда, с Горнего Шёлтозера. Папа с деревни Качозеро, а мама с деревни Тихоништа. Вот они поженились, и жили мы в Горнем Шёлтозере до войны. А потом, когда с эвакуации верну-

лись, разошлись кто куда. Папа и мама умерли, мама умерла во время войны, а старшую сестру мою убили на фронте в 1942 г. в феврале, а мама 15 июня умерла. 64 года тому назад умерла. Ну и девочка еще там родилась, когда мы приехали в эвакуацию, девятимесячная умерла, два месяца прожила после смерти мамы. А папа нас содержал во время войны — с 1941 по 1946 г. в Вологодской области. Там мы жили в трех местах: Рубеж, Ковжинский район, Аннинский мост, тоже Ковжинский район, а потом папа хотел поехать в Пудож. Почему хотел поехать — время-то голодное было, давали один паек, 400 граммов хлеба и больше ничего совершенно. Он решил, что поедет туда и будет работать трактористом, заработает зерна, и мы будем есть хлеба досыта. Но, увы, не получилось это. Там то же самое было — голод. И вернулся обратно и мне как старшей дочке сказал: «Ты, Полина, кончишь школу и с остальными приедешь в Вытегру, а я вас там встречу». Кончили мы школу в мае [1944 г.] и поехали в Вытегру с ребятами, а нас было ребят пять человек. Одна дочка у папы взята была, младше меня, 1928 г. р., а остальные со мной были. Мы приехали в Вытегру и остановились в Доме крестьянина. Встретили папу, и он сказал, что в Пудож мы не поедем, потому что там тоже голод, трактористом стал бы работать, но все равно хлеба нам не будет. Вдруг передают по радио — освободили наше Шёлтозеро, мы обрадовались, раз Шёлтозеро освободили, значит, мы едем домой. Пошли в речное пароходство узнавать, как можно поехать — или речным путем или по шоссейной дороге. Но там ответили папе, что поехать никуда нельзя, так как все пути заминированы были. Вернулись мы обратно в Дом крестьянина и там нам посоветовали: «Раз вас не отпускают в Шёлтозеро, вам надо куда-то в другое место поехать и жить там, пока не разминируют дороги». Дали совет нам ехать в г. Череповец. Мы сели на пароход и поехали в Череповец. Приехали туда, папа устроился в транспортную часть горкомхоза. Я устроилась туда же, хотя мне только шестнадцать лет было. Начисляла заработную плату рабочим, а вечерами ходила учиться на медсестер и на воспитателей. А почему туда, потому что сестру убили на фронте, война еще не кончилась, пойду, я думаю, на фронт. Окончу шестимесячные курсы и получу документ. Но как только практику стала проходить, мне медицина не пошла, особенно я не могла терпеть запахов. Голодное время было, и запахи были у меня в гортани все время. Но [*курсы*] воспитателя я закончила и получила документ, что закончены курсы дошкольного воспитателя. Оттуда, из эвакуации, мы вернулись только в январе 1946 г. Нас не отпускали из Череповца. А потом в январе 1946 г. нас повезли в «вагоне колхозника», там «буржуйка» топилась, а зимой очень холодно было,

так у буржуйки грелись. Приехали мы в Петрозаводск, а с Петрозаводска — в Шёлтозеро и уже в Шёлтозере нас встречали, из Горнего Шёлтозера отправили лошадь, так детей было много. Приехали туда, откуда эвакуировались, и наш дом был, конечно, пустой. У нас была четвертая доля двухэтажного дома. Этот дом был куплен еще до войны. Собрались люди, оставшиеся в оккупации, и стали нас жалеть, говорили: «Не надо было вам и ехать». Но папа сказал, что надо было поехать. Папа был коммунистом, а мама — депутатом сельского совета. Иначе враг придет, расстреляет и повесит, как было с Зоей Космодемьянской в начале войны. Папа тогда попросил соседей: «Дорогие товарищи, можете ли вернуть то, что у нас было оставлено, из посуды, мебели, у нас ничего нет». Так вот нашлась одна бабушка старенькая, 80 лет ей уже было. Она принесла и чашек, и тарелок. Потом соседи принесли стулья, которые были оставлены. А папу назначили сразу председателем и агрономом колхоза. А колхозы «Вперед», «Заря», «Новый путь» все были после войны объединены в один большой. Но я не рассказывала, как мы во время войны жили там. Видели только один голод и холод, больше ничего. Ну учились, конечно, в школу ходили. В летнее время, когда жара была, местные играют на улице, а наши сядут у окошка и сидят ждут, когда принесешь хлеба из магазина. А хлеба давали 400 граммов, и он был очень тяжелый. Потом папа делит, всем по кусочку, потом еще. Хлеб да вода, больше ничего не было, даже соли-то не было. Жили так, в голоде, в холоде. Летом собирали щавель, но его мало было где, а эвакуированных много, и они старались нажимать на этот щавель. Крапива. Крапива очень хороша — и лепешки пекли, и суп варили. И со щавеля, и с крапивы. И очень нам вкусным казалось тогда. Вот эти витамины наших детей и поддерживали тогда, наверное. Но папа, конечно, здоровье потерял. Когда приехали сюда, то папе дали телку, дали в кредит. Однажды папа пошел проводить собрание, это недалеко было, три километра, там собирались и колхозники, и партийные. А был март, но почему-то была сильная пурга, и дороги были занесены снегом, и папу предупредили товарищи: «Поликарп Егорович, не ходи туда, погода неважная, ночь темная, и дороги заметены». А он сказал, что дома дети оставлены и надо возвращаться, а я в то время уже работала в детском саду в Рыбреке. И вот он пошел, шел-шел и, не доходя до деревни метров сто, упал, и так в снегу лежал. Дети поехали утром в школу и заметили, что человек лежит. Они зашли в магазин, он был напротив школы, и сказали, что в снегу кто-то лежит. А моя сестренка Тася была как раз в магазине и сказала, что у нас папы дома нет, и побежала туда. Папа голоса не дает, а она его поднять не может, тут народ собрался, взяли са-

ночки, его привезли домой замерзшего. Фельдшер, акушерка, которая в нашем доме жила, сказала, что надо его уложить, найти ложку водки и раскрыть рот, чтобы отогрелся. Нужно лежать, и тогда Поликарп Егорович поправится, а чего было для лечения у нас — ничего не было. Телка молока еще не давала. Ну, конечно, нашлись соседи хорошие, приносили молока кипяченого. Он встал на ноги, стал говорить. А раз председатель, ему не терпится, дома разве можно находиться. Сходил до конторы, а до конторы идти всего лишь сто метров. Сходил только туда, узнал, как дела, а пришел — лег и две недели не вставал, а потом оставил всех нас. Стал умирать, дал наказ моей сестренке Тасе, он думал, что это Полина: «Сама ты учишься, учи Лиду, а Тасю отдай на курсы трактористов, она хоть заработает хлеба. А двух самых младшеньких устрой в детский дом, пусть они в детском доме будут». Так пришлось и сделать, двое детей были в детском доме. Тася, конечно, не пошла учиться на тракториста, осталась в колхозе, а Лиду после седьмого класса я отправила в дошкольное педучилище. Там стипендию стали давать и кормить бесплатно. Так две девочки у меня в детском доме воспитывались, я сама тоже была в Рыбреке в детском доме воспитателем. Зав. РОНО был у нас Лепков Николай Захарович, он узнал, что после эвакуации я устроилась в райземотдел работать, узнал, что есть у меня дошкольное образование, хоть курсы окончены. И взял воспитателем туда. Он дал приказ, распоряжение, чтобы одеть с ног до головы. А мы приехали из эвакуации босыми, пальто в заплатках было. Я стала работать там в младшей группе воспитателем. Дети были, конечно, собраны трудные, послевоенные дети. Дети не считались с воспитателем (всем были прозвища даны), не слушались, кидались камнями, никакое слово на них не влияло. Я работала там очень мало, конечно. Я пришла к Николаю Захаровичу в РОНО и сказала, что работать там не могу: дети трудные, есть более образованные люди, постарше меня, их не слушаются, меня тем более. Я в тюрьму из-за них садиться не хочу, а они камнями кидаются. Он спросил: «А куда вы хотите?» — «Хоть куда, дошкольные курсы окончены, воспитателем в детский сад нельзя?» Он сказал, что посмотрит кадры, и устроил меня в Шёлтозерский детский сад. И еще сказал: «Сидорова (тогда еще фамилия Сидорова была), ты поступай учиться». А я думаю: «Куда, ведь дошкольные курсы окончены, так чего еще». А он говорит: «Это не документ, это не диплом, нужно, чтобы документ был настоящий. Поступай заочно в дошкольное педучилище, раз у тебя желание есть к этому». Ну я и поступила. Там экзамены надо было сдать, написала, меня приняли [В Петрозаводское педучилище], и училась я с 1946 по 1950 г. И одновременно училась моя сестра Лида. Но

когда я экзамены стала сдавать, там преподаватели... В общем сдавала я историю, там вопрос был простой такой, но очень касается личной жизни нашей семьи — Горького «Мать». Я рассказала очень подробно, и отзывы рассказала, и мне поставили «отлично». И в присутствии очников сказали: «Вот, посмотрите — заочница, а как сдает экзамены, берите пример с нее, а то вы годами учите, учите и не соображаете ничего». Я думаю: «Не надо хвалить, а то перехваляете меня». А потом как пошла сдавать дошкольную педагогику, чуть не провалила, но на «троечку» меня вытянули, потому что практики тогда еще не было. Методику тоже плохо знала, но все-таки меня потом еще раз вызвали, стали задавать дополнительные вопросы и на «четверку» меня вытянули. Закончила я в 1950 г. Из двадцати человек нас закончило всего лишь пять воспитателей-заочников. В живых уже никого не осталось. И вот с тех пор я стала работать. Всего работала с 1946 по 1985 г. В 1985 г. вышла на пенсию. Потом меня подхватила школа опять. Было решено сделать Шёлтозерскую волость, и для этого надо было учить детей вепсскому языку. Дети, конечно, вепсского языка не знали. Да и мы тоже, когда учились, вепсского не знали. Вот в Горнем Шёлтозеро, где я училась, мы все говорили по-вепски. А когда стали учиться вот здесь, в Шёлтозеро с пятого класса до войны, до эвакуации до седьмого класса, то здесь нам запретили: «Не смейте говорить на вепском языке, иначе у вас все время будут двойки, двойки по русскому». Диктанты особенно плохо у нас были. И говорить мы говорили, конечно, плохо, а потом немножко научились, да и сейчас видите, что дикция выделяется немного. Не русские — так не русские, уж вепсы — так вепсы. И вот я работала с детьми, преподавала вепсский с первого по четвертый класс.

Если вернуться к вашему детству, то вы помните, откуда родом были ваши бабушки и дедушки?

Да, знаю. Папа был из деревни Качозеро. Мама была из деревни Тихоништа. У папы дедушка был [имеется в виду отец отца, то есть дед. — А. О.], я его не помню. А вот у мамы дедушка был [также имеется в виду отец матери, то есть второй дед. — А. О.] из Горнего Шёлтозера, Павлом звали. А Егор был в Качозере, но он, видимо, рано умер, и его я не помню. И баба Устья была жена у дедушки Егора. Папа в царское время, до организации советской власти, ездил в Питер по печной [части], он был печником. Вот для того, чтобы сохранить семью, он зарабатывал на продукты и привозил продукты домой. А мама? Мама была девушкой с Горнего Шёлтозера, из деревни Тихоништа, но я не знаю, что она делала, конечно. А потом, когда они поженились, семья создалась у них, детей нарожали, мама работала в колхозе, папа работал

трактористом. Работал очень хорошо. Первый трактор с железным сиденьем без кабины привез в Горнее Шёлтозеро, стал разворачивать все межи, деревья корчевать и делал большие поля, чтобы сеять культуры. А там сеяли культуры все: рожь, овес, ячмень, пшеницу, горох. Даже сажали еще лен. Из льна делали свою продукцию. Что делали? Нитки, затем из ниток холсты, из холста шили одежду. Нижнюю. Нижнее белье, как для мужчин, так и для женщин. Вот я очень хорошо помню, как лен обрабатывали. Вначале жали, а цветет лен таким голубеньким цветом. Потом замачивали, делали снопы и клали в речку мочить. Потом на горку — сушить. Он очень хорошо на горке сох. Когда высушили, стали теревить. Вот эти инструменты в [Шёлтозерском краеведческом] музее есть сейчас. Теревили и доводили до такого состояния, что на прялках мы стали прясть. Я была маленькой девочкой, и прялка была маленькая, и вот на этой прялке мама учила, как прясть нитки. Пряла нитки, а потом закатывали на катушки, а с катушек уже дальше больше, делали холст. А после того как делается холст, он ведь темный, то из золы делали воду (мы этой золой мылись, мыла не было). И вот этой золой... были бы старые времена, я бы показала, в бане все это делали. Клали в воду холст, камни, печка топится и лен парится. Потом лен снимали, пойдешь полоскать, оно желтое-желтое становится, прямо белое, приятное. И с этого холста уже начинали шить. Шили все нижнее белье. Ну вот, папа работал трактористом. Он был, конечно, стахановец. Его приглашали [езде], за ним приехала машина, можно сказать даже «Волга». Это был 1936 г. До 1936 г. он работал трактористом все [время]. Его вызвали в машину, мама расстроилась. А в то время как раз людей сажали на десять лет. И сколько репрессированных семей осталось. Тут объяснили маме, мол, не плачьте, не расстраивайтесь, мы его везем в Москву для награждения к Михаилу Ивановичу Калинин. Тогда еще Сталин работал. Сталин был нашим генеральным секретарем. Ну и там, конечно, его премировали, дали очень много материала на платья всем, детей-то ведь много было. Самому ему дали отрез на костюм. 25-линейная лампа в музее — это наша. Патефон с пластинками дали и всем детям валенки. Это было очень дорого, а мы в колхозе жили, так и не на что было покупать. В колхозе мама хоть и много работала, день и ночь работала, а писали ей «трудодень». А на трудодень получали 25 граммов зерна, так ведь это не еда, и очень трудно жить было, конечно. Ну чего еще могу сказать. Почему папа стал председателем и агрономом. Потому что после этой поездки приехал сюда. Его отправили учиться. Отправили учиться в Петрозаводск, в сельскохозяйственный вуз. Вот тогда четверо человек отсюда [из Шёлтозера] там учились. Вера Ивановна

училась, потом Жеребцов учился, папа учился, а кто четвертый — не помню. Но папа не знал ни одной буквы, а Аня, моя сестра, училась в медицинском техникуме, поэтому она все учила папу. Вечерами ходила. Видимо, учитывали неграмотность, но раз к знанию стремление есть, поддерживали его. И вот он закончил этот сельскохозяйственный вуз, стал агрономом и председателем. Почему председателем, я не знаю. И вот председателем он приступил уже к работе до войны. До 1941 г. А в 1941 г., война когда началась, дали приказы эвакуироваться. Наша семья первая уехала, папа всех отправил. Мы выехали до Розмеги, это недалеко здесь от Шёлтозера, а там пароходы были. Нет, пароходы дальше были — в Рыбреке. Доехали мы до этой деревни, и местные нам сказали: «Никуда не езжайте, сейчас баржу потопили финны». А мы как раз ехали в Рыбреку. Перепугали нас, и мы поехали обратно домой. Папа расстроен был, говорил: «Почему же так, никакой потопленности быть не должно». Мы ночь поспали, и уже на следующий день дали приказ, всем председателям сельских советов, председателям колхозов — всем уехать. Он взял лошадь, запряг, посадил на телегу нашу семью, а мама была беременная, детей было шестеро, бабушку взяли. Не нашу, а с того дома, где мы проживали. Сели на телегу, поехали до Рыбреки. А уже там отвечают: «Финны в Шокше, езжайте быстрее до Вознесенья, не останавливайтесь». Хорошо, приехали до Вознесенья. А там был незапятанный паром, как раз на этой стороне. Переехали, но ехали мы очень долго. Почему? Потому что дороги там были очень плохие, грязные, не ездовые и приходилось нам во многих местах спать в банях. Эвакуированных много было, не пускали уже в дома, мол, у нас уже есть, у нас уже есть, идите, говорят, в баню. В банях мы и ночевали. Когда приехали за Вытегру до Рубежа, то дальше ехать уже не могли, выпал снег, телега уже не идет. И остановились в Рубеже, все завшивевшие. Это нехорошо говорить, но было такое. Приехали в Рубеж, нас поселили в барак. В одной части барака жила воинская часть, другая была свободная. В свободную сторону нашу всю семью разместили. Видя такое положение, у нас все сняли, дезинфекцию сделали. Видимо, камеры у них такие были, чтобы уничтожить всю эту вшивость. И вот мы стали жить здесь. Папа работал в Лестехзаге по печной [части]. Лесозавод был, вот название правильное. Ну а мама была дома, конечно, только родила девочку в октябре, не работала. Мы, дети, тоже еще не успели учиться, тут только начальная школа была. Старших и средних классов не было, надо было идти учиться за 25 километров.

Если вернуться в 1930-е гг., какое было у вас свое хозяйство в то время?

У нас была корова. Так. Кого держала мама еще? Курочек держала. А в колхозе было очень много коров, лошадей, свиней, гусей. И вот это хозяйство все надо смотреть вручную. Ну рабочие были, а мама была у нас бригадиром и на фермах работала, а днем на полях. На полях помогать приходилось, и она часто брала меня. Она посадит меня на лошадь верхом, если надо сажать картошку. Я объезжаю плугом, потом закрываю. Нужно если картошку боронить, она опять посадит меня на лошадь, я все поля уже бороню. Как колхозное, так и домашнее. Дома мы сеяли картофель и еще зерна немного и ячменя. Чтобы была крупа для каши. Молоко было, чтобы было на молоке чего варить. Овес сеяли. Чего еще?

А вот если перейти к школьным воспоминаниям, то какое у вас самое яркое осталось от школы?

В школе, конечно, в Горнем Шёлтозере, нас учили в основном на финском языке. Русского языка было очень мало. Не знаю, в неделю было ли сколько-нибудь уроков. По одному уроку в день и все, в основном на финском. А я финского языка сейчас не помню, не знаю, все забыто. Когда перешли вот сюда [в Шёлтозеро] учиться, там уже разные предметы были — и математика, и история, и биология. Там были у нас параллельные классы. Первый — третий и второй — четвертый. Одна учительница ведет два класса параллельных. Учителя жили в этой же школе, потому что школа была большая. Был класс для жилья и для учебы. Наверху учились, а внизу они жили. Так, дальше еще скажу. А как мы писали? У нас грифели были и были грифельные такие доски, доски не доски, папочки не папочки. И ими очень хорошо писали. Лучше, чем ручки. Вот это я очень хорошо помню. А уж сюда когда перешли, надо было макать перо в чернильницу. Ну училась я, конечно, средне. А вот дети мои хорошо, были отличники.

Скажите, а в школе у вас была пионерская организация?

Ой, была пионерская организация. Да какая еще и хорошая. Пионерами мы ходили выступать в Качозеро, ходили по всей деревне, песни пели, танцевали. А вот здесь, когда в Шёлтозере стали, то тоже пионерская организация была. Пионерами собираемся, пирамиды делали. Я была как маленькая, так на самую верхушку поднималась. Разные физкультурные номера делали. Пионерские сборы проходили. Например, собираемся пионерами, едем на озеро отдыхать. Пионеры всегда были у нас впереди, особенно много воскресников организовывали, помогали старшим. Это не только после войны, когда мы уже старшие были. То-

гда в субботу работаем. В воскресенье — выходной. Сейчас ведь два выходных, а тогда один выходной. Так вот тот выходной мы использовали еще на воскресники для того, чтобы озеленить Шёлтозеро, особенно у школы, у детского сада. Вовлекали родителей. А в летнее время ходили на сенокосы, в колхозы. Ну мы как члены партии [респондент имеет в виду пионерскую организацию. — А. О.], так у нас была партийная группа. Хотя маленькие еще были, не умели косить, а старшие нас научили.

Где проходили пионерские сборы — здесь или вы куда-то ездили?

Прямо здесь были сборы пионерские, на линейке в школе. Школа была большая начальная у нас, зал был очень большой, и вот там пионерские сборы организовывали. А в летнее время на улице.

В вашей школе, наверное, учились представители разных национальностей: карелы, русские, вепсы?

Карелов не было. Были русские, были вепсы. Были переселенцы — белорусы. Украинцы были. Потому что до войны переселенцев привезли сюда много. Как в Горнее Шёлтозеро, так и сюда. Поэтому вот эти национальности были. А учили уже на русском языке. Остальных языков уже не нужно было знать.

А вы себя ощущали тогда представителем своей национальности, то есть вепсом, или уже нет?

Так не знаю, не считали мы тогда. Во время эвакуации стали писать по национальности кто... Ведь в Вологодской области не знали, что есть национальность вепс. Писали «репс». Им говорили: «Да вы неправильно пишете!» «Да какая национальность “вепс”, нет такой национальности!» Я им говорю: «Есть такая национальность». Хотя сейчас вепсы в Вологодской области есть. А в паспортном столе не знали, что есть такая национальность.

А вы общались с теми переселенцами, которые сюда приезжали, — с украинцами, с белорусами?

Ну общение было на русском языке, не на вепском.

Они как-то отличались от местного населения, были ли какие-то отличия, свои обычаи, традиции?

Нет, нет, нет. Они, правда, были грязнули. Да, грязнули. Почему? Потому что коз держали прямо в квартире. В квартире жили сами, и тут же жили козы. Ну это культура? Нет! Хоть мы — вепсы, но никогда животного в дом не берем. Собаку, и то. Вот у меня собачка маленькая жила, такой мороз был, а в коридоре все время.

А еще какие-то отличия были? Может, они пищу по-другому готовили, что-то впрок заготавливали?

Ой, про пищу, так не знаю, навряд ли. Борща любили они кушать из овощей. Наверное, вот это. А мы в основном молочную пищу ели. Корову держали, так кашу ели, пудру делали из муки. Особенно когда голодное время было после войны. У нас жили трактористки, так они поддерживали нас, детей. Благодаря их муке, ржаной муке (мы ее сами делали из зерна, камень такой есть — жернов)... А из этой муки варили на печке пудру, густую-густую, как каша, и ели с простоквашей. Так вкусно, так хорошо, потому что корова была и молоко было у нас. Так это нам и помогало.

Скажите, пожалуйста, после того, как вы окончили школу, вы сразу пошли на дошкольные курсы?

Дошкольные? Нет. Я во время войны курсы окончила. Это был 1945 г., война уже кончилась. Нет, 1944—1945-й. Война закончилась 9 мая, а у меня курсы уже были окончены.

А что из себя эти курсы представляли?

Что представляли? Нас учили делать перевязки, делать уколы, в общем такие давали данные. И в госпитале проходили практику. В Череповецкий госпиталь привозили раненых и приходилось перевязки делать им. Лекарство желтое такое, как оно называлось — ревунал, по-моему. И вот запах все время был у меня в горле. Хотя время было голодное, домой приду, [есть] не могу, все тошнило.

А потом, когда вы сюда приехали, то снова пошли на учебу?

Да, спасибо я скажу Николаю Захаровичу, что он меня направил. Если бы он не направил, у меня не было бы никакого образования, никакой специальности. Он был вместо отца у меня. Можно сказать, и когда я замуж вышла, пригласила его вместо отца на свадьбу.

Что вам запомнилось о вашей учебе?

О какой учебе?

На которую вас направил Николай Захарович.

Училась я заочно. Нам давали задания домой. Сессия была два раза — зимой и летом. На эту сессию нам надо было по некоторым вопросам подготовить ответы. Ну ответы я готовила дома, а сдавать надо было заочно. Там еще консультации проходили, и вот согласно консультациям читали литературу. Литературы было много, и она была бесплатная, не то что сейчас. Да многое еще помнили со школьной скамьи. Десятый класс окончила в Вологодской области, там же восьмой и девятый. Десятый полностью не закончила.

Скажите, пожалуйста, если вернуться к Шёлтозеру, вы ведь здесь и выросли?

Да.

А что вы знаете об истории этого населенного пункта, как он заселялся, приезжали ли еще какие-нибудь люди, кроме украинцев и белорусов?

Ну кто приезжали? Мне кажется, что здесь все местные. Новичков если только направляли в райком партии — секретарей. Агрономов могли еще новых направлять, были агрономы новые. Учителя новые были после окончания учебы, тогда ведь по направлениям было, не как сейчас, когда сами ищут работу. А тогда надо было работать три года. У меня сестра хоть и окончила медицинский, пришлось по направлению работать в Пряже. А война началась, ее посадили на машину и отправили на фронт. До 1942 г. она там была, потом погибла в Петровских Ямах, недалеко от Медгоры [Медвежьегорска. — *А. О.*]. Там был госпиталь, и ее туда с передовой направили. Там было 25 человек медицинского персонала, и весь медицинский персонал погубили изуверски. Раненых бойцов стреляли, кто прыгал, того тоже стреляли, кого сожгли. Весь госпиталь сожгли. И потом направили нам эту газетку и письма подружки, которые у сестры были, в Вологодскую область. Аня погибла героически, и в Сегеже есть захоронение и ее фамилия — Сидорова Анна Поликарповна. Там на братских могилах много фамилий, в том числе и она, наша сестра.

Полина Поликарповна, если опять-таки вернуться к вашему населенному пункту — Шёлтозеру, то вы помните, как здесь молодые люди искали невест?

Они находили, конечно, сами. На танцах, или еще где-то встретились. Вот таким образом.

Но деревня ведь не очень большая была?

Нет, большая была. Семьи были большие. В каждой семье было много-много детей. Детей, вот если взять Горнее Шёлтозеро, было по пять, по шесть человек. Семьи были очень большие, так и здесь, детей тогда много росло. Поэтому выбор, конечно, был. Ревность была. У мальчиков особенно. Могли они и подраться, могли и в речку выкинуть, мол, почему ты эту девушку берешь.

А было такое, что семьи разбивались из-за ревности?

Нет, семьи не разбивали. Не было этого, такого случая не было. Если уж поженились, то жили. Не уходили, жену не оставляли, детей не оставляли.

А было такое, чтобы женщины рожали вне брака?

Ну исключения были, немножко было. Но единичные случаи только. Очень мало, единицы, наверное.

А как относились к этим женщинам?

Так, конечно, родителям было стыдно. Родители, конечно, ругали. Но мало было этого, исключения только, не то что сейчас творится.

А свободное время как проводили здесь?

Так, свободное время. Вот взять, к примеру, христианские праздники, вот скоро будет Ильин день. В Горнем Шёлтозере в Ильин день приезжают из всех деревень — праздник Горнего Шёлтозера. Приедут гости, а как праздник проводится? Гуляния проводятся, значит, по четыре-пять человек в ряд друг за другом ходят. Так, танцы организовывали на мосту. Гармошка играет, гитара играет, балалайка играет, все танцуют. В основном эти инструменты были. Ну и к кому если приехали гости, то, конечно, дома угощались. Но не напивались, они по рюмочке только пили. А угощения были в основном рыба, мясо. Рыба озерная, а мясо свое, выращивали коров, телочек. Это до войны было, а после войны этого уже не видно было, семьи стали одинокими, мужья многие не вернулись домой, погибли. А молодые семьи этого не держали уже, коров не держали — нельзя было держать. Почему? Потому что не давали косить. Вот мы с мужем поженились и держали. Я держала овец, козочек. А для козочек надо веников, а веников надо было, наверное, тысячу носить. Придет, бывало, младшая сестренка — поможет. Сходим в лес, принесем. А муж работал на машине, поедем до Горнего Шёлтозера и поворачиваем на лесные поляны. На лесных полянах скосим немножко травы и привезем. И то директор совхоза увидит, что сено привезено, и велит: «Везите на скотный двор, почему скосили, где скосили?» Мы убеждаем, что, мол, не на ваших полях, не на совхозных. Все равно — везите туда. В общем запреты были. Или, например, мелиорация была. Нас просили очищать эти каналы, чтобы они не обрастали. Идем косить, совхозная бригада приедет: «Сено забираем». Мы косим, а они забирают все у нас, нам нельзя пользоваться. Коров нельзя держать было. Вот козочек держали только, зато дети росли здоровыми, больниц мы не знали, что надо по больницам ходить, не то что сейчас.

Скажите, пожалуйста, вы сказали, что во время праздников люди выпивали по стопочке, а были ли случаи, чтобы кто-нибудь злоупотреблял этим? И как обстояло дело с преступностью, были ли, например, случаи воровства?

Нет, нет, нет. Не было этого, не было. Только «услонцев» [УСЛОН — Управление северных лагерей особого назначения. — *А. О.*] мы боя-

лись. А «услонцы» кто были — заключенные, которые убегали. А вот я помню, что ходила с Горнего Шёлтозера с молоком, носила сюда продавать молоко, чтобы купить каши в столовой, пшенной каши. Это я хорошо помню, что молоко продам, каши куплю и иду дорогой. Так бывало, что в тех местах по горнешёлтозерской дороге, там была гора, обычно собирались «услонцы». Вот это место я боялась проходить, «услонцев» только мы и боялись.

Но они...

Но они не трогали нас. Им еда только нужна была. Они не убивали, ничего не делали.

А «услонцами» почему их называли?

Ну так называли заключенных.

Скажите, пожалуйста, как вы устроились на работу после войны?

Ну вот пришла я в РОНО, а как там узнали, что у меня курсы окончены, так и направили в детский дом воспитателем. Потом пришла и говорю: «Не могу я там работать».

То есть вы там недолго работали?

Недолго, несколько месяцев, полгода, наверное. А потом в детский сад, сюда. И здесь с августа 1946 по 1986 г.

А что у вас там за коллектив был?

Коллектив был сплоченный, одаренный, можно сказать. Наш детский сад был передовой. В нашем детском саду проходили конференции, приезжали делегации, проводили открытые занятия. Они проходили в большинстве в моей группе. Хотя много групп было, всегда заведующая мне говорила: «Полина Поликарповна, проведите занятие». Мы очень много с ребятами работали. Приучила я ребят к трудолюбию. Держали мы огород. И лук, и картошку, и овощи, свеклу [*выращивали*]. Был ягодный участок, малину растили, клубнику, смородину. А цветководство на клумбах, разные-разные цветы были. У нас красиво было, все озеленено. Только площадь, чтобы проходить [*была сделана*] и где физкультурное занятие проводилось. А в зимнее время, какие постройки делали. Даже с ребятами кремлевскую стену построили, голыми руками. Вначале наденешь рукавички, они сырые, так уже голыми руками. Потом тундру строили, горку строили с воротами, чтобы ребята могли и на лыжах, и на санках кататься. Оленей лепили, корабли лепили. В общем вся игровая деятельность проходила вот в этих мероприятиях. Строим, играем, дети все заняты. А уж чтоб снег где валялся, вот этого не было, всегда очищены все дорожки и сделаны постройки. И наш детский сад всегда славился этим, и зимой, и летом было хорошо и красиво. И сколько получили наград... Эти награды, наверное, переданы в

музей. У меня, наверное, наград тридцать, так тоже в музей сданы, оставлены только самые большие — РСФСР да Карельской республики.

А вы работали только воспитателем?

Да, ну иногда приходилось замещать заведующую, когда уходит в отпуск, а так только воспитателем.

А у вас не было желания пойти еще выше?

Учиться?

Нет, на более высокую должность.

Да назначали и секретарем комсомольской организации, так не отпускала заведующая. Нужна здесь была, на работе. Не отпускали, а куда еще идти — не знаю.

Вы сказали, что вас часто награждали, а какие еще поощрения были у вас, может, премии давали?

Премии нет, премии не давали. Только награды были, похвальные грамоты.

А стенгазета была у вас своя?

Стенгазета? Ну когда к какому празднику делали, так была.

Вас устраивала ваша зарплата на работе?

Зарплата была маленькая. Мы с часами не считались. Работали с семи утра и до семи вечера. В семь вечера, если родители не придут, все равно мы сидим, ждем. Раз они задерживаются. Может, на сенокосе, может, где-то, и никогда не упрекали, никогда не говорили. И не было у нас потребности такой, что вы за эти лишние часы уплатите. Мы не понимали этого, не требовали, сейчас вот за каждый лишний час требуют люди.

А вы не хотели сами поменять место работы?

А полюбилась мне земля. Очень мне нравилась земля. На земле мне надо было работать. А раз в садик пошла, то и детей полюбила.

Скажите, пожалуйста, были ли у вас в Шёлтозере неработающие люди?

Неработающие? Нет, не было.

То есть все работали?

Все работали, потому что были и колхозы, и совхозы. Все люди были заняты делом. Леспромхоз был, в леспромхозе работали, в школах, детских садах, библиотеках. Пожарная [*охрана*] была. У нас каменных разработок не было, так в Рыбреке были. Если кто желал, так в Рыбреку ехали. Так что люди все время были заняты делом. И бабушки старенькие были, так тоже по хозяйству работали. И в колхоз ходили. Вот, помню, старенькие бабушки, а в колхоз ходят, за эту же палочку, трудодень называется.

Скажите, пожалуйста, как вы познакомились со своим мужем?

Ой, случайно это было. Он попал за аварию на шесть месяцев в заключение. А за что, почему? Накануне они выпили браги, какое-то мероприятие проходило, и брага была выпита. А нужно было возить с Рыбреки рабочих. Куда? В Шокшу на разработки. И вот он возил этих рабочих в Шокшу на грузовой машине. И эта машина пошла по дороге и в кювет. Одна женщина заявила, что, мол, водитель нетрезвый. Его повезли на экспертизу, а он говорит: «Вчера я браги выпил», а тогда водки не было, брагу делали и брагу выпивали. И вот строго очень было, посадили на шесть месяцев, и он оттуда слал, писал письма мне. Раньше он, конечно, дружил с сестрой моей старшей — с Аней, которая погибла в армии, но я тогда еще была ребенком, малышом. Дразнили только их, когда они встречались в Горнем Шёлтозеро. Ну потом он стал писать мне, а я отвечала ему, ну, как сказать, товарищеские письма писала, дружеские. А я помню ехала когда с г. Петрозаводска на пароходе, он приехал на пристань за людьми, потому что надо было идти от пристани до Шёлтозера пять километров. Ну я выхожу с парохода, он меня увидел, говорит: «Полина, Полина, давай в кабину сейчас же». Я думаю: «Чего это в кабину?» А оказывается, хотел со мной по-дружески уже *[общаться]*. Ну так и подружались. Недолго дружили, осенью, бывало, в октябре у нас репетиция была. И директор Дома культуры говорит: «Полина, выходи, к тебе сваты пришли». Я говорю: «Какие сваты, у нас не было никаких разговоров насчет сватовства». Ну вышла. А он стоит со своим начальником, где он работал, с тетушкой, родителей, конечно, не было, с двоюродным братом и говорит: «Полина, ты уж прости, что не предупредил, но вынужден был. Давайте, пошли к вам». Я говорю: «У меня ничего нет». Мы в запасе ничего не держали, не покупали, хлеба если немножко есть да чай. Пришли они ко мне в дом, а Галя, моя сестренка, их не пустила в дом: «Полины дома нету, не пушу никого». — «Да мы пришли, мы замерзли очень, пусти, Галенька». — «Не пушу». Потом, когда я уже пришла с ними, тогда Галя открыла. Я опять говорю: «У меня ничего нет». «Ничего не надо, у нас все припасено с собой». Я тут к Клавдии Михайловне сходила за рыжиками, рыжиков принесла им на закуску. Но я, конечно, ответа не дала им, стала тянуть, мне надо посоветоваться с сестрами. Потому что они у меня еще не устроенные все, все еще учатся. Договорюсь, тогда *[ответ]* будет. А у самой был другой мальчик, с которым я пять лет дружила, но он, правда, был с Заонежья. Работал председателем колхоза, потом в Министерстве сельского хозяйства — Коробкин Андрей Акимович. Я ему после сватовства этого дала телеграмму: «Как ты реагируешь на это,

меня посватали?» Он через строгие выговоры как член партии приехал сюда. Пришел ко мне, конечно, в первую очередь. А у меня сидит вот этот кавалер, жених, как называется, сватал ведь. И встали — один уткнулся в книгу, другой пишет записки, подружка моя вяжет, я, значит, тоже сижу, вяжу. Ну я, конечно, ответ дала этому, пишу: «Если хочешь разобраться, приходи ко мне в детский сад после рабочего времени, после шести вечера, в семь часов, наверное, свободная буду». И если бы он, конечно, мне не сказал так, что, мол, за кого я выхожу замуж, может быть, я еще положительно ему ответила. Мол, подожди, время пройдет и все уладится. А он мне сказал, конечно, плохо: «Мы с тобой знаем друг друга уже пять лет, ты знаешь меня, я знаю тебя, а с ним мало ты дружила. За кого выходишь?» Ну это слово плохое. «За тюремщика» [то есть за бывшего заключенного. — *А. О.*], — ответил мне. Я говорю: «Знаешь что, Андрюша. От тюрьмы да от смерти нельзя убежать, с каждым человеком может случиться всякое. Он ведь не за политику сидел. Было такое дело — было. С каждым человеком может такая неприятность быть». Тогда строго ведь очень было. Ну потом наладился: «Прости меня, прости», — говорит. «Если все наладится, ты ко мне больше не приходи, ты иди к подружке в парикмахерскую, там подружка тебе ответит, согласна я буду — значит, все. Если нет, значит, жди, жди ответа». Так с октября до Нового года я тянула. И городские родители вот этого, моего мужа [будущего мужа. — *А. О.*] приехали сюда, говорят: «Полина, ты волокиту тянешь. Дружишь с моим сыном, а выходишь за другого, мы все знаем ведь. Кто приехал к тебе, с которым ты дружила?» Ну я говорю: «Ладно, ладно». А мама очень строгая, она как стукнула по столу, мы с подружкой сидели за столом и говорит: «Нечего тянуть вопрос! Выйти замуж, так выходи! Нет — так давай ответ, мы так не уйдем отсюда!» Ну испугалась я ее строгого стука и говорю: «Ладно, выйду, выйду». Они ушли довольные, что я дала согласие, пришли на следующий день, согласовать, когда делать свадьбу, как быть. Я говорю: «У меня для свадьбы ничего нет, я сирота, накоплений нет, детям помогаю еще, дети учатся, им надо помочь». Да и самой надо одеться было еще для свадьбы. Но все равно свадьбу мы сыграли здесь, в Шёлтозере. Квартиру мы наняли в двухэтажном доме Ждановых. И вот туда пригласила работников детского сада, своих родственников, свою крестнушку, зав. РОНО, который был вместо отца у меня, и играли вот здесь. Что у нас было на свадьбе? Тогда водки не было, только была брага на столе. А муж, будущий муж, он возил еще в аптеку спирт. Так в аптеке ему дали еще немножко спирта и он, видимо, для мужчин его развел. До трех часов мы играли, значит, свадебовали в ждановском

доме, а в три часа ночи, он сам, конечно, не пил нисколечко, за руль, на машину и в город. Родители там были, сестра старшая там была, и вот два дня там еще свадьбовали, гуляли, потом уже приехали сюда. Тот бывший, с которым я пять лет дружила, он встретил меня после свадьбы у магазина на перекрестке на Гористой улице: «Полина, Полина, что ты наделала, оставила ты меня». — «Твое счастье впереди, найдешь еще». — «Не найду с таким характером, с тобой мы друг друга знали. Характер у тебя такой хороший, я был согласен на все это. Вот почему ты тянула волокиту, обещания давала. А я слушался тебя, ладно, подожду, подожду. Вот и дождался я тебя, ты обманула меня. Думал, поедем с тобой, будем в Москве жить». — «Да никуда я не поеду с тобой». А у него высшее образование, сельскохозяйственный техникум и высшее образование. Ну и отправляли его в Москву еще учиться. Так вот этот муж, за которого я вышла замуж, за Егора, увидел и заревновал, увидел встречу на горке, что встретила с ним, а окна на магазин выходят. Прихожу домой — не разговаривает, не садится за стол. «Э, ты что?» Я сразу заметила: «Знаешь что, дорогой, если мне любо было выйти замуж за него, я отказала бы тебе. Раз вышла за тебя, переживать нечего. Почему я тебя не ревновала, сколько подружек у тебя было — я не ревновала. Фотографии есть — я не ревную». Так что он сказал: «Я соперников должен лупить». Так и не удалось ему, соперник вынужден был потом уйти, уехать. Хотел сорвать нашу свадьбу — рассказывали горнешёлтозерские. Хорошо там бригадиром был Фрол Иванович, так он его уговаривал: «Андрей Акимович! Не стыди сам себя! Не унижай сам себя! Разве можно такое делать. Она выбрала уже другого — не ходи. Есть Тася!» — «Мне Таси не надо, мне Полина нужна!» Так вот остановили его, а то хотел сорвать нашу свадьбу. А вот когда приехал сюда, у меня уже был муж умерший, я говорю: «Помнишь ли случай, как хотел мою свадьбу сорвать?» — «Как же не хотел, нечего было так делать, поступать». Ну конечно, у него несчастливо сложилась судьба.

А где после свадьбы вы жили?

Жили мы здесь, в Шёлтозере, на горе, нанимали дом вначале.

То есть снимали?

Да снимали, платили. Ну платило государство, правда, сельский совет. Тогда плату брали пять рублей. Если двести пять рублей зарплата была. Ну потом просили освободить квартиру — освободили, пошли в другое место, в конец деревни Шёлтозеро, жили там. Тоже попросили, только немножко временно пожили, опять приезжают: «Освобождайте квартиру — нам квартира нужна». На остановку поехали [то есть место, где сейчас находится автобусная остановка. — *А. О.*], там пожили год, у

меня уже двое детей, нет, один был ребенок, вторым беременная я была. И эта часть дома [где проходило интервью. — *А. О.*] стала продаваться — коммунальная квартира была, где жила одна хозяйка и стала уезжать. Мы и решили купить. Купили, но, правда, деньги брали заимообразно у старшей сестры мужа в долг. Но потом рассчитались. Купили эту сторону дома, а потом стали продавать вторую половину. [*Мы*] никому не отпустили, решили взять. Детей-то у нас прибавилось, было много. Семья большая, поэтому и купили. Но недолго пришлось жить Егору, тринадцать лет только я пожила с ним. Почему так случилось? Хотя у него фронт пройден, вся война. С 1938 г. года в армии был, а в 1946 г. только с армии освободился, хотя война кончилась в 1945 г. В 1946 г. вернулся домой и устроился на работу в Лестехзаг водителем. У него только водительские права были, высшего образования не было, только десять классов, среднего специального тоже не было. Возил он лес, возил в Лестехзаг. А начальник Лестехзага Наволоцкий говорит: «Егор Андреевич, поезжай по берегу реки, вези лес туда-то». А он говорит, не помню, как звали [*человека*]: «Лед-то не толстый еще, а вдруг провалится машина». — «Не провалится, выдержит». Он и поехал, машина и бухнула передней частью прямо туда, в озеро. И весь лес-то на кабину, колесо рулевое сломалось, его прижало туда. Его сняли с горем пополам, привезли в больницу, мне сообщили. Прихожу в эту больницу. «А почему вы Полине сказали?». Как же не сказать-то. Он говорить-то говорил, хоть и тяжелый был. Ночами сидели, да кислородными подушками спасли в больнице. Он потом вроде как выздоровел. Врачи делали диагноз, что вроде как сердечная недостаточность у него будет. Ему нужен легкий труд. И перешел на работу, туда на легкий труд — возить хлеб в населенные пункты — в Шокшу, в Рыбреку, в Каскесручей [населенный пункт недалеко от Шёлтозера. — *А. О.*]. Ну а экспедитора нет, самому надо было ящики носить, грузить. Вот там он разгружал и носил. И вот в один вечер, вернее, был не вечер, а утро, надо было завести машину у пекарни. Был сильный мороз, и машина не заводилась. А машину надо было заводить ручкой, сейчас не заводят так, а тогда была. Очень долго заводил он эту машину, никак не заводится, потом постоял он у этой машины, видимо, у него сердце схватило. Ему говорят: «Не поезжай, Егор Андреевич, с хлебом». — «Как не ехать, народ не виноват, хлеб надо везти людям, ведь голодать никак нельзя людям, хоть как надо поехать». Он съездил туда, съездил туда, потом поехал домой. Вечером пошел еще на собрание, как раз у младшего сына — выпускной, нет, не выпускной, 19 февраля, видимо, после окончания Нового года или какое-то другое. Пришел домой, стали ужинать, а младшему сыну и

говорит: «Ну, Толик, я к вам больше не приду на праздник». — «Почему?» — «А почему вы не благодарите ни директора, ни учителя, такое хорошее дело они делают для вас, столько подарков вам дарят, а вы не благодарите?» Потом лег спать, а я пошла в спальню, мне надо было готовиться к родительскому собранию, доклад писала. Потом пошла спать. Смотрю, он чего-то задышал тяжело, ему, конечно, уже заперло. Я за врачами побежала, но он уже готовый был.

Скажите, пожалуйста, когда вы с мужем жили, у вас большое хозяйство было тогда?

Хозяйство? Были у меня козы, овцы. Овец держала. Молоко свое, овечки свои. Нет, овечки, наверное, потом. Козы только были тогда.

То есть у вас достаток был в семье?

Ну не знаю. На питание, конечно, хватало, но одевались мы, конечно, через кредит. Все приобретали через кредит — и мебель и все такое только через кредит.

А где вы покупали одежду, что-то еще в дом?

Одежду покупали в универмаге. Правда, в кредит брали большинство, так денег не хватало, конечно.

А какую-то технику покупали — часы, граммофон?

Часы мне купили, когда я родила первого сына. Из Пензы заказали маленькие часики. А так — нет. Граммофонов не покупали. Ничего этого не было у нас. Патефон был папин, так ведь играли, разобрали и сдали только в музей. Там отдельные части только. В общем я работала всю жизнь, богатства не занимала никакого, ни ковров. А так своими руками все сделано — все дорожки, все круги. Зимой холодно, так все это богатство расстилаем.

Не привозили ли какие-то вещи из Петрозаводска, других крупных городов? Может быть, какие-то деликатесы?

Вот, например, после войны сразу, когда мы приехали, американские подарки были. Давали нам американские подарки — платица. А больше ниоткуда ничего. Ну вот старшая сестра у мужа была. У нее дети росли старшие, так что остаются обноски — все она отправляла сюда, для моих ребят, для старшего сына, для дочери и для младшего. А мы отсюда им... Ходили в лес, грибов собирали много, рыжиков собирали много. Я их [детей] посажу на автобус, едут туда и везут они с собой в город это добро.

Вы говорили, что раньше в семьях было много детей — по пять-шесть человек...

В Горнем Шёлтозере я имела в виду.

А сколько детей, по-вашему, должно быть в семье?

Три ребенка уж обязательно надо было. У нас трое и было.

А кто у вас отвечал за воспитание в вашей семье?

Ой, мы оба. Он очень любил детей, очень радовался детям и вот придет, бывало, туда, к сестре старшей, а те дети немножко постарше, так на шее нависали у него. Он очень детей любил. И вот, бывало, пойдём работать в огород... Сейчас трактора пашут, а тогда — он, я и дети и все копаем лопатами. Сажаем сами. Дети были трудолюбивые. Они полюбили труд с самого детства — как дочка, так и сын. А младший сын погиб. Он был тоже очень трудолюбивый мальчик.

Вы сказали, что всем свои детям прививали трудолюбие, а какие еще качества вы у них воспитывали?

Честность, правдивость, труд. Самое главное. В садике я такое давала ребятам, чтобы дети уважали друг друга, не ссорились. Однажды делегация к нам приехала и стала слушать и смотреть. Дети у меня говорили шепотом, голоса не повышали никогда. Так они, взрослые, говорят: «А есть ли у вас ребята в той группе?» — «Как же нет, посмотрите — все там!» А проводила еще для того, чтобы быть здоровым ребенку, закаливание зимой и летом. Что делала я? Так делали и другие воспитатели, но не совсем правильно, не совсем все идеально делали. А я-то делала без перерыва. Летом у нас было сделано так: бак поставлен и с бака текла холодная вода, как душ. А зимой снегом растирались, и никогда мои дети в садике не болели.

Скажите, пожалуйста, какие книги читали в вашей семье? Покупали ли вы книги или ходили в библиотеку?

Книги? Я всегда много читала. Ну когда в Петрозаводске училась, то все, что надо, все, что задавали по программе, все читала. А тогда не как сейчас было — учебники дорожные. Нам книги выдавали бесплатно, только читай. А потом уже, когда работать начала, так читала методическую литературу. Как с детишками общаться, какие приемы новые можно использовать. Но покупали-то редко, в библиотеке здесь [в Шёлтозере] брали. Детям своим книжки читала.

Скажите, пожалуйста, какие газеты вы читали, и если выписывали, то какие?

Разные. «Ленинскую правду», например.

Какие радиопередачи вы слушали?

Это в 1940—1950-е гг.?

Да.

Так, радио целый день играет, а так не помню, чтобы какие-то специально слушали.

Скажите, а у вас в Шёлтозере было ли какое-нибудь передвижное кино или, может, приезжали какие-нибудь артисты, устраивали концерты?

А кинофильмы показывали из своих аппаратов, киноленты привозили. Кино вот тогда, когда еще не было телевизора, часто смотрели. Потому что на танцы мы редко ходили. Ну а артисты приезжали, они и сейчас приезжают, почему бы нет. Да мы сами артисты. В хоре ветеранов [пели], в вепский народный хор я ходила до 1946 г., а потом до 1953-го, пожалуй. В 1953-м вышла я замуж, потом уже не стала ходить. Потому что дети пошли у меня, а потом организовали ветеранский хор.

Скажите, а опять-таки в те годы у вас много было друзей, вернее, подруг?

Ну подруг-то, конечно, много было. Это сейчас они разъехались. Если мы встречаемся через двадцать да тридцать лет, то есть чего вспомнить и поговорить. У меня подруги сейчас по месту жительства, ведь без друзей нельзя жить. Мы всегда были дружны между собой, всегда поделимся впечатлениями: и хорошими, и плохими, и горестями, и радостями. Все вместе, заодно.

Скажите, пожалуйста, опять-таки в 1940—1950-е гг. часто ли вы устраивали праздники?

Да, да. Праздники — Первое мая, Девятое мая, Седьмое ноября, Новый год — это были праздники самые основные у нас. Всегда [отмечали] и собирались с гостями. Те пары, которые дружили, те собирались вместе.

А как отмечали?

Ну как отмечали? Сидели, пили, плясали, танцевали, пели песни. Ходили в Дом культуры на танцы. Женщины уж не так пили, немножечко пили, мужчины побольше пьют. Ходили на танцы. На танцы приедешь, а там очень много населения такого в возрасте, вот как я сейчас (мне 80 лет), а были помоложе еще. Так соберутся все, сядут на стулья в круг вот так [показывает руками широкий круг], а мы внутри танцуем, они все любят, кто как танцует. Время было, знаете... пусть есть, пить не так достаточно было и одеваться, но время проходило очень интересно и весело. И дружно, дружески. Мы никогда не ссорились, не обижали друг друга, а наоборот, еще помогали. Бывало, картошку если идем сажать в Горнем Шёлтозере, мама тогда в колхозе работала, то обязательно соседи прибегают помогать. Так и мы другим, все они помогали друг другу.

А вот на праздник, на Первое мая были ли какие-нибудь собрания, митинги?

Митинги были, в Доме культуры организовывались. Потом давали небольшие концерты. А после концерта — танцы. Вот такие мероприятия проходили на этих праздниках. Торжественные доклады обязательно были. Лекторы были с района или же директор школы. В общем на усмотрение или представитель с райкома партии. У нас ведь здесь Шёлтозерский район был, так райком партии свой был. А потом уже стали представители из Прионежья приезжать.

А приезжали ли к вам лекторы, читали ли лекции на научные или популярные темы?

Да нет. Пожалуй, этого я не знаю, не помню. Таких не было.

Скажите, а когда вы работали, вы получали еще какое-то самообразование, вот вы говорили, что научно-методическую литературу читали? То есть вы еще что-то делали для себя, чтобы повысить свой уровень знаний?

Так свой уровень знаний по работе только. Как в другие детские сады пойдешь, обязательно даешь то, чего у них нет, то, что где-то узнала.

Скажите, пожалуйста, а какое было отношение к религии в 1950-е гг.?

Не было такого. Мы не относились к религии. И сейчас тоже так, не особо. Здесь только [прижимает руки к груди] есть что-то, а в церковь не ходим. Так только, если свечку поставим.

А вот Пасху вы отмечали?

Пасху? Дома. На кладбище ходили, свечки ставили. Бывало на Пасху идем, ой сколько народу идет на кладбище, с семьями, с детьми, с водочкой, свечками, угощением — и все на кладбище. А сейчас редко.

А вообще в Шёлтозере в 1950-е гг. кто-нибудь ходил в церковь или это не приветствовалось?

Да нет, не было церкви.

Церкви не было?

Церкви пустовали, стояли, но клубы были организованы. В Горнем Шёлтозере большая-большая церковь была, там организовали клуб вначале. А потом заготовительный пункт, зерно сушили там, держали. А сейчас совсем разрушена. Да и часовня была, в Качозере часовня была.

Вы говорили, что к вам приезжали представители других национальностей — украинцы, белорусы. Вы помните какие-нибудь анекдоты про них? Может, как-то высмеивали друг друга по-доброму?

Ой, не скажу, не знаю, не могу про это ничего сказать. Мы не смеялись, по-человечески говорили с ними, по-хорошему. Как будто они наши и есть. Они же не виноваты — переселили, так переселили. С одним

мальчиком-переселенцем я дружила немножко. Все заигрывал, хоть молодой был, я ему говорила: «Иди ты от меня, иди». В Горнем Шёлтозере баловались просто, он был белорус.

Скажите, пожалуйста, вы помните, как проходили выборы у вас в местные советы?

Выборы? Выборы проходили у нас, можно сказать, празднично. Агитационная работа шла, проводили такую работу. Если назначены были депутаты такие-то, по участкам, по улицам, то по одной улице депутат был, по другой улице депутат был. Кандидаты это были в депутаты. Тот, кто был агитатором, ходит по квартирам и говорит: «Какое стремление, желание будет у тебя? Будешь голосовать, значит — да. Голосуйте за такого человека». И в этот день с утра, выборы открывались не в восемь, а в шесть утра, так вот до прихода агитбригада поет песни, встречает избирателей. И эта группа, агитбригада, ездила по всем деревням песни петь во время предвыборной кампании. Такие у нас были дела во время выборов.

А не приходилось ли вам или вашим знакомым судиться?

Судиться? Я судилась из-за своего дома. Вот сейчас, недавно, одна четвертая дома принадлежала родителям. Мы эвакуировались, документов никаких не взяли и здесь в архиве не нашли. В сельскохозяйственном архиве есть книга, а учет не ведется, как будто эта одна четвертая доля не наша квартира. И вот приходилось поднимать архивы на ул. Куйбышева, и передавали в суд. В суде, конечно, решили, что все данные найдены согласно справкам, только мое имя было там написано Пелагея, и сейчас по паспорту пишут Пелагея, а так все время звали Полиной. И во время войны, тоже не знаю, почему, было Полина написано в паспорте. Но Пелагея — я не люблю этого имени, не хочу. Так вот из-за этого имени я еще свидетелей приглашала и из-за этого дома. И свидетели говорили: «Как же так, мы в этом доме жили, никакая это квартира не совхозная, не колхозная». А наше правительство, местная администрация, считала, что это контора совхозная, колхозная была. А на самом деле — это квартира наша. Почему она опустошилась — после войны мы приехали, потом мы все разошлись, жили там: ветеринарный врач жил, а потом одна хозяйюшка жила. А после хозяйюшки, умерла она, студенты приезжали на копку картофеля, на уборку урожая, они жили. А после них никто не жил, и квартира была закрыта совершенно. Так вот эти и считали: «Когда вы приехали туда, ваш папа был директор совхоза, и это была совхозная контора». Я говорю: «Во-первых, совхоза не было тогда, а был колхоз, папа был не директором, а был председателем колхоза, и контора была у них совсем в дру-

гом доме, а это была квартира наша». И пришлось мне подать в суд. Суд дал указание, и квартира принадлежит нам.

Скажите, пожалуйста, среди ваших знакомых или родственников был кто-нибудь репрессирован?

Репрессирован был, через мамину сторону, маминой двоюродной сестры муж. Десять лет сидел. Остальные на фронте погибли и в эвакуации в Вологодской области умерли.

А то, что муж сестры вашей мамы был репрессирован, это как-то повлияло на вашу семью, на ваши взгляды?

Ой, ну как же, мы, конечно, жалели очень. Они были самые первые, приехали с эвакуации. Так крестнушка моя обратилась в первую очередь к нам, попросилась, Павла Семёновича еще не было дома, он был взят, еще срок не подошел, видимо, он ведь десять лет сидел, бедный. Так очень гостеприимно [*отнеслись*], а потом освободили, очень хороший человек был, душа-человек. Но мы не знали, почему взяли, за что взяли. А сколько невинных людей брали тогда, придут ночью, заберут ни за что ни про что. Так вот мама наша тогда заплакала. Думала, что папу нашего арестовывать будут: «Нет, не бойтесь, его в Москву берем, как лучшего работника — тракториста». Стахановец он был.

Скажите, пожалуйста, как вы попали в партию, стали членом партии?

В партию? Из комсомола. Секретарем брали в райком комсомола работать, заведующая меня непустила. Потом стали вызывать в райком партии на собеседование. А в райкоме партии стали агитировать меня: «Давайте, в партию вступайте». Я говорю: «В партию вступлю, только мне рекомендацию надо, а рекомендацию я от кого возьму?». «Так дадим, я дам, директор школы даст, зав. РОНО даст». Так и сделали, сегодня и дали, и я вступила в партию. Вначале рядовым членом была, потом в бюро была, выше не была.

Это в районе?

Да, в районе. В Шёлтозерском.

А вы чувствовали какое-то особое отношение, или, может, какие-то особые обязанности были у вас как у члена партии?

Члены партии партийной организации подчинялись. Если уж партия скажет, они выполняли. И не делали то, что не надо делать, подчинялись. И дисциплина была. На работу не опаздывали, во-первых. Если на работу опоздаешь, а пять-десять минут надо было идти, были времена и судили. Старались, старались дисциплину соблюдать. И на рабочем месте работали так, как надо. Так что много партия играла.

А как вы к этому относились?

Они направляли нам письма — какие решения приняты. Эти решения мы читаем, с чем соглашаемся, с чем не соглашаемся. Вот особенно зав. РОНО у нас был, очень принципиальный человек, член партии, он разбирался хорошо, а мы еще моложе [были], не так разбирались в этих делах. Он относился уже противно к этим делам — то, что творилось со Сталиным. Уже последние письма приходили, секретные — что делалось там неверно с ним. А другие члены партии не согласны были, это, говорят, вранье там идет. Нет, говорит, там все справедливо. Так этого зав. РОНО не стали любить учителя в учительском коллективе. Он был справедливый человек, честный. То, что творил там Сталин, — это неверно, нехорошо. Сколько он делал ошибок, сколько пакостей делал, сколько народу погубил. Ни за что ни про что убивал. Ведь было это, было. А ведь на идеях его жили, учились, работали, старались подчиняться: «Ой, какую жизнь-то он дал хорошую». Но жизнь-то была хорошая, не скажу, что плохая была жизнь. Мы работали, трудились, все выполняли, все то, что надо было, все делали. Всю жизнь работали, трудились, отдыхали. В выходной день, если не воскресник, то идем на озеро. Или на стадион идем всей семьей: там или в футбол играют, или танцевальные коллективы танцуют и поют. А на озеро идем, на песочке загораем, берем с собой закусочки, бутылочки. Мужчины пьют, мы с детьми там вместе с ними, в общем весело время проходило, очень весело.

Скажите, пожалуйста, в то время кто вам больше нравился из партийных, государственных деятелей?

Ну как... Молотов раскрывал черты Ленина. Я не знаю, есть правда или неправда, правда ли, что говорят очень много плохого [о Ленине], а ведь он дал первую точку электроэнергии, как он учил народ трудиться, а сколько у нас было разных производств, сколько всего было, а сейчас все приостановлено, все у частных, чиновников, богачей-миллионеров. А мы жили достаточно, в магазинах всего было. Иди, возьми, нет денег — в кредит возьми, потихоньку выплачивай, ежемесячно выплачивай и все. А мы всего-то не знали, хоть делал Сталин скрытно там, мы всего-то не знали, не было открытости, откровенности.

Как вы отнеслись к смерти Сталина?

Так плакали все, как Сталин-то умер. Потому что воспитывали нас так.

То есть это было искреннее чувство?

Да. Очень даже. А потом узнали то, что творилось. Теперь особенно раскрывается то, что творилось, и подробно уже. Сколько сделано им

вреда, это уже никуда не годится. А тогда ведь все было в наших сердцах, что на примере Ленина мы воспитывали детей.

А был ли в Шёлтозере памятник Сталину?

Нет, не было.

Спасибо!

Интервью с Николаем Константиновичем Яковлевым, 1925 г. р.

*Записал А. Ю. Осипов,
г. Петрозаводск, 27 ноября 2006 г.*

Родился я в 1925 г. в Петрозаводске. Жили мы на улице, раньше она называлась Гористой. Вот там я родился, жил там, учился в школе. А в школе, знаешь, где памятник — камень есть, где Дом крестьянина был [позднее на этом месте располагалась Госфилармония. — А. О.]. Там памятник партизанам, и на этом месте стояла школа. Школа была четырехклассная, одноэтажная, но старинная. А потом перешел в школу девятую, раньше она называлась четырнадцатая. Тоже знаешь где — у военкомата, напротив военкомата, республиканского или городской там военкомат. По-моему, городской военкомат. Как раз, где лабанда. Знаешь, что такое лабанда?

Нет.

Ну, короче говоря, там, где Лососинка, там, где как озеро проходит. Вот это называлось лабанда. Там есть еще плотина. Мое место, здесь детство провел.

А ваши родители откуда родом?

Отец здесь, в Петрозаводске, на Онежском заводе работал. Тогда ведь еще Александровский назывался. Дед тоже там же работал. Оба были связаны, раньше ведь не было никаких особых [условий], с лошадами. А по матери — шуйский. Мой дед в Шуе был балтийский моряк. В Шуе мама жила, потом работала на Александровском заводе. Потом в КарЦИК ее взяли, поближе к начальству, в общем такая история. А начало войны? Я только окончил семь классов как раз, тогда период был небольшой [до начала войны], тогда модно было в ФЗО, тоже на Александровский завод. Там и учились, и работали, ну как, практика была. Теория и практика. И война — 1941 г. Мне шестнадцать, я рвался, конечно, посмотреть мир, сам тоже представляешь, куда-то уехать, по-

смотреть. И вот все это совпало. Эвакуировали Онежский завод, станки. А тогда было очень трудно в этом отношении. Вся рабочая сила подходит, а там была тоже железная дорога, вагонетки, тачки — все на руках. И вот эти старинные были на заводе станки, еще петровские, их тоже грузили. С одной стороны «раз-два взяли» — тросы, на бревна, по бревнам поднимали и грузили на платформы. Нашу школу отправили на Урал вместе со станками. Теплушка — вагон, нас туда группами и отправили. Отправили в Свердловск, до Свердловска ехали, наверно, около месяца. Потому что войска, это был 1941 г., отправляли на фронт с Урала. Нас ставили в тупики, так почти что месяц. И дальше продолжали учиться в ФЗО, также на заводе, помогали взрослым. Когда окончили, нас отправили в Свердловск на 46-й московский завод, где производили боезапасы для фронта. Ну самая главная задача какая? Мы восстановили станки, все сделали, запустили их, под открытым [небом]. Тогда еще не было ничего, и [сказали]: вот прямо здесь будет завод. Станки смонтировали, и потом только корпус делали. Все-таки сразу производили. Дело сделали — это наша задача была. Теперь наша задача была, ну не задача, в общем рвались парни на фронт. А когда отсюда выехали, было лето, мы в одной летней одежде: фуражечка и форма, типа кителек такой — все, никто за нами ничего [не следил]. А потом зима настала, надо как-то одеваться да работать. И одеться надо, ни матери, ни отца. Короче, было всего там. Из нашей школы ФЗО не вернулось восемьдесят процентов. Так там и остались: кто-то умер от голодовки, кто-то — от болезней, ну в общем трудно, очень трудно было. Но хлеб нам давали — восемьсот грамм, как и всем. И по карточкам. А что по карточкам — крупа и все, что парню крупа эта и все такое. Там, где мы жили в Свердловске, а я жил как квартирант у бабушки, она там что-то немножко мне готовила. В общем трудно было. Вообще-то было не до нас. И паника, и все — чего только не было. Но продукцию делали. И решили мы с товарищем убежать на фронт, мы тогда еще не знали... А потом краем уха узнали, что в 1942 г. будет организована школа юнг. Ну-у-у, для нас это мечта была туда попасть. Мы еще с детства с дедом ходили на Ивановские острова рыбачить. Тут на Онего до войны стояли военные корабли, сторожевики. Я пацаном специально бегал на берег смотреть, как они физзарядку делают, когда у них там тренировки учебные. «Ну все, надо в [школу юнг] попасть». Пошли в военкомат. Ходили-ходили в военкомат: «Вам еще придет время, потому что года не подходят». Но нам выдали все-таки повестку, мы сразу к директору: «Вот у нас есть документ, мы уходим на фронт». Он говорит: «Никаких вам фронтов, будете вкалывать, работать. Вот ваше место, и по закону надо

отработать». За то, что мы учились. Мы учились полгода, к примеру, побольше, наверно, а работать надо было, как в военное время. Подумали-подумали — что делать, пошли с ним в парикмахерскую — под Котовского, шмотки какие были немножко — распродали. Теперь надо было, что бы был в комсомоле, а мы уже были комсомольцы. Надо от родителей заявление, что отпускают, а родители — мы вообще не знали, живы или нет. Ну я соседку попросил, я продиктовал, она написала, что «не возражаю» за родителей. Собрались в кучу — и на вокзал, а ребята местные нам сообщали тоже, что уходят в школу ВМФ. И вот таким образом мы на вокзал, там построение, мы в строй встали, а там кто-то не пришел. Шагом марш в теплушки, а мы ее называли не теплушка, а телятник. И таким образом мы попали в школу юнг. Везли что-то нас очень долго — в Архангельск. Мы еще ничего не знали. Знали, что где-то ближе к фронту. В Архангельске медкомиссия — кто попадет, а кто и нет. Я прошел, мой друг — Вихров Ваня — тоже прошел. Нас одели: шинель до пят, вот такие ботиночки [показывает руками] рабочие, роба. И там немножко строевой прошли. Нас отправили на транспорт, большой такой с крестом, в общем калоша, и мы очутились на Соловках. Нас высадили. А еще когда комиссия была: «О, школу ФЗО закончил — все БЧ-5». А БЧ-5 — это мотористы, с техникой связано. Я говорю: «Нет, ни в какую. Я хочу быть рулевым». Я тогда еще ничего не знал, рулевой, думал, обязательно с командиром. Нагляделся здесь [в Петрозаводске], как командуют с мостика, в курсе дела был. Тем более, в Ленинград ездил частенько, там у нас родичи жили, видел корабли. Был в то время упрямый. Взяли меня в рулевые. На Соловки прибыли, в Кремль. Ты был на Соловках?

Нет, не был.

Нас отправили в Саватьево — это двенадцать или тринадцать километров от Кремля. И началась учеба, жили в палатках, потом стали подмерзать уже к осени и стали строить землянки, рыть. Учеба — обязательно вахту держали, надо службу нести, работа. Утром вставали в шесть часов — физзарядка (в любую погоду), труссы, противогаз, купание, прыжки с вышки пятиметровой. В общем нас закаляли хорошо. И потом, значит, завтрак, учеба по расписанию. Рота одна, у нас было три роты, расходная называлась, которая обеспечивает питанием, дровами, всем прочим, дежурства, вахту на объектах, часовыми стоять надо на посту. Так менялись в неделю два раза. Все на своем обеспечении. Год проучились и нас по кораблям на разные флота и флотилии. Тот, кто хорошо учился, имел выбор. Ну а я любил лыжи, зиму, поближе к Петрозаводску, Мурманску, Полярному [хотел быть]. Штаб флота был то-

гда в Полярном. И я на Северный флот [попал]. И нас в Ваенгу, тогда еще не Североморск, а Ваенга называлась, отправили. Прибыли, и нас отправили в подплав: я очень был рад — подводные лодки, у меня мечты были. Но нас отправили на корабль «Умба», это база подводных лодок. Если лодки стоят где-то в губе или в каких-то районах по побережью, то этот корабль их обеспечивал. Это военный корабль: пушки, пулеметы, все нормально. Вот на него нас пятнадцать или двадцать человек юнг отправили. Там тоже были дежурства: драить палубу, шлюпки, прочее, прочее. Вкалывали, «полундру огребали», короче салаги. Выдали нам ленточки настоящие, когда присягу принимали на Соловках. Дали нам ленточку, а ленточка с бантиком. Надо было заслужить еще ленточку настоящую морскую. Раньше было так: «Подводные силы», и корабль называется «Умба» или «Гремящий», например, написано. Гордились своим кораблем моряки, особенно салаги. А сейчас пишут «Северный флот» и все, «Балтийский флот» и все. Раньше было вот так: обязательно корабль, на каком корабле [служить]. Вот таким образом служба шла, а я все-таки... Подходит лодка с моря, она была там месяц-полтора. Приходят моряки — усталые, грязные, с бородой, небритые. Они — в баню, парятся, моются, отдыхают, специальные для них кубрики. А мне завидно. А они приходят с победой, у них там банкет, награждение орденами, командующий приезжает, награждает, отдых — три дня отдыхают, потом лодку ремонтируют. А часть личного состава — в дом отдыха на неделю, на две, чтобы восстановиться и снова идти на боевые действия в свой квадрат. И вот как-то у нас были учения с летчиками, чтобы связь была между летчиками и моряками. И я разговорился с одним офицером: он в канадке⁷⁰ был, не знаю, какие знаки различия. Тогда еще и погон, по-моему, не было. Были нашивки здесь [показывает на рукав]. А у меня звание было сперва юнга, а потом краснофлотец. И я с ним разговорился: он спросил — откуда, что, чем-то я понравился ему, я стоял как раз на вахте. Вахту кончил, а на вахте нельзя разговаривать, он ко мне подошел, расспросил — как, что. Я говорю: «Вот, петрозаводский парень, мечтаю на лодку попасть». И все, на этом кончилось. Потом, через некоторое время: «Яковлев, срочно к дежурному». Пришел, доложил, все нормально. Он говорит: «Быстро собрать шмотки. Стоит катер торпедный — на катер в Полярный». А мы стояли в Варене, недалеко в общем от Полярного. Я сразу смекнул, ага, ясно, понятно, в чем дело. А оказывается был в канадке в этой самой комбриг Егоров, это позже я узнал. И меня на С-103, на лодку, а я

«во» (хлопает себя по уху), учили-то нас на надводных кораблях, а я попал совсем в другую систему. Пришел, значит, командиру доложил. Командир говорит: «Иди к боцману». Боцман в первом отсеке, я пришел, доложил, что я прибыл для прохождения дальнейшей службы, значит, такой-то, такой-то, юнга Северного флота, учился там-то, там-то. А они только пришли с похода. Я помню, в отсеке стоит бочка с капустой вместо стола, слева и справа койки, торпеды запасные, торпедные аппараты, проход совсем маленький — только-только двоим разойтись. Койки на цепях, чтобы их убирать, чтобы было больше места, а у самого борта торпеды. Четыре торпедных аппарата и четыре запасных. Сразу спрашивает: «Комсомолец?». Я говорю: «Да». — «Сейчас проверим». Наливает мне красного вина, а я уже привык к этому делу, поморячился. Шлепнул, он говорит: «Закусывай». — «По первой не закусываю». — «Ого». Потом он меня провел по всей лодке, познакомил с личным составом. «Задача твоя — пока устройство корабля не сдашь, на вахте стоять не будешь. И вообще, может быть, тебя и не возьмем в поход, в боевой поход». Я об этом мечтал — попасть в настоящее дело. Это он специально сказал, чтобы я закрутился и вкалывал, работал. Ну прошло время, был как раз ремонт этой лодки, поставили в док, мне повезло — я успел сам корабль хорошо изучить, побывал в цистернах (там открывали люки, надо было чистить, красить). В общем все это у меня получилось, я сдал, и, таким образом, ушли в море. Но ушли мы почти на месяц, и у нас не получилось, мы не утопили ни одного немецкого корабля. Были расстроены (личный состав), пришли уставшие, можешь представить? А ходили специально, лодки отправляли, когда шторм — лодке легче скрываться, ближе подходить к норвежским берегам. Ну и после этого опять ремонт, опять учеба, и потом два тральщика противника уничтожили. Мне уже присвоили звание старший матрос, погони уже ввели. Нет, звание было старший краснофлотец, значит, погон еще не было, по-моему, в 1944-м [в 1943-м. — А. О.] только их ввели. Вообще ничего особенного. И вот мне запомнилось — подошли мы к Умбе. Там мои однокашники, чистенькие, все нормально, нас обслуживают, а у меня нос сверху, тоже в канадке, тоже грязный, ну тут перед своими товарищами. В общем все получилось с самого начала: доброволец, юнга, доброволец попал на лодку. Ничего особенного, так положено было, война есть война. Война — работа тяжелая, трудная. Запомнилось вот что — пришла соседняя лодка, а у нас закон такой: если лодка уходит, то соседняя лодка... а все вещи в рундучке, в кубрике, мы жили на берегу, а когда в море уходим, то в кубрике, вещи в рундучке, там стоит пара бутылок (потому что нам давали каждый день сто грамм водки

⁷⁰ Канадка — куртка из непромокаемой ткани на гагачьем меху.

перед обедом, и когда в море, то портвейн еще вдобавок, как у нас выражались, «для поддержки штанов», не ради там, а просто холодно в море, все время сырость). Вот таким образом нас поддерживали. Всегда стояли в рундуке [бутылки], там же вещи, форма, ордена. Так вот если соседняя лодка не придет, то надо открыть рундучок и отправить все родителям, адрес, все есть. И мы так же уходили, то же самое, такое же делали. Мне пришлось таким образом как раз отправить в Свердловск посылку и написать письмо, что ваш сын не вернулся и его могила находится в Баренцевом море. Вот это было, приходилось такое делать. Приходили лодки с затопленным отсеком, и когда осушали отсек, ребят вытаскивали, через госпиталь, потом хоронили. И это было. Нас называли «смертники». С других кораблей, с надводных кораблей: «А это идут черножопые, подводники». Вот такое дело было.

А война как для вас закончилась?

Были в море, но мы уже знали, что война подходит [к завершению], потому что мы общались с американцами и англичанами. Вместе стояли, борт о борт, они стоят, и мы стоим тоже. По договоренности с Америкой и Англией нам должны были передать корабли.

Если вернуться к вашей семье, то как познакомились ваши родители?

Отец занимался, у него была лошадь, вернее у деда. Дед еще извозом [занимался]. Сейчас такси, а раньше был извоз на бричках, легких повозках двухколесных. И, наверно, он ездил по окраинам. Он и рыбак, и охотник был. И дед, и отец. И вот он в Шуе познакомился с мамой, и родился я.

А сколько человек у вас было в семье?

Сестра. Нас четверо было в семье. Сестренка, я, мама, папа. Работали они на Онежском заводе. Отец в Отечественную войну, в первую войну, у нас же была Вторая Отечественная война⁷¹, был ранен, контужен, и на пенсии в 1941 г. уже был. Они эвакуировались в Беломорск в 1941 г. Меня на Урал отправили, а их, потому что город [Петрозаводск] вот-вот захватят, туда. И вот они жили там, в Беломорске, в одном доме с Андроповым. Домик деревянный был. И я когда первый раз приезжал в отпуск, из Соловков я приезжал, то это был здоровый такой мужик, а отец на него все время ругался, когда они встречались. Ругался: «Вот, сын мой воюет, военный, а ты, мол, вот тут сидишь, такой здоровый».

⁷¹ Первую мировую войну в России до революции 1917 г. называли Второй Отечественной войной. Название не прижилось, однако в данном случае респондент демонстрирует, что этот термин сохранился в семейной памяти.

Он не знал, что он [Андропов] руководил партизанскими отрядами и комсомолом. Такое дело было, я сам лично слышал.

До войны в Петрозаводске у вас был собственный дом?

Нет. На набережной, там, где я говорил, была лабанда, был даже адрес, сейчас не помню. В общем на набережной жили, восемь семей в доме жило. Дом строили сами, сам отец строил, это как общество было, как сейчас. Ну собираются...

Кооперативы?

Да, кооператив. Он вступил в кооператив, и сами строили: привозили бревна и все такое. И построили дом. И там жили: финны, карелы, шведы, русские и вепсы. Ты можешь представить? Восемь семей, и вот такое у нас было. И мы тогда понятия не имели, чтобы у нас драчки или что-то такое. В казаки-разбойники играли, в прятки разные. Назывались «ленинградские прятки»: доска, щепки, например, двадцать штук щепок, «оп» [изображает удар по наклонной доске], они подлетают, тот, кто гоняет [т. е. вожатый. — А. О.], должен собрать эти щепочки, а мы в это время должны убежать. Это назывались «ленинградские прятки». Жили вот так [показывает большой палец]! Ты можешь себе представить: сами сделали игрушки, сами елку, собирались ребята и праздновали. Взрослые там уходят куда-то в другие места. На каток, вот там, где сейчас «Юность» [спортивный стадион «Юность», расположенный в центре Петрозаводска. — А. О.], там музыка играла, все там. У кого там нет, очень трудно было с катками, так по очереди, ждем, валенки караулим, обувь. Одни покатались, потом другие. Очень были дружные, очень было здорово в этом отношении.

Родители у вас были русские?

Да.

А с ребятами на каком языке вы общались, ведь там были и финны, и шведы, и карелы?

Ну немножко там картавили. У меня, например, Улька Свансен был сосед, у них было три брата, в каждой семье было по три, по четыре человека пацанов, девчонки. Они учили меня, например, Грета Густовна, она мать Ульки, она учила, как табуретка будет, как что. Вот таким образом. Они наоборот немножко разговаривали. В общем все это очень быстро происходило. Финны жили наверху, на втором этаже (мы на первом), Печеринские, Свансены, вепсы и карелы, Тетерины — вот такие фамилии все. Как-то считал, даже забыл уже. В общем жили очень хорошо. И взрослые тоже — друг к другу в гости ходили все, и не было такого, чтобы на ключ закрывалось: палочку поставишь, и ясно, что дома нет никого, а ключ под ковриком. Это был закон.

Вы ходили в детстве в детский сад?

Да. В детский сад ходил. Первый, помню, детский сад был там, где Слюдяная фабрика. Знаешь где? Там сейчас рынок. Там на Гоголя один дом стоит на углу деревянный, а сюда ближе был мой первый детский сад. Помню я хорошо, что мне так тошно стало, когда мама меня привела и оставила, и я расплакался. И город как раз здесь кончался, эта последняя улица была [улица Красноармейская. — А. О.], там, за железной дорогой, ничего не было, и за железную дорогу мы ходили собирать ягоды, там был лес, не было никаких домов, ничего. Ну это сколько времени прошло, семьдесят лет с лишним, семьдесят пять приблизительно. Потом еще, где еще в детском саду был? От Онежского завода угольный сад был, это на Зареке.

Угольный назывался?

Да. Там когда-то был склад угля для Онежского завода, для Александровского завода. Потом там сад построили, и вот я туда ходил. Мне запомнилось, что там были большие деревья: сосны были, елки, березы. Когда мы выходили гулять, я залезал на самую макушку, и меня искали: «Яковлев! Где ты, где ты?» А мне было удовольствие такое — выше всех, руководительницы ищут меня, куда-то в панике убежали: «Куда ты денся, разгильдяй?» Потом я жалел их, спускался вниз. Было такое дело. Потом нас перевели на площадь Кирова, вот там, где сейчас музей. Вот там, в этот же вход входили, у нас был детский сад. Нас учили там танцевать, петь, это все было.

А какие детские праздники отмечали кроме Нового года?

Детские? Да, сейчас. Я ходил, у меня была страсть, я любил рисовать, и мы ходили в Дом пионеров. А Дом пионеров, дворец мы тогда называли, это где сейчас пединститут [*Карельский государственный педагогический институт*], немножко ниже. Там было такое красивое здание, улица другая была, сейчас Пушкинская. Чуть-чуть ниже, почти что на набережной, там дома были. Именно дворец: все из карельской березы сделано, голубой зал, и наша изостудия была. Даже помню сейчас, был преподаватель Ершов, очень мне нравился. Вся время ходил туда, не каждый день, через день, может. И это мне в какой-то степени помогло, то, что я умел рисовать. Я всегда стенгазету выпускал на Северном флоте, на Соловках тоже. Стишки сочинял Валентин Пикуль⁷², мы вместе с ним учились, в одной роте были, а я рисовал. Ребята занимаются строевой, а мы сидим, занимаемся другим делом. Нам давали

задание: выпустить «Боевой листок», что-то еще такое, стенгазету и все прочее. Тоже помогло в какой-то степени. И на лодке «Боевые листки», всю жизнь, и сейчас занимаюсь этим делом.

А с женой я познакомился в Полярном на танцах, так и живем с 1944 г. В войну познакомились. Она работала в штабе флота, Северного флота, общалась с командующим, в курсе всех событий была. Работала в отделе боевой подготовки, так что она знала все про все лодки, про все корабли. На большой должности была. А после войны в 1950 г. я демобилизовался, а в 1949-м я еще военным был, на лодке, там преподавателей не хватало. Я и был рад, уже на лодке неинтересно стало, война кончилась, служба совсем другая. Личный состав сменился, а мне служить и служить надо было — восемь лет. Год не подходил, потому что я раньше времени, все юнги служили по десять. Мне так это надоело, вся служба и вся, все-таки хотелось самостоятельным быть. Вот тут меня оставляли на сверхсрочную [*службу*]: «Давай, будешь офицером». — Я говорю: «Ни в коем случае». Потом ко мне подошли с другой стороны: как раз мама умерла, здесь жилья нет. А у меня уже семья, и я остался в Полярном. Я остался вольнонаемным, для меня это было — *вольнонаемный*. Я — вольно! Понимаешь, потому что с шестнадцати лет все время: «Есть! Есть!» [*отдает воинское приветствие*], все время на взводе. И вот я остался там, мне дали квартиру там, паек, а было трудно. «Пожалуйста, просто занимайся спортом!» Я там подучился, на курсы — в Ленинград, в Москву. И вот так постепенно стал старшим тренером спортивного клуба Северного флота. И в ВМФ тоже приглашали постоянно, в Питер, сборы разные: лыжи и плавание. В моем распоряжении плавательный бассейн. А это самое главное для меня: я мог хозяйничать, набирать ребят, каких мне надо. В общем получилось так, что мы стали чемпионами Вооруженных сил среди пацанов, юношей. Потом перешел я в Свердловск, там построили плавательный бассейн, уже пять дорожек там было, а у нас только две дорожки в Полярном в Доме офицеров. Потом стали тренироваться уже в Севастополе, нашу команду Северного флота увозили на месяц, например, там, на полтора, там тренировались. У меня супруга была чемпионкой Северного флота, и дочь, и сын. Все лыжники были. В общем от яблони недалеко и яблоко падает: так моя дочь стала тренером, а сейчас на пенсии, родилась в 1951 г., а сын — в 1945 г.

Если вернуться к вашим детским воспоминаниям, то вы говорили про игру «ленинградские прятки», а какие еще игры были в детстве?

Зимой — «рюхи», «бабки». Эта битка такая, мы заказывали специально на Онежском заводе своим [*людям*], там отцу, в общем кто рабо-

⁷² Пикуль В. С. (1928—1990), советский писатель. Учеба в школе юнг Северного флота описана им в романе «Мальчики с бантиками».

тал там. Она [бита] такая гладенькая, и на льду в ряд ставят бабки, и ее толкнешь [изображает бросок], она летит, крутится, сбивает. А это было, как деньги, ценилось, красили, мешочек у каждого был. Ходили на лыжах, на охоту. Я еще пацаном совсем в школе был, у меня берданка была и никаких там гвоздей, потому что у меня отец и дедушка охотники, рыболовы. Так что мясо я приносил, когда дома нечего жевать. Пойдешь — принесешь. Недалеко отсюда — до Лососинного или даже ближе. Тогда не километры считались — версты. На седьмую версту, а там тока были, дед там избушку [сделал]. Придешь, переночуешь, а утром «бах-бах», на лыжи и домой, в школу надо успеть.

Скажите, пожалуйста, у вас в семье пели песни?

Вот насчет песен был такой случай. Я любил играть на балалайке. А отец выпивал. Он своих друзей соберет, я учу уроки, а он говорит: «Ну-ка, Колька, иди сюда, давай-ка, сбацай нам что-нибудь такое». А я говорю: «Нет». Я упрямый: «Не буду играть». И ни в какую. Он меня и так, и так просил, я говорю: «Не буду». А он такой, знаешь, крутой, разбил [балалайку]: «Иди отсюда». К примеру, вот так. Рисовал. Конкурс был, портреты мы делали: Суворова, Калинина. У меня мольберт был, отдельная комната, ну как, не отдельная комната, а угол свой, мы с сестрой [жили]. Там у меня краски масляные, акварельные. И тоже что-то разлился, пьяный был... У меня два отца было: один трезвый, второй пьяный. Я рисовал очень долго на конкурсы, и он разорвал два портрета, на ватмане у меня были прикреплены. Пришел и порвал, а что с ним сделаешь? Потом извинялся, извинялся, ну что? Я мечтал быть художником, но вот война и все прочее. Но Бог видит, куда направить. Правда, я комсомолец был, неверующий.

Какие праздники вы отмечали в семье кроме Нового года?

Седьмого. Новый год и Седьмое ноября, Октябрьские праздники отмечали. Это было обязательно, дома и кушать не было, жратвы мало, а все равно одевали самое лучшее и шли, мать и отец, все вместе на парад.

На демонстрацию?

На демонстрацию. Это было обязательно. Потом какие еще праздники? Первое мая было.

А вот Пасху, Рождество отмечали?

Это взрослые, а нас не приучали. В школе не занимались этим тоже.

Во сколько лет вы пошли в школу?

В семь лет.

А до школы умели читать?

А сейчас и не помню, наверно, нет. Нет. Некогда было учить-то. Мать и отец все время на работе, а раньше же по гудку было. Я помню: в шестнадцать часов гудок и в двенадцать. Мы дома ждем, например, двенадцать часов, я имел в виду двадцать четыре часа, уже ночь. Ждем, мама приходила, тогда голодовка была, и на груди приносила кашу. Сама не съест, нам приносила, мы тогда и не понимали, нам принесет, она еще тепленькая, мы порубаем. Мама печку затопит, нагреет нас, укроет. Утром в школу, все.

А от школы какие у вас самые яркие впечатления остались? Что больше всего вам запомнилось?

Самое главное, это когда была четырехклассная школа: четыре класса там было, с первого по четвертый, начальная называлась. Как-то какой-то был праздник и надо было змей закатывать — кто выше и дальше. Было обязательно — дальше и выше. Жюри — учителя, и мы запускаем своих змеев. У кого украшено, у кого что сделано. Это тоже красивое было зрелище, родители собирались, праздник был. Я долго к этому готовился и распустил так далеко, думаю: «Ну все». Мол, когда сказали «все», можете закручивать — закрутил. Первое место — не мне, второе — не мне, думаю: «Может, третье?», тоже не мне. Что же такое, почему? А потом выяснилось — они и не заметили, у меня и выше, и дальше было, а они не смотрят. А у меня было закатано так, на всю катушку, несколько катушек у меня было использовано. Я пришел в учительскую: «Как же так?» Я за справедливость всегда был. И все рассказываю, как, что и к чему, я говорю: «Почему вот так?» Они извинились передо мной и дали мне виноград, большой такой пакет мне вручили. Я обалдел, винограда я никогда не видел, а тут виноград. Видел так вообще-то, но он дорогой был, не сравнить там с яблоками. Это запомнилось мне на всю жизнь, я принес домой маме и сестре, и был очень горд, что так получилось. И еще запомнилось, но это я уже старше был: когда работал в ФЗО, не работал, а учился, и на практике на заводе был, получил я первую получку. А дома нечего есть было, прямо буквально ничего. Я помню пришел домой с получкой, я не знаю сколько там денег было, не помню сейчас, но купить можно было кое-что. А из еды было только растительное масло, больше ничего: ни хлеба, ни сухарей, ничего. Я, значит, глотнул на голодный желудок, и пошел я в Гостиный двор. Ты не знаешь, где Гостиный двор?

На площади Кирова?

Вот, на Кирова, там, да. Напротив Финского театра, вот тут. Гостиный двор точно такой, как в Ленинграде, точная копия, но только по-

меньше габаритами. Пришел я, и на получку эту накупил мяса, хлеба, сыру, масла, маргарина. В общем накупил на все деньги. Пришел домой, затопил печку, русскую печку, поставил горшок, мясо туда — щи. Приходит мама — я горшок поставил. Мама заплакала. И я тоже, а отец пьяный.

Но я не рассказал, как закончилась война, был такой вопрос. Пришли мы с моря, пришли, узнали, выскочили на пирс. Офицеры, у кого было табельное оружие, «бам-бам» — стреляют. Мы тут тоже выскочили, обнимаемся. Нам на трое суток увольнительная, традиционное [блюдо] — поросенок, потом банкет, отдыхали в губе неделю в доме отдыха. И после этого командиру задание — выделить одного человека для Парада Победы. Ну я и не мечтал, там ребята были поздоровее и более опытные. Послали одного — Трюмова, такой был парень [*широко разводя руки, показывает размер плеч*], орденов у него. Не прошел ростом, и ноги кривые. А на комиссии проверяли: до трусов раздеваться надо было — вся комиссия смотрела. Потом, значит, второго позвали — торпедиста. Тоже заслуженный, тоже не прошел. Командир говорит: «Ну-ка, давай, Яковлев, одевайся по форме». Дал мне час, я нагладил, все сделал. Там говорят: рост должен быть сто семьдесят три, у меня как раз такой рост был в свое время. Ну, думаю, надо как раз что-то сделать. Я в подпорочки добавил войлок, еще повыше стал. Ну и в общем строевой прошел, как следует, а нас на Соловках учили вот так [*показывает большой палец*]. Прошел, меня там спросили, медицинскую комиссию прошел. Пришел к командиру, доложил, что я попал, прошел. А кто не попал, их потом собрали тоже и отправили на Дальний Восток в пехоту, в морскую пехоту. Там война-то продолжалась же с японцами. И еще одна была спецкоманда — за кораблями. Парни и в Америку, и в Англию отправились. То есть было: раз, два, три, четыре спецкоманды, но мне повезло больше — на Парад Победы. Собрался нас батальон: со всех боевых кораблей по одному человеку. Нас отправили в Москву торжественно, в Мурманск прибыл специальный поезд, там заделано все, красиво. И там влились в полк Военно-морских сил, и пошли тренировки, и двадцать четвертого июня я в нем участвовал. Самый молодой был, мне было всего двадцать. А там были все уже ребята прожженные такие. Гордился, конечно, я этим. Когда еще в строю стояли, а Жуков с Рокоссовским из Кремля выезжали, адъютанты сзади гарцуют на лошадях, к нам подошли, а мы как раз стояли напротив входа, [*Жуков*] поздоровался, трехкратное «ура», меня толкают: «Ну вот, Колька, ты и попал, салага, — а они старше, — попал в историю». Все ясно, вспомнил мать, отца, свой корабль ну и Петрозаводск. Я — простой

парень. Стою на Красной площади. Гордость, конечно, была. Такой трудный путь прошли, сколько жил вытянули. Даже только одно — отправить завод на Урал — это уже подвиг для наших пацанов, которым было по пятнадцать, по шестнадцать лет. Война, конечно, страшная вещь, чего только не видели. Не знаю, чего еще тебе рассказать.

Вы были пионером?

Да.

Помните, как вас принимали, чем занимались в организации?

Помню галстук вот только. Раньше была защепочка такая, а там [*на галстуке*] было три пламени, рисуночек такой, блестящая такая штучка. В Дом пионеров мы ходили, так как, конечно, я был пионером. Я всегда в школе занимался: рисовать, я всегда был первый на лыжах, в спортивном зале. Учился не так чтобы... Дед приходит в школу: «Колька, пошли!» Телега стоит у школы, в лес надо. То косить надо помогать, то на охоту, то на рыбалку. Ему до лампочки было это все — учеба там, не важно. Надо было кормить семью. А у деда было много очень, двенадцать, по-моему, ребят, мои тетки, дядьки. У него было очень большое хозяйство, он был каретник, кареты были, лошади, телеги. Это все здесь, где военкомат. Все это мной пропитанное, потом и кровью.

То, что вы пошли учиться в ФЗО, вы сказали, что это было модно?

Ой, еще как. Это было престижно, при том, что еще война началась. Я-то хотел быть художником, попасть в Питер учиться. Мечта моя была — быть художником, очень любил я этим заниматься.

Вы помните, что из себя представлял Петрозаводск до войны? Вы уже об этом немного говорили. То есть город был маленький.

Конечно, маленький. Было сколько районов: Зарека, Голиковка, Закаменка, вот, где мы сейчас находимся [*интервью проходит на улице Красноармейской. — А. О.*] и Слободка. Все, четыре таких маленьких района. Ну далеко ходить не надо — за железной дорогой собирали чернику, бруснику. Лоси ходили по городу, по окраине, лично мы видели.

Вы сказали, что в вашем доме жили представители разных национальностей: шведы, финны. Они-то как здесь оказались, откуда приезжали?

На работу сюда. Они, например шведы, работали на Александровском заводе — специалисты. Мало того, мой сосед Свансен, на Онежском заводе был его большой портрет, стахановец. А перед войной «черный ворон» подъехал и его забрали. И финнов забрали, шведов забрали, и концы в воду. Моего отца не тронули, потому что он инвалид, Первую мировую войну прошел, был кавалеристом, а сабля его сейчас в Доме офицеров висит. И мне так было обидно, такой мужик был, и он

плохо говорил по-русски, но много мы почерпнули от них. Я думаю: «У нас небольшой огород был: вот финские грядки, вот наши грядки, не так, чтобы перегорожено, а было все вместе, почему у них такая морковь? У нас какая-то длинная, тонкая, а у них кругленькая такая, красивая». Оказывается, им присылали семена. Так и другое там: редис, огурцы. У нас такие, какие-то замороженные, а у них такие хорошие. Мы это все у них приняли. Вот так друг другу помогали. Я помню еще Грета Густовна, хозяйка, говорит: «Коля, сходи-ка, набери одуванчиков». Зачем ей одуванчики, а она такие варенья варила, пальчики оближешь. Или вот закалывают свинью, она сразу идет с тазиком, крови наберет. Ну там скажет хозяину: «Можно кровь?». Такие лепешки заделает — класс. Они умели все это делать, а наши этим не занимались. Как хранить картошку, как лук выращивать — они нам помогали. Мама с Гретой Густовной, как друзья были. Хорошие люди были очень. А меня научили на лыжах, почему я стал чемпионом, к примеру, Северного флота и Вооруженных сил. Потому что финны сделали трамплин на Кургане. Был трамплин, и нас обучали — вставали на лыжи, у нас-то лыж не было, делали из бочки. Лыжи сделаешь, в прорубь сунешь, чтобы нога не ходила, и вот крутим там, катаемся. А у них лыжи были какие хорошие. Вот они нас обучали — слалом, прыжки с трамплина. Мы соберемся, а они плохо говорят: «Ну-ка, давай, давай, сюда». Кто смелый — залезает на вышку, прыгает. Понравится, значит, отбирал. Учил, как надо руки выносить [*при прыжке с трамплина*], показывал сам. Сам прыгнет. Я вот был чемпионом тоже по прыжкам с трамплина, слалом крутил. С таких лет вот друг другу помогали. И я удивлялся: их поселок [*финнов*] был на Голиковке, дома деревянные, у них так чисто, дорожки, все. Немножко отойдешь, там, где наши, русские, живут, — грязища, помойка. А у них везде порядок. Я еще тогда подметил, маме все время вопрос задавал: «Почему вот так? У них все на своем месте, все красиво, а у нас вот так?».

Вы сказали, что очень дружно жили со шведами, финнами. А было ли такое, что происходили столкновения между разными районами города?

А как же? Это обязательно. Играем в футбол, к примеру, потом драка получается. У нас вражда была по районам. Голиковка: ты туда пойдешь, например, тебе что-то надо там — все, запросто отмолотят. Голиковские сюда приходят, в Закаменку, им попадает. Это у пацанов было запросто. Такая же история была у нас, когда мы были на Соловках. Москвичи, свердловчане, куйбышевцы вначале тоже самое — права качали на Соловках, когда еще не приняли присягу. А потом, когда сдру-

жились, водой не разольешь, до сих пор семьями дружим. Вот что значит, когда коснется в трудностях, тогда и получается дружба. Дрались, ой, еще как дрались. У меня были такие рогаточки, резина хорошая. У меня дядя был шоферюга, он мне красную резину с баллонов [*срезал*]. Самопалы делали сами: трубку запаивали, заделывали сами. У нас это запросто было: на Онежский завод пройдем через дырку, через забор, там трубок наберем. Или пойдем на берег, там на моторках трубки есть, запросто отпилишь — было и такое. Тогда не представляли, что это такое — хозяин придет, а трубки нет, а нам тогда до лампочки было.

Вы сказали, что в городе, там, где жили финны, было чисто, а где русские, — не очень. А в целом в городе было чисто или нет?

В городе было «во», чистота [*показывает большой палец*]! У каждого дома, были деревянные дома, всегда порядок. Как только немножко где общественные, — там грязь, где ничья территория. У нас во дворе был маленький стадиончик, посередине стоял стол и свет горел, и у каждого подъезда (а было два подъезда) сделана тропинка. И зимой эту тропинку чистили. Это было как соревнование — у кого лучше тропинка за дровами ходить. А там же у нас не только дрова были: и капуста в бочках, и ягоды. Топорик берешь, раз-раз, там, сколько мама скажет — миску там или блюдец капусты. Это было. И всегда чистота. И в подъезде чисто всегда было, очень хорошо. И если кто-то что-то не убирает, болен или что-то, то за него делают, а если он лентяй, то его стыдили. Было собрание, у нас же коллектив был, отец у нас был старший, домоуправление или как там называлось?

Ходил ли в городе транспорт до войны?

Вокзал, там, где раньше был старый вокзал, где сейчас [*троллейбус*] «пятерка» ходит...

Товарная станция?

Да, Товарная. Вот там был вокзал, и ходил маленький автобус к площади Кирова, это считалось три километра. Двадцать копеек уплатил, и можешь ехать, и всегда очередь. Было у нас две или три «Эмки» и «Зис» — начальство ездило, это, насколько я помню, когда был пацаном. Грузовики «трехтонки» были и «полутонки». Все, совсем, совсем мало. А мы катались: делали крючок, коньки зимой — зацепишься, несколько человек сзади еще прихватятся и «колбаса». Это было. Потом милиция у нас отобрала коньки, так мы сделали с бочки, очень удобно. Бочка же она вот так [*показывает изгиб бочки*], заостришь, а бочек у любого магазина было, а магазинов мало было, ремешок пришьешь, я уже говорил — в прорубь, они как единое. Милиция отбирала, а мы опять сделаем. Шкодили, конечно.

А как было с преступностью до войны?

Ну в то время я особенно и не знал. Но если уж не закрывались двери в квартире, то ясно, что особо такого не было. Но драки были. Взрослые дрались на катке, ну не взрослые, а постарше нас. На катке и на танцах. Танцы были, где парк, там внизу, у самой речки была сделана круглая такая [площадка]. Там играл оркестр, там были танцы. Драки были каждый день. Как только танцы, так драка. Это было. Дрались и с финнами зимой на катке. Почему-то [их] не любили, особенно после финской войны. Драки были с ножами или с шилом. Я сам видел, как в задницу ткнут и отбегут. Я помню как-то приехал сюда, уже военный был. Мама жила в КарЦИКовском доме, наш дом сгорел, она жила в этом доме. Я с Надей, сестрой, пошел на танцы. В гражданской форме пришел, я как новичок — на меня обратили внимание. Подошел один: «Ну-ка, пойдём». Ни фиги себе! Там темно, где площадка, — светло, а с площадки выйдешь, там запросто ткнут. Я-то ушлый: ткнут, а потом всю жизнь на лекарства работать. Только стали выходить, я уж вижу, что сейчас назревает, я того, который мне сказал: «Пойдём», разворачиваю, а я сзади шел — как тиснул, дал ему, как следует, и начался танец. Я какую-то девчонку, раз, подцепил, начали крутиться. Но меня все-таки в милицию [забрали], там кто-то сказал, что вот он. И меня в общем в милицию привели, я отдаю документ — вот, я военнотрудовой, ко мне пристали. Ну тогда все данные мои записали. У нас закон — или в командировку, или в отпуск, когда выписывают документ отпускной, одну букву войсковой части меняют, чтобы хвост не притащить. И все. А оказывается, я врезал парню, который был чемпионом Карелии по боксу. И я ему челюсть сбил, сломал. Это мне уже потом мой друг, с кем я пошел на танцы, сообщил: «Тебя разыскивают, ты ему челюсть [сломал], он лежит». Вот такая штука была, это уже, какие годы-то — 1949-й или 1948-й, где-то так.

Когда вы устроились на работу, на ФЗО, на Онежский завод, как вас принял коллектив?

Получилось как? Нас собрали в школе, в той же школе, где я учился когда-то, которая, где камень партизанам. Тут же собрались, с ребятами познакомились, нас повели на экскурсию, и тут пошло дело. Познакомились с ребятами, да мы и так знали друг друга, потому что город небольшой: голиковские, закаменские. Семь классов кончили, и вперед.

Была у вас партячейка на заводе?

Вот когда было ФЗО, мы вступили в комсомол, нас сагитировали. Помню, что мы вступили в комсомол.

А позднее в партию вы вступили?

Нет, получилось так, что я в партию не вступил. А как получилось? Когда я был кандидатом в партию, я все ездил по соревнованиям и никак у меня не получалось. Срок там какой-то не большой — год или два надо было быть кандидатом [кандидатский стаж составлял один год. — А. О.]. У меня никак не получалось — я все время в разъездах. И потом, когда надо было, уже все, уже приперло, меня вызвали в штаб, прямо в штаб флота (я военный был): «Покажите кандидатский свой». У меня под тельняшкой кожаный карман вшит — самое место, где и волосы у меня были — дочери, я волосы отрезал и туда же положил. Память чтобы была, чтобы когда она будет взрослая, показать ей — вот твои первые волосы. Это было как-то самое место, где никто не имеет права в мою личную жизнь [заглядывать]. И когда я достал, я забыл, что там волосы. Комиссия раскрыла: «А, да ты еще и верующий». Я думаю, что? Объясняю. У меня отобрали билет кандидатский, я расстроился, вышел: «Повеситься что ли, или уйду я в тундру и больше не приду». Это была для меня такая трагедия, ну а потом дальше — больше, отошел. Вот так я в партию и не вступил.

Это не сказалось на вашей работе, карьере, что вы не вступили в партию?

Да нет. Я спортом занимался, был всегда на высоте, на общественной работе. Везде принимал участие, был всегда в первых рядах. Я был старшим тренером в плавательном бассейне спортивного клуба Северного флота, меня очень уважали, был председателем. Там были и военнотрудовые, и вольнонаемные, коллектив был большой.

А демобилизовались в 1950 г.?

Да. Дом сгорел, жить было негде. Я тут потолкался, ну и обратно, там у меня квартира, мог и в школе работать, и в бассейне. Там у меня свой бассейн — все здорово. Там у меня все было, авторитет. Я был на высоте, у меня уже мастера спорта были.

А заработки тогда вас устраивали?

Получал я хорошо. Пайки хорошие были тогда, в общем работал, вкалывал я здорово тогда. Любил я свою работу и до сих пор люблю свое дело.

Вы сказали, что познакомились с женой на Севере.

Да.

Помните, как проходила у вас свадьба?

Никакой свадьбы не было. Друзья собрались и все, вот и вся свадьба. Торжественно, все, родни-то нет, ребята с разных мест, со всей России, со всего Союза. А вот сейчас я был в Питере, в ассоциации подводни-

ков, и встретил там своего одноклассника, на одной подводной лодке мы служили. А он сейчас в Киеве живет, в другом государстве, а были вот так кореша вместе [*крепко сцепил руки*]. Пришли мы как-то с похода, и нас вместе с ним отправили [*в увольнение*], одногодки мы были, он в Питере что-то кончал. Пошли в тундру, набрали ягод, сдали, получили [*щелкает себя пальцем по горлу*], хотя у нас же было, ну, для разнообразия. А он капитан первого ранга, демобилизовался, пошел в училище, а я спортом занялся. Можно тоже было пойти на заочное, но я что-то тогда этим не интересовался. Самоучка, я сам много учился, у меня было много книг, литературы. В общем вот таким образом я вылез в люди.

У вашей семьи сразу появилось отдельное жилье? Где вы жили с самого начала, когда поженились?

Вначале в кладовке, только койка влезала. Потом лучше, дали квартиру настоящую. Потом пригласили в плавательный бассейн, там уже совсем по-другому. Потому что заслужил. Меня оставляли там на сверхсрочную, меня держали там — я очки давал, большие очки. Вот на Празднике Севера, где я выступал, занимал первое место, и сразу куча очков идет. За меня держались начальники физподготовки. Им выгодно было, а мне надо было сказать иначе: «Хорошо, я буду выступать, но давайте я в Питере буду учиться». А тут дочь маленькая, семья, и все время — соревнования, соревнования, соревнования. Все время в разъездах, когда дочь родилась, меня вообще не было здесь. Мне дали телеграмму, я был на Урале, там были сборы сборной команды Вооруженных сил. Тренировались там, чтобы выступать на первенстве Союза. Нас на месяц туда спрятали, там тренировались. К примеру, вот так вот, все время так шло. За Мурманскую область выступал в свое время — параллельно очки шли, всем было выгодно. Но и мне, конечно, авторитет, тем более, все было.

Когда вы выступали за Северный флот, вам платили нормальные деньги по тем временам?

Кроме денег получал я еще талоны на питание. Также здорово — талончики давали. Молодой был, я и не думал, что проживу столько лет.

А какие еще были формы поощрения?

Поощрение: бесплатная поездка на юг, например. По Союзу бесплатно с семьей я мог ездить. Дорога бесплатная, проезд бесплатный. За ордена получали. Платили, все нормально было. Хватало.

То есть пока вы ездили, воспитанием детей занималась жена?

Да, конечно. У нас нянька была. Она [*жена*] тоже работала.

Скажите, пожалуйста, какие книги, газеты вы читали в то время?

У меня есть эти газеты, вырезки, сами газеты есть, сейчас я храню. Я больше старался заниматься по специальности — набирал книги, учебники, в общем все по специальности. У меня была большая библиотека.

Как проводили свободное время? Ходили в кино, театр?

В кино, театр обязательно, тем более, плавательный бассейн был в Доме офицеров в Полярном. И все знаменитости наши, я с ними общался и даже выпивал, были на вечерах. После концерта общались, их я приглашал в плавательный бассейн. Все, все были, например, даже Утесов, и Эдит, дочь Эдит тоже, много кто. Ну в общем все знаменитости, которые были, все проходили через нас, через Дом офицеров, потому что самое лучшее место было — это Дом офицеров. Был большой кинотеатр, обслуживание там хорошее, ну самое лучшее место было в Полярном для общения.

Вы сказали, что покупали книги, то есть занимались самообразованием?

Да, обязательно. И газеты я выписывал: «Советский спорт», все приходило. Изучал все, все мечтал — как бы мне объегорить, выиграть у Москвы. И этого мы добились, наш коллектив. У нас дружный коллектив: несколько тренеров, они с высшим образованием, я без высшего, но я старший тренер, потому что мой авторитет, мои книги. И здесь [*в Петрозаводске*] тоже все с высшим образованием, у меня — среднее, я старшим тренером был и по возрасту, и по знаниям.

Вы сказали, что у вас курсы закончены в Питере и в Москве.

Да. И я еще занимался подводным плаванием, это мое родное. Я на лодке был, нас там обучали. Я все это дело знал, и не раз в Москве проходили там с аквалангом. У меня есть и грамоты, вот таким образом самообразованием надо было заниматься. Без этого никуда не денешься. Тогда никакого авторитета, ничего, это серьезное дело человека довести от детского сада. Вот я пошел в детский сад, договорился с директором: «Вот ваш детский сад будет ходить в плавательный бассейн, я их всех научу — будут они с водой на “ты”, а лучших отберу, будут они продолжать». Я говорю: «Во-первых, вам полегче будет какое-то время, потом они будут здоровые, не будут болеть, и они будут людьми, полезными для общества. Вот мои козыри». И очень хорошо получилось — доводил до пединститута или университета, мастера спорта. Бочкова, к примеру, ездила по всему Союзу, участвовала во всех соревнованиях, тогда не было кандидатов, когда она училась, не было кандидатов в мастера, но она занимала первые места и по Карелии, и по обществу, очень

хорошо выступала. Проказова — мастер спорта, ребята, тоже мастера спорта. И мне, как не имеющему высшего образования, пришлось потом передавать: просто в журнал вписывали, чтобы тренер с высшим образованием получал деньги, потому что мне вроде как и не положено, но я был доволен, сколько я получал. А в то время мне до лампочки было, сколько я получаю, — главное я любил работу свою. Вот меня тянуло к ребятам, я сам что-то сочинял, что-то делал такое. Не так, как все делают, а больше на воздухе, общефизическая подготовка — это самое главное, фундамент. Потом отбирал ребят, они ходили ко мне, любили заниматься, притягивал как-то я. Не только плавание: книги читаем, или ходим в театр, или ходим в какой-то поход большой, трудный. Надо учить ребят, чтобы все было коллективно, как-то сказал им: «Завтра мы идем в поход. Взять с собой покушать на сутки». Мама, папы им собирают, я говорю: «Одеться потеплее, так-то, так-то». Я их прогнал, проходили, ага, заговорили, а я все жду, когда они скажут: «Когда будем кушать?» Есть захотелось. А я взял специальный плащ походный, расстелил, а это зимой было, и говорю: «Все питание складывайте сюда». Назначил бочкового по-морскому и говорю: «Раздели на нас, на пятнадцать, на двадцать человек. Все, что есть, — все раздели». Смотрит: «Как же мое, которое я принес?» Я за ними наблюдаю. Уже нет печенья, бутербродов, уже его разделили на несколько кусков. Я говорю: «Ну, ребята, садитесь, устраивайтесь». Чайник, котелки вскипели, я разливаю чай. «Ну как?» Вначале, значит, к себе поближе, что повкуснее. «Наелись?» — «Наелись!» Наелись, потому что пробовали другое, не только свое. Ну ладно, сейчас немножко отдохнем и вперед. А ест так: масло съест, колбасу, хлеб в сторону [*смеется*], как обычно. Ну я молчу, все нормально. Назначил старшего: «Или вперед по лыжне, меня, если что, подождете. Я вас догоню». Я собрал, кто что не доел, у меня мешок, повесил на сучок. Думаю: «Я научу вас, как хлеб разбрасывать». Как дал им там, прошли хорошенечко, смотрю: отставать стали, и один говорит: «А зря я оставил кусок хлеба». И вот так один, второй: «Николай Константинович, когда будет отдых, когда?» А я пришел на это же место. «Ну у кого еще есть что-нибудь?» У некоторых заначки есть, я говорю: «Надо делить. Ты хочешь, так и другой хочет кушать, да у него и дома нет». И вот таким образом я приучал ребят, и потом они, взрослые, уже вспоминали: «Помним, Николай Константинович, как ты нас учил».

Николай Константинович, вы сказали, что сами были неверующим?

Да.

А какое отношение к религии было среди ваших знакомых, родственников?

К религии? Мама была партийная, отец беспартийный, малограмотный, он кончил только четыре класса. Судьба тяжелая у отца была. С религией не связан был.

Как относились к бывшим военнопленным или к тем, кто был в оккупации? Было ли к ним какое-то особое отношение?

К военнопленным? Ну вот я заметил, когда был в Москве и мы прошли в Москве по кольцу, и за нами шли пленные немцы, народ, москвичи бросали в них, кто-то плевался. А в основном просто жалко их было со стороны, но мы не встречались с ними. А здесь? Они работали в Петрозаводске, работали пленные. Делали из брусчатки, раньше улица была до вокзала, до старого вокзала из брусчатки. Потом эту брусчатку сняли и на площадь Кирова, на площадь Ленина. Они там вкалывали, да. Ну работали где еще? Подсобное такое все. А в Архангельске во время войны мы, когда увольнялись, лодка пришла — увольнение, идем на танцы, ребята молодые. К ларьку подходишь: «Сто пятьдесят, кружку пива». Хлобьсь, и на танцы, молодые, здоровые. Это для нас было... не было пьяных, не было ничего. На танцах они играли, им одевали гражданские костюмы, в этом отношении они здорово с музыкой на «ты». Хороший там и духовой оркестр, и струнный, скрипочка, гитара. Играли для нас, для победителей. Потом их сразу забирали, когда кончалось все это дело. Не знаю, куда их там увозили. А так злости никакой не было, вот лично у нас, у моряков. Их тоже заставляли. Гады, конечно, но что сделаешь. Было один раз такое, но это не на нашей лодке. Попали они в плен, и как доказательство того, что их захватили, их занайтовали на палубе. Шторм был, их там продуло как следует, все гитлеровское выветрилось. Это было тоже наказание большое — вода и мороз. Это ребята рассказывали, как наказывали пленных. Страшно было, конечно, особенно, когда бомбили нас, вот это было страшно, ты можешь представить?

Бомбили глубинными бомбами?

Да. Или когда ползли по минному полю. Каждую минуту может быть взрыв. Ребята на вахте стоят, потеют, побледнеют, глаза квадратные, что угодно вспомнишь: маму, папу, всех, кто на земле находится, потому что никуда не денешься, ничего. Представляешь — скрежет, чувствуешь, что там что-то такое висит. Потом — задний ход, передний ход, правый руль, туда-сюда, надо отойти, а там же течения, отлив или прилив. В общем нам повезло, конечно, в этом отношении. Много, очень много погибло.

На демонстрации вы часто ходили?

Здесь?

Ну уже после войны, когда на Севере остались?

На Севере у нас какие демонстрации были? Приходилось агитировать, мы как раз сами этим занимались. У спортивного клуба это было обязанностью. Проходили парад, демонстрация, вот нам приходилось там немножко: плакаты, например, еще что-то такое. Выносить это дело, раздавать, общественная работа была у нас такая.

Вы, наверно, еще и сами плакаты делали?

Приходилось такое делать, особенно мне. Я рисовал ночью в клубе.

А рисовали лозунги или портреты?

Нет, просто плакаты, обычные плакаты. На красном полотне кисточкой я водил. Так что мне приходилось этим заниматься.

А какие-то коллективные мероприятия у вас устраивались?

В смысле?

Приходилось ли отмечать праздники на работе с коллегами?

А мы и сейчас так делаем. На Севере такая же история была: обязательно День флота мы проводили, День Победы, Новый год.

Скажите, вы помните какие-нибудь национальные анекдоты, когда высмеивали какую-то национальность? Например, евреев?

Я не силен в анекдотах, но это само собой. Традиционно, подковыривали друг друга. На флоте, а уж, тем более, на лодках евреев не бывает, почти.

Помните, как проходили после войны выборы, вы участвовали в выборах?

Понимаешь, все это шаблонно было. Я вспомнил другое, как нас на ковер вызывали по очереди. Облигации: на ковер и ни в какую, надо лодке или нашей бригаде выполнить план, и умри, но надо, надо это сделать. Мало того, например, когда мы учились на Соловках, мы денег не получали. Мы, сколько положено денег по аттестату, сдавали на торпедный катер. Можешь представить: вся школа, все преподаватели — все уходило. Нас кормили, поили, аттестат есть. И мы построили торпедный катер, и он воевал этот катер на Северном флоте. Так же и тут: уже после войны для восстановления разрушенного нашего государства, города надо было столько-то процентов. Хочешь — не хочешь, тебе — столько, тебе — столько. На ковре стоишь, ну что ж, надо, значит, надо. Замполиты этим делом занимались и нас подтрунивали тоже, мол, давайте, с этим делом помогите: вот, ребята, давайте, поговорите с ребятами, завтра будут вызывать вас на ковер по очереди. Или вот, к примеру, даже ребята были здоровые, когда надо было восстанавливать раз-

рушенное — уголек надо было погрузить, выделяют с лодки несколько человек, и давай. И еще было, когда ребята были на других базах, с собой прихватывали: с моря придем, кушали там не очень, в море особо не разбежишься, аппетита нет, продукты остаются, мы брали с собой. У проходной очередь стоит, гражданские, особенно было очень трудно в Архангельске или в Молотовске, Северодвинске. Там у проходной стояли в очереди женщины и мужики-инвалиды стояли. Когда выходим, мы бесплатно отдаем хлеб, консервы, мы понимаем, что очень трудно, потому что мы это тоже пережили в свое время. Другие там дают нам самогон или что-то такое, но мы не брали, потому что нам запретили это дело, могут отравить. Просто отдавали, ну, как матери своей, к примеру, или брату, или сестре. Консервы в бушлат засунул сюда, сюда, под ремень буханку хлеба, одну, вторую. Выходишь — нарасхват.

А судиться вам не приходилось?

С кем?

Неважно с кем. Участвовать в судах, судебных заседаниях?

У нас один суд — на копчик посадить: двое берут и об землю, он больше воровать не будет, вот наш суд.

А товарищеские суды были?

У нас же была гауптвахта, за провинность могли посадить на неделю, на полторы. Но большинство провинностей какие были? Самоволка, уйдет там к девчонке и все такое. Даже было так: идет комдив, идет обход навстречу, лежит парень пьяный. Он говорит: «Этого не берите, а этого заберите». А обход: «А почему?» — «Он лежит головой к кораблю, а этот — наоборот». [Смеется]. Такое было. И пьянки не было, ответственность была большая, чтобы напивались по страшному у нас в казарме, в кубрике, да никогда. Водка была в кубрике, у каждого в рундучке. И никто никакого отношения, потому что нам выдавали: перед обедом сто грамм должен выпить. Потому что холодно было. А для «поддержки штанов», как я сказал, в море сухого вина или портвейна. У нас почему-то портвейн был в бочках, отличное вино. С вахты вышел, покушал, выпил, закусил и спать. Отдохнуть надо, потому что второй товарищ стоит на вахте, и так проходил быстро месяц, очень-очень быстро. Ушли летом, придешь зимой. Или наоборот, ближе к весне уже. Смотришь — пирс сухой уже, было снегу столько. Мы, как пираты, были что ли. А на пирс выйдешь, тебя шатает, все время болтанка, даже удивляешься, что твердое. А первые три дня в море туговато, пока адаптируешься, аппетита нет, а потом привыкнешь. У меня так очень быстро проходило это дело, я на вахте и за других стоял. А некоторые здоровые, но плохо переносят.

Такой еще вопрос. Вы сказали, что до войны были репрессированы ваши соседи: шведы и финны. А как к этому вообще относились? Это обсуждали, что людей тогда забирали?

Обсуждать — только втихаря. Немножко рот откроешь — и тебя, и ты полетишь. И даже предупреждали, которые увозили, мол, вы не очень-то, мол, никому ничего. Подписку, у родни подписку брали. Надо было строить и железную дорогу, надо было строить и Беломоро-Балтийский канал, на костях тоже построено. Все эти комсомольские наборы — это все тоже брехня.

А то, что людей репрессировали, — это на вас как-то повлияло?

Ну я еще тогда был. Я это понимал. Ну забрали — враг народа, только и всего. Я все возмущался, как же так? Такой человек и враг народа — как он может быть? Ничего не понятно. Вот не понятно и все. У меня еще ум-то был детский: враг народа, враг народа. Вот это было.

Вы сами не были партийным человеком, а как относились к всевластию партии, замечали ли такое?

Вот, например, партийное собрание. Я участвовал, только я не голосовал. Задачи корабля: такие-то, такие-то, такие-то. Что командир [прикажет], хоть партийное собрание, хоть не партийное собрание. Командир сказал — все, это приказ. У военных так, и никуда ты не рыпнешься. Вот задачи: то-то, то-то, заменить что-то, с механизмами. Каждый по специальности. А так командир [прикажет] и все. И так же на гражданке было, на предприятиях, такая же история: собирают залом, говорят, говорят, а что толку, уже все решено. Вот такое дело.

Николай Константинович, вы сказали, что дважды видели Г. К. Жукова, общались с Ю. В. Андроповым, а вам кто больше нравился из партийных и государственных деятелей?

Суворов. А знаешь почему? Потому что он уважал рядового и награждал медалью с дырочкой. Он получал деньги и давал своим солдатам, и солдат вешал золотую медаль. А из деятелей на моем веку мне никто не нравился.

А Сталин? Вы сказали, что никто не нравился вам, а к Сталину какое было отношение?

Сталин в моем понятии изверг. Он Россию уничтожил. А мы ему молились, мы на торпедах писали «За Сталина! За Родину!» Торпеды, когда засовывали, а они масляные, пальцем — она твердая, ничего не получается, чем-нибудь таким горячим, например, на батарее там, у нас тоже батареи были переносные, положишь, нагреешь и нацарапаешь: «За Сталина!» Сколько погубил, это я еще чувствовал, когда был пионером. Знаешь, были портреты наших руководителей, но не государства, а

Вооруженных сил: Блюхер там, у нас во Дворце пионеров были портреты, красивые, написанные маслом. Потом через некоторое время их убрали — враги народа. Иди, разберись — кто враг, кто нет, так что это длинная история. С руководителем нам не везет никак — России.

А когда Сталин умер, как вы отнеслись к его смерти?

Это был уже 1953 г., я уже работал тренером, нас всех, а я уже как вольнонаемный, почти что военный, надо было обязательно выйти на митинг в Полярном, все построились. У нас там на скале было выбито: «Здесь был Сталин». В центре Полярного — памятник Сталину. А в каждом городе — в Полярном, в Мурманске, еще где-то — был комендант грузин. Это о чем-то да говорит.

Спасибо!

Интервью с Тамарой Ивановной Кошкаровой, 1927 г. р.

*Записал А. В. Голубев,
г. Петрозаводск, 23 марта 2006 г.*

Примечание: в интервью принимал участие муж Т. И. Кошкаровой, Лаврентий Леонидович Кошкар. Его реплики отмечены в тексте аббревиатурой P2.

Я — Кошкар, а до замужества Красоткина, Тамара Ивановна. Я родилась десятого мая 1927 г. в селе Ладва Прионежского района.

Какой была ваша семья?

Росла в рабочей семье, отец рабочий был, а мать не работала, трое детей было: брат, сестра и я. Я старшая была.

Знали ли вы родственников дальше бабушки и дедушки?

Не знала.

Бабушки или дедушки помогли в воспитании детей?

У матери не было родителей, она воспитывалась мачехой, а у моего отца я родителей не знаю, они умерли.

Знаете ли вы, как встретились ваши родители?

Тоже не знаю.

В каких условиях жила ваша семья?

Я, можно сказать, жила в обеспеченной семье. Отец был столяр, а мать не работала. Отец работал здесь в Петрозаводске, в колхоз отец не вступал.

Нормально ли складывались отношения между вашей, более обеспеченной, семьей и семьями колхозников?

Да не такая уж [у нас была] обеспеченная семья. Более-менее по сравнению с другими. Да не было такого, я не видела. Мать не работала, вела хозяйство, корова была, лошадь даже помню, овцы были, как во всех семьях скот был.

С кем дружила ваша семья?

Какая там дружба, отец в Петрозаводске работал, в семь часов уходил, а в двенадцать ночи приходил. Работал он в первом училище столляр.

А мать с кем общалась?

А мать на деревне со всеми общалась.

Отмечали вы какие-нибудь праздники?

Да, отмечали! Первое мая, день Октябрьской революции, Новый год. Я даже помню в детстве, в начальных классах, Пасху отмечали. Это праздники были такие, когда отец у нас приезжал, на день, на два. Летом на месяц приезжал сено косить.

Вы приглашали гостей в дом или сами ходили в гости?

Гости были, была материна мачеха, гостя постоянная, его брат был родной. Соседей я не помню, чтобы были.

Помните, как мама воспитывала младших детей? Что представляло собой их воспитание?

Мама ходила гулять, игрушки были самодельные, много игрушек отец привозил из города. Воспитывала как... она малограмотная была.

Колыбельную она пела, сказки рассказывала?

Я колыбельную пела.

А сказки?

Я не помню, чтобы она рассказывала сказки.

Был в Ладве детский сад?

Нет.

Специально для детей у вас дома устраивали какие-нибудь праздники?

Елка, Новый год. Всех соседей тут приглашали. Перед войной были игрушки, вроде конфеты, но бумажные. Елка всегда была украшена всегда этими — вроде конфета, но не конфеты. Печенье висело. Игрушек тогда еще не было.

Помните то время, когда елка была запрещена?

Не помню.

Какие подарки вам дарили на праздники, на день рождения?

Бабушка, мачеха матери, подарила чашку с блюдечком. Отец привозил из города конфеты, печенье. Привез лыжный костюм, шапочку, шарфик, кофточку, что-то такое.

А мечта у вас была в детстве, чтобы вам что-нибудь подарили?

Нет. У меня не было такого желания.

Давали вам деньги на карманные расходы?

Нет.

Вы говорили, что мать была малограмотная, то есть до школы вас читать не учили?

Нет.

А научились вы читать только в школе?

Да, только в школе.

Вы помните, как пошли в школу?

В школе у нас был учитель Миролобов, забыла, как его звали. Я вроде неплохо училась, но как отец приезжал, так учитель всегда к нам в гости приходил, ведь не жаловаться же. Я не училась плохо, не была какой-то там хулиганкой. Вы знаете, я была так недовольна, что учитель приходил. Не знаю почему. Объяснить не могу, почему, но я его просто ненавидела.

В какие игры вы играли?

Лапту, через бревно прыгали. В прятки играли.

P2. На бревне прыгать — это, допустим, я на одном конце стою, а вы на другой прыгаете. Метра на два можно так подпрыгнуть, и нужно точно приземлиться прямо на доску, чтобы не ушибиться.

А в школе были какие-то игры? На переменах или на уроках?

В коридоре, скажем, учительница всех соберет, песенки пели, кругом ходили, мальчишки, девчонки. Это в начальной школе было. Я помню, что начальная школа — у нас было четыре класса — рядом с нашим домом.

Какие яркие впечатления остались у вас от школы?

Школьные вечера были, я даже выступала в художественной самодеятельности, помню, какую-то пьесу ставили. То на лыжах выезжали в лес кататься, там были горы, а летом прыгали с трамплина, доска широкая, и прыгали. Не было боязни никакой, я сейчас думаю, как это мы не боялись.

С кем вы дружили в школе?

С кем учились, с теми и дружили. Все были одного возраста со мной. Все двадцать седьмого, двадцать восьмого годов. Ребятишек было очень много.

Вообще большой был класс у вас?

Большой, ребяташек было очень много. Сорок человек.

Дружный?

Дружный, все подсказывали друг другу чего-то.

Вы помните, как вступили в пионеры?

Вы знаете, я про пионеров не помню.

Вступление в пионеры наложило на вас какие-то обязанности, сделало вас более ответственным человеком?

Я не помню, как вступали, но пионеркой-то я была. У нас была изба-читальня, вечером соберемся все там. Библиотека, книжечки, сидим там за столами, между собой о чем-то говорим. Вечером мы каждый день там были.

Были у вас в классе ученики, которые не вступили или не были приняты в пионеры?

Даже не знаю.

Что вы помните о своих учителях?

Учителя были хорошие, доброжелательные, я не помню, чтоб кого-то выставляли из класса или ругали, обзывались, не было такого.

А было различие между старыми учителями, которые пришли в школу еще до революции, и советскими?

Очень старых-то не было. Математик, бывало, выставит к доске, старый учитель был. Русский-то язык у меня хорошо шел, а вот математика... Так он вызовет меня к доске, да и не только меня, я стою, а он: «Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет». Старенький учитель был. [...]. А так у нас в классе не было таких происшествий.

Устраивались для вас в школе походы?

Да, конечно, устраивались.

Что они из себя представляли?

Устраивались лыжные походы, мы пойдем в лес... Не было у нас такого, как сейчас организуются, чтобы с ночевкой. Я в пионерский лагерь позже ездила как медик, там уже другое дело, а у нас такого не было.

Вы сами были в пионерских лагерях? Что они собой представляли?

Была. Первую путевку, видимо, отцу дали, так я в Соломенном была. Вы знаете, я не могла дожидаться, когда поеду, мне так не понравилось в пионерском лагере, и почему — не могу объяснить. Я же нигде не была, я из дому никуда не уезжала. Мне так не нравилось, я не могла дожидаться, когда закончится смена.

А следующие лагеря нравились?

Потом больше нравилось.

Что вам нравилось в пионерских лагерях?

Походы, игры, вечером танцы. Очень хорошо.

Занимались ли вы в школе спортом? Какие-то кружки у вас были в школе?

Были, но я уже точно не помню.

Возили вас родители или учителя на экскурсии в Петрозаводск или еще дальше?

Нет, не возили.

А родители, отец?

Летом я приезжала сюда, он же здесь жил, и тут стоял дом, он купил его на двоих с родственниками, где-то жить надо же было, раз он здесь работал, а он с утра до ночи работал. Сюда я приеду, а у дяди и у моей крестной было семеро или шестеро детей. А на берегу [Онежского озера] стоял дворец пионеров. У меня была сестра двоюродная, такая же, как я, двадцать седьмого года, так Женька меня водила во дворец, все показывала. А больше гуляли у озера да по бульвару.

У вас школа была только русская?

Русская. А у нас в Ладве вообще только русские были.

Можете вы вспомнить, чем для вас было понятие «советский человек»? Было ли у вас ощущение принадлежности к советскому народу?

Как же не было, я очень много стихов знала, песенки всякие пели. Не было никакого такого... чего-то там, я не помню, чтобы кто-то нас к чему-то склонял.

Можно сказать, что у вас было счастливое детство?

Я думаю, что да.

Вы учились в школе, когда началась война?

Когда началась война, я училась в седьмом классе. Война началась двадцать второго июня, а к нам в Ладву финны пришли первого сентября. На первое сентября была назначена эвакуация, ну какая там эвакуация, это шестьдесят километров до Петрозаводска, не было ни машин, ничего. В эту ночь председатель сельсовета да какие там шишки были, все уехали в сторону Шёлтозера на машине. Больше в Ладве-то и машин-то не было. Были собраны мешки... Но на чем нас собирались вывозить, я не пойму. Собирались в десять часов, а в шесть часов утра первого сентября пришли финны со стороны низовья. Приехало очень много финнов на мотоциклах, на велосипедах. Сначала прошли четыре или пять танков по дороге, потом они развернулись на городской дороге, как в город [Петрозаводск. — А. Г.] ехать. А финнов, солдат, очень большое количество было, все ходили по домам, во дворы заходили, но ничего плохого не делали, просили: «Maito, maito». Молока им надо

было. А перед войной — мы-то в центре села жили — начали строить аэродром рядом с нами, уже ангары даже были построены, самолетов не было, а ангары были. Здесь были поля колхозные, на них стали строить аэродром. А перед войной у нас еще два офицера жили, которые тоже работали на аэродроме. Их во все дома подсаляли, которые рядом с аэродромом были. И когда пришли финны, началась бомбежка, бомбили наши самолеты. Поскольку мы в центре, тут аэродром. Перед войной мать отца привезла из больницы больного домой. Мы ушли вниз, туда, откуда финны пришли. Там мачеха, бабушка, жила, мы к ней ушли. А пока туда шли, я в первый раз увидела и услышала бомбежку, ой, как страшно было. Мы там, по-моему, ночевали, два или три дня там жили. Потом перерыв, перестало, потом опять домой пришли, а потом нас выселили. Всех, кто в центре села жил, выселили из своих домов. Мы жили в отцовом родовом доме. Те, кто недалеко от нас, уже были выселены. Вот всех выселили, переписали весь скот, у кого какой был, никуда не велели ничего девать, скота не убивать, никуда не продавать, никуда не девать этого скота. У всех же был скот, в деревне-то. И вот мы так и жили до сорок четвертого года, в отцовом родовом доме.

В сорок четвертом году, когда вас уже освободили от финнов, перед вами встал вопрос о продолжении учебы, правильно?

В сорок четвертом году, когда нас освободили, до этого финны нас гоняли на работу, в лес, а сейчас, когда нас освободили, нам стали приходить листовочки [с направлением на работу] на склад, на лесозаготовки. Таких как я — двадцать седьмой год, двадцать восьмой год, ну и кто постарше был. Нам же надо было куда-нибудь учиться поступать, это же было летом. Финны летом ушли, они ушли втихаря, никто не знал, тишина такая, темная ночь в селе. Многие, конечно, кто как сумел, уезжали в Петрозаводск и куда-то там в училища поступали. Мы, помню, в Деревянке работали, на монголках возили лес.

Это сразу после ухода финнов?

Да, как финны ушли, мы сразу стали работать. Молодежь особенно стали гнать на работу.

Сколько часов в день вы работали?

Целый день. Например, в Деревянке работали, утром в семь часов запрягали монголки, я сначала боялась их, потом привыкла, строптивные такие были, как стемнеет, нас уже, нас уже... Зимой было.

То есть уже через полгода?

Да. А так и в лес, вот в Ладву-Ветку, мы уже пилили при финнах, привыкли пилить. И такие бумажечки приходили, приходили... И тогда... Можно это рассказать? Я взяла и написала письмо Сталину. В

Деревянке мы работали с девушкой, которая старше меня, двадцатого или двадцать первого года она была. У нее отец был десятником, финны назначили его, не успел эвакуироваться и оставили его в Ладве-Ветке работать. Десять лет он потом отсидел. Мы с этой Женькой из Деревянки спали вместе, она старше меня была, поможет мне чего. Я сказала, что напишу письмо Сталину, она так заразительно смеялась, говорит: «Как ты напишешь?» — «А возьму и напишу». И написала Сталину письмо. Можно это рассказать?

Это письмо вы написали зимой?

Вот не помню теперь, зимой наверно, потому что потом, когда меня вызвали в Прионежский райсовет, здесь был, на (неразборчиво) улице...

То есть война еще не закончилась?

Война не закончилась, сорок четвертый год. Я написала письмо — ни ответа, ни привета. Мне ничего не было, только мне сказали, вызывают в райсовет, как я поехала туда, как приехала, — сейчас не помню. Прихожу.

О чем было письмо?

Написала, что мы были в оккупации, в лагере, мы работали в лесу, на складе, на дороге — везде, а сейчас нас освободили, мы хотим учиться, а нам паспортов не дают, никуда не разрешают выезжать, ни в Петрозаводск, а в Ладве нет никаких училищ. Не разрешали, да еще припугнут в сельсовете, потом, мол, будет... Я, значит, прихожу: «Здрасьте». — «Здрасьте». Говорю: «Я Красоткина», она [очевидно, секретарша. — А. Г.] пустила меня, говорит: «Проходите». Я зашла в кабинет. Кабинет большой, за столом сидит дядя такой высокий, кудрявый, председатель райсовета. Я поздоровалась, он молчит, газета в руках, ничего не говорит, а я, пигалица такая, стою у порога, а потом он газету опустил и говорит: «Вы писали письмо в Москву?». Я говорю: «Писала». «Мы, — говорит, — в своей стране не позволим заниматься паразитизмом!» Вот это его слова были, слово в слово. Я: «Что?» Он увидел, что я боевая такая, говорит: «Да ладно, проходи, садись». Я говорю: «Давно надо было сказать. Я поздоровалась, а вы ни слова не сказали». Это был уже апрель. Он говорит: «Куда ты пойдешь учиться? Сейчас апрель, куда пойдешь учиться?». Я говорю: «Какое ваше дело, куда я пойду учиться? Я хочу учиться, я не хочу работать в лесу, понимаете, я уже наработалась и в лагере, и в лесу, и везде». А он говорит: «Ну куда ты сейчас пойдешь?» — «Не знаю куда, но пойду». Долго говорил со мной, а потом говорит: «Иди ко мне работать». Я говорю: «Что я у вас буду? У меня семь классов» — «А вот ты проходила через кабинет». Перед его кабинетом стоял маленький кабинет, там телефонов на

столе много. Я, конечно, тогда не разумела, говорю: «Я хочу учиться». Он говорит: «Я потом тебя отпущу, но сейчас учебный год кончается. Куда ты сейчас пойдешь?» Я говорю, что не знаю, как работать. Он говорит: «Что не можешь по телефону ответить или послать что-то, что я скажу?» Я согласилась. У отца-то была часть дома, вот я там жила. Отец в Ладве был, он больной был, в город уже не поехал. Он сюда не поехал, хозяйство там все-таки, баня. Встала я, сказала, что в августе все равно уйду. Он: «Уйдешь-уйдешь». Там я работала до девятого мая. На Маринке, там, на Карла Марла [так в оригинале. — А. Г.] праздник такой был... И вот этот Бубнин, я не скажу, что какие-то претензии у него были, не ругался. Там же меня приняли в комсомол. Очень много было вопросов, что вот вы жили в оккупации, но все равно меня потом приняли в комсомол. Очень большая была аудитория, все были — из райкома, горкома, и всегда на таких собраниях находились, чтобы упрекнуть нас, что вот вы были в оккупации. Но в комсомол приняли. И потом я в августе поступила в Лахденпохью на курсы ветеринарных фельдшеров. Я всегда хотела медиком быть. А отец-то мой знал — тут была фельдшерско-акушерская школа — забыла, как его звали, врача. В общем я в сорок шестом году поступила на [курсы] ветеринарных фельдшеров, закончила, год проработала и в сорок седьмом году поступила в фельдшерско-акушерскую школу. Поступала на фельдшеров, но нас была группа, одни девчонки, и сделали специально группу акушерскую. Проучилась и выехала на работу по распределению. Я только почему-то не хотела ехать работать в Ладву. Это же моя родина, но я ее не очень-то любила. И вот, значит, меня направили в Медвежьегорский район. Приехала я в Медгору. Это уже в пятидесятом году. Три года отучились. Я приехала туда, в Медгору, там была заведующей райздравотделом Журавлева, хорошая женщина была. Она говорит, что пойдешь в родильный дом работать. Я говорю: «Хорошо». Уже трудовую книжку завели, там у нас был [неразборчиво], почерк у него красивый был, что родильный дом. И вдруг пока я тут устраивалась, там ведь надо было жить, прихожу я к райздравотделом, она и говорит: «Тамара, ты не съездишь в район, нет у меня там ни акушерки, ни фельдшера, в поселок Сергиево Медвежьегорского района». Далеко, за сто с лишним километров от Медгоры. Я говорю: «Конечно, поеду!» Она даже удивилась, что я соглашаюсь. У меня был чемодан и еще что-то там, постельное белье. Вот приехала я туда и там месяц или два работала. Приехал фельдшер какой-то с женой и с ребенком. Мальчик уже в школу ходил, его туда направили, а меня опять... В родильном доме не хватало акушерок. В то время очень плохо с медиками было, это сейчас их очень

много. И в это время, когда я приехала, я говорю: «Татьяна Николаевна, отпустите меня в Ладву съездить». — «Поезжай, поезжай». Дала мне сколько-то денег. Я приезжаю, а отец мне говорит, что тебя оставляют... А я же домой все время письма пишу. И он мне говорит, что тебя оставляют здесь, в городе, а тебя все куда-то несет, в деревню, в лес головой. Я говорю: «Ну и что, там тоже люди живут». Такая я патриотка была. А до этого он мне сказал, что надо бы в институт. Но я решила, что... Тогда было легче поступить... Здесь не было медфака, и можно было в ленинградский университет, здесь сдавали экзамены, а там...

В Первый медицинский?

В Первый медицинский. Я согласилась, но говорю, что поработаю годик, хоть узнаю, что это такое. Ну вот, я приехала, а она опять мне говорит, что акушерка выходит замуж, за восемнадцать километров, там, где участковая больница. Она спросила: «В акушерском пункте поработаешь?». Я говорю: «Конечно, поработаю». Проработала я там год.

Это был пятидесятый год?

В пятидесятом. А в пятьдесят первом у меня [будущий] муж приехал, я до декрета доработала и выехала оттуда.

Когда у вас была свадьба?

Свадьбы у нас не было.

Просто расписались?

Просто, да. В пятьдесят втором году у нас родился первый сын, и в пятьдесят втором году и дочь родилась. Сын в январе родился, шестого января, а двадцать восьмого декабря родилась дочка. У меня всегда спрашивали: «Это двойня?», я говорю: «Да какая это двойня, вы что?» А шестого июня пятьдесят четвертого года у нас родился еще сын. А мы же не были зарегистрированы. Я даже сейчас не могу представить, как это я не боялась тогда троих детей заиметь. И вдруг муж приходит двадцать второго июня. Вовка, младший сын, родился шестого июня, а он в июне приходит и говорит: «Пошли регистрироваться». Я говорю: «Что это ты надумал-то?». Вот такая у нас там обстановка была.

P2. Если переезжать куда, меня же переводили. Раз не зарегистрированы, то...

Ни билета не дадут, ничего. Мне некогда было, у меня работа и дети. Только декретный кончится, я на работу, до декретного доработаю, и опять...

P2. А меня дома не было.

Да, я вырастила детей одна. Он все время был по командировкам.

Вас не беспокоило, что у вас было уже трое детей, а вы еще официально не замужем? Или вы доверяли мужу своему?

Я вот и сейчас даже думаю, как это, Господи. Да не знаю я.

P2. Я ее потащил сам. А потому потащил, что меня часто переводили.

В Сегежу там мы ездили.

P2. А ехать, билеты на нее нужны.

Мы как-то любили вот друг друга очень. Вот не знаю, я даже не могу вот сейчас описать.

P2. Да, а вот как зарегистрировались, все это закончилось.

Потом хоть можно было билеты брать и ездить. А то вообще ведь никуда.

Во время войны погибло много молодых людей и, соответственно, девушек было гораздо больше, чем мужчин. Как девушки выходили из этой ситуации, когда было заведомо известно, что не каждая сможет найти себе мужа? Пытались ли отбить у других? Или еще как-то?

Вы знаете, как я закончила [учебу], приехала на работу, не знаю, не было такого, вроде все на лесопунктах семьями жили. И потом на работе целый день, вы же понимаете, роды принимать и ночью ходила, когда роды на дому были. Только приду домой, лягу спать, а там уже звонят, стучат, давай, говорят, пойдем обмывать младенца. Я говорю, вы что, я ночь не спала, нет, не пойду. Иногда схожу, чаю попью, а так спрашивают: «А вы что разве не пьете?» Я говорю: «Нет, да вы что». Вообще я не знаю, пока мы учились, до пятидесятого года никто замуж из девчонок не вышел. Вот мы жили на Советской, сейчас нашего общежития там уже нет, там новый дом построенный, не знаю, там из девчонок никто замуж и не выходил. Хотя почти все были помоложе нас, учились, но были и постарше меня. Были и двадцать пятый, и двадцать седьмой, и двадцать восьмой год. Я чего-то такого не знаю.

Вы упоминали, что вас попрекали за то, что вы были в оккупации. Долго попрекали?

Да, это часто было. Куда не приди, всегда, никуда не денешься. Сначала нам дали в соцзащите, присвоили, что мы малолетние узники, но потом отобрали у нас эти билеты и все. А потом нам Иван Михайлович помог, у нас есть официальная бумага из Финляндии, что мы были в лагере. Восстановили нам все. Нас все попрекали: откуда мы знаем, может, вы финнам там помогали. А что мы могли делать, мы были мальчишками и девчонками, что скажут, то и делали. На дороге работали, там сидел финн, офицер, кричал: «Работать!» Дождь идет, а он все равно кричит, а что мы можем сделать, вот и работали.

Ваши родители тоже это ощущали? Или они остались в Ладве и на них это не так сказалося?

Так мать у меня не работала, она только после войны стала работать санитаркой в больнице. А отец работал столяром, он работал один, потом в тракторной школе, хорошим столяром был в общем.

P2. Он во время оккупации, ты говорила, болел.

Да, болел, но потом поправился маленько все-таки, так что тоже ходил пилить дрова.

Давайте вернемся ко времени вашей работы и вашей учебы в Петрозаводске. У вас много было свободного времени?

Свободного времени? Не знаю, мы целыми днями учились. Утром мы идем из общежития в школу и приходили домой, скажем, часа в четыре. К тому же мы ходили потом в дом гинекологии. Кончатся занятия, мы все ходили туда на практику, и ночами даже еще дежурили. А вечером, вы сами понимаете, в общежитии весело, всякого там народу было, и заонежские девчонки ходят там с концертами по комнатам, и везде. А я такая сонная курица, я вечером всегда спать хотела, а утром проснусь в пять часов, подготовиться же надо, читаю, тишина кругом, все спят, пока бежать не надо на занятия.

Что представляла собой районная торговля?

Когда я работала в Медвежьегорском районе, был один магазин, работал там мужчина, Сорокин. Там были промтовары, правда, из них там почти ничего не было, только иногда что-нибудь поступит, вот я не знаю как он там их распределял, но если я приду в магазин, он: «Шарфики поступили, хорошие». Я ведь на полставки работала: полставки фельдшера и полставки акушерки. Это было шестьдесят пять рублей, что я получала. Я говорю: «Нет, Василий Фёдорович, у меня денег нет». А он говорит, что ничего, достает тетрабочку и пишет. А из продуктов там была соль, сахар уже появился в то время. Хлебный ларек был отдельно. Только хлебный ларек и магазин. Вот эти лесозаготовители, которые лес заготовливали, у них у всех какая-то животина была, были козы, поросята, еще у некоторых и коровы были. Один магазин был, так обокрали его, вот муж приехал¹, так и познакомились.

Были там церкви?

Нет, на лесопунктах никогда церковью не было. Может быть, в Челмужах и было, все-таки там была участковая больница, но я туда никогда не ездила. Я только съезжу за медикаментами в Медгору, а так я все

¹ Муж Т. И. Кошкаровой работал в Медвежьегорском райотделе милиции.

время ездила, меня в любое время могли вызвать и ночью, и днем, и вечером, то на роды, то авария в лесу, то еще что-то.

А вообще население было религиозное?

Тут я вам скажу: было очень много детей маленьких у женщин. Были женщины одинокие, но очень много было детей маленьких у них. Так не знаю, не было вроде религиозности. Тут даже евреи были в поселке. Да в основном приезжее было население. Не местное.

Вы были единственным медицинским работником?

За восемнадцать километров была участковая больница, а в этом поселке я была одна.

Как к вам как к медику относилось местное население?

Местное население хорошо относилось. Ничего не могу сказать. Декретные выдавала... Были, конечно, случаи. Только я закончила [учебу], была там одна дама в бухгалтерии, она меня немножко обманула, много перегуляла [очевидно, в отпуске по уходу за ребенком. — А. Г.]. Еще женщина была тут одинокая, заболел у нее мальчик скарлатиной. Маленький, три годика. Я прихожу и говорю: «Надо к участковому». В то время, в пятидесятые, больных скарлатиной надо было обязательно госпитализировать. Я ей говорю: «А то будете заразу разносить». Скажешь ей, что инфекция разносится, она же не поймет. Она была маляром. А она как понесла: «Да ты сама зараза!» А вообще женщина хорошая была. Всем в поселке гадала. Я даже к ней ходила. Так она говорит: «Сама ты зараза!» Не могу этого забыть. [Смеется]. Детей много в поселке было. А относились хорошо, не было такого, чтобы на меня кто-то жаловался.

Были какие-то конфликты в этих поселках?

Может, видимо. Меня никогда никто не вмешивал, меня никуда не вызывали.

Ваша зарплата по тому времени была низкая или нормальная?

Ну не знаю, тогда казалось, что нормальная. Ставка фельдшера, значит, и половина акушерки. Все равно две ставки мне бы никто не дал, потому что в акушерском пункте была я одна. Вот была бы акушерка, тогда и дали бы ставку акушерки и мне. А так шестьдесят пять рублей, по-моему, получала.

Хватало вам на жизнь?

Так-то хватало. Если что-то купить, то родители... Купили мне шубу, из дома присылали. Или как-то так. Большой вещи не купить, конечно.

А не помните, если что-то надо было купить, народ куда ездил? В Медвежьегорск, Петрозаводск?

Я не знаю, чтобы кто-то куда-то ездил. Все тут люди были заняты работой.

Как вы воспринимали работу: как долг, как возможность проявить себя?

Как долг. У меня работа была на первом месте. Уже здесь было трое детей. Приду в родильный дом, день я отработаю, а на ночь смена не пришла. Я, значит, не могу оставить свой пост, остаюсь на ночь. А у меня было трое маленьких детей. И если муж не дежурит ночью, то очень хорошо. Он дежурил же в министерстве. И утром я не могла уйти, потому что все посменно было, то есть пока все дела сделают, съездят за кем-то. У меня работа была на первом месте. И я не хвастаюсь. Потом я тоже работала в консультации, и если что-то нужно было, то тоже. Вот заболели люди или что, вот я отработала свою смену. Полчетвертого, а в четыре надо дома быть. Но я понимаю, что надо остаться. Никогда у меня не было сказано «нет». И на лесопункте, и в роддоме, и в консультации я всю жизнь работала на полторы ставки.

Когда вы стали жить вместе, в каких условиях вы жили?

Когда мы начали вместе жить, мы жили у его родителей. Его квартира была в Медгоре. Он привез к себе своих родителей. Еще у него брат и сестра были. Когда я вышла в декретный, его уже переводили в Петрозаводск. Но мы тут недолго жили с ним. Жили на Носова и квартиру снимали. Но поскольку у нас квартиры не было, летом образовался округ, и нам дали какую-то хибару, потому что все было занято. Потом округ распался, и его уже переманили в Медгору. Там уже мы жили в деревянном доме.

Кто у вас отвечал за семейный бюджет?

Я.

Р2. Я не умею деньги считать.

То есть вы забирали у мужа зарплату?

Я не забирала. [Смеется]. В этом отношении у нас все было в порядке.

Р2. Я мог деньги потерять, если не отдал.

На что у вас в основном уходили деньги?

На детей и на еду уходили, на что ж еще? Мы не были такие, чтобы себя одевать. Было что-то, чтобы переодеть, да обувь, чтобы было в чем выйти.

Р2. На машину так и не накопили.

Хотя бы какие-то крупные покупки удавалось делать? Велосипед, граммофон?

Нет. Мы совсем небогатые были.

Вы вступили в партию?

Нет, мне никто не предлагал.

Было у вас вообще такое желание вступить в партию?

Не было, но не предлагали таким, как я. Нас много акушерок было, но никто не был в партии.

Кто в вашей семье отвечал за воспитание детей?

Так я тоже, он же все время был в командировках.

А бабушки или дедушки помогали?

Его родители недалеко от нас, в Медгоре, жили. Помогала свекровь. Ко мне они хорошо относились. Но знаете, мы тоже были молодые, может, ей иногда и не понравится, как я с сыном общаюсь. А так не было у нас ни скандалов, ничего.

То есть бабушка помогала в воспитании?

Да. Пельменей настряпает, а утром придет, принесет такое большое блюдо пельменей — закрыто все, горяченькое. Я, значит, открою, а я по дому хожу в трусиках и лифчике, а она: «Ой, как же это перед мужем можно так показаться?» Она же была староверка, для нее это было непонятно. А ребятишек заберет на кухню, накормит. «Ешьте, ешьте. Папе да маме ничего не оставляйте!» Ну она-то шутя, но так всегда накормит.

То есть бабушка была религиозная?

Да. Очень.

А на детей она пыталась влиять?

Я не замечала.

P2. Она убеждала всегда. Вот меня еще в молодом возрасте научила молиться, я молился. Она верила в Бога. А потом, когда уже в школу пошел, там быстренько привили атеистическое воспитание. Я перестал молиться, а она все равно заставляла... Она очень была религиозной.

Ну меня-то не заставляла.

У вас оставалось время на чтение?

Да, я читала очень много. Я читала медицинскую литературу, что надо было посмотреть, и художественную.

А покупали книги, или вы ходили в библиотеку?

Покупали.

То есть на книги денег хватало?

Ну хватало-не хватало, но хотелось.

А газеты выписывали?

Да, газет мы очень много выписывали. Уже не помню какие, но очень было много. Еще муж любит садоводство и такие вот — второстепенные. Вообще выписывали все газеты.

А первые пять лет после того, как вы поженились?

Покупали, мы очень любим читать газеты. «Известия», там еще в Медгоре и «Ленинская», вроде, была. И даже районную читали. А сейчас вот тоже все газеты читаем. Я без газет не могу.

P2. У меня еще была общественная нагрузка, распространение подписных изданий. Так что на мне лежало и распространение. И в Медгоре, и еще здесь. Я должен был показать, что я сам выписываю газеты.

Когда у вас была своя семья, у вас много было друзей? Или на общение с друзьями времени не хватало?

Ну знаете, друзья-то друзьями, а у нас была сестра его в Медгоре, родители его там же, брат, еще сестра приезжала. Были друзья у нас, но редко так встречались.

Общались с родственниками?

Да, общались.

Часто ходили в гости?

Ходили. В день рождения или просто в праздники.

Для своих детей вы когда начали праздники устраивать? С самого рождения?

У своих детей день рождения. А он еще занимался фотографией, так вот... Так что фотографий очень много любительских.

Когда вы начали работать на лесопункте, вы устраивали лекции?

Да.

На какие темы?

На какие темы? Поскольку я — акушерка, фельдшер, то про пневмонию, а больше всего женщин интересовали женские вопросы.

А на политические темы вы устраивали лекции?

Нет.

А сами ходили на такие лекции?

Ходила.

Часто их организовывали?

В школах, бывало, учителя выступали, но так, не очень часто.

Помните, на какие темы выступали? По внешней или по внутренней политике?

Не помню, не могу сейчас сказать.

Вы постоянно занимались самообразованием в какой-нибудь области, кроме медицины?

Читала, ну а как же не читать. Ведь все новинки, все равно меня это интересует.

А кроме медицины что-то узнавали?

Еще политику, про всех наших депутатов читаю, все возмущаюсь. Не знаю, газеты я всегда любила. И в Медгоре, и здесь. Надо было все знать, что в мире происходит.

Какое отношение к религии было у ваших родственников, кроме свекрови, и у ваших знакомых? Много было религиозных людей?

Нет, я сама никогда в религию не верила, и мне супруг никогда не говорил ничего такого.

Среди ваших знакомых были те, кто ходил в церковь или отмечал религиозные праздники?

Я не знаю, не было такого. Муж был коммунистом, не было. Но как же не отмечали, Пасху-то уж все отмечали. Яйца красили, пекли. Родственники всегда приходили.

И до, и после войны?

Да, даже вот в этом [2006] году.

Вы ходили на демонстрации?

Нет, они были на площади [Ленина], мы рядом, на [улице] Куйбышева, жили. Рядом же жили тут, но я на них не бывала.

Нравились демонстрации?

Р2. Нравились-не нравились, но надо было ходить. Нас не отпускали с фельдшерской школы на праздники домой.

Р2. Я вот помню, что начиналась демонстрация, а потом колонна растет, растет и просто бесконечная становится, по-моему, теперь так же.

Были ли на лесопунктах конфликты на национальной почве?

Не видела.

Были ли анекдоты национальные, не помните?

Я кроме работы никуда не ходила. Не было, я не знаю.

Вы говорили, там были даже еврейские семьи. Какое было к ним отношение?

Да нормально им было. Например, завхозьяством, у него жена была, теща, когда-то большая семья. [...].

Вас никогда не привлекали организовывать выборы?

Я на выборы ездила. Когда нас освободили и когда я потом год работала ветеринарным фельдшером, я ездила на выборы — за Ладва-Веткой есть поселок.

Кем вы там были, организатором?

Ну не знаю, там была в какой-то комиссии, агитатором. Как комсомолку послали.

Как прошли выборы, была какая-нибудь антисоветская агитация?

Нет, тогда вообще никогда ничего не было, как теперь бывает.

Приходилось ли вам или вашим знакомым судиться?

Я сама не судилась.

До войны или после кто-нибудь из ваших знакомых был репрессирован?

У меня не было.

А вообще если взять тридцать седьмой, тридцать восьмой годы, вы знали о репрессиях или вас вообще это не касалось?

Нас не касалось.

А вы знали о репрессиях?

У нас был репрессирован дядя Никита, муж маминой сестры. Он был пьяница. Хороший человек, но выпивать любил, столяром был. На станции Ладва жили, там какие-то охранники были. Он по пьянке сказал что-то, и его репрессировали. Семеро детей у него, все, пропал он, с концами.

Мать одна их поднимала?

Одна, потом в эвакуацию уехала с ребяташками. Там умерла, сиротки одни остались, сейчас только одна живет, моя двоюродная сестра.

Это как-то изменило ваше отношение к Советской власти? Считали, что несправедливо его репрессировали?

Считали, конечно, и до сих пор считаем.

В Ладве было, что по ночам пропадали люди?

Было, было. Знали об этом. У соседки, учительницы, Ольги Николаевны, мужа взяли, и она год просидела, а потом он вернулся, но она не стала с ним жить. Но так не было моих близких, так к Советской власти нормально...

Как вы относились к Сталину до его смерти?

Очень хорошо, я детям все пела колыбельную песню, стихотворения про Сталина. Я хорошо относилась.

Как вы отнеслись к смерти Сталина?

Естественно, печально, траур был, люди все плакали.

В Медгоре был памятник Сталину?

Сталину там нет памятника.

А тогда был?

Не было, и сейчас нет.

В целом если подвести итог нашей беседе. Когда вы заканчивали школу, какие планы у вас были, какие надежды?

Учиться. Отец хотел, чтобы я стала учительницей, говорил, что у учителей два месяца отпуск, а я говорю: «Нет-нет-нет, учителем я никогда не буду, я буду медиком».

Какой была атмосфера послевоенного общества?

Тут надо было специальность получить, работа...

То есть вашей основной целью после войны было стать специалистом?

Да.

Кем вы себя ощущали — жителем Карелии или жителем Советского Союза? Что преобладало?

Советского Союза. Тогда я, может, и не знала, что такое Карелия. Это сейчас очень выделяется, что Карелия, Карелия, а тогда не было. Советский Союз и все.

Можете обобщить этот период в вашей жизни?

Я считаю, что я прожила неплохую жизнь, мы с мужем воспитали детей, отработали на работе, все нормально. Теперь уж доживем до конца.

Спасибо!

Интервью с Анной Ивановной Коттиной, 1929 г. р.

*Записала Л. О. Аринина,
с. Шёлтозеро Прионежского р-на Республики Карелия,
20 июня 2006 г.*

Я — Анна Ивановна Коттина, дата рождения 30 марта 1929 г. Родилась я в Рыбреке, отсюда [от села Шёлтозеро] шестнадцать километров, там моя родина. Замуж вышла я в 1950 г. в Шёлтозеро. Родители мои: мама работала в колхозе, папа работал на каменных разработках, тяжелая работа. В сорок первом году папу взяли в армию, мы остались с мамой. Нас у мамы было трое, старший брат на полтора года меня старше, маленький был у нас. [Когда] папу взяли, Аркаше был один месяц. Вот с такой семьей мы остались. До войны мама была председателем колхоза, все работала, у нас [был] свой домик, свое хозяйство. Мама работала в колхозе без копейки, что-то натурой там получали, но мама очень мудрая была женщина, чего только она не умела, чего только она не знала. Она шила хорошо, она до революции училась в Ленин-

граде, отец ее туда увозил, и вот она шила. Она все буквально шила, все абсолютно. Тогда не ахти какой выбор был довоенный. Она очень хорошо разбиралась в сельском хозяйстве, все растения знала, очень любила природу, лес. В общем такая мудрая была женщина. Все время жили в основном на свое хозяйство — это корова, телочку до осени выращивали, ну вот, а потом... еще иногда поросята, но редко, нечем кормить было. И корову кормили с горем пополам. Надо было где-то в лесу искать, покосов не давали, очень трудно, но все равно корова была кормилица, мы были вынуждены как угодно, но корову держать.

Ваши были родом из Рыбреки?

Да, из Рыбреки. Все корни наши от и до, всю жизньшку, все дедушки-бабушки, все-все — рыбрецкие.

Чем занимался ваш папа?

Папа [работал] на каменных разработках, до устали. Это очень тяжелая работа, ведь все вручную тогда делали, на гору подыматься — где-то лесенка шла, по-моему, где-то, наверно, 200 с лишним ступенек было, 250 ступенек, по-моему. Каждое утро надо было подняться туда на гору, и там работали. Сарайчики были, и вручную долбили камень. Камень взрывали, глыбу такую, а потом из этой глыбы делали поменьше, и в общем делали брусчатку. Была каменная дробилка в Рыбреке, потом увозили этот камень, в основном в Ленинград, в Москву, да во все города, где только нашего камня и нету. Это богатство такое. Папа там работал до войны. После войны было уже что-то из механизмов, а до войны ничего не было. Очень тяжелая работа. Но он был очень добрый и хороший. Было мне в сорок первом году одиннадцать-двенадцать лет, в сорок первом году, денег, конечно, не было тогда у нас, копеек, [чтобы] в кино идти... В кино денег попросить была, конечно, проблема. А тогда кино часто демонстрировали, помню, «Три поросенка»... На всю жизнь запомнилось, как мы смотрели «Три поросенка», надо было двадцать копеек, так ведь это была проблема, чтобы найти двадцать копеек.

Детство такое было довоенное, что мама приучала трудиться. [Онежское] озеро с полкилометра [от Шёлтозера], наверно, все ребята всегда пропадали на озере, но не было такого, чтобы я свободно пошла просто на озеро купаться, баловаться — всегда была дана какая-то работа. Что-то стирать, что-то мыть. Вот тот же подойник надо было... Мама обычно прополаскивала дома, мыла, но капитально мыть надо было на озере. С песочком, долго так натирать. Тогда порошков вообще не было, только мыло, и то надо было экономно держать. Потом Аркаша появился,

так надо было постоянно мыть-стирать за Аркашей. Аркашу нянчить мне приходилось.

Кто в вашей семье воспитывал самых маленьких?

Наверно, бабушки немного помогали. [А когда] немножко подрастали, были абсолютно самостоятельными, некогда было [нянчиться] ни родителям, никому, все были заняты, сенокосами, вовремя венчики надо было брать, тогда же не было никаких мочалок. Сейчас мочалок-то, Господи, не знаешь куда деваться! А тогда, чтобы мочалочку сделать, [надо было] из тряпки мять — не было [в продаже]. Брели вот кору осиновою, сминали, замачивали, и вот этими рогожками все мылись. И у самих в бане были такие рогожки, и посуду мыть рогожками, и полы мыть, в общем все было природное, ничего покупного у нас почти не было. Мама у нас [поскольку] в колхозе работала, спать приходилось мало, надо было все домашнее хозяйство справлять, и она еще ночами шила. Помню, кто принесет передник шить, кто платье, кто брюки, даже пальто, но в основном-то материала не было, так перерисовывали. И она перерисовывала. Тогда уютги-то были еще духовые, когда угли, не знаю, видели ли вы в музее, в музее посмотрите. Такие чугунные, тяжелые. Надо было перед огнем, русскую печь затопят, каждый шовчик мама чистила ножиком и каждый шовчик гладила, все старалась аккуратно, люди-то ведь свои все, надо было делать по-честному, аккуратно, красиво, вот и старалась, и таким уютгом, и потом [уютгом], который уже с углем, это было уже легче. Других и не знали.

Мама шила всю одежду?

Мама. Абсолютно все.

Где вы брали материалы?

Самый распространенный материал назывался «чертова коза». Это такой грубый материал, обычно пальто да такое сырье, шерсть не шерсть, не что-нибудь, а такая грубая, нити, видимо, такие. Грубая покрашенная ткань, и вот это было самым таким распространенным материалом. Ситчики бывали в магазинах, но это все было в очередях, вообще трудно было достать, знаете, ну да и покупать особо не было на что.

Была одежда будничная, праздничная?

Да, была, конечно. В школу я даже не помню, в чем мы ходили. У нас хорошо, что мама шила, так мы оборванцами не ходили. А тогда сколько угодно детей ходили оборванцами, очень плохо одетые. У нас-то мама сама все делала, поэтому мы были одеты мало-мальски [прилично]. Еще всякие кусочки, все она собирала, шила и лифчики, и штанишки. Более-менее аккуратно ходили, потому что все выходило из маминых рук. Овечек держали, своя шерсть была. Сколько в своей жизни мама

этой шерсти своими [руками], такими большими тюками, сама обрабатывала, сама вязала, все сама делала. И ночами работала, притом на керосиновой лампе, ведь электричества не было. Воду надо было носить тоже, далековато колодец был, даже на этом сэкономили... Но единственное, что на озере было сколько угодно воды, речка была... Мы всегда так чисто, мама вообще приучила ко всему, все делать научила с детства: и полы мыть, ведь тогда полы были некрашенные, белые, а натирать — дожелта натри. Силенок-то нету, а все равно натирала. Песок надо было в речке взять и начисто все это промыть. [Ковровые] дорожки были, самый старинный промысел. Тогда никакая тряпочка ни на мочалочку, никуда не шла, от чулок ли, от чего[-то еще]... Колготок тогда и в помине не было. Это появилось у нас уже только после войны, да и очень поздно после войны. А так все чулочки-тряпочки шли на эти дорожки... Во всем была такая экономия и расчетливость, что уму непостижимо.

Какими были ваши жилищные условия?

У нас был небольшой дом, вот у меня [сейчас] две комнаты, четыре окна на сторону, а у нас [была] комната — два окна, кухонька и коридорчик. Веранд тогда не было, со строительным материалом тоже ведь были проблемы, и не механизировано, это теперь можно доски, а тогда ничего ведь не было. Вот такой у нас был домик. Русская печка стояла, очень много места занимала, целый угол. Выходила она топкой на кухню, а сама печка, считай, стояла в комнате. Много места занимала. У нас стояла только одна кровать. Помню, как-то мама уезжала, то ли на конференцию какую-то, то ли [еще] куда-то, она была членом партии, так мы попросили папу — нам надоело на полу валяться — сделать нам какие-нибудь кровати. Он поставил, сделал мне и брату — из досок, грубые. Мама как пришла, как увидела, сразу сказала: «А это что за гости такие? Ну-ка, убрать немедленно все!» В общем так вот чистенько все держали.

По сравнению с соседями достаток семьи был одинаковый или больше?

Вы знаете, тогда, наверно, все жили примерно одинаково, и доходы были примерно одинаковые, разница была только в том, что смотря какая хозяйка. Какая разворотливость у хозяйки. Это и сейчас, и всю жизнь так, но у нас в основном все держалось на маме. Как-то от папы мы меньше... Он был добрая душа такая. Дрова мы возили на лошадке, а пилили потом мы с братом. Сил-то нету, и шлепков давал, потому что у меня нет силы, пила-то поворачивается, а надо прямо-прямо вести и тянуть сильно, а не получается, так он: «Тяни прямо! Ну что ты!» —

орет на меня так. Помню, что это был тяжкий труд, пилить дрова. Потом еще мама придет с сенокоса. [Уходили] раненько, ходить надо было далеко, вечером придут усталые, косили все, согнувшись, такими косами... Усталые придут, и надо было каждый день заправлять косы¹, а эти [точильные] колеса такие [большие], и надо было крутить их. Вам не представить, я не знаю, есть ли это в музее, наверно, в музее есть фотографии, чтобы вы могли представить. Надо было крутить такое колесо, чтобы точить. С двух сторон ручки, с одной стороны и с другой, чтобы двум человекам крутить, так это был тоже очень тяжелый труд. И мама прилегает, и жалко нас в то же время... Это вечером им надо было подготовиться на следующий день. В общем такую жизнь прожили наши мамы... Некогда баловаться было. Еще о труде хотела сказать. Сколько там пшеницы, ржи или ячменя, [что] выращивали в колхозе, в первую очередь отправляли [как] налоги в город, государству. Вот на них, видимо, тогда действительно государство держалось. Все на них, на бедных. Что там получают на трудодень, немножко, надо было дома обрабатывать. Вот сушили и тоже было такое [приспособление], я знаю, оно есть в музее: крутят, в середину сыпят зерно между жерновами, два огромных камня друг на друге. Я помню, крутила: потом вроде разойдусь, но очень тяжело, особенно начинать. Вот таким образом мы свой хлеб и крупу делали. Не знаю, как это родители наши прожили.

Вы знаете, как встретились ваши родители?

Где они встретились, я даже не знаю. Тогда, знаете, как-то было так, что знали в деревнях друг друга и рядом с деревней. По рекомендациям, родители их сойдутся и поговорят. Я бы не сказала, что мама дружила много или что-то... Судя по ее рассказам, выходило так, что рекомендовали — иди-иди да не отказывайся. Семья у них большая, мужиков в семье много. Вот в такую большую семью она пришла. Другие невестки там были уже постарше, папа был маленько помоложе, а невестки постарше, так они и распоряжались. Надо было быть умницей и послушницей, подчиняться. Столы тогда были деревянные, в больших семьях обычно большие столы, их тоже песком натирали, не было ни клеенок, ничего, ну и, конечно, надо было... Тогда хозяин был, дедушка — хозяин. Он как отец этих сыновей — глава семьи, что скажет, то и делать. Тогда не было такого, что не подчиниться, не послушаться. Вот такое у них было взаимное уважение, видимо, веками вырабатывалось, обязаны были, болезненно не воспринимали, видимо. Так было: надо, значит,

надо. Меня мама, например, научила, «пидостань» — это по-вепски, хочется тебе или не хочется, но это нужно. Значит, ты делай и не смей внутри себя вырабатывать противоядие какое. Вот ты должна сделать это, значит, сделай. Мало ли что тебе сегодня не хочется делать, а надо. На другой день только кусок хлеба оставь, а работу не оставляй. Что можно, все сегодня сделай. И я вот тоже так всю жизнь тружусь-тружусь, очень много тружусь.

С родственниками поддерживали отношения?

Вы знаете, с маминой стороны, у нее все-таки было пять сестер, и дружба было большая, чем с папиной стороной, например. Но я не знаю, почему так, наверно, везде так бывает. От кого больше помощи, там и находят советы. Вообще мамина сторона была, мне кажется, умнее что ли... Во всяком случае, более сообразительно, более умело все вели, умели многое, давали даже больше. Я помню, когда бабушка с бабушкой с папиной стороны вдвоем жили... страшно рассказать, как они жили. [Их] дочери тоже были все вокруг, у них было пять дочерей, но [когда] папа был уже на фронте, мама больше за ними [родителями мужа] смотрела, хотя трое нас оставалось, и без отца, а дочери родные тут были, но как-то не смотрели за ними. Бабушка была слепая семь лет, и мама водила ее за руку. В общем мы так жили, мама каждые выходные пекла калитки. И мясо у них было очень экономно. Мясо варилось только по воскресеньям. Тогда теленочка мы не ростили, и то с папиной сестрой, они через дорогу жили, одну телку вырастим, другую телку сдадим, а другую пополам, на мясо. Так что большого мяса не было. Вот грибы, рыжики. Мы, например, голоду не видели ни в какое время, потому что у нас всегда была картошка, и урожаем у мамы всегда был. Говорят, «нет урожая», а у нее всегда был урожай.

Что вы ели каждый день?

Каждый день рыбники. Картошка обязательно каждый день. Супы разные варились. Еще варили — «пудра» называется. Это ржаную муку, крутую-крутую, и эту кашу ели с молоком, сметаной или даже с маслом. Масло-то было свое, не покупали. Ели эту пудру. Готовили ее прямо около русской печи, на плите: труба открыта, вроде и не примус, а подставка такая была, огонек под этим, и вот так варили.

Что пили?

Пили чай, но чай были все травяные, собирали в основном малину. Помню, какой-то индийский чай, [когда] кто[-то] придет, или мама шила так... Знаете, как обычно порошки заворачивают? Теперь-то порошки не заворачивают, все таблетки, а раньше заворачивали, не знаю, представляете вы или нет. Завернет, как порошочек, в этом мешочке

¹ Очевидно, имеется в виду необходимость каждый вечер во время сенокоса править и точить косу.

дадут чайку, заварку. Это было для женщин, особенно во время сенокоса, как лекарство, как праздник что ли... Был китайский чай. А так в основном свои травы, молоко, конечно, пили и молоко, но тогда ведь комбикормов не было, так и молоко... помню, молока большого и не было. Простоквашу...

Были ли какие-то блюда, которые ели только по праздникам?

Мне кажется, что тушенка. Ну рыбу, когда рыбу доставали, тогда, конечно... Редко это было, у озера жили, но я не помню, чтобы мы рыбы много ели. Уха. Колбасы да сыру — не бывало такого...

Были какие-то любимые лакомства?

Лакомства у каждого свои были. Молоко... Молоко мы как ели: крошонку делали, хлеб крошили в молоко, и вот эти крошонки ели. Еще толокно, очень вкусно.

Приходили к вам гости?

Да, приходили. В праздники приходили, и когда демонстрация была, для нас это большие праздники были. Интересно было, хорошо. Потом к родственникам, мы-то так, с боку припека, а родители ходили, я про родительский дом свой рассказываю, так приходили к родне своей, встречались, потом шли к другим, пили там, водка тогда была, и закуски были.

Какие еще праздники отмечали?

Советские праздники отмечали. Между прочим Пасху всю жизнь [отмечали], не очень гласно, может, боялись яички красить, но, тем не менее, это всегда было.

Новый год отмечали?

Новый год отмечали. И отмечали, и елку ставили. Всю жизнь ставили елку, всю жизнь. Я теперь, наверно, года два-три не ставлю, а так всегда ставили. Но тогда с игрушками было плоховато, делали всякие бумажные, и вот теперь фантиков этих карамельных всяких-всяких, а тогда редко было это какие-то фантики, так мы берегли каждый фантичек, хлеба туда нарежем или бумажки положим, завернем — это на елку вывешивали. Елку увешивали, и печенье если есть, и всякие бумажки, вот такие набивные игрушечки.

Дарили вам подарки на праздники?

На день рождения всегда что-то было. День рождения всегда как-то очень радостно было, вроде как внимания к тебе больше, так-то некогда родителям внимание уделять, а тут на тебя внимание, и ждешь, и ждешь этого дня рождения. Какие-то подарки, конечно, были.

О каких подарках вы мечтали?

Не помню. Вообще я мечтала стать врачом. В детстве я увлекалась мышами, лягушками, все думала, что я буду врачом. Всякие лекарства делала свои, больнички устраивала. Кукол покупных ведь у нас не было, мы шили сами всех своих кукол. Нарисуем глаза, там что-то набьем в голову, и на подоконнике — помню, что всегда домик устраивала на подоконнике. С куклами играла. Помню, потом уже куклу такую большую я шила, но брат у меня такой вредный был. Как-то пришла, а он мне куклу эту повесил. Ой, это для меня была трагедия. Старалась-старалась, куклу шила, а он мне ее повесил и издевался.

Готовились как-то к приему гостей?

Готовились, конечно, готовились. Ну как... Припасали уже продукты и старались, чтобы все на столе было хорошо. Винегрет тогда делали, распространенный был. Таких салатов, как современные, не было. А так, рыба... что-то мясное все-таки...

На каком языке разговаривали в семье?

На вепском. Даже когда мои дети выросли, сама когда в школе работала, дома все равно все на вепском. И сейчас. Другие-то в семьях на русском говорят, но у них отец или мать русские, а у нас все вепсы. Сын у меня говорит на вепском, а дочка у меня меньше говорит, потому что она в Ладве замуж вышла, и они с мужем говорят на русском, а так она все понимает, все умеет, но все-таки ее тянет говорить на русском. В школе, с людьми говорю на русском, а дома все равно на вепском.

На каком языке читали газеты или слушали радио?

На русском.

Вас родители учили русскому?

У меня мама хорошо говорила, на маму многие удивлялись, как она хорошо говорила на русском. Тогда многие плохо, я ведь тоже так говорю, что заметно, что не русская. Я помню, когда в санаторий приезжала, то спрашивали, кто вы по национальности, потому что чувствуется, что акцент не русский.

Гости к вам приходили — тоже говорили по-вепски?

Ой, всяко было. По-разному, потому что у мамы одна сестра в Петрозаводске все время жила, так привыкла как-то на русском, а вторая замуж вышла за русского, поэтому пришлось так. Постепенно все уходит...

Когда гости приходили, не помните, что родители обсуждали с гостями?

Не знаю о чем говорили... наверно, о своих житейских делах...

Вы помните сказки, колыбельные, которые пели в вашей семье?

Да. И я сама детям своим пела... Люльки ведь тогда были. Мы все в люльках росли. А потом эти уже качалки, кровати-качалки. Вот еще про бытовые условия — дрова надо было привозить из лесу, это очень трудоемкий труд. Мне кажется, топили маловато, потому что все время что-то мерзла я, помню, детство все такое холодное. Залезешь на печку и там на печке греешься. Так холодно было и угарно, я угорала все время, потому что, видимо, старались закрыть пораньше, чтобы тепла больше было. Много раз угорала, помню, как это было тяжело и плохо. И у нас тогда веранды не было. Помню еще, что у нас лесенка была крутая. И я падала с нее носом, и ноги, помню, что разбивала.

Вы ходили в детский сад?

Про детский сад не помню, чтобы я ходила.

Еще вопрос про одежду — какая была будничная одежда? Что носили?

Тогда же в сундуках держали, [ни] шкафов не было, ни гардероба, все в сундуках. Помню, что у мамы были и шелковые платя, и льняные. И туфли на каблуках, потом они мне достались. Даже платя она свои мне перешивала, красивые были, но всегда из сундука доставала. А как они пластом лежали в сундуках, такие квадраты и остаются. Но у нее были хорошие платя.

Откуда их привозили?

У нее из Ленинграда были платя. Тогда премировали всегда дорогими подарками. Вот у нее отрезки бывали, шерстяные, шелковые. Потом она и мне переделывала, когда я в педучилище училась. Она мне многое переделывала, запасы были с времен довоенных еще. А еще покупала она шерсть у бабушек, соседей, она очень с ними дружила, и шерсть тонкая такая, василькового цвета, красивая очень. Юбка и кофта. Так вот мама купила и мне наряд такой. Когда я в педучилище училась, мы, конечно, очень бедные были, но, во всяком случае, наряды у меня были. Все одевались, конечно, — чистые платочки оденут, шапок тогда [не было]. Шляпок было очень мало, редко кто ходил. Это когда кто приезжал, из Ленинграда, Петрозаводска, а в основном в платочке все ходили.

На ногах что носили?

А на ногах обувь была простая, туфли в основном. В магазинах покупали, но такого [выбора], как теперь, конечно, не было.

В какие игры вы играли в детстве, помните?

Мы в лапту много играли. Это, пожалуй, самая распространенная была. Ну «третий лишний». Что еще... Из рогатки стреляли. В прятки, в кокушки.

Это по-вепски?

По-вепски кокушки, да, это ляпы.

Пели песни у вас в семье?

Ну вот когда гости собирались, то пели. Пели песни распространенные, которые родители наши пели. Сейчас мне, наверно, и не вспомнить слов, я их представляю хорошо, но... Потом, может, вспомню. По праздникам собирались и пели.

Вас учили читать до школы?

А я даже не знаю. Никто меня не учил, может, сама где-то как-то. Я училась очень хорошо. Я до войны окончила всего три класса, училась я на «отлично». У меня редко когда другая оценка бывала. Собственно, я и не готовилась, ничего, но просто мне это легко давалось. Потом я была в оккупации. Три года я училась в финской школе. В финской школе я тоже неплохо училась. Вот когда пришли финны, мы ничего, ни слова не понимали. Но в школе сразу с нами только на финском говорили, мы быстро научились, больше ни на каком. Очень быстро научились и разговаривали. А вот после финнов... Тут в сорок четвертом году нас освободили, когда стали первые солдаты приходить, мы все бегали, радовались. Все ждали отцов своих с войны, а мы получили похоронку... А как нас освободили, брату моему было шестнадцать лет, тогда все было заминировано, а война — это целый раздел, как рассказать, об этих минах и обо всем... целый раздел! Так вот, брата взяли сразу на мины. Он был минером в Шёлтозеро, целый месяц, там сколько-то часов им преподавали, а потом до августа, 9 августа их уже послали на войну. Ему в декабре исполнилось 17, когда проводили мы его.

Люди в эвакуацию ездили, а почему мы не могли никуда уехать, потому что мама с тремя детьми осталась. Уезжали обычно те, у кого мужья еще здесь оставались, на чем-то вывозили их. А те, у кого ничего не было, вот так и остались. Все были недовольны, период такой тяжелый, что вы тут жили у финнов, голоду не знали, а мы там голод видели, такое вот отношение было неважное. Вот Куприянов... У Сталина был приказ, что всех, кто был в оккупации, в Коми увезти. И эшелоны были подготовлены, и договоренность была полная, чтобы нас вывезти. Раз мы тут были. Как врагами народа нас считали. И поэтому период такой сложный был. Не спрашивали — брали на мину, на фронт, сколько мальчишек в Польшу увели, все там и остались, мой брат, например. Потому что не обучены ничему. Сразу попали на мясо. Брат на фронте не был, но восемь лет отслужил. Кроме того, у мамы было приданое — коровка с белой головой, помню, Сорокой звали. И мама вырастила телку. Потому как корова старая была, а молодая корова была наша. А ко-

гда с войны пришли, эту нашу корову забрали. Период был такой все-таки очень тяжелый, правда.

Я пошла в седьмой класс, хотя мне надо было вообще в четвертый идти. Я же закончила три класса до войны, и по закону я должна была идти в четвертый. А я почему-то приперлась в седьмой. По возрасту нас, наверно, было 64 человека. До Нового года тянули кое-как, но это была не учеба, а мучение. Для нас и для учителей, в первую очередь. А потом договорились, что с первого января расшерстили нас всех. То есть должна была я идти в четвертый, значит, в четвертый. Кто в пятый, тот в пятый. А в седьмой, у кого шесть было закончено нормально, и те, кто до войны кончили шестой класс. По возрасту разные получились, во всяком случае, набрался такой класс, двадцать четыре человека. Нас двоих взяли в этот класс, оставили меня и Женю Щукину, мою подружку. Нас двоих только оставили в этом классе, я не знаю почему. Были ли мы потолковее, или подопытные зверюшки были мы, я не знаю. Двадцать четыре человека стал седьмой класс, и с первого января, с Нового года, нас муштровали крепко. Все предметы, а вот если разобраться, то я пришла в седьмой класс, а буквы-то русские даже подзабыла. Да и ни алгебры, геометрии, физики — никаких этих предметов у финнов ведь не было. Собственно, я потом поняла, что программа четвертого класса, программа седьмого класса, наверно по математике, соответствовала четвертому в русской школе. Вот так... тогда ведь учителей не было в республике, поэтому была договоренность такая, что вот этот класс наш полностью [*идет*] в педучилище. Нам не [*дали*] аттестатов об окончании, тогда семь классов закончить надо было, ничего нам не дали. Мы должны были в педучилище, чтобы наших скороспелок обучали уже в педучилище.

То есть вы не выбирали профессию?

Да, я не врач, не медик, хотя мечтала... А вот вы знаете, что еще... Я сказала насчет брата, что так рано взяли его, не спрашивая ничего, коровушку у мамы взяли без копейки, похоронку получили, а еще когда в седьмом классе училась, маму взяли на лесозаготовки. И я одна осталась в домике с коровой, русской печкой и трехлетним Аркашей. Это я утром встану, должна была печку протопить, корову посмотреть. Вот так я в седьмом классе. Мама бедная была на лесозаготовках зиму. Вот так я проучилась в седьмом классе. Даже страшно вспомнить. Я тут говорю — дети, а совсем не ребенок я уже была! Конечно, тут и холод, и все увидела.

В педучилище нас потом на барже сопроводили, приехали в педучилище, жили в этом доме, еще стоит у дороги каменное здание. Ну вот

туда нас привезли, как мы окончили седьмой класс. По знаниям-то мы, конечно, не седьмой класс. Привезли туда на все летошко на подготовительные курсы. Три года мы там учились впроголодь. Карточная система тогда была. Лето было жаркое, мы учились три месяца от и до. Потом приемные экзамены. Если вам сказать, так рассмеетесь, — я написала диктант, у меня было сорок две ошибки. Еще учитель, скажете. Ну так вот, потом меня экзаменовали на финском. А там было финское отделение. Ну я финский сдала, конечно, на пятерки. И мне говорят: «Иди на финское отделение». А я, дурочка, не пошла! Почему я так отнеслась, а ведь так хорошо было бы. Легче было бы учиться мне. Нет, я три дня плакала в педучилище на крыльце этого здания кирпичного. Всегда, когда там бываю, так вспомню, никогда не забудешь. А потом говорят — ну раз так плачешь и так хочешь, ну иди. А там было четыре класса первых, и вот последний это наш класс, «г», четвертый класс наш. Нас двадцать четыре человека было привезено. Я такая маленькая, худенькая, впроголодь тогда жили. И учительница была — никогда не забуду — Людмила Ивановна Богданова. Она жила во дворе вот этого педучилища, такая толстенная, небольшая учительница по русскому языку. И вот она потом сказала — не беспокойтесь, я из этой девочки сделаю грамотную.

Все-таки на русское отделение пошли?

Да, на русское. И вот Людмила Ивановна сказала — я сделаю из этой девочки грамотную. Сидела я на первой парте, она завела тетрадь и все мои ошибки, она меня, конечно, проштудировала. И учебники русского языка у меня пройдены не знаю на сколько раз. У меня не было никаких каникул, ничего. Она мне давала столько заданий, дополнительных тетрадей, в общем — ни каникул, ничего у меня не было. Я все время три года занималась, не только русским, но и математикой, тоже проблема была. Ведь столько пропущено было, перепрыгнуть вот так. Конечно, мне было очень тяжело. Я думала, больше в жизни не пойду учиться. Тем не менее когда у меня Виктор пошел в первый класс, я пошла в институт и закончила его.

В нашем педагогическом университете учились?

Да. Так вот и мы с ним в оценках соревновались — он в первый класс пошел, я на первый курс.

Помните, как вы пошли в первый класс?

Конечно, помню.

Остались какие-нибудь яркие воспоминания?

В первом классе учительница, она первый год работала, нас учила Элькина Валентина Ивановна, вот я ее помню. Мне она казалась очень

красивой, и вообще мы как-то идеализировали учителей. Она учила, еще... Евдокия... ой, она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, Евдокия Ильинична. Она жила недалеко от нас. Очень такая была... Ну была еще Валентина Ивановна, молоденькая девушка, мы ее любили, как девушку, такую красивую, молоденькую. А эта была очень авторитетная. Пожилая уже. Я ее очень хорошо представляю. Но она была рода такого... из священников... дворянского. Каким образом они попали в Рыбреку и жили там? Свой дом у них был, их было несколько сестер, и все они жили в Рыбреке. Так вот Евдокия Ильинична вот такая, очень строгая, и все думали, что она человек какой-то особый, такое было представление. Еще была у нас Лариса Платоновна, в начальной школе учила, в третьем, наверно, классе.

На каком языке преподавали, на русском?

Да, все на русском. Все на русском с первого класса. Я их всех отлично на лицо помню. Лариса Платоновна как раскричится, жила по соседству и с мамой она была в дружбе, не только на меня, но и вообще в классе очень крикливо вела себя. А Евдокия Ильинична в основном сидя работала, и ее слово всегда законом было и исключительно авторитетом брала своим.

Вам давали деньги на карманные расходы в школе?

Нет, что вы.

Помните, как вас в пионеры принимали?

Вот не помню. Как сама в пионеры принимала помню, я же пионервожатой десять лет проработала. После педучилища была направлена пионервожатой. Была направлена в детский дом. А я все стремилась в свою Рыбреку, больше ничего не признавала. Мне бы только в свою Рыбреку попасть! В детский дом нас с Женей двоих направили, она была воспитателем, а я пионервожатой. Такая молоденькая, а в детском доме были разные возраста. Все дети были тогда дети войны, не только брошенные какие-то, а были ребята с такими биографиями, у которых родителей на глазах поубивали, с разных мест были, очень тяжелый состав ребят был. Помню, я зарядку утром проводила, а слышу, там парни были года на два меня моложе, может, такие мальчишки с Украины были, отовсюду. В общем там я проработала всего полгода, этот детский дом переводили в Деревянное, но сейчас его расформировали. И Женя, моя подруга, уехала с детским домом в Деревянное. А меня пригласили в райком профсоюза и попросили: «Останься, пожалуйста, в шёлтозерской школе». Я и осталась. Осталась — десять лет пионервожатой проработала. Но это были трудные очень годы, дети у меня были маленькие. А мне надо было работать, а требования тогда были ужасные.

Это райцентр Шёлтозеро, всего района, все слеты пионерские проводили. Проводили тогда вообще очень много мероприятий таких. Приходилось всегда все это оформлять, всегда проводили шествия по селу, и колонну свою оформляли, и все это на мне лежало. Очень большая работа была, и я уже ко многому так... мне это фантазировать, все-таки материальные... скудно все было, бумага и все это, очень скудно все это было... В общем мне приходилось соображать, придумывать, очень тяжело пришлось. Я поэтому потом всю жизнь выдумывала и творческую работу вела. Сейчас, наверно, первый год как не веду, а так я ведущая всех мероприятий. Сколько я юбилеев провела! И такие юбилеи. И никогда не уставала, я всегда план напишу и своими словами, но о каждом юбиляре столько говорила. От всей души вела. Еще много лет проработала секретарем партийной организации. Эти протоколы, эти доклады все вела.

Если вернуться к школе, чувствовали ли вы какое-нибудь разделение между национальностями?

Мало кто оставался. Русские кто был, их сразу в лагерь увезли в Петрозаводск. Одни вепсы остались. Нельзя было в этом отношении чувствовать что-то. Финны очень быстро нас к порядку приучили.

Какое их отношение к вам было?

Всякое. И строгое, и очень строгое. И наказания были физические. Очень даже страшные. Например, одни мальчик в Карпоге жил, Валя его звали, когда финны в палатках устроились там, это в первый год еще, у них были фонарики, да, а у нас не было, мы в первый раз у них фонарики увидели. Так он не выдержал, взял этот фонарик. Зашел к ним, а их не было [в палатке. — Л. А.], и взял этот фонарик. Так за этот фонарик их с матерью на ночь закрыли в конюшне, утром он пришел в школу, а учитель у нас был офицер и второго учителя с соседней школы пригласил, и мальчику дали розги. Двадцать пять розг. А у нас [в селе] большой дом — частный, богатый — был приспособлен под школу, и в самой школе был госпиталь финский. Мы, значит, внизу учились, класс был такой большущий, раздевалка, наверху два класса. Четыре этажа в доме. У нас были третий и четвертый. Три года всего я училась. Так вот, там освободили, всех загнали наверх, стол развернули, простынь в студеную воду замочили, мальчика голенького на стол уложили, накрыли этой соленой... и вот один с одной стороны хлоп, другой — с другой. Но было страшно, мы все плакали. Вот это было самое страшное наказание, конечно. А так по-всякому наказывали. Больше всего мне не нравилось наказание такое — вот рассердится вдруг учитель, вроде он и не плохой был временами, а сделает крестик такой на доске: «Встаньте и

смотрите на этот крестик». А сам садится и следит по нашим глазам. Как отвел глаза, так указкой по голове и получишь. Глаза слезятся уже, не можешь смотреть, а надо смотреть на этот крестик. Вот мне наказание это очень запомнилось. А так никаких замков нигде не было. Никто ничего не трогал, никто. Вот у всех были лыжи, вот лыжи где поставим, вот так по порядку в сугроб, уж никто чужих не тронет. Или велосипед у кого весной, где поставишь, там и возьмешь. Никто не тронет. Всех такому порядку быстро научили. Вот на перемену звонок — все, за одну минуту, никого уже в классе нет — все на улице. Каждую перемену только на улице быть, и класс проветривался. В отношении чистоты — нигде ни соринки не было. Вот и мы это все выполняли. И я сама как учитель знаю — на полях не писать ни одной буковки, билась-билась и ничего не добила. То у них, как было сказано, так ни полбуковки на полях не было. Клякса чтобы где-то, на парте ли, а у нас тогда чернильницы в школе были, так сколько их и на партах, и на полу, и везде, полно чернил, а тут нет, тут не пробежишься. И никакой кляксы, никакой мусоринки.

После войны мы учились в седьмом классе, на газетной бумаге писали, не было бумаги. А у них такие тетради были, и бумага хорошая была. И писали очень аккуратно. Требования были очень... Вот я говорю — звонок на урок, мы за минуту успевали одеться, раздеться и уже на месте, уже урок. Вот такой порядок был. И воровства не было никого. А теперь попробуй оставь что-нибудь. Но они очень быстро нас к порядку приучили — может, жестоко, но быстро. А я до сих пор помню — Антти Суппонен, он капитаном был. Он потом женился в Рыбреке на своей лотте, и жили они в Хельсинки, а женщины работаливерху с младшими классами. Так вот одна, Лидия Лакка, она меня потом искала, ну это уже лет пятнадцать назад, и нашла. Приезжала дважды сюда, и я к ним ездила. А так пишет регулярно. Ей сейчас, наверно, под девяносто.

Что вы помните про студенческое время, когда учились в техникуме?

На танцы бегали в хобзайки, ХЗО. На горушке, учили печников, плотников, в общем такие рабочие специальности. Я помню, что военное дело преподавал, не помню как его зовут, бывший офицер, так он просто муштровкой занимался. Лестница — поднимаемся, лестница — опускаемся, да по коридору вышагиваем. Больше я ничего с военного дела не помню. Военное дело мы еще в седьмом классе изучали, так я помню, как мы ружье разбирали-собирали, автомат. А там тоже, наверно, разбирали, не помню. Муштровку помню. Еще помню, что фамилия его Леонтьев, кажется. А может, я его путаю с тем, который химию вел.

Такой высокий, старик уже. В хор я ходила, есть у меня фотография этого. Помню еще — Красикова Татьяна Николаевна, чистописание вела в педучилище. А математику вела Мария Андреевна, так учителей-то помню.

Было ли различие между учителями старшего поколения, работавшими до революции, и новыми, советскими, учителями?

Да, я думаю, что отличались все-таки. И вот этот, который военное дело вел, было в нем что-то такое барское, и вот который пение вел, тоже самое. Мужчины были такие высокие, стройные, какие-то барские. А вот рисование вела, по-моему, тоже такая.

Вы занимались спортом?

Спортом, нет, вот только в хор ходила, больше и ничего такого. Не была активисткой во всяком случае. У меня горя было много с учебой. Но комсомольские собрания посещала, но вот чтобы активность проявить, чтобы я там была каким-то лидером... А в школе я была такой тихоней, скромной, горемыкой в общем.

Было у вас свободное время?

В педучилище? Так вот на танцы-то бегали.

Много друзей было, подружек?

Да, так мы целым классом почти в комнате одной жили. Жить, конечно, было нелегко, туалет на улице, в темноте особенно страшно было ходить в туалет. Круглая печка, протопим, а если что-то варить, что в баночках, что в кастрюльках маленьких, целую очередь выстоим перед печкой. Вот не было возможности — будешь тихоней, не хватало хлеба. Вот пятьсот грамм хлеба, и были карточки, можно было... а столовая была рядом. Пусть там бурду какую-то готовили, но тогда плохо было с питанием, очень худо. Я не ходила ни разу, и моя подружка тоже. Мы без горячего жили совершенно. Учиться было трудно, а еще и голод был. У нее мама в колхозе, и у меня мама в колхозе. По сто рублей на месяц отправляли, так у нас денег не бывало. В столовую мы не ходили. На базаре буханка хлеба стоила сто, сто пятьдесят, двести рублей, в общем так по временам менялась. У нас таких денег не было, мы голодали. Два рубля, помню, эти пятьсот грамм. Так доживем до того, что у нас и пятьсот грамм этих выкупать не на что. Пятьсот грамм выкупим, одну пятачку на двоих по двести пятьдесят грамм на одного, и все, но если бы другая еда была, а так только хлеб один. Так мы эту пятачку отнесем на базар, там продадим за двадцать пять рублей, чтобы несколько дней питаться. А уж там сахара — ничего не было, и главное, что картошка у нас дома была, но у нас дороги не было. Эту дорогу занесет — и все, была только тропинка. Вот для почты от деревни до де-

ревни, от Шёлтозера до Шокшы, вот такой проезд. Мы пешком на каникулы пришли. Так это надо было пешком в морозы. Мы пятисотку свою выкупили, так она замерзла, и ни поешь, ничего. Вот мы шли пешочком по этой зимней дороге. До Деревянного мы на какой-то машине добрались, а потом пешком до Шокшы. Так уже ноги не шли, были, как деревянные. И около двенадцати мы в Шокшу пришли, и в одном только доме свет горел. Слава Богу, что нас пустили ночевать. Потом встали и пошли, до Рыбреки мы ни разу не присели. Если бы мы присели, мы бы тут же и замерзли. И вот такую дорогу мы прошли, и как только не погибли, это ведь было в январе. Ну а домой пришли, мы пролежали просто, встать не могли.

Что вы еще помните про свой населенный пункт, Рыбреку, Шёлтозеро? Как они заселялись?

Шёлтозеро был райцентр, поэтому квартиры все были заняты. Сдавали, а сами ютились в одной комнате. Все же организации были районные, и поэтому народ приезжий в основном был на этих постах. Почему я десять лет не попадала на учительскую работу? Я каждый год подавала заявление, я каждый год плакала. Я каждый год просила. Чтобы у меня был класс и определенная работа. Тем более, у нас тогда пятьсот человек было в школе. Эта школа была старая-престарая такая, довоенная, дореволюционная еще. И в этой школе в три смены работали. Это было очень тяжело. Я не попадала на учительскую работу, потому что то в райсовет кто-то придет — жена учительница начальных классов, надо ей место дать, а я так. И вот все время так. Я даже помню этих учительниц, которые занимали мое место, а мне его опять не было. Долго, вот десять лет я так и проработала. Но, конечно, работала я от души, походы проводила. Столько классов было, а учителя тогда не занимались пионерской работой. Это потом уже вовлекали учителей в эту работу. А так — ответит урок и только. А так сколько походов с ними отходила, переживала сколько, костров больших. Да, праздники мы с ними большие организовывали девятнадцатого мая. Помню, в праздники в семь утра горнистов на каждую улицу направляла, чтобы подъем пионерский с горнистом. А сама бегу на радио — у нас радиоузел был свой, шёлтозерский. И вот иду, и утро начинаю с того, что доброе утро, сегодня праздник такой пионерский, всех поздравляю и детей, и родителей. В общем с этого начинали этот праздник. И сколько мы готовились, и сколько мы колонну оформляли, у нас еще был отряд почетных пионеров, взрослые люди. Но праздники шикарные проводила и много. А директора всегда у нас строгие были, всегда надо было график дать пионерских отрядных сборов и выполнять этот график надо было. Но

принятие в пионеры было, конечно, очень торжественно, родители пионеров завязывали им галстук. Так что праздники, я считаю, были очень хорошие. Потом ведь я организатором работала, комсомольские мероприятия у нас были, но и, само собой, партийные.

Были ссыльные, заключенные?

Да нет. В Матвееву Сельгу отправляли, в восемнадцати километрах отсюда, так там было много уже отсидевших. Там лесная организация была, леспромхоз большой, и вот там были. А так ничего, работали нормально, видимо, хотели ужиться.

Приезжали русские из города, были у них конфликты с местными?

Нет, абсолютно нормально всех воспринимали.

А между населенными пунктами?

Тоже все нормально. Я вот знаю, что мама, когда были в молодости, по деревням праздновали, так они ездили по деревням на саночках, на лошадах. И очень хорошие, большие праздники были. И вот в хор ветеранов я все время ходила, я и организатор этого хора. И я всегда вела выступления, как беседу. Мы одевались в наряды, как раньше, раньше ведь клубов не было, а собирались на беседу. Собирались в более просторную избу, договаривались с хозяйкой, собирались парни и девушки. И вот они там встречались. А девушки обычно на скамейках в круговую, но девушки обычно с работами. Надо было много вышивать, надо же приданое дарить. Так и подола вышивали на сорочках, и полотенец очень много, потому что на второй день свадьбы невеста должна была одаривать родственников мужа, братьев, сестер, свекровь, свекра. Поэтому готовить надо было много и всегда с работой приходили. И мы одеваемся так же, как тогда, когда выступаем, и вот я рассказываю, как молодежь тогда... Я вот удивляюсь — вот в театре показывают музыкальные инструменты, на которых играли, кантеле, а ведь тогда на балалайках играли. Были гармошки, балалайки, в основном балалайки. Парни сами играли и приходили сюда на беседу. Ну и танцевали кадрили. Даже сами женщины выходили, показывали, как кадрили танцевали. Утром, конечно, мамы проверяли, когда девушка спит, сколько работы сделано. Много работы сделано, значит, просидела и не пользовалась вниманием молодых людей, а если работа не сделана, как ушла из дому, да так и брошена, значит, внимание было парней. Плясала и все что угодно, только не работала. Ну и та, и другая мамы расстраивались. Одна — как это моей дочери внимания нету, обидно ведь, а вторая настаивалась, видимо, замуж придется выдавать, последний год она дома. И после войны тоже беседы проводили наши женщины. Я помню, ее папа тоже погиб, похоронку получили. И вот женщины собирались, в

основном те, кто без мужей. Все погибли, мало кто вернулся, очень мало. Так вот женщины собирались на беседу, керосин экономили, тогда лампы были, ну и разговоры были другие, тут не до кадрилей было. И конечно, все ремонтировали, все пряли, у каждой осталось по три-пять детей, и надо было их рбстить. А пенсии были настолько мизерные, что я даже не знаю, как они выходили из положения.

Как вы устроились учителем, ведь долго были вожатой?

Так вот долго плакала-плакала и, наконец, дождалась.

Как вас воспринял коллектив, как отношения сложились?

Так все знакомые были. Но я, как вам сказать, всю жизнь занималась общественной работой. Меня тянет общественное. Но есть завистливые люди все-таки, не очень доброжелательные, потому что я иногда, как белая ворона. Выдумают то проводить, то, и вот когда в начальную школу пришла и стала проводить всякие мероприятия с классом, ну и зашла в учительскую. А там говорят, что вот она пришла и теперь нам тяжелее стало, что теперь и нам надо что-то проводить. Есть вот такие некоторые неприятности.

Трудовые конфликты были?

Вот вы знаете, как сказать, с детьми ведь я все время. Я вот что всю жизнь жалею — тогда требования к нам были очень большие, часто проводили проверки, внутришкольные, внутрирайонные, министерские. Приходили диктанты сами проводили, на математику придешь, а у тебя в классе кто-то сидит уже. Тетради проверяли, тогда каждую работу должны были проверить. Ошибку если допустишь, все же фиксируется проверяющим. А потом будут тебя целый год склонять — столько у тебя успевающих, столько неуспевающих, столько не выполнено контрольных. В общем, как на крючок, нас задевали, потому что просто жаль ребят того периода. Одни ведь лучше усваивают, другие туго очень идут. Так вот этих тугих надо было тянуть. Поэтому я же старалась, чтобы меня потом не вспоминали, не ругали, я их подолгу после уроков держала, я добивалась, мучила ребят. Мне их жаль. Я грешница в этом деле. Но так и другие учителя работали, кому как удавалось.

Как вы воспринимали работу? Вам нравилось?

Да, я хвалилась. Но бывали и трудности. Я, например, очень не любила тетради проверять. Я вела три начальных класса и у меня было тридцать шесть учеников. Вот сейчас очень мало ребят в классе. А тогда надо было три года всех, тридцать шесть, вести. Это столько проверки! А в первом классе и по чистописанию надо было образцы готовить, тогда не было прописей. Это целые вечера надо было сидеть над тетрадями. В третьем-четвертом классах проверки все больше и больше, потом

еще контрольные, сочинения. Очень трудно все это проверять. Мне когда пятьдесят пять исполнилось, мне надо было один год довести, я отказалась. Меня и РОНО просили, и школа, и родители на дом приходили, доведите наших ребят до конца, а я, правда, не могла тогда. Думала, может, последний год живу. И все-таки я не послушалась никого, я ушла сразу, как пенсию дали.

Товарищеские суды бывали на работе?

В школе-то нет, а на партсобраниях бывали. Бывали всякие неприятные разговоры. Да вообще все вопросы мы в школе обсуждали и, конечно, без критики не обходилось.

Наказания были?

Ну бывали, наверно. Но поощрения-то бывали, учителя — отличники народного образования были, заслуженный учитель был. Но вот я орден получила, и я считаю очень большой наградой, что съездила на Всесоюзный съезд учителей в Москву во Дворец съездов. Вот это никогда не забудется. Нас всего было четырнадцать учителей из республики.

Это в каком году было?

Это было в 1975 г. И всего-то было два съезда, в 1924 и 1975 гг. И вот я была на этом съезде. У меня значок есть. Нам дали портфели. В портфелях были произведения Макаренко, блокноты для делегата съезда, часы наручные, ручки шикарные. В общем вот такое. Брежнев был на съезде, а приветствовал от имени правительства Сулов.

Высказывалось ли возмущение на почве низких заработков?

Да уж мы всю жизнь нищие были. В долгу всегда были, как в шелку. Но кто как, конечно. У меня-то муж шофером работал, пил всю жизнь.

Где вы познакомились с будущим мужем?

А познакомились мы, когда приехала я сюда, в Шёлтозеро, я не хотела в клуб ходить, ничего, а была со мной тоже рыборецкая, она секретарем совета была. Она намного меня старше. И вот мы с ней жили. А жили-то как? Мартыновский дом, когда мост проезжаешь, есть особый, такой большой дом, вот обратите внимание, жильцов там было уйма. Так мы жили у бабушки, она была как начальница. Мама привезла мне на лошади постель, набитую соломой, мне на день надо было эту постель [вынести] в коридор, а потом на лебяное спать ложиться. Сначала-то я никуда не ходила, все в Рыбреку бегала, а потом как-то пошла на танцы сюда. Ну вот, а так вроде шёлтозерских уже знала. А этот сидит. Я говорю: «Ой, а этот-то дяденька откуда взялся-то?» Тогда всех брали на лесозаготовки, он тоже как колхозник, он на два года меня старше. А тогда на гармошке часто играли, а я такая боевая вроде. Говорю, ну я сейчас этого дяденьку на вальс приглашу. Ну и пригласила этого дя-

деньку на вальс. Привязался ко мне и никому не разрешал ко мне подойти. Драчун, хулиган был, самый настоящий хулиган, его боялись. Ну вот так. С такой настойчивостью, с такой привязанностью, в Рыбреку поеду, он уже следом. А я такая слабохарактерная все-таки, попала. Так и прогоревала. Хорошо еще, что моя общественная работа отвлекала меня от всего этого, а так и не знаю.

Была свадьба?

Была.

Долго готовились?

Ой, сватать меня приходили. Старенькая бабушка его. Мама говорит, что и не пустила бы в дом его отца, но стыдно старенькую бабушку, так пушу. Ну вот сосватали, определили день, а я думала: «Господи, хоть бы что-нибудь случилось с ним на машине, только бы не было свадьбы». Плакала, все до свадьбы плакала. Ну он меня пугал — я жить не буду, если ты откажешь. А я думала, что из-за меня-то парень молодой, дура.

Как прошла сама свадьба?

Так вот они приехали туда, в Рыбреку, тогда брагу все заваривали, водка была дорогая, так брагу все заваривали. Ну вот они приехали за невестой, потом сюда приехали. В кузове! Тогда же не было автобусов. А потом у них, после сюда привезли, тут и жила. А у них мать, отец. Еще двое детей. Еще с Петрозаводска дочка приезжала. Очень трудно, очень трудно.

Когда появилось отдельное жилье?

А потом у меня появилась Валя, старшая девочка, а потом Виктор — так мы уже отдельно жили. У нас полдома покрашено, мы очень бедно жили. Мама дала чайник, у нас ничего не было. Но я была счастлива, я не верила, прямо как летала, такое состояние было, как вспомнишь, какое было состояние — прямо как птица летала. Не чувствовала ног. Такое состояние один раз в жизни было, что теперь я отдельно, никто на меня не смотрит, никому мне угождать не надо, ничего. Сама себе хозяйка, хотя у хозяйки было пусто, абсолютно пусто. Ящик перевернули, не знаю, из-под чего ящик, из-под чая, такой большой, фанерный, это был стол у нас. Единственное — кровать попросила, что Валя у меня еще маленькая была. Между ними два года разницы — у ребят. Мы на этом ящике, а так мама что-то дала из своих бедных пожитков. Так и начинали жить. Купили марлевые занавески, крахмалила все, марлевые одеяла, а со школы была узкая кровать, такая тяжелая, металлическая, черная, длинная. Потом муж ее распилил, сделали кровати немного покороче. Доски положили. Ну матрасы у нас были, конечно, домотканые, набитые соломой. Покрывала я тоже шила сама, марлевые, с оборкой

такой, все накрахмаленное. В общем все такое было, но уютно было, чисто. Потом нам стол кто-то дал.

Что вы старались купить в первую очередь?

Ой, я помню, что меблированная кровать, так это я всю ночь в очереди простояла. Не помню, шкафчики какие были ли... А в этот дом мы купили диван. Этого дивана, конечно, уже нету. Вите три года было, когда мы сюда перешли. Но все было по-другому тоже. А потом, когда «ришелье» было модно, у меня были задергушки, стол был посередине, на нем салфетки, над дверью у меня были «ришелье». В общем этажерки тогда были, «ришелье»-уголочки. Так вот всегда чисто, уютно было, хотя и бедно. Помню, в том доме, еще когда мы жили, сельсовет проводил конкурс, и мне дали первое место. Хотя никакой мебели, ничего не было.

Вы отвечали за семейный бюджет?

Да.

Как вы рассчитывали, что купить?

Ой, как рассчитывали, — самое главное, чтобы жить просто. Просто жить. Ребят одевать надо было в школу, это самое главное было. Помню, даже на республиканские чтения меня выдвинули. Господи, у меня даже кофты не было теплой. Вот как, думаю, ехать, в чем я поеду? Ну так в общем-то я неплохо одевалась, мне мама все шила. Так что даже Валя сейчас вспоминает, дочка, она говорит, а ты, мама, одевалась тогда в школу хорошо. Но вот туфли я покупала всегда самые лучшие, высокий каблук. Я стыдилась, комплексуя всегда, самый высокий каблук, самые нарядные. Хотя и дорогие, но... Я даже из школы всегда ходила на таких высоких каблуках. Сейчас совершенно не могу ходить, а тогда... Помню, как физкультуру проводила на каблуках, и вдруг из Петрозаводска из комитета физкультуры проверяльщики приехали. И он ко мне пришел на урок, я на таких каблуках проводила в спортзале урок физкультуры. Тогда же учителя начальных классов все проводили — и труд, и физкультуру, это надо же, рисование. Теперь все ведут специалисты, а мы тогда все сами вели. Ну и я на каблуках вела урок, потом стали разбираться, а он говорит, что я буду разбираться, если она ведет урок на таких каблуках.

Занимать деньги приходилось?

Приходилось.

На что?

На хлеб.

Покупали технику?

Когда уже Виктор был в старших классах, мы ему приемник покупали, фотоаппарат ему покупали, мотороллер.

Животных держали каких-нибудь?

Обязательно. Еще ни одного года не было, чтобы я без живности, сейчас у меня двое поросят. Правда, хозяин у меня уже парень, сын. Хотя у него самого хозяйство и дом, наверно, самый богатый, самый красивый в Шёлтозеро. Вообще-то у них в городе квартира, а на лето они сюда приезжают. Он его постепенно строил. Но нет двора, поэтому приходится поросят у меня держать.

Вообще каких животных обычно держали?

Последние годы коров держали, быков кормили, чтобы на целый год мясо свое было.

Что сеяли?

Сеяли помидоры, огурцы — все это я всегда выращиваю, картофель, это все у нас свое. Заготовки делаем на год, у меня в подвале от стены до стены полки, больше, чем в магазине.

В чем из вещей или продуктов питания ощущалась нехватка?

Даже не знаю, всю жизнь нехватка, так-то уже давно живем небогато, но и не бедно, трудно сказать. Сейчас пенсия у деда хорошая. Мы вот в прошлом году зарезали двух поросят, так до сих пор мясо есть. И консервов наварено, и сало есть.

Сколько детей, по-вашему, должно быть в семье?

Троих-то держать хорошо бы. Даже замены тебе нету. А трое — считается уже многодетная семья, да? Какая тут многодетная, если наши вдовушки рбстили по четыре-пять детей, одни, без копейки. Единственная кормилица — корова, но хлопот много, я тоже корову держала. Молока было много. А сейчас, конечно... сейчас меня возмущает, что молодежь бросает пахотные земли, даже с домом вместе пахотные участки бросают, картошку не рбстят. Придут в магазин и покупают — дайте килограмм, дайте два. Меня это, конечно, очень возмущает. Ну как картошку в деревне не вырастить?! Вот дожить надо до такого сознания, до такой лени, многие пьянствуют, а тогда нашим мамам не до того было. И ведь к лучшему ничего нет. Коров тут у нас поубавилось в Шёлтозеро, стало мало совсем, не знаю, и двадцати, наверно, нету коров. А раньше в каждом доме была корова. Я была инспектором по защите прав детей в Шёлтозеро, и знаете, мы лишали некоторых матерей прав материнства. Немногих, но лишали. Но когда Горбачёв издал свои постановления, чтобы на улице не появлялся [пьяным], разве это плохо? Говорят, дома стали пить — да ничего подобного! Это было такое об-

легчение. Всех матерей мы восстановили при горбачёвском времени в правах родительских. И это было очень ценно и хорошо. Сколько я выходила этих квартир, сколько я этих судов перетерпела, когда мы отнимали детей, а потом восстанавливали. Потому что одумались, видимо. Сейчас женщин в Шёлтозеро не меньше, чем мужчин-пьяниц. И теперь пьющих много. И никакой управы на них нет. Если раньше товарищеский суд, то в Дом культуры наберется столько народу. И результаты бывали. Или женсовет у нас был. Вообще общественные организации сделали больше, чем само это руководство в последнее время.

Чему вы старались научить своих детей? Какие качества воспитать?

Ой, бедные мои дети. На них-то никакого внимания, все на общественную работу. Без моего внимания дети, только так, что одеть да в школу отправить. А так не было моего воспитания. Вечером чтобы только тишина была, мне не мешайте, мне надо тетради проверять. А ведь тогда ни чаев, ни буфетов не было, так они голодные были все время. Но обед-то готовила, конечно. Бедные были дети тогда, когда не было школьных столовых. Сами мы у себя были бедные — туалет был на улице, никаких буфетов, ничего, как моторы работаем.

Вы ходили в библиотеку, брали книги?

В библиотеку я ходила много, когда училась в институте, просто вынуждена была. Потом брат приходилось политические журналы, когда у нас политзанятия были и надо было к ним готовиться. Художественную литературу очень люблю, читала с удовольствием бы, но ведь не оставалось времени. Завидовала, кто вот где-то лежит, читает. Детскую литературу читала, приходилось, по необходимости, а вот так, чтобы баловать себя, то не выходило.

Выписывали газеты?

Да, да. Общероссийские обязательно, районные обязательно, республиканские тоже обязательно. Журналы тоже. Много выписывала.

Радио слушали?

Да.

Какие передачи?

Ой, теперь уж и не помню, какие. Знаю, что «Пионерская зорька» бывала, не помню уже что.

Ходили в кино, театр?

Да, в первые годы и на танцы еще бегала. Ой, а сколько я была председателем совета Дома культуры, все Новые годы проводила там, у елки. Сколько я там елок оформляла, сколько мероприятий. Я была там в качестве директора Дома культуры.

Гости к вам домой приходили?

Да, приходили. Праздники все советские праздновали, Новый год. Я всегда, когда друзья все соберутся, проводила дома всякие мероприятия.

Какое отношение было к религии среди ваших знакомых?

А вот вы знаете, к религии... мама у меня была верующая. Все были верующие в то время. А мама всегда была верующая. У нее всегда была иконка, и каждое утро, и каждый вечер она молилась, и на коленках молилась. Такая жизнь была — как не молиться! И за нас молилась всегда, в первую очередь. Ну я к этому привыкла, хоть и была в партии, и было запрещено кое-что тогда, но я вот не молилась, в церковь не ходила, ребята у меня некрещенные остались. Но в душе-то я вот на какую-то естественную силу, не знаю, как назвать, просто на какую-то высшую силу надежды были и какое-то желание говорить, просить что-то вот такое. Прямого такого не было, а внутри все-таки было.

И папа тоже религиозные праздники отмечал?

Да, и папа...

А ходили на демонстрации?

Да, когда были демонстрации, ходили.

Плакаты носить доводилось?

Да, флаги, плакаты. Ну я больше со школьниками все ходила. А когда там, в Рыбреке, так очень большие демонстрации были. По деревне ни головы ни хвоста не видно, столько народу.

Лекции проводились, помните?

Да, помню, проводились в Доме культуры лекции. Восьмое марта, например, всегда отмечалось в Доме культуры несколько лет подряд. Читают доклад, и дают концерт.

Были какие-нибудь национальные анекдоты?

Ой, да вы знаете больше ведь, наверно, были хулиганские анекдоты. Армянские были, русские. Я вообще их не запоминаю. Я несколько знаю, но не запоминаю. Вообще плохо запоминаются анекдоты. Частушки только на всякие темы бывали. Но бывали такие с...

Был кто-нибудь из ваших родственников репрессирован?

Да, бабушка. После войны. Бабушке было где-то около восьмидесяти лет после войны, не могу вспомнить. Ни за что, ни по что... Тогда ж после освобождения слова нельзя было сказать, все время надо было язык как-то поджимать, а если что-то сказал, так и попал, доносчики найдутся. Так моя бабушка пропала. Вы знаете, для нас это так было... И вот мы себя чувствовали, как враги народа, считали так. И несмотря на то, что я всю жизнь в трудовых лидерах, а все равно это отражалось на нас.

Повлияло это на ваше мировоззрение?

На мое мировоззрение... Переживала я очень, переживала все это, очень переживала. Я не любила Сталина. Хотя вынуждена была, когда пионервожатой была, вот — песенник о Сталине. Надо было — все праздники проводились, демонстрации, и после демонстрации все шли в клуб, и я как пионервожатая должна была давать эти концерты. И о Сталине чтобы стихи были обязательно, и песни были, и вот приходилось вот это все готовить, но я всегда, конечно, это плохо [*воспринимала*] из-за того, что столько надо было людям пережить, и столько людей посадили, и столько людей свои судьбы [*испортили*], испорченные судьбы людей оказались вот все-таки по вине Сталина. Может быть, там Берия и там кто-то еще, но во всяком случае — это сталинский период.

Среди ваших знакомых какое было отношение к нему?

Не знаю. Разное, разное. И у меня уже это вроде проходит и что-то положительное, но в целом, та жизнь колхозников... Вы знаете, ну как так можно было прожить! И бесплатно проработать, притом не считаясь со временем. Потом вот в совхозе люди отработывали часы свои, а в колхозе — никаких часов, ты выйди покоси, а в хорошую погоду убери, хоть до девяти вечера, хоть до полуночи, но чтобы сено не оставалось на поле. Такие кабальные условия буквально. Конечно, это все вспомнишь, сколько народа пострадало из-за этих руководителей.

Был какой-то партийный деятель или государственный лидер, который вам нравился?

Ну вот когда после Брежнева пришли Горбачёв и председатель Совета министров Рыжков, мне они так нравились. Мужики молодые, красивые, говорить умеют, вроде всю душу выкладывают, очень нравились. А потом с Горбачёвым непонятно что стало, что случилось. А так после Брежнева, вот Брежнев был уже надоевший, ну разве можно было столько быть у власти, всю родню свою к себе приблизить, на руководящих [*постах*] держать. И уже не мог ведь, ну почему, а после него еще Черненко, ну вот эти казусы, думаешь, о Господи, это на людях ведь отражается. Этот вот балбес, надо было столько лет!.. Я до того любила Ульянова как актера, потом... ой, многих из них могу перечислить. Потом читала газеты, когда его на второй срок выдвигали, как о нем [*Ельцине*] отзывались, поддерживали, и думала: «Вы в советское время получили образование, такой авторитет приобрели и так этого поддерживали — Ельцина». У меня даже к ним отношение изменилось.

Помните, как отнеслись к смерти Сталина?

Мы были, как дураки, тогда плакали, думали, пропали совсем. Я-то не особо так. Но во всяком случае переживали его смерть. Ну а на самом-то деле...

А памятник Сталину был у вас в населенном пункте?

Портреты были. Даже у мамы там, в доме, были и Ленина, и Сталина портреты. Огромные портреты были.

Убрали сейчас?

Да-да, давно уже убрали.

Вы помните, как их убрали, после какого-то события?

Этих вождей-то? Да я что-то не помню, в детстве, как оно было, во взрослом-то состоянии...

Как вы относились к коммунистам?

К коммунистам я относилась хорошо. Хорошо относилась. Я всегда говорила: «Вот шёлтозерских коммунистов я вам перечислю, так посмотрите — кто из них плохой? Все хорошие, все работали добросовестно, все поручения выполняли, как родители были отличные, на производстве были отличные люди. Но как можно о них, о коммунистах, плохо говорить?» Другое дело — это начальство само, конечно, против того, что там Берия и наподобие его, но, конечно, столько странного всего происходило за все годы. Потом вот у Молотова жену посадили, была ведь патриотка, действительно. Хоть она еврейка была польская, все равно. Вот я читала про этих кремлевских жен, так считаешь и думаешь, надо же, какая власть была в руках у одного-двух человек. И Молотова, и Калинина. Этого жена тоже ведь была посажена, да? А как Берия себя вел? Сколько он людей-то попортил.

Проходилось ли вам писать письма вождям?

Нет. Вождям не писала. В Думу свою что-то там писала, но ничего положительного я от этой писанины никогда не имела. Своих, наподобие Катанандова... я Катанандова не очень. Только отписки. Ничего положительного. Я вот вроде хотела дать советы какие-то, вот сейчас в голову пришло. Вот даже со сберкнижками — у нас деньги пропали, все. Вот уже после войны, после всех этих периодов, да, люди стали с пенсии хотя бы грошек на книжку класть. Сколько-то там накоплено. И не дадут — вот умрешь, взять эти деньги, даже завещание там написано детям, что по завещанию пойти и получить. И приходишь, и не дают денег. Это покойница, которая накопила денег на похороны, ее детям не дают деньги, хотя в завещании есть. Ну разве это справедливо? Тоже уже после полгода, да это неправильно. Я не стала ни денег там, ничего, еще цыгане две тысячи украли, это когда денег не было... а тут пришли

и украли. С комода, у меня не убраны были, пришли и украли с комода, дед вот тут спал. Пришли и похозяйничали, а я у соседки была. Пришла и не верила, чуть с ума не сошла. Ой, зачем я это-то говорю, незачем. Так вот что я хотела сказать. Насчет этого писала, да все бесполезно. По каким еще вопросам. Ну вот раньше было — свой дом, столетний дом вот у нас, перевезен, поставлен, у самих все сделано, чтобы детям потом этот дом переписать, надо огромные деньги. Надо заново паспорта, столько справок. Затраты эти все, справки очень дорогие. И это попробуй-ка, разве это хорошо? Неправильно это. Раньше было: пошел в сельский совет, в сельском совете там все есть — чей дом, на кого переписать, там небольшая сумма, и не надо в город ехать, не надо все конторы обходить. А теперь надо столько контор, не один раз выезжать, везде ходить, эти архивы. Что только не придумано. Столько контор развели, что только конторщикам деньги плати. Ну вот по таким вопросам. По деду тут — инвалидность получил девятого марта, ему же за март ни копейки не платили. Вот таких много вопросов, а положительного ничего не получила.

Если сравнить довоенные годы и послевоенные, то какая была атмосфера?

Не знаю даже, как сказать... До войны, ну вот не знаю, в колхозе между собой женщины, бывало... какая-то бедность, нищета, можно сказать, невероятное трудолюбие людей. Может быть, и подружнее были. Но по национальности никогда не было — будь ты финн, будь ты татарин, будь ты кто угодно, никакого разделения — русский, вепс. Все было одинаково, абсолютно. Вот как единое что-то. А теперь? Посмотрите, стали уже врагами — Украина, Грузия, услышишь в новостях и расстроишься, ну как же так! Мне не нравятся теперь диаспоры, ну почему решили, что все диаспоры разные. Ну вы знаете, сколько здесь диаспор, каждая национальность имеет свою диаспору. Все вокруг в диаспоры, в кучки, да, каждый будет свое отстаивать. Свои хоры, своя печать, свои центры, ну зачем вот это развели?! Еврейская, украинская, белорусская. Ну зачем, когда мы в хор ходили, где были все национальности? Я не знаю. Свои праздники, свои обычаи. Я не против, пусть какие-то обычаи, которые остались, закоренились, но все равно создавать вот эти диаспоры, я считаю, это только нам во вред. Всей политике. Всей России.

После войны было что-то такое?

Не было! Никакого деления не было.

Какой вам запомнилась атмосфера в советском обществе после войны?

После войны была тяжелая обстановка, но национальной вражды, чтобы какой-то, не было. Никакой не было вражды, ничего не было. Старались помочь друг другу, потому что все-таки жизнь была бедная. Петрозаводск весь был в разрухе, я в педучилище приехала, так даже нас гоняли разбирать эти развалины. С одной стороны — немцы [разбирали. — Л. А.], худющие, больнющие, все в тряпках каких-то, обмотанные, а с этой стороны — мы, девчонки, разбираем. И трудились много. Вот люди много трудились, сейчас стали мало трудиться. Сейчас и механизация всякая, а тогда... в педучилище мы в Заонежье на барже за дровами ездили! В веревку вцепимся, сюда привезем — сами топили. В общем тогда тяжелая жизнь, пусть не надо такой тяжелой жизни, не хочу я, чтобы такая тяжелая жизнь была для современных. У меня и внучки есть, и все, но теперь я говорю: «Легко, легко». Теперь вот не хотят жить в таких домах, я мечтала тоже о благоустроенном. Но какое там благоустроенное, всю жизнь так. Раньше хоть дед носил дрова. А теперь все сама, сын приходит помогает, а так все сама, все вручную. А корма заготавливать теперь, вы посмотрите! Несправедливо. Всю жизнь учителям бесплатно привозили лесовоз дров, вот, а года три как отменили все. Отменила, притом наша республика. Так никакие уговоры, никакие письма не решают этого вопроса. Вот купили: две с половиной тысячи, тысяча двести за распиловку, тысяча двести за расколку, ну не стыдно ли было этим руководителям (всю жизнь учителю привозили дрова, и за свет платили, и все, и были эти льготы) к восьмидесяти годам отменить эти льготы. У нас все почти в благоустроенных, нас осталось несколько человек, кто живет в таких домах, и вот отменили все, да. Никакого стыда, никакого сраму, никакой боли у них нет, чтобы вот так обидеть людей под старость. Вот пиши хоть нет, говори хоть нет. Думают, ну старье, пусть на том свете. Больница наша разруха, все мечтаю, но не знаю, кого бы попросить, не буду говорить, есть такое намерение, чтобы попросить деньги на благоустройство нашей больницы. Соцкойки — бедные лежат, страшное дело, ни косметического ремонта, тараканов полно, туалет под лесенкой маленький. Полы проваливаются, не говоря уж о медикаментах, но в общем-то нищая больница, а еще слух идет, что закрывают. А куда... и вот к таким людям нету внимания. Вообще к старикам нет внимания. Это пока ты еще бегаешь, пока что-то делаешь, еще ничего, а потом... тот же Катанандов награбил нас, тысяча рублей ежемесячно, а мне не дали только потому, что у меня нет республиканской такой грамоты. Так ведь все-то и не дадут, правда, что-то

дадут кому-то, а у меня нет республиканской награды такой. И из-за этого мне ни копейки. Ничего, что орден этот есть, и что я на съезде была. На плохой ноте заканчиваем.

Что из событий предвоенного времени, а потом послевоенного больше всего повлияло на то, как сложились ваш характер, ваша личность?

Да не знаю. Вся жизнь, наверно, вся жизнь. Моя работа, вот мой характер. Ну вот добросовестность все-таки такая. Вот я считаю, что у меня старание и добросовестность. Все делать добросовестно. Из сил выбиваешься, все равно все сделать. И конечно, родители. Трудолюбия у кого взять — только у родителей. *Пидостань*, век не забудешь мамини слова — что-нибудь на завтра надо сделать, сегодня бы можно сделать, вспомню маму — надо сделать. Мама научила всему — и калитки печь, и блины печь, вот эти овсяные, и сканцы делать, и всякую стряпню, все-все научила. Мама всегда так рыжики солила, у нее всегда были рыжики круглый год. И всегда то, бывает, в старой какой посудине делала, а то в баночке прямо делала. Никогда ничто у нее не портилось, не было холодильников, все было сохранено. Всегда у нее были овощи круглый год, свекла, морковь круглый год, и огурцы — так вкусно все делала. Конечно, она меня учила многому, и шить, и всему. Я сейчас шью одеяла, наверно, штук двадцать уже сделано. Хотите немножко покажу?

Интервью с Роем Нисканеном, 1931 г. р.

Записала И. Р. Такала,

г. Керава, Финляндия, 18 марта 2007 г.

Примечание: в интервью принимала участие жена Роя Нисканена, Ирья Нисканен. Ее реплики отмечены в тексте аббревиатурой P2. Интервью приводится в редакции Роя Нисканена.

Расскажите историю своей семьи.

Мои родители родились в Финляндии, мама — в 1895 г. в губернии Оулу, в Паавола. Она была совсем маленькой, шести лет, когда они уехали в Америку. Сначала уехал дедушка, написал оттуда письмо, чтобы приехала бабушка с детьми, что он там устроился. Он стал разрабатывать свободную неосвоенную землю. Это было в штате Миннесота.

В начале [двадцатого] века?

Да. Он уехал в 1900 г., а бабушка с тремя детьми уехала в 1902 г., двумя годами позже. Мама пошла в школу уже в Америке и освоила английский язык.

Отец родился в Финляндии, в Северном Саво, Киурувеси. Работать было негде, будущее беспросветно, а отцу было уже двадцать лет — он 1889 года рождения, 18 марта.

Звали его Антти Нисканен?

Да. Он двадцатилетним уехал в марте или апреле 1909 г., ему только только исполнилось двадцать лет. Уехал один, самостоятельно. В Миннесоте он работал на шахте.

Не помните, в каком конкретно месте они жили?

Байвабик [Biwabik, MN], это шестьдесят миль от Дулута на север. Отец приехал уже взрослым, учиться было некогда, нужно было работать, и он работал с финнами, так английский язык и не выучил. Они обходились финским, кроме того, был так называемый *Finnnglish*, коверкали английские слова на финский манер.

Сначала мама вышла замуж за Вилле Тийтинена, у них родились двое детей, Раймонд — 1917 года рождения и Руфь — 1919 года рождения. Но муж тяжело заболел туберкулезом кости. Мама говорила, что кости то ли ломались, то ли размягчились, и он был вынужден носить металлический корсет, долго лечился, но так и не вылечился, умер. Мой отец, Антти Нисканен, пришел в эту семью в 1929 или 1930 г. Я родился в 1931 г., он пришел незадолго перед этим. Не успело мне даже года исполниться, как у них уже была горячка, что надо ехать в Карелию.

Они вам когда-нибудь объясняли это свое решение?

Один из моментов — это то, что старший брат очень хорошо учился в школе, в 15 лет он уже заканчивал гимназию (*high school*), ему надо было учиться дальше, а учеба дорогая, денег нет. У мамы были большие долги за лечение Вилле Тийтинена, первого мужа, тоже надо было как-то расплатиться, постоянно приходили счета. Кроме того, безработица. Точно не могу сказать, был ли отец безработным, но [Великая] депрессия 1929 г. сильно повлияла, в этом я был абсолютно убежден, об этом дома говорили. Я родился 22 мая 1931 г., а уже 22 или 23 февраля 1932 г., как мама рассказывала, мы были в Нью-Йорке, ожидали отплытия. Это все по рассказам. На пароходе плыли девять дней до Гётеборга, рассказывали, как проплывали через Гольфстрим — это, как река в океане, везде волны, а здесь, как гладкая река посреди океана. В Гётеборг приехали в начале марта, оттуда поездом до Стокгольма, а оттуда — Балтийское море было замерзшим, и не знаю, ледоколом или как,

но приехали в Таллинн по воде. А потом поездом в Ленинград. Причем рассказывали, что первая советская станция была Кингисепп. Сейчас, если ехать из Нарвы, то первая российская станция — Ивангород, а тогда, в тридцать втором году, граница проходила восточнее нынешней. Это все выводы из тех рассказов. Говорили, что в Ленинграде мы жили в «Астории», ожидая переезда дальше, в Петрозаводск.

Родители не рассказывали, как они завербовались: на какое-то время или насовсем ехали? С имуществом?

Все было продано, там ничего не осталось. По-моему, говорили, что весь участок, всю эту ферму продали за тысячу долларов — то есть почти ни за что отдали кому-то. А была ферма, коровы, овцы.

Это досталось от первого мужа?

Да. Он сам построил дом, в котором они и жили.

То есть собирались насовсем?

Да, уезжали насовсем. Поэтому даже если и вставал бы вопрос, чтобы обратно вернуться, то как обратно вернуться? Опять начинать все сначала? Там же пустое место.

Отец был в общественных организациях, в партии?

Этого я не могу сказать точно. Я знаю, что там общественная деятельность заключалась в том, что раз или два в неделю проводились встречи в *haali* — что-то типа клуба. Там были лекции, может быть, кинофильмы показывали, рабочие устраивали концерты, спортивные выступления, спектакли — простые люди, не специалисты и не профессионалы, сами все организовывали и проводили. Мама говорила, что там за пятьдесят центов можно было наесться досыта. Женщины что-то пекли, готовили кофе. Такая была массовая общественная деятельность по принципу субботников, работали на общее благо.

Родители не вспоминали, они ехали с друзьями?

Да, случалось, говорили: «Вот с ними мы ехали на одном пароходе». Или я ехал самый младший, так меня показывали: «Вот, ехал младший пассажир на нашем пароходе, [смотри]те, каким вырос». Это еще в довоенные годы. Но их фамилий я совершенно не знаю, потому что мы с ними не часто встречались. В Петрозаводске, насколько я знаю, мы жили сначала недалеко от железнодорожной станции, сейчас это Товарная станция, в бараке на шоссе Первого мая.

Поскольку отец был шахтером в Америке, в Миннесоте, а здесь, в Шуньге, предполагалось разрабатывать «горящий» камень, шунгит, который [при горении] давал энергию, как каменный уголь, то мы уехали туда и какое-то время жили в Шуньге.

Там же, в Шуньге, жил музыкант, который впоследствии был концертмейстером Карельского симфонического оркестра. Не знаю, кем он работал, но в свободное время он моей сестре показывал азы игры на скрипке. Она потом поступила в музыкальное училище в Петрозаводске и работала в симфоническом оркестре.

Мама очень любила скрипичную музыку.

То есть вы оказались в Шуньге практически сразу, как приехали в Карелию?

Да, наверно, в 1933 г. Потом вернулись в Петрозаводск, и сначала жили в Соломенном. Это, наверно, 1934 г. Брат с сестрой учились в финской школе, называлась школа второй ступени. В этом здании сейчас музей изобразительных искусств на площади Кирова. Зимой, когда Онежское озеро замерзало, они из Соломенного ходили в школу на лыжах.

Что я уже помню, так это 1935 г. Мы тогда жили в доме хлебозавода (*leipätehtaantalo*), почти что на углу [*проспекта*] Урицкого и Луначарского. Двухэтажный дом барачного типа.

Где тогда работали родители?

Мама, наверно, работала в столовой хлебозавода, потом на лыжной фабрике. Отец, насколько мне известно, работал на строительстве. По-моему, не менял место работы, все время работал плотником в Карелстрое.

Какая фамилия была у вашей мамы?

Потом, когда они получали советское гражданство, у них уже была одна фамилия, Нисканен. Софья Ивановна Нисканен. А дедушка был Юхо Койвумаа. Это была ее девичья [*фамилия*].

Что вы помните из детства — что ели, во что играли?

Представьте себе, я совершенно не помню что ели, в какие игры в том возрасте играл. Запомнилось, как однажды меня соседи пригласили кушать, и я нахваливал, что очень вкусно. А оказалось, что то же самое я отказывался дома кушать, говоря — невкусно. И тогда мама пошла на хитрость, отнесла блюдо к соседям и попросила их накормить меня.

Я помню большую церковь на площади Кирова, которую потом взорвали. Она все заслоняла, очень большое сооружение было. Зимой туда на лошадях приезжали. Столовая там была, мы заходили внутрь — мрачное помещение, сумрак, дымно, что-то такое. Приезжали на лошадях из ближних деревень, привозили на рынок продавать продукты, рыбу. Летом ее [*церковь*] использовали в качестве парашютной вышки, был трос, блоки и какой-то противовес, чтобы парашют обратно поднимался. Это мои самые ранние воспоминания.

Потом мы переехали на [*улицу*] Калинина, почти на самый верх, недалеко от железной дороги был тоже двухэтажный дом барачного типа, и там на втором этаже мы жили.

Все это время вы жили в одной комнате?

Да, все пять человек в одной комнате. Поначалу не было электричества, была керосиновая лампа. Потом пришли монтажники, наколотили ролики, прицепили крученный шнур, появилась электрическая лампочка. К нему брат сам сделал абажур. Тогда мама работала в Каменном Бору, и по дороге домой она подбирала кусочки досок, приносила, и иногда я получал возможность пилить. Они шли в печку в качестве дров. Потом меня устроили в детский сад. Детский сад был на улице Лесной. Иногда, когда меня туда провожал отец, мы шли вдоль железной дороги, мимо станции Голиковка. Самому не разрешали возвращаться вдоль железной дороги, и я спускался по Лесной до Урицкого, по Урицкого до Калинина, а там уже домой. Длинным путем, но было радостно самостоятельно ходить, особенно по весне, в светлое время года.

Потом в 1936 или 1937 г. на Урицкого был построен дом напротив финского городка, это угол Ригачной, сейчас она Станционной называется, и Урицкого, который сейчас проспект Александра Невского, — это был шестнадцатиквартирный дом по американскому проекту, в квартирах предполагалась и ванная комната, правда, не было в этом районе ни водопровода, ни канализации. Отец строил этот дом — это был карелстроевский дом. Он назывался *iskurientalo* — дом ударников. Тогда еще стахановцев не было, были ударники. Там, в квартире номер 1, мы и жили. В этой квартире были гостиная, кухня без естественного освещения, угловая комната — спальня, и та, которая предполагалась как ванная, с окном — в ней поселился брат. У него были кровать, складной стол, книжная полка — небольшая комната, служившая ему и кабинетом, и спальней. В то время он учился в пединституте.

Отсюда мне было уже ближе ходить в детский сад.

Помните игрушки?

Мне брат как-то сделал пушку, у нее был просверленный ствол, снаряды вылетали под действием толкателя с натянутым резиновым шнуром. Были сделаны фигурки из бумаги — надо было стрелять и попадать в них. Эту игрушку я запомнил.

Дома вы говорили по-фински?

Только по-фински. Мама, брат и сестра втроем между собой могли говорить по-английски, я понимал, о чем они говорят. Говорил: «Что вы там шепчетесь, я же все равно понимаю». Но отец не умел [*говорить*]

по-английски, и при нем говорили всегда только по-фински, и со мной говорили только по-фински. Так я английский и не выучил.

А в детском саду?

В детском саду поначалу все было на финском языке. Воспитатели говорили на финском языке. Я даже помню, как там делали блины *verilettu*, т. е. «кровяные блины». Свинью зарезали, собрали кровь, замесили тесто и делали такое чисто финское блюдо. У русских не знаю, есть такое блюдо или нет. Тогда я впервые услышал это слово. Таким образом, даже повара были финны. А потом вдруг как-то все изменилось. Воспитателями стали русские.

Дети финнов в основном были?

Да. Моим другом был Илмо Лайне. Это был брат Вели Хенрика Лайне, который был около 50 лет артистом Финского театра и известен как Геннадий Лайне. Вели был 1925 года рождения, а Илмо 1931-го, как и я, только он родился в январе. Мы между собой все равно говорили по-фински. С русскими воспитателями мы ходили на природу, на Курган. Как-то во дворе детского сада воспитатель спросил: «Кто умеет по часам посмотреть, сколько времени?» А мне похвастаться надо было: «Я умею». — «Ну сходи, посмотри». Я сходил, посмотрел. Прихожу, говорю: «Десять через раз». Они засмеялись. У меня был прямой перевод с финского: «*Kymmenen yli yksi*». Откуда мне было знать, что по-русски это «десять минут второго». А счет я знал из гимнастики: раз, два, три...

То есть учить русский язык вы начали в детском саду?

Да. Кроме того, у нас дома было очень много книг. Такая атмосфера, что книги, газеты... И я пристрастился смотреть все это. Больше того, родители ходили на лекции о международном положении, которые читал Иосиф Иванович Сюкияйнен¹ на прекрасном финском языке. Был клуб, тоже совсем близко — напротив здания филиала Академии наук, Урицкого, д. 68. Там, чуть повыше, было несколько бараков, и в одном из них, одноэтажном, был клуб, где на стене всегда была географическая карта, у которой лектор рассказывал. Например, запомнилось — это, правда, относится уже к более позднему времени, что Запад хотел немецкого пса натравить на русского медведя, а этот пес развернулся и укусил хозяина. Так образно он все это рассказал, что я потом много раз

¹ Сюкияйнен Иосиф Иванович (1900—1977), известный ученый-историк, доктор исторических наук, профессор Петрозаводского государственного университета.

эту ситуацию другим пересказывал. После лекции я прихожу домой и мне надо в газетах, на карте найти все то, о чем он рассказывал.

Вы всей семьей ходили в этот клуб слушать?

В основном родители и я. Допустим, играю в футбол с ребятами. Мама говорит, что они идут в клуб на лекцию. Я бросаю все. «Пойди, умойся хоть немножко». Бегу... У нас дома на стене была большая карта. Я вам сейчас задам вопрос — вы, может быть, знаете? На карте написано АПОРВЕ ЯАНДАПАЗ. Что это такое? Это ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, прочтенная справа налево. Так, эту карту я многократно облазил и слева направо и сверху вниз. Что в газете прочтешь, географические названия и другое — надо все было найти. Помогал и политический словарь — какое население, какие главные города. Такой интерес был. Привычка с детства копаться в таком материале.

Книги и газеты были на русском языке?

Поначалу все было на финском языке, потом как обрезало, стало только на русском языке. Я помню, что газеты стоили десять копеек. Раймонд меня посылает: «Сходи, купи». А ближайший киоск был в районе нынешнего [кинотеатра] «Сампо». Он мне дает медных монет — 10 копеек. Я прихожу, а у меня уже только девять копеек. Копейку обронил где-то. Я: «У меня не хватает, только девять». — «Ну ладно, давай сюда, завтра принесешь». Прихожу домой, говорю, что по дороге где-то потерял копейку. Мне дают пятнадцатикопеечную монету, чтобы на следующий день пошел и снова купил газету. Я приношу четыре копейки сдачи. Зато опять есть газета, в которой можно все смотреть. Это уже было на русском языке. Не умея произносить, я читал зрительно.

Ваши родители учили русский язык?

Наверное, учили. Мама получше говорила, а отец очень ограниченно. Он работал с финнами в очень известной бригаде, по-моему, Коскинен был бригадиром, и они между собой говорили только на финском языке. Он как-то рассказывал, тогда строили университет, что делали там паркетный пол. А я почему-то посчитал, что *parketti* — это рейка... Мне нужно было сделать пантограф — устройство, которое могло бы увеличивать размер рисунка... Ты обводишь рисунок, а карандаш рисует увеличенное изображение, в три-четыре раза. Я думал, что паркет — это такие реечки, говорю: «Ты бы принес мне паркетину», по-русски назову. Мне нужны были рейки, но оказалось, что это совсем не то, что нужно. Но осталось в памяти, в университете в фойе, на втором этаже и в актовом зале отец делал паркетный пол.

Это в сороковом году?

Да, это уже к сороковому году относится.

Когда вы пошли в школу?

В школу я пошел в 1939 г. Тогда была четырнадцатая школа (ныне девятая), на первом этаже направо первые три окна — [мой класс]. Я был единственный финн в классе. Больше финнов не было. Илмо пошел в ту же школу, но я был в классе «А», а он в «Б». Анна Тимофеевна была у меня учителем, очень опытная учительница, фамилии, естественно, не помню. С Илмо такая беда случилась во время финской войны, когда было затемнение — фонарей на улицах нет, окна плотно занавешены. А на улицах появилось много военных машин, у них было свое освещение, синие фары, причем с козырьком, чтобы сверху не было видно, если с самолета смотреть. А эта улица Урицкого — по ней шло очень много транспорта, ее не чистили, колея очень глубокая — даже не знаю, как встречные машины могли разъезжаться. Но обычно колонны шли в одну сторону. Илмо решил пойти ко мне рисовать, в кармане у него были цветные карандаши. Не дождался, пока вся колонна пройдет, подумал, что успеет проскочить между машинами, и попал под колеса. Насмерть. Ему только что исполнилось девять. Тогда еще хоронили на Зарецком кладбище, там его и похоронили.

На время финской войны в четырехэтажном здании школы разместили военный госпиталь. А нашу школу перевели в одноэтажный бревенчатый дом на Коммунальной улице в районе Слюдянки, напротив нынешней бани. Маленькая школа была перегружена. В эту школу ходили в три смены. Морозы сильные, но первый класс, самые маленькие, должны были почему-то ходить в первую смену, к восьми утра. Потом вторая смена с двенадцати часов, а с четырех до восьми третья смена. Конечно, когда морозы были двадцать четыре и двадцать пять, занятия отменялись. По радио слушали температуру...

И потом все идут гулять?

Кататься на коньках. На этой же дороге, надеваем коньки и катаемся.

Если вернуться к концу тридцатых годов, когда исчезли финны, в семье что-нибудь говорили об этом?

Мне — нет, не заостряли мое внимание на этом. Но понемножку информация просачивалась. В нашем доме жили четыре семьи финнов, мы в первой квартире, в четвертой квартире — Оскари Корпи, он как-то исчез, сказали, что его взяли. Но не обсуждали. Я с его сыном какое-то время немножко играл, а потом их вывезли, квартира опустела, и ее заняли другие люди. В шестой квартире жили, по-моему, Коски. Их вывезли ночью, я проспал это время, а у нас появился цветок, называется елочка — не знаю, после войны таких больше не видел. Он длинный, несколько витков, может, метра три-четыре. Очень ажурные, тоненькие

не иголки, а стебельки. А горшок был особенный — большой горшок внизу, в него наливалась вода, а земля и цветок были в другом, верхнем, горшке с отверстием внизу. И вода оттуда поступала — столько, сколько нужно растению. Его не надо было поливать. Я спрашиваю: «Откуда цветок?» — «Сверху». Наверно, было сказано, что их забрали. Потому что я слышал, что на *Kalkkisaari*.

Оленьи острова.

Да, туда увозили. И еще одна [семья], в пятнадцатой квартире, семья Эйно Кяхкёнен, я к их сыну Эрки тоже приходил играть. Отец был лыжник, хороший спортсмен, работал в строительной организации, хотя не знаю, кто он был по профессии. Но он активно занимался общественной деятельностью и лыжами. Его тоже [забрали]. И только в нашей семье никого не тронули. Правда, из предосторожности в самые тревожные времена наша семья выехала на время отпуска на богом забытые острова Кижского архипелага.

К вам в гости приходили русские?

Нет. Я во дворе играл с русскими, а родители не настолько хорошо понимали язык.

Русские дети дразнили финских детей? Или наоборот?

Дразнили, конечно, но безобидно, типа финн-графин, такого рода. Когда была образована Карело-Финская республика, то тогда подчеркивали так: Карело — стоит на первом месте, а потом уже Финская, то есть второстепенная.

А так дружили с финскими семьями. Мы ходили к Маллат, они жили на улице Лесной, к Эриксон...

Когда приходили гости на праздники, что вы готовили?

Мама что-то пекла. Я помню, как-то играл с Ээро Сихвола, он года на два старше меня, не с нашего двора... Я ему говорю: «А у нас гости... Мама напекла...» — «Принеси чего-нибудь». У них, видимо, не было принято печь, так я приносил ему выпечку.

Для гостей всегда старались. Но спиртного никогда не было. Я отца никогда не видел выпившим.

Что пили дома? Кофе? Чай?

Чай, наверно. Кофе пили суррогат «Мокко». Уже в пакетах, на них было так и написано: «Суррогат Мокко». Жареные ячменные зерна, еще что-то... Перемолотые.

Как вообще праздники проходили?

По-моему, в основном разговаривали. Сестра играла на скрипке.

Радио было на улице, на перекрестке — рупор, который на целый квартал или, по крайней мере, на ближние дома. Все эти песни... Я, не

понимая по-русски, помнил слова песен... Смысл не понимал — только если потом прочтешь или люди объяснят.

И в школе — в первом классе — меня послали сфотографироваться на Доску почета. Сказали: «Иди в ДЫКА». Что такое ДЫКА? Ни малейшего понятия. «Дойдешь до Гоголя, налево, потом направо, там в глубине будет дом». Сейчас это Дом офицеров, а тогда это был Дом Красной армии. И откуда мне знать было, что на слух воспринятое ДЫКА — это ДКА?

А когда мою фотографию на Доску почета повесили, я очень стеснялся, вдруг меня кто-нибудь узнает, и старался быстрее пробежать мимо.

Учеба уже была по-русски?

Да.

И в Карело-Финской ССР?

Да. По-фински я не учился ни одного года, ни одного месяца, ни одного дня.

А брат с сестрой к тому времени уже выучились?

Они в школе учились на финском, финский язык у них был прекрасный, английский был прекрасный. Сестра за 40 лет работы освоила русский в совершенстве. А брат в автобиографии писал, что не на сто процентов владеет русским языком. Он свободно говорил по-английски и по-фински. Обучение в институте в 1937 г. еще велось на финском языке, а с 1938 г. все перешло на русский язык. И он вынужден был за короткий срок подготовиться и сдать госэкзамены на русском языке. И сдал. За успешную учебу был премирован поездкой на Южный берег Крыма. Мне запомнились привезенная им трость с выжженными надписями «Ялта» и «1938» и много снимков.

Он какой факультет оканчивал?

Физмат. В тридцать восьмом году.

А потом?

Тут такая история. Он вроде должен был идти в четырнадцатую школу преподавателем математики. Не постоянным, вроде временным, но все же в школу. Он даже поговорил с директором обо мне, что я умею читать на финском языке, теперь уже и на русском и интересуюсь многим, я, мол, ему по математике даю задания, он все решает. Можно ему в школу до восьми лет? Готовились, что уже в тридцать восьмом году я пошел бы в школу. Но как к этому времени ближе стало, так мне сказали: «Нет, не пойдешь в школу». Мне в мае исполнилось семь. И вот друзья первого сентября идут в школу, а я с обидой остался за бортом... Эрика Клоковского проводил в четвертую школу на [улице] Володарского, где сейчас поликлиника, чуть повыше, а сам остался на улице.

Но и в детский сад я в том году уже не пошел — я ушел оттуда с надеждой, что пойду в школу, и вот этот год я болтался, был во дворе с русскими ребятами.

А брату с началом финской войны, в середине декабря [1939 г.] пришла повестка, его забрали в армию, увезли на финскую войну. Приходили письма — он попал в район нынешнего Приморска, писал про морозы, что если бомба или снаряд пробьет лед, то оттуда вода фонтаном бьет наверх и замерзает в виде куста — вот такие морозы были. Уже потом я узнал, что он был в Финской народной армии, которая потом, когда будет победный конец войне, станет финской армией при Финском народном правительстве О. В. Куусинена. Потом все шли разговоры, что он вот-вот должен вернуться, что другие приезжают с войны. Я все на Голиковку ходил, в конце [улицы] Ригачной была станция Голиковка, встречать поезда. А его все нет и нет. Потом он пришел домой в обычной красноармейской шинели. А так в городе я видел, были шинели из зеленого тонкого сукна, не как серые шинели. У них были погоны, знаки отличия, не как в Красной армии.

Он когда вернулся?

Я думаю, что это был уже апрель, еще весной.

И что было с семьей в сороковом, сорок первом годах?

О брате разговор был такой, что он отслужит еще два года, до осени 1941 г., и тогда он в университете продолжит учебу в аспирантуре. Мама иногда работала... Тогда строили кинотеатр «Сампо», и поскольку мама писала по-английски и по-фински, да и по-русски тоже, то была настолько грамотной, что могла быть на стройке десятником. Оформляла там документы. Какое-то время она работала там. Потом работала на бензозаправке — там, где сейчас стодевятнадцатиквартирный дом напротив кинотеатра «Победа», справа тюрьма, слева нынешний рынок, а тогда был авторемонтный завод, и тут на краю тогдашней площади была автозаправка. Она на этой автозаправке работала. Куусиниemi Мария Васильевна (в послевоенные годы — заведующая кафедрой Учительского института) как-то мне говорила: «Я так благодарна твоей маме, что она помогла в то трудное время мне устроиться на работу на эту автозаправку». Ее никуда не принимали на работу после ареста мужа, и она была счастлива устроиться на любую работу.

Между прочим после войны — по-моему, в сентябре 1945 г. — немцы-военнопленные кирками, ломami и лопатами срезали землю на краю площади, там, где была заправка, и тачками перевозили на другой ее край, где пединститут. Замечаете, что это здание ниже уровня [проспекта Ленина]. Площадь была покатаая, тогда ее выровняли. Более того,

улицу Гористую, которая сейчас Антикайнена, раньше от Ленина по ней был крутой склон. Она и называлась Гористая. Так это немцы на тачках навезли землю. Срезали с других мест и свозили сюда, выравнивая улицу. В 1954—1955 гг. посреди площади Антикайнена построили этот большой дом длиной в целый квартал. И когда площади не стало, улицу Гористую переименовали в улицу Антикайнена.

P2. Еще мама работала швеей в артели «Кустпромшвей».

Сестра Руфь три года до войны успела проучиться в музыкальном училище, с тридцать восьмого года. Одновременно работала в симфоническом оркестре скрипачкой. И вот в это же время где-то основали ансамбль «Кантеле», туда нужны были скрипачи... Виктор Гудков был основателем ансамбля, тогда говорили, что это он и придумал национальный инструмент йохуикко. Исполнители вроде как скрипачи, но держали эту скрипку в положении виолончели. Струны меняются местами относительно правой руки, к этому надо было привыкнуть скрипачам. Они ездили в 1939 г. на открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, потом она стала ВДНХ.

Они ездили на Дни культуры Карелии в 1937 г.?

По-моему, все же это был 1939 г. Много снимков было с павильонами. Помню павильон механизации. Потом они пели песню Блантера в Колонном зале [*вспоминает песню «На просторах Родины чудесной»*]. Пел сводный хор и объединенный национальный оркестр из многих республик, включая и «Кантеле».

То есть она работала в «Кантеле»?

Да. Но потом из симфонического оркестра пришла бумажка: вы самовольно ушли из симфонического оркестра и мы можем вас отдать под суд. А тогда, самовольно не явившись на работу... Могли быть большие неприятности. Она срочно обратно в оркестр и в училище, и до 1941 г. продолжала работать в оркестре.

В 1940—1941 гг. я учился в детской музыкальной школе, размещавшейся в одном доме с музыкальным училищем. Мне нравился глубокий бархатный звук виолончели, моим учителем был Николай Константинович Шенкман, виолончелист симфонического оркестра.

Дорога в ДМШ проходила мимо музея, располагавшегося тогда в Александро-Невском соборе. Однажды с мальчишками мы обнаружили во дворе музея большой ящик, там был памятник основателю Петрозаводска Петру I. Наши маленькие ручонки проходили в щели ящика и мы доставали до кисти Петра: «Здравствуй, царь Пётр, здравствуй!» Оказалось, кисть слегка качалась. Стало быть, по крайней мере, кисть отлита отдельно и вставлена в руку.

Что было с вами в 1941 г.?

Отец работал в Карелстрое до конца, университет еще строили, это мне запомнилось. Я учился. Про войну я услышал из репродукторов, они прокричали про эту беду 22 июня 1941 г. устами В. М. Молотова. У нас, кстати, была организована тимуровская команда. Сохранилось письмо брата с фронта, я написал ему в письме, что нас организовали в тимуровскую команду, собираем металлолом. А он про Тимура, наверно, ничего не знал, Гайдара не читал, так написал в ответ: «Хорошо, что вы в Тимошкинской команде собираете металлолом. Металла нужно много». Это письмо хранится в [*Национальном*] архиве.

По-русски писали друг другу?

Он мне в письме писал на русском языке. А так он совершенно свободно переходил на финский, внутри предложения мог [*подставить*] английское слово. Мне брат писал по-русски.

Мы во дворе турник поставили. Кто-то разумно организовывал. Мы бы сами не сумели организовать. Действовал принцип: «Все для фронта, все для Победы!» Витя Жидков тоже к нашим ребятам ходил, хоть и жил по другую сторону Урицкого, показывал на турнике, как и что он может — где-то, наверно, занимался гимнастикой. Ну а мы старались хотя бы подтягиваться и укреплять мускулы. Копали и строили противосколочную щель. Потом город начал пустеть, и как-то мама сказала, что и мне надо уехать. «Детей увозят из Петрозаводска, потом, когда война окончится, снова встретимся, а сейчас здесь опасно». Пришли на пристань, маме уже некогда было, она ушла и сестру оставила, чтобы она меня проводила.

То есть эвакуировали только вас?

Да, все остальные оставались. Это был июль 1941 г., увозили только детей. Сидим мы в барже, рядом девчонка, Пиркко Тийликайнен, ее мама как ушла, так она и разревелась и никак не успокоится. А баржа все не отправляется. Десять вечера. Сестра предложила идти домой и забрать с собой еще и Пиркко: проводим ее — и сами домой. По дороге встретили ее мать — она страшно обрадовалась, что дочка вернулась, та тоже. Они решили, что поедут теперь только вместе. Наша мама тоже была несказанно рада. А ночью, говорят, ту баржу разбомбили.

В ту ночь действительно баржу разбомбили.

Но, с другой стороны, в ту же ночь бомбили и Петрозаводск. Мы убежали в свое укрытие. Там мама говорит: «Может, все же надо было тебе уехать». Бедное сердце мамино — вечное беспокойство за своих детей! Но бомбежек Петрозаводска было не так и много, может быть, три или четыре. Ходили слухи, что приезжал Ворошилов и велел разо-

брать все деревянные заборы между частными домами, ведь по этим заборам пожары распространялись. А так, конечно, бомбы разрываются, пушки ухают, земля сотрясается, прожектора по небу рыскают. И хотя это не в непосредственной близости, но все равно нормальной такую жизнь не назовешь, когда посреди ночи надо вставать из теплой постели и бежать в холод земляной щели и ждать, когда бомба упадет и куда упадет.

А когда потом эвакуировались?

Уже в сентябре. Я же еще пошел 1 сентября искать школу. Мне с весны был куплен новый портфель, до этого был старый, который был еще у Раймонда. Замок был сломан, вместо него шнурок, я бантиком его завязывал и так ходил в первый и второй классы. А тут новый портфель, все учебники новые. Конечно, так хотелось в школу идти. А город почти пустой. Пришел к четырнадцатой школе — все двери закрыты. Я у всех спрашивал, где можно поучиться в школе. «Если есть работающая школа, то только первая». — «А где такая школа?» Рассказали, что в деревянном доме на углу [*проспекта*] Ленина и улицы Герцена. Нашел, но тоже закрыта, так ни с чем и вернулся домой. Грустная была картина, школьник с портфелем ищет, где бы можно было учиться, и не может найти. Жизнь в городе вымирала.

А потом было шестое сентября — эту дату я затвердил. Пришел красноармеец, у него на штыке флажочек, чуть больше спичечного коробка. В каждую дверь колотится: «За два часа весь город эвакуируется. Собирайтесь, получайте срочно эвакуодокументы. Состав стоит на станции Голиковка». Мы пошли туда.

Всей семьей?

Раймонд еще в мае был под Сортавалой в летнем лагере, и в начале войны оказался около границы. А с Руфой приключилась такая история. Еще в июле она была здесь, когда должна была меня провожать. Я не помню, отмечался ли ее день рождения — он у нее 27 июля. Если бы отмечали, я мог бы сказать, была ли она дома. А так — то ли тут она уехала, то ли в начале августа, я думаю, все-таки в августе. Она поступила работать в военный госпиталь. Я не знаю, где он размещался. Госпиталь эвакуировали. И она не успела нам сообщить адрес, куда уезжает госпиталь, а может, и не знала. Мама, по-моему, не знала даже номера госпиталя.

И эвакуировались только родители и я. Мы сели в вагон. Там из свежих досок были сделаны полати. Поезд пошел, стучит-стучит колесами до Лодейного Поля. Здесь опять попали в воздушную тревогу. Бухают пушки, мы думаем: «В Петрозаводске-то не так [*бомбили*]». Недавно

уже здесь, в Финляндии, я узнал, что именно в эти дни, 5—7 сентября, финны заняли Олонец и продвигались с целью захватить Лодейное Поле. Наш поезд то время простоял, пока там свое отстреляли и отбомбили, а воздушная тревога закончилась, и лишь после этого поезд пошел дальше. А потом был Волховстрой. И там уже был настоящий бой. Шум стоял без умолку, автоматы стрекочут, пушки грохочут... В нашем товарном вагоне дверь была немного приоткрыта, мама смотрит в эту щель... Поезд все время идет, медленно, но не останавливаясь. Время идет тоже медленно, мы лежим в ожидании, что будет дальше... У нее на глазах человек пятнадцать красноармейцев несли что-то на спинах, снаряды, может быть. Вдруг что-то разорвалось, и всех их разом сразило. Мама не разрешила мне смотреть на это — не для детей, кровавое месиво, а сама опять с беспокойством: «Наверное, такое же — с Раймондом». К счастью, нам, для того чтобы повернуть на восток, не нужно было переезжать реку Волхов, сразу от Волховстроя-2 мы повернули на восток, и бой понемногу стал оставаться позади. Мы прикорнули. Продвигались медленно — все-таки у военных составов преимущество, но когда можно, и мы продвигаемся подальше от этого ада. В районе Тихвина проснулись от того, что земля содрогнулась, вагон вроде как поднялся — настолько сильное сотрясение. В воздух мы, конечно, не взлетели — позднее я видел, что вагон оставался на рельсах, но рядом была глубокая воронка. А тогда двери открылись, [*команда*]: «Выскакивайте все!» Мы побежали подальше от поезда. Вдали лес — вот туда и побежали. [*В воздухе*] самолет, летает и очередями стреляет в нас. «Ложись!» — все ложатся. Он круг сделает и опять начинает расстреливать. Кто-то кричит, чтобы снимали с себя все белое, платки, рубахи, чтобы он не видел нас. Также утренняя дымка, в какой-то мере скрывала нас. Несколько заходов он сделал... То ли потешался, молодой какой-нибудь... Мы-то беззащитные, и он может безнаказанно себе в утеху поливать нас очередями из пулемета. Это было, конечно, страшно. Потом, когда мы уже до леса добежали, все успокоилось. Больше не прилетали бомбить. Оказалось, что наш петрозаводский вагон повредился и не мог идти дальше. Нас отцепили, состав уехал, и нам только к вечеру дали открытую платформу. В ней мы поехали до Вологды. Помню, мама меня разбудила, когда мы Мариинский канал переезжали. Дальше в Вологде пересели в обычные товарные вагоны, устроенные под перевозку людей. В таком вагоне мы жили до 20 сентября, две недели наше путешествие длилось. Окончилось оно в Сибири, за Челябинском. Ныне это Курганская область, а тогда считалась Челябинской. Ровная, как стол,

территория — ни кустика, о деревьях вообще понятия нет. Голая степь. Станция Лебяжья.

Там вы были всю войну?

Нет. Нам сказали: «Дальше поезд не пойдет. Устраивайтесь здесь жить». С нами из петрозаводского вагона еще оказались из американских финнов Эллен Мяки и Тауно Кокко. Тауно был маляром, не знаю, где он работал до войны, но он был известным бригадиром маляров. Перед войной, в 1941 г., к майским праздникам открыли новую трибуну на площади Кирова. Сейчас от финского театра идет сразу новый мост. А тогда был другой, в другом месте, Советский мост назывался, и площадь не была прямоугольной. Не доходя до Советского моста, была сделана новая правительственная трибуна. Демонстрации шли по единственному в городе асфальтированному проспекту Карла Маркса мимо трибуны на Советский мост и дальше на Зареку. Эту трибуну раскрашивал как раз Тауно Кокко. Под серый мрамор. Квалифицированный маляр был.

В этом вагоне ехали еще финны?

Нет, только эти три семьи. Я не знаю, как в других вагонах, а в этом вагоне оказались только эти. Мы на свои деньги поехали сначала в Омск. Тауно [уговаривал]: «Большой город, там строительные работы, работу найдем!»

То есть деньги у вас были и вы могли оттуда уехать?

Да, у нас были паспорта, эвакуационные документы, свои деньги. Не знаю, были ли какие-то подъемные. На свои деньги поехали в Омск, и там жили месяца полтора. 7 ноября мы еще были в Омске. Именно в этот день я от отца впервые услышал: «Я бы никогда не подумал, что Советский Союз настолько слаб». Всего несколько месяцев войны, а уже сложности с продуктами питания, отданы огромные территории. Хотя из сообщений Совинформбюро никогда нельзя было понять, отдан или не отдан Киев. Все говорили о направлениях, а какие территории — никто не знает. Якобы бои еще в Литве (долго сообщалось о Шауляйском направлении), а отдана уже половина Белоруссии. Про окружение Ленинграда мы ничего не знали. В сентябре же уже блокада началась.

Из Омска мы еще заехали — хотели, наверно, устроиться в сельской местности — в какое-то село, в совхоз в Калачинском районе Омской области.

А в городе не удалось устроиться?

Не удалось, наверно. Я в этом селе пошел в школу. В этом совхозе нам не удалось обосноваться. Использовали на разных работах, поселили к каким-то: то ли казахам, то ли кому-то. Дома-мазанки, полы земля-

ные. В школу пошел, но там от учителей я ничего не получал. После городской школы уровень этих учителей казался очень низким. И вот туда как-то приехал вербовщик родом из Карелии. «Я вас обеспечу деньгами...» Нужно было ехать в тюменские леса. Я помню, что ему было 54 года, он был участником Гражданской войны, у него была книжка то ли участника, то ли партизана Гражданской войны, поэтому он с легкостью пробивал в очередях и кассах железнодорожные билеты. У него была молодая красавица-жена, 34 года. Лицо гладкое, а этот такой старичок. Причем она была латышка, это мне запомнилось. Эллен Мяки сказала: «Я отсюда не поеду». Не хотела уезжать из сельской местности, потому что там было сытно. Хотя я потом слышал, что и ей было голодно. Поэтому мы в тюменских лесах оказались вчетвером, вместе с Тауно. Искинский леспромхоз. Когда мы в этот леспромхоз приехали, там блох было! Впервые в жизни такое видел.

Когда мы в поезде ехали, я впервые узнал, что такое вши. Мы к тому же на нижних полках ехали, так они сверху сыпались. Впервые узнал, ведь две недели не мылись и не меняли белье. А тут блохи. Вши хоть далеко не убегают, а эти прыгают, не поймашь. И темно, никакого освещения, керосиновых ламп даже нет, лучины только — блохи спать не дают, кусают. Въехали мы в лесопункт под названием Бугры, там мы блох выводили тем, что снег набросаешь на пол и сметешь, вместе со снегом пыль и блох. Это был, наверно, уже декабрь. Мы же из совхоза вроде как украдкой уехали, я там портфель забыл, книги забыл... Правда, я по дороге, в вагоне их успел все просмотреть — мы же две недели ехали, делать было нечего.

Как вы попали в детский дом?

Мама умерла, отца послали в командировку на Лену. Это был сорок третий год. Мама умерла 29 июня, а справка о смерти, что 30 июня. Может, в загс позже сообщили. Я остался один. Как-то все было организовано, хотя и не вполне. Но все же минимальный уровень, чтобы остаться в живых, имелся. Я ведь сам по себе устраивать жизнь не умел. Но много ли нужно уметь, чтобы хлебную норму получить в магазине? Вскоре привык к этому ощущению, к этому осознанию, что ты один-одинешенек. А тут, на счастье, баржа пришла по реке Туре. Мне говорят, что мобилизуют всех, кто только может двигаться, — надо срочно разгрузить и снова загрузить. Сейчас же собирайся! Я в советской школе приучен, сказали, что надо, значит, надо. Пошел и устроился туда на работу. Там кормили: варили пшеничную кашу.

Сколько лет вам было?

Двенадцать лет, один месяц и одна неделя, когда мама умерла, а это буквально через три-четыре дня. Работали день и ночь, там же спали: работать, покушать, поспать и снова работать. Как с баржей закончили, старший говорит: «Приходи, в одной бригаде будем работать. Что ты один будешь толкаться?» Ладно. Это была вроде лесоперевалочная база, называлась Березка. Грузили одну березу, пиловочник — в основном брус был, пятнадцать на пятнадцать или двадцать на двадцать и так до размера восемьдесят на восемьдесят. Нужно было все это укладывать на эстакаду и уложить так, чтобы они высотой метра два, а сверху — толевая крыша. Под ней дерево сохнет. Это основная работа. Я стал получать рабочий паек и горячий суп в обед. Мы сами для своего предприятия выращивали капусту, картошку, овощи. Потом овощехранилище стали строить — вот такие работы. То есть летом в большей мере — это полевые работы...

Так вы всю войну работали?

Нет, меньше полгода. Поэтому у меня никаких льгот нет. Вообще так, наверное, и работал бы, если бы не зима с сибирскими морозами. Мои попытки устроиться в детский дом были безрезультатны. И только когда к делу подключилась председатель профкома, меня приняли в детский приемник НКВД для сирот и беспризорных. К первому декабря я был уже в детском приемнике. Это было девятилетие со дня смерти Кирова, и мы делали какую-то стенгазету о Кирове. На Седьмое ноября, когда я еще работал, было собрание, где объявили, что Киев освобожден и всем работающим дали возможность в магазине выкупить бутылку вина. Меня одни там спросили: «Ты думаешь покупать?» — «Зачем мне это нужно?» — «Выкупи, мы у тебя возьмем». Я сходил, не помню, семнадцать что ли рублей стоило. Они мне дали сто двадцать рублей за эту бутылку. У меня еще от зарплаты что-то было. Потом, когда в детский приемник пришел, говорю: «Вот у меня сто тридцать два рубля». А когда я из детского дома уходил, мне выдали сто тридцать два рубля — деньги, про которые я уже давно забыл. С этими деньгами приехал в Карелию по эвакуации. Доехали до Голиковки, во время стоянки я по Каменистой (ныне Мерещкова) вперед пробежал, вижу: наш дом стоит, целехонький сохранился.

Когда вы приехали?

В июне сорок пятого. В детском доме я заканчивал пятый класс. В феврале сорок четвертого меня из приемника определили в детский дом, там я пошел в школу, снова в четвертый класс, а в сорок четвертом — сорок пятом я учился в пятом классе. Экзамены я там сдать не

успел, правда, историю точно сдавал, и мне в память врезался факт: я читал-читал этот учебник по истории древнего мира за пятый класс. Очень беспокоился, чтобы перед комиссией хоть как-то сдать экзамен. Учительница говорит: «Там будет программа, по каждому вопросу будет несколько предложений, вам их только расширить надо». Какой вопрос мне попался, я сейчас точно не помню. Сначала думаю: «Ничего не знаю». Потом начинает работать зрительная память. Мысленно открываю страницу: тут такой рисунок, тут такой, тут об этом, и еще эта программа...

Вы сами приняли решение возвратиться в Карелию?

Я знаю, что у меня где-то брат был в армии, сестра в госпитале работала, надо их искать. Может, и они ищут родителей и меня.

А отец?

Он так на Лене и пропал. Так и жил я без него. Когда здесь на старый вокзал приехали, там что-то надо было оформить — думали, наверно, куда меня устроить, в ФЗО или куда еще. Мне уже четырнадцать лет было. А я, конечно, побежал по Первомайскому шоссе и по Гористой до нашего дома на Зареке. Спросил у кого-то: «Есть ли здесь жильцы, которые до войны здесь жили?» — «А вот Петровы из пятой квартиры». Я туда. Говорю: «Один остался, не знаю ни о ком, ни о брате, ни о сестре». Они говорят: «А вроде тут твоя сестра ходила. Не совсем уверены, но вроде как она военная».

А квартира ваша была свободна?

Нет, в квартире уже жили. Я везде поспрашивал: в милиции, в военкомате. А тогда еще в финском [американском] городке было восемь бараков, и в первом бараке было городское отделение милиции номер 2. Я туда, говорю: «Сестра здесь, но не уверен, военная или нет. У вас она нигде не числится?» — «Если военная, то надо в комендатуру». — «А где комендатура?» — «Казарменская, 9». Дом точно не вспомню, но улица точно Казарменская. Я всю Зареку знаю, а где эта Казарменская, — не знаю. Сказали: «В районе Советского моста». Народу в городе мало было, а в этом районе вообще редко кого встретишь. И никто не знает. Оказалось, что это улица, которая идет вдоль забора Онегзавода. В комендатуре посмотрели: «Нисканен нет, не поступала такая. Нет нигде в книгах». И не знаю, в этот ли день или на следующий иду по Урицкого сверху, угол Машезерской и Урицкого, там тогда частные домики еще были. Идет женщина в военном плаще, а из-под плаща кофта, и что-то знакомое. Пуговица! Засмотрелся, мимо прошли, потом оба развернулись. Она: что этот мальчишка засмотрелся так пристально, а

я... Ведь четыре года прошло, не мог в лицо узнать. А вспомнил кофту, которую она связала, особенно эту пуговицу.

Что делали в войну ваши сестра и брат?

Брат был на фронте, он в сорок первом в октябре героически погиб, в Петровском районе. Рассказывают, что попал в окружение, отбивался до последнего, и чтобы не попасть в плен, взорвал оружие и себя. Г. Н. Куприянов и Ю. В. Андропов неоднократно приводили его как пример героизма и верности присяге. Его подвиг рассматривался на таком высоком уровне, что был издан отдельный Указ о награждении орденом Красной Звезды, подписанный М. И. Калининым и опубликованный в «Известиях» в ноябре 1941 г. Когда впервые после войны я оказался в Ленинграде, пошел в Салтыковку, мне дали подшивку «Известий» за 1941 г., и тогда я нашел этот указ. В конце 40-х гг. Руфь говорила с О. В. Куусиненом о возможности получить этот орден в память о брате. Он ответил, что такое возможно только в отношении родителей, жены и детей. Несколько лет назад с нашего согласия орден был передан на хранение в Карельский историко-краеведческий музей.

Сестра была в Шуерецком, но в основном под Сегежей в мыльно-прачечном отряде, что-то такое. Отстирают, отремонтируют нижнее белье, верхнюю одежду. По-моему, она шила. У нас дома мама шила, швейная машина была, так что сестра шить умела. В сорок третьем году она — не знаю, каким путем, кто ее надоумил, или сама решила, или ее мобилизовали — в армию. Тут она уже не голодала. Получала армейский паек. Все в основном в Сегеже. В сорок четвертом году началось наступление — четвертый сталинский удар, здесь, в Карелии. Она была при штабе 32-й армии, где требовалось знание языков. Антти Тимонен, Рудольф Сюкияйнен — сын Иосифа Ивановича, Яакко Ругоев тоже есть на снимке, вместе с ними и сестра была. А. Н. Тимонен после войны не забывал навещать ее в День Победы — 9 мая.

В июне 1945 г. она приехала в Петрозаводск искать родных и знакомых, оставшихся в живых. Уже подумывала: «Если никого здесь не найду, то побуду и уеду обратно». Не хотела ходить в военной форме, козырять, отдавать честь, поэтому в комендатуре не зафиксирована. А когда меня встретила, стала думать, что дальше делать. Тогда строго было, за малейшее нарушение — на пятнадцать суток. И решила пойти в комендатуру, повиниться: «Я виновата, но встретила брата, он из детского дома, четыре года не виделись, случайно здесь встретились». Комендант города Дзриелишвили ей: «Я тебе продлеваю еще на неделю отпуск, поставим его на довольствие, дадим ему паек и проездной до

воинской части». А часть после войны уже была в Кирове, в сорок пятом они должны были в Германию поехать, если бы война затянулась.

То есть она вас с собой увезла?

Да. И когда был парад Победы 24 июня, мы ехали поездом в Киров, в Вятку.

Как вы вернулись обратно в Карелию?

Был указ о демобилизации старших возрастов — старше сорока пяти лет, хотя, может быть, ошибаюсь, может, только женщин. Сестре советовали: «С твоим знанием английского языка — куда-нибудь в морской порт! При демобилизации бесплатный проезд!» Мне тоже бесплатный проезд.

А в Кирове вы что делали?

Я был в автороте инструментальщиком. Мужики, солдаты ремонтировали машины, мотор снимали, если что-то забарахлит. Если они в яме, то я подаю ключ на семнадцать, головку на четырнадцать, другие инструменты — все то, что потребуется. Потом все протереть и сложить обратно. Я был поставлен на довольствие, выдали солдатскую форму по росту. А нижнее белье, конечно, взрослое. Сапоги тоже большие. Как-то надо было в туалет быстро, я бежал под горку и сапогами за что-то зацепился. Летел вниз головой. Потом, когда по городу идем строем куда-нибудь, в баню или в кино, я последний с перевязанной головой, то слышу со стороны: «Такой маленький, а уже раненый».

И когда вы вернулись?

В августе 1945 г. сестру демобилизовали. «Поедем в Одессу». Поехали, глупые. Я, единственное, ей сказал: «Соль бери. Там, в столовой, набирай соль, а то во время войны у нас соли не было. Соль и спички». Приехали в Одессу. Город разрушенный, никого — ни знакомых, ни друзей, ничего. В порт не пройти. Нужен допуск, ждать около месяца. Еще неизвестно, будет ли положительный допуск или не будет. Я как-то на скамейке заснул, у меня был маленький чемоданчик. Там мои поганы были, книга Дюма «Двадцать лет спустя», еще какая-то мелочевка — выдернули из-под головы.

Сколько вы были в Одессе?

Не помню, но по крайней мере 3 сентября, когда Япония сдалась, мы были еще там. Может, недельку. Спали где попало, иногда в руинах. Город, конечно, казался удивительным. Лепнина, архитектура впечатляли, хотя и разрушений много. Солнце такое теплое. Море. Непривычно. Но поняли, что тут ничего не светит, а в Петрозаводске все-таки квартира, где до войны жили, а также знакомые и друзья. Поехали из Одессы в Петрозаводск. Где-то по дороге купили за восемь рублей ведро яблок.

Приехали в Петрозаводск к Раутанен, и те сразу на рынок, продавать эти яблоки. «На целый месяц деньги вам будут». А они жили на Ленина, их бабушка работала уборщицей в управлении культуры. Здание управления культуры размещалось на том месте, где нынешний Собес на Ленина, д. 6, дом из красного кирпича. На его месте был деревянный двухэтажный дом, вросший в землю. В управлении на стенах были портреты работы Г. А. Стронка, все герои труда. Оттуда я начал ходить в четвертую школу — тогда была единственная мужская школа, на Зареке. Женская школа была восемнадцатая, рядом с церковью, нынешняя восьмая, а я ходил в четвертую, девятой школы еще не было, она была у военных. И я от этого управления культуры по мощеной улице Куйбышева поднимался в гору. За эти годы, с сорок первого года, этой улицей почти не пользовались, поэтому на участке между улицами Ленина и Свердлова она заросла сорняками почти по пояс, и только в середине была тропка, где люди шли. По этой тропе я ходил в школу.

Там оставались довоенные дома?

Слева, как в гору подниматься, был дом, он и сейчас есть. Он немного выступает, это не доходя до улицы Свердлова. Остальное все было разрушено почти до самой площади Кирова. Только там были каркасы дома на углу, где потом был штаб ГО, дома, в котором потом был дом политпросвещения, и больница — только эти три дома стояли. Дом политпросвещения был полуразрушен, стекла выбиты, но стены стояли. А больше домов тут не было.

Этой дорогой я ходил в четвертую школу до тех пор, пока не отвоевали через суд задние две комнаты в довоенной нашей квартире на улице Урицкого.

Пришел в школу с опозданием во второй половине сентября в шестой класс, алгебра уже началась. Учительница была хорошая — Кищенко Татьяна Ивановна. Она причем была у нас классным руководителем. Насколько мне легко было учить арифметику, все конкретное, а тут ничего не понимаю. Зачем эта алгебра придумана? Зачем все эти «а» плюс «б», «а» в квадрате плюс «б» в квадрате, какой смысл в этом? Коровы или там картошины — это конкретно... В самом начале что-то было пропущено, и никак не мог включиться. И вот в шестом классе от учебы не было той радости познания, как в третьем, четвертом, пятом классах. В детском доме учился с легкостью, на радость учителям. В седьмой класс пошел уже в девятую школу. Походил полгода, но постоянно температура 37,2—37,3°, голодуха страшная... Меня направили в тубдиспансер. Летом после седьмого класса я устроился разносить телеграм-

мы, чтобы рабочий паек получать. Тогда я, конечно, привык много ходить. Эта привычка сохранилась на всю жизнь.

А сестра работала?

Да. Она работала. Работала в МИДе секретарем-машинисткой. У нее поначалу зарплата была 600 рублей.

То есть вы жили на ее зарплату?

Да. В сорок седьмом году, после седьмого класса я поступил в ремесленное училище. Это было художественно-ремесленное училище, оно располагалось на углу улиц Волховской и Льва Толстого. Сейчас, по-моему, этого дома уже нет. Два года учился там, а вечерами на втором году стал ходить в вечернюю школу. В первый год мне предоставилась возможность лечиться в санатории «Трудовых резервов» вблизи Зеленогорска, с тех пор претензии к моим легким о том, что находят там потемнения, были безосновательны. После ремесленного училища работал в Стройуправлении № 1 маляром. Мы пускали в эксплуатацию кинотеатр «Победа», архитектурно-строительный техникум рядом с гостиницей «Северная», здание Госбанка и другие объекты в 1949—1951 гг. В 1951 г. я закончил вечернюю среднюю школу работающей молодежи и поступил в университет, где мы с женой оказались в одной группе.

Расскажите эту историю.

P2. Эта история простая. Мы оказались в одной группе на физмате. Только две финские фамилии. И что нам было делать? Пять лет присматривались друг к другу, потом женились.

Много ли в университете было среди студентов финнов?

Я не знаю, сколько было, но вообще почти во всех группах были финны.

Какой это был год?

Мы учились в 1951—1956 гг., оканчивали КФГУ.

P2. В 1956 г. была еще Карело-Финская республика. Но и на Лео, родившегося в 1957 г., у нас свидетельство о рождении еще на финском языке.

Свидетельство о браке у нас также на финском языке.

Жили вы в общежитии?

P2. Во время учебы я жила в общежитии университета. После окончания университета, 7 августа 1956 г. у нас была свадьба.

Как раз в том году физмат пединститута переходил на пятилетнее обучение, весь наш выпуск был направлен на работу в школы, а в дипломе было написано: «Учитель физики средней школы». Он был на-

значен в Лоймола. Я хотела ехать в аспирантуру, было направление, но когда мне характеристику не выдали, мы решили ехать в школу вместе.

В аспирантуру не пустили, потому что надо было ехать в школу?

Р2. Да. Пришли в министерство просвещения, узнавать, есть ли в какой-нибудь школе два места для нас. «На каком основании?» — «Мы хотим ехать вместе». — «Предъявите свидетельство о браке и можете ехать». Ну что ж, предъявили и поехали в Сегежу. Год там отработали в школе.

Тогда все быстро оформлялось, буквально дня за три. Заявление нужно было только оставить, и сказали: «Приходите послезавтра, если не передумаете».

Р2. Так что 7 августа зарегистрировались, нашли для нас два места в Сегеже, и уже 15 августа мы вышли на работу.

И год вы жили в Сегеже?

Год.

А потом?

Я поступил работать в филиал Академии наук, а она — в пединститут, правда, к тому времени сын Лео уже родился.

Р2. Я из декретного вышла и с сентября 1958 г. уже работала в пединституте, и так на одном месте почти сорок лет отработала, потом сюда переехали.

Спасибо!

Интервью с Верой Петровной Семеновой, 1932 г. р.

*Записал А. Ю. Осипов,
г. Петрозаводск, 24 мая 2006 г.*

Я родилась в Подкусельге, теперь там ничего нет, деревни нет, одно кладбище. В семье у нас были отец, мать, брат старше меня на шесть лет и второй брат старше меня на шестнадцать лет. Я его до 1938 г. не знала. Мне в то время пять лет было, шестой год, как он приехал летом в деревню. Он приехал с призами, на соревнованиях был. В деревне он закончил четыре класса, а потом учился в Пряжинской спортивной школе, потом в педучилище в Петрозаводске на физкультурном отделении и работал до войны во Дворце пионеров, вел кружок физкультуры. Он был очень хороший лыжник, у него было очень много призов, и с этими призами он приехал летом 1938 г. в деревню. Ему дали патефон, сейчас он у Оли [родственница В. П. Семеновы. — *А. О.*]. Он занял

первое место по РСФСР по лыжным гонкам на 20 километров. Приехал он с велосипедом, с фотоаппаратами и ружье двуствольное привез. Это были очень хорошие призы по тем временам.

В 1939 г. была финская война, и перед финской войной, осенью, у нас в деревне были солдаты. Дорога на Суоярви шла через нашу деревню. Только после войны дорогу сделали вдоль железной дороги. Солдаты шли через нашу деревню. И впервые, это было уже в 1939 г., я услышала духовой оркестр, который играл в честь окончания [очевидно, начала. — *А. О.*] войны. Такие были трубы, которых сейчас и нет. Как в фильме «Свинарка и пастух». Я до войны не училась, пошла в первый класс в 1940 г., но я два дня проучилась и меня отчислили. Тогда брали в школу с восьми лет, а мне не было восьми лет — я ноябрьская, и не хватало двух с чем-то месяцев.

Потом война. Война, я помню, началась в воскресенье, в выходной день. Было очень жарко, все купались и приехал из Вешкелиц нарочный на белом коне и сказал, что началась война и нужно эвакуироваться. Ну тут быстро собрались все, деревня была небольшая — дворов семнадцать. Всем дали лошадей, и на лошадях мы поехали. Но дорога от Вешкелиц до Петрозаводска была занята и нужно было ехать на Кивач, потом на Спасскую Губу и на Петрозаводск. Мы, наверное, месяц были в Масельге, а наши взрослые ездили в деревню на лошадях, убирали рожь, урожай собирали. И вот в последний день, а недалеко от нашей деревни была застава — километра три, наверное, солдаты получили приказ не ехать на заставу, а остановиться у нас в школе в деревне. Приехали они на полуторке, с собаками. Мой брат Павел, когда убирал рожь, то финнов уже увидел, и они сказали нашим оставаться, мол, мы вас не тронем. Пограничники отправились к финнам, мол, мы их остановим, а куда они делись, наверное, погибли все.

И вот мы кругом поехали с Масельги на Кивач. От Кивача мы ехали на Спасскую Губу и нам навстречу попало четырнадцать танков. Танкисты — молодые парни — говорят: «Не уезжайте, мы победим». Такие воинственные. Тоже, наверное, все погибли. Бои были очень сильные, даже деревья были все повалены. Потом мы приехали в Спасскую Губу и там был пункт приема животных. Сдавали коров, свиней, овец и выписывали квитанции. В это время летели два самолета, и моя мама не пустила брата и двоюродных братьев туда, поближе посмотреть, где играла музыка. А все говорили, что это летели наши. И была такая бомбежка, вся больница была заполнена ранеными. Потом все ушли в лес и вернулись только ночью, этой же ночью выехали в Петрозаводск. Днем сидели в лесу, а ехали ночью. В Вознесенье нас посадили на пароход и

дальше на Вытегру. Меня оставили на пристани с вещами и в это время началась бомбежка. Все спрятались, а я осталась стоять у причала, а пароход пошел обратно в Онегу. Пароходы, которые шли в Онегу, не бомбили, а те, которые из Петрозаводска, обстреливали. Я стою у причала и помню до сих пор, как низко летел самолет, в котором сидел пилот с таким оскалом и смеялся. Мужчина подполз сзади и схватил меня за подол, я упала, он оттащил меня под крышу. Ночью нас посадили на пароход и я встретилась с родителями. Приехали мы в Пермскую область, Большеусинский район, Большая Уса — это приток Камы, в деревню Шумово. Там мы прожили до лета сорок четвертого года, там я пошла в первый класс, всего три класса закончила. В 1944 г., когда освободили Карелию, Петрозаводск, тогда нам сказали, что можете выезжать. И на барже мы приехали в Петрозаводск 1 октября 1944 г. Ночевали на причале, и что запомнилось — сколько было крыс. Отец не спал всю ночь, все отпугивал крыс, стучал палкой. Петрозаводск я запомнила, что все было разрушено. И мы приехали в деревню. Финны к тому времени уехали, а посеы остались, организовали совхоз в Хаутаваара, и все наши взрослые из деревни ходили убирать зерно. А я была одна дома. В ноябре мне исполнилось двенадцать лет, я и печку топил, и хлеб пекла, тогда давали хлеб по трудодням. Много было хлеба у финнов, урожаи очень хорошие. В субботу вечером поздно приезжал отец с матерью, и в воскресенье отец ходит на рыбалку и наловит окушков, а я распределяла: два окушка каждому каждый день. Хорошо еще хоть хлеб был. Что еще? Мы приехали осенью, и столько было брусники! Огромную бочку на двадцать ведер собирали брусники и делали толокно. Сама я толокно делала: парила овес в печке, потом на жернове высушишь, смелешь, потом с брусникой вот ели, да еще две рыбки съешь. Потом у меня была еще кошка. Кошка пришла откуда-то, я не знаю. Кошку взяла другая семья, но у них, видно, голодно было, и она пришла к нам и больше не уходила. Весной 1945 г. я все-таки пошла в школу в третий класс — в апреле. В школе жили в интернате, жили очень голодно. На большой перемене давали небольшую пиалу овсяной каши и немножко растительного масла. Обед — кусочек хлеба. Помню, в обед просили воспитательницу: «Нанна Эдуардовна, дайте, пожалуйста, горбушку». Сегодня я, завтра другой горбушку получает. Восьмого мая вечером играли в лапту, тогда очень модно было играть в лапту. С нами играли и учителя, играли мы допоздна. А потом говорят: «Вы не проснетесь завтра». Утром приходит воспитательница к нам в комнату и говорит: «Вставайте, война закончилась». И нас отпустили, не было занятий. И в Вешкелицах я закончила семь классов в 1949 г. И в 1949 г.

поступила в Петрозаводск в фельдшерско-акушерскую школу на отделение санитарных фельдшеров. И с 1949 г. три года я проучилась, закончила в 1952 г. Где «Максим» [бывший ресторан в центре Петрозаводска. — А. О.], было деревянное здание угловое, на втором этаже была школа. А внизу было министерство здравоохранения. И что интересно, был такой красивый фонтан, как в Петродворце, струя была выше двухэтажного дома. Это еще с петровских времен был фонтан, когда Петрозаводск строили. И после этого меня в 1952 г. направили на работу в город Кемь. В Кемь я отработала 4 года в Кемской санэпидстанции. А потом, в 1955 г., я тяжело заболела, долго в больнице лежала, потом в санатории была. И меня перевели в город. И здесь с июня 1956 г. до 1992 г. работала в городской санэпидстанции лаборантом в отделении гигиены питания.

Вы помните, откуда родом были ваши родители, а также бабушки и дедушки?

У нас мама в этой деревне родилась, отец тоже тут родился, но отец очень рано потерял отца и с девяти лет сам пахал и сеял, дом построил, помогал ему дядька. Война началась — ему 58 лет было. Он с 1883 года рождения. Они с этой деревни родом.

Они по национальности карелы?

Мама — карелка, а отец — русский. У отца двоюродный брат изучал древо [родословное] и говорил, что прапрадед был швед. Когда война со шведами была, вроде прапрадед был швед, так что есть шведская кровь.

Родители рассказывали вам, как они познакомились друг с другом?

Да, рассказывали. В деревне на хуторе умерла бабушка, и моя бабушка пошла туда сидеть с покойником. Тогда сидели у покойника ночь. Отец остался дома и собрал в деревне на беседу (так раньше вечеринки назывались) всю молодежь. Пожилые-то все на поминках у покойника сидят, а молодежь вся у него. Маму он оставил ночевать, не пустил никуда. А утром бабушка приходит, расплакалась и пошла к дядюшке моему, ведь отца не было у моего отца, и говорит: «Что делать?» Тот говорит: «Ничего, поедем к венцу». Взяли лошадь и поехали к венцу. У меня осталось в памяти вот что: у нас в сарае была карета, очень красивая карета, такие золоченые вензеля были. Потом лампа была очень большая, 20-линейная, просто огромная, абажур был такой зеленовато-голубоватый. Какие-то цепочки висели из желтого металла. И вот я помню, проснулась, наверное 1937 г. был, смотрю, а абажура нет, лампы нет, потолок заделан. В это время шли как раз аресты, 1937 г., я еще маленькая была. На сарай потом пошла — не оказалось кареты. Куда отец спрятал, я не знаю.

А откуда были у вас эти вещи?

Как откуда, покупали. Каждую зиму отец ездил в Петрозаводск. Масло топили, потом зарезут телку. И с мясом, и с маслом отец ехал в Петрозаводск и на рынке торговал. Здесь у нас тетушка жила, на Льва Толстого. Вот он приезжал, останавливался у тетушки. Здесь у отца было три приятеля — три еврея. Один был аптекарь, один — часовой мастер, а третий — механик. У нас был сепаратор, масло отделяли от молока, и этот механик все время ремонтировал пружину. Ну и аптекарь, конечно, лекарства доставал. Я болела тогда, помню, что рахит был, ноги кривые были, и он, окулист, очки выписывал. Это все покупали в городе.

То есть хозяйство у вас большое было?

Да. Была корова. Одно время было даже две коровы, овец много было, свинью держали, куры были. Я забыла сказать, что кроме хозяйства еще были дополнительные доходы. Зимой мужчины уходили на лесозаготовки, а молодежь весной — на сплав.

Это в какое время было?

Это было и до войны, а после войны уже давали разнарядку колхозу, что нужно, скажем, пять человек на лесозаготовки отправлять. После войны стали приезжать и из других республик: белорусы, украинцы. А работало на лесозаготовках все-таки больше местное население, поэтому с колхозов брали.

Вы сталкивались с теми, кто приезжал на лесозаготовки, с белорусами например?

Нет. У нас их не было. По-моему, в Киваче был леспромхоз и Шуйско-Виданский, где они работали.

То есть у вас с ними контактов не было?

Нет, не было.

А родители еще где-то работали до войны?

В колхозе. Мама заведовала фермой. В колхозе ферма была. На ферме коров тридцать, наверно, было. Конюшня была, лошадей двадцать, наверно, было. И когда эвакуировались, на каждую семью дали лошадь.

Как относились в те времена к колхозу?

Как относились... Тогда вот налоги большие были. Вот после войны, когда отменили большие сельскохозяйственные налоги, вроде в 1950-е гг. или в 1954 г., Маленков отменил, так отец повесил портрет Маленкова на стенку. Тогда надо было молока сколько-то сдать, мяса сдать, корову забиваешь — кожи надо было сдать, в общем налог платили.

Если вернуться к вашей семье, то у вас были какие-то семейные праздники, традиции?

Семейных традиций не было. Праздновали тогда престольные праздники. У нас престольный праздник был в деревне Ильин день, второго августа. Со всех деревень приезжали, и, помню, дядюшка приходил к нам в гости. У нас отец не пил, а для дядюшки, дядя Тимофей его звали, второго августа всегда отец припасал бутылку водки. А сам он не пил вообще ни капли. Он с детства ревматик был и рассказывали, что ему очень тяжело было в гражданскую войну: то белые, то красные. Белые приходят, а в деревне-то люди всякие и говорят, мол, ему справку дали, как теперь говорят по благу. И его на комиссию к фельдшеру — прослушает его только, тогда ведь ничего не было, напишет справку. На второй день приходят красные, и опять его посылают. И он так много раз ходил, то к одним, то к другим, и он не служил в армии. Он даже стрелять не умел, ружья в руках не держал.

Ваша деревня ведь была совсем близко у границы?

Совсем близко, застава была очень близко, в трех километрах. Это не та застава, что в Вешкелицах, в Вешкелицах застава в шести километрах. От Вешкелиц до нашей деревни шесть километров, а наша застава была в двух-трех километрах. Очень хорошая застава. Там летом устраивались праздники, и мы туда ходили. Там выступали на лошадях. Лошади танцевали и собаки выступали: по буму ходили и через кольца прыгали. Очень хорошая застава была.

Эти праздники устраивали пограничники сами?

Да, сами, и нас приглашали. И у нас в деревне был красный уголок, и они к нам приходили. Может, Первого мая или просто так в другие дни. В красном уголке молодежь устраивала танцы.

Не было ли случаев, что, учитывая близость границы, к вам приходили финны или местное население уходило в Финляндию?

Нет, не было такого. Много случаев было: приходят, ночью разбудят, видимо, какое-то нарушение на границе, все просмотрят кругом — и в подвале, и на сарае. Искали, видимо, перебежчика. А в 1938 г., по-моему... Раньше ведь пастухов не было, коровы гуляли сами, утром их отпустят, и вечером сами приходят домой. А тут коровы перешли границу, ушли на финскую территорию. И целое лето финны не выпускали оттуда наших коров. Жители были без молока. А потом через переводчика, который был из Ленинграда, получали этих коров. Наши пограничники стояли и хозяева коров на одной стороне, речка небольшая границу отделяла, далеко ведь не зайдешь, и коров своих зовут, а финны не пускают. В общем целое лето держали там коров.

Вы умели до школы читать?

До школы? Буквы я знала. Мама была заведующей фермой, получала газету «Животноводство», так что буквы я знала. Когда мы приехали в Молотовскую область, теперь Пермская, то я в школе очень хорошо училась. Я писала очень красиво. Помню, что у меня единственной из школы тетрадь была на выставке. Был у нас предмет чистописание. И чернила мы делали из сажи, варили из сажи на молоке, и получалось как тушь. И тогда война шла, а бумага была в тетрадях атласная. И вот, помню, у меня все время было «отлично», «отлично», «отлично». И только один раз не написала букву «Ф». Обычно учительница напишет букву на доске, а тут она не написала, и я нарисовала ее не так и единственный раз получила «посредственно».

Какие у вас остались самые яркие впечатления от школы?

От школы? А, пожалуй, когда я училась в Пермской области. Летом мы работали. Во втором классе у нас уже было военное дело. Как-то весной, на поляне наш военрук, офицер, он очень сильно хромал, нога у него не сгибалась, сказал: «Ложись!» Когда я легла, то сук попал мне в ногу, и я сразу вскочила. Он мне кричит: «Семенова, ложись сейчас же». Я расплакалась и кричу: «Я не могу, у меня сук». Он пришел, вытащил этот сук, у меня до сих пор этот шрам, и говорит: «Ничего, на войне еще не такое бывает!» И это ребенку во втором классе, вот такое было.

Потом летом мы ходили полоть лен. Когда лен цвел, очень красиво цвел, мы ходили его полоть. Лен сеяли рядом с пасекой, мы ходили на пасеку и там нам давали мед. Мы ели мед, но много-то его не съешь. Один раз меня ужалила пчела, и я не пошла на работу, пришла воспитательница нашего детского сада, мама тогда работала в детском саду, Дуся такая, и говорит: «Там “Молния” повешена. Вера, ты нарисована на кровати, ноги кверху». Ну потом пришла наша учительница, Антонина Дмитриевна: «Почему я не пришла». Она как увидела, — у меня глаза были полностью закрыты, я даже не видела ничего, такой был отек лица — и тогда она пошла в правление колхоза и сняла эту «Молнию». Осенью собирали мы колоски на поле, интересно было.

А мама у нас работала в детских яслях. И мы приехали туда, пошла работать в детские ясли. Председатель колхоза, муж у нее был председателем колхоза, потом его взяли в армию, а жена была председателем колхоза. У них собака была. Собака была медалистка. Каштанкой звали, но я не знаю, какой породы. Небольшая такая, типа лайки, шерсть коричневая. Очень красивая. У этой собаки родились щенята и председатель предписал ей: «Собак уничтожь, оставь одну Каштанку». У нее много золотых медалей было на выставке в Перми. Тогда мы взяли со-

баку, и вот три года у нас была собака и была очень умной. В 1944 г. один раз, а ведь было голодно, собирали траву-лебеду, листья липовые, сушили их и измельчали, на мельнице мололи, и я шла на мельницу, мешок за спиной. Мельник говорит: «Мол, не вовремя». — «Я колхозное зерно мелю». — «Ну ладно». Высыпал он туда мой мешок и мука получалась не травяная, а с мукой настоящей. Я шла с мельницы с этим мешком и увидела — отец собаку несет, куда, думаю, несет. А он шел через дорогу к речке, утопил эту собаку. А до этого пришла соседка и говорит: «Ваша собака у нас крадет яйца». Голодно же было, кормить нечем было собаку, мама говорит: «Не может быть». Потом стала искать и в подполье нашла подкоп и там кучу яиц. Она не только у соседки, но и у других таскала, караулила, когда курица снесется. Там и выпитых яиц, и целых было. Вот поэтому отец решил уничтожить. Только утопили эту собаку, и пришел приказ, что ехать домой. Отец очень жалел, что утопили, если бы знать, привезли бы с собой эту собаку. С этой собакой он ходил в лес. Там бор был сосновый, в восьми километрах. Леса там не было, там поля в основном и овраги, так называемые лога. Там отец брал сосну, лучину, плел корзины для колхоза.

И интересно было, когда мы приехали, в конце 1941 г. из соседней деревни приходят, это километров 15—16 через поля, и говорят: «Там продают кофе». Отец пошел туда, а кофе не жареный, в мешках, и принес восемь килограммов. Наши брали по восемь, по десять килограммов. И местные удивлялись, у них никто не берет кофе, не пили: «Зачем вы кофе берете — квас делаете или что?» Отец жарил кофе, натуральный. А так как он плел корзины, а весной сеял, он мастер был по посеву, то давали мед. И всю войну пили кофе с медом, это нас выручало.

Скажите, еще были такие отличия от местного населения, например, в быту — вы пили кофе, а они не пили?

А мы жили отдельно. Когда мы приехали, то нас поселили отдельно, к семье староверов — к дяде Мише. Как-то мы сели, и отец говорит: «Нам бы капусты». И он говорит: «Сейчас принесу». И у них капуста была заквашена вместе с рыжиками, очень интересно. И когда капусту с рыжиками квасишь, то они чернеют и капуста черная. Отец отказался. Потом нам дали большую комнату — напротив дяди Миши был полукаменный дом, внизу был магазин, а наверху — очень большая комната. В этой комнате жили еще с нашей деревни люди, а раньше, говорят, там какая-то господская усадьба была. Вот жили тут. В деревне была деревянная школа, и она сгорела. Тогда нас из этой усадьбы переселили на другой конец деревни. А деревня была очень большая, километра, наверно, на четыре, очень много дворов было, я даже не знаю сколько.

Вы состояли в пионерской организации?

А как же, как же. Обязательно. Вот весной 1945 г., 30 апреля перед Первым мая надо было с концертом выступить. Нас не отпустили домой и оставили в интернате. А потом мы выступали в клубе. Я участвовала в постановке и в танце в каком-то. А ведь голодно было. Обедали в час дня, а уже вечер был, да еще выступать надо было. И Первого мая я пошла в туалет и упала в обморок, голодный обморок. У меня тяжелый обморок был. Вызвали фельдшера, с воспитательницей они притащили меня, таблетки какие-то давали. Как сейчас думаю, глюкозу давала фельдшер. Потом пошли домой, как-то дошли до дому.

В пионерской организации у вас были какие-то особые обязанности?

У нас у всех были обязанности. Кто-то на шивость проверял, кто руки проверял, кто тетради проверял. В общем у всех что-нибудь было.

А чем вы сами занимались?

А я уже не помню, чем я занималась. По-моему, за чистотой чего-то я следила, за партами, может.

Скажите, были у вас еще какие-то школьные игры, кроме лапты, о которой вы говорили?

Школьные игры были, но были в зале, физкультура у нас была. Учились зимой, игры были в зале, лыжи были.

В школьные годы у вас были какие-то свои карманные деньги?

Нет, не было. А вообще-то были. Тогда же все было по карточкам. Мне нужно было в воскресенье не забыть карточку, и деньги мне давали, но не на карманные расходы, а чтобы выкупить хлеб по карточкам. И в субботу иду я в магазин, покупаю хлеб и иду домой с хлебом, а сдачу обязательно нужно было сдать родителям. Карманных расходов у нас не было, и не было такого понятия — карманные расходы.

Как получилось, что вы стали поступать в фельдшерско-акушерское училище в Петрозаводске, что определило ваш выбор?

Моя подруга, дочь учительницы младших классов — Хильда, финночка, пошла туда и говорит мне: «Давай». Приехали мы с ней, она на фельдшерско-акушерское отделение, а я на отделение санитарных фельдшеров. Почему я пошла на отделение санитарных фельдшеров, потому что на отделении фельдшерско-акушерском нужно было два года учиться, а тут три года и среднее образование давали — десять классов. А на медсестер я не пошла, там не было среднего образования и два года надо было учиться. Учиться было очень тяжело, нагрузка была очень большая. С утра, с восьми до двенадцати, практика была, а с двенадцати до семи вечера — пары.

Где проходила практика?

Практика у нас была в больницах. Мне тогда все равно было, кем работать — что лечебником, что санитарным фельдшером. А потом практика была в санэпидстанциях. Ходили и по детским учреждениям — школам, садам, по магазинам, по столовым, по крупным предприятиям. Канализацию показывали, водопровод, на Онегзавод ходили. Гигиена труда у нас была, изучали вентиляцию, освещение. И по санитарной службе практика, и лечебная. А когда была государственная практика, то ее мы проходили втроем в Беломорске, в Беломорской СЭС. Так мы весной, а в Беломорске был большой лесозавод, так мы втроем приняли весь этот лесозавод.

А кто еще с вами был?

Со мной? Тамара Тресанова, Валя Бараева. Где сейчас они, не знаю. У нас тридцать лет было со дня окончания — мы собирались. Это было в 1982 г. Группа у нас была небольшая — 11 девочек и мальчик у нас был. Ну мальчик был уже в возрасте, намного старше нас, он войну прошел.

Что вам запомнилось больше всего со времен учебы, помимо постоянных нагрузок? Что было самым ярким, было ли что-нибудь запоминающееся?

Очень мы были загружены. Когда мы учились в фельдшерско-акушерской школе, у нас такая была загрузка, что ни на что времени не оставалось. В воскресенье ходили иногда в кино, редко в театр ходили. В театр ходили тогда на Гоголя, в деревянное здание, которое сгорело, может быть, раз за зиму или два раза за зиму. А так в кино ходили. В кино ходили в «Сампо», смотрели тогда «Тарзана», да, вот такие фильмы.

То есть свободное время — это кино или театр или что-то еще было?

На соревнованиях были. А так свободного времени не было. Только в воскресенье. А в воскресенье надо было в баню сходить. Надо было и что-то постирать.

А где вы жили тогда?

Я жила тогда на улице Промышленной. Там был в двухэтажных домах вузовский городок. Брат мой старший, Танин отец — Андрей, преподавал физкультуру в ремесленных училищах, во втором, в четвертом, в разных ремесленных училищах. А я жила с ними, с братом, у брата на квартире.

Скажите, а были ли какие-то конфликты во время учебы? Или, может быть, там жили люди, которые приехали из деревень и русского языка не знали?

В Пермской области, когда мы приехали, то были одеты лучше, чем деревенские. Те ходили в лаптях и нас, конечно, и щипали, и называли нас «кувыренные» — эвакуированные. А так вроде ничего не было, никаких обзывок не было. И недоразумений никаких не было. Только вот называли «кувыренные».

А когда вы вернулись обратно, вы переняли какие-то обычаи у местного населения? Допустим, как они заготавливают пищу впрок, или какие-то праздники, которые вы у них позаимствовали?

Это все ничего не пригодилось. Квасить капусту или солить грибы — это умеют все. Печь пироги, калитки — это я умею. Вот лен выщипывали, весь этот процесс, как просеять, соткать, это я помню, знаю. Единственное — когда выращивали коноплю, даже не думали ни о чем. И конопляное масло готовили сами, толкли вот эти семена. Ткали, делали канаты и суровые мешки. Тогда ведь веревки нужны были, для саней, повозок, оглобли как-то прикрепляли веревками.

Вы отмечали какие-нибудь студенческие праздники?

Студенческие праздники? Ну у нас вечера были, концерты в техникуме. Праздники у нас были, так песни пели. Помню пели «Омулевую бочку». Руководитель был у нас недолго, он был военрук. А потом дали нам очень хорошего классного руководителя, женщина была, потом умерла. И долгое время мы были без классного руководителя. Вечера у нас были, пели, соревнования были между группами. Спортивные соревнования были, баскетболом мы занимались.

А вы сами занимались каким-нибудь видом спорта?

Мне не разрешали. Я один раз только была на соревнованиях. Наша фельдшерско-акушерская школа занимала до 1950 г. все первые места среди техникумов. А ведь у нас педучилище было в городе, и мы все равно занимали первые места. Многие наши выпускники, фельдшера, пошли учиться в Ленинградский институт имени Лесгафта, многие поступили сюда, в педучилище, половина, наверно. Тогда очень много занимались конькобежным спортом, на стадионе «Юность». Солнышкова такая выступала.

Скажите, а как после войны обстояло дело с товарами, с вещами, с той же одеждой, как вы их доставали?

Ой, с этим очень плохо было. Я была так плохо одета, все были так плохо одеты. В четвертый и пятый класс я ходила в мальчишечьем пальто брата. А потом я ходила... какой-то жакет у меня был. А потом я по-

ступила в техникум, осенью я шла в жакетике и в рукавицах, и Зоя такая, петрозаводская, а это осенью было, лед был, лужи были замерзшие, говорит: «В жакете и в рукавицах» и рассмеялась. Я пришла, расплакалась и брату рассказала. Мы пошли, и он тогда мне купил осеннее пальто и зимнее пальто впервые. Тогда было очень плохо со снабжением, на окнах были марлевые занавески, марлю покупали. Очень плохо было.

В магазинах товары можно было купить, только нужны были деньги или нет?

И в магазинах не было. В магазинах долго ничего не было. Очереди были, стояли даже ночами в очередь. Тогда, помню, в моде были резиновые боты на каблучке. Туда одевали туфли. Раньше вообще ведь не так одевались. Носили боты резиновые осенью и весной, когда грязно, а мужчины галоши и туфли. И когда приходишь в помещение, снимали галоши и туфли и находились в помещении в туфлях. Также и в техникуме — в гардеробе снимаешь галоши и идешь в ботинках. Такой грязи не было, как сейчас.

А вообще город был чистый?

Ой, город. Раньше, когда я училась, то здесь, напротив «Максима», где сейчас аптека, были деревянные частные дома. Первый год автобус ходил от Товарной станции до церкви. Один автобус маленький. А потом уже побольше автобусы купили, у второй бани они сворачивали, шли они по Луначарского. А так снегу было зимой очень много. Такой слякоти, как сейчас, не было. Но тротуары так чистили по возможности. Перед Новым годом у церкви Зарецкой торговали мандаринами, и мандарины в ажурную салфеточку были завернуты. Каждая мандаринка отдельно — запах такой! Мы их, конечно, не могли купить. И зефир был — бело-розовый такой, в коробочках. Коробочка одна была открыта, корочка у него блестящая, как снегом покрыта.

А что вы могли себе позволить из лакомств по тем временам?

Лакомств таких не было. В техникуме берешь с собой рубль и что на этот рубль купишь? Три булочки и чай. А если побольше возьмешь, кто у нас побогаче, тот покупал винегрет и сосиску. Обедали в школьном буфете.

А стипендию-то вам платили тогда?

Платили.

И сколько была стипендия?

Ой, я не помню. Очень маленькая была.

Ее хватало на то, чтобы прожить или только проесть?

Хватало. Ну как хватало. Те, кто жил в общежитии, им помогали дома, домашние помогали. Съезжают домой, привезут продуктов. А я с братом жила, так вся стипендия уходила на завтраки школьные.

Значит, в 1952 г. вы окончили техникум, и сразу вас направили на работу в Кемь?

Да.

Как складывались у вас отношения с коллективом, как вас встретили?

Хорошо встретили. СЭС там небольшая была. Не помню, сколько там человек, главный врач, помощников человек пять, в лаборатории человека два было. Главное, там жилья не было. Нам с трудом главный врач нашла комнатку. От печки отделили комнатку заборкой такой. И так там было холодно. Печка русская — готовить ничего не готовили, хозяйка грела нам самовар утром и вечером, а днем обедали в кафе. 60 копеек в кафе, 20 копеек на утро, 20 копеек вечером, на рубль надо было уложиться.

Вы с кем-то жили там, снимали комнату?

Да, я жила там с девушкой из Кондопоги, была такая Галя. Но Галя была очень обеспеченная. Она очень хорошо одевалась. Отец работал начальником станции в Кондопоге, железнодорожной станции. Так что она была обеспеченная.

В какой должности вы начали работу?

Я в начале работала помощником санитарного врача по гигиене питания, а потом прошла специализацию по бактериологии, по гигиене питания и по коммунальной гигиене — анализы воды, воздуха. А потом, в 1955 г., я заболела и меня перевели сюда, в Петрозаводск. Вначале меня перевели в Республиканскую СЭС.

А здесь как у вас складывались отношения с коллективом?

Хорошие отношения.

И с начальством тоже?

И с начальством хорошие. Не было никаких конфликтов, очень много у меня благодарностей, грамот много.

У вас были люди, которые по-разному относились к работе, — активисты или лентяи?

Ну особых лентяев не было. Тогда ведь все трудились. Но были некоторые очень принципиальные партийцы. Жизни не давали никому, ни главному врачу. Она, главный врач, до сих пор плачет. Покоя не давали.

У вас были свои партиячейка и профсоюз?

Профсоюз был. Я в комсомоле была, а потом мне исполнилось 27 лет и меня сагитировали вступить в партию. В комсомоле до 27 лет бы-

ли тогда. Принесли анкеты, три анкеты, одна от комсомольской организации и две от членов партии. Рекомендации должны были дать. Это был ноябрь. Когда эти анкеты заполнили, то секретарь партийной организации пошла в горком партии, и там говорят, что в этом году план по приему в члены партии выполнен — давайте с нового года. Секретарь пришла и эти анкеты мне отдала, я положила их в стол, а потом с нового года она, Муза Николаевна, говорит: «Вера, будешь ли вступать?» Я говорю: «Раз сразу не приняли, не буду, принципиально не буду». Так я не вступила. Рекомендации были, не вступила в партию. А потом подумала, хорошо, что и не вступила.

То есть вы так и не вступили?

Да, рекомендации положила в стол. Раз план выполнен, то пусть и в этом году без меня выполняют план.

У вас устраивались на работе какие-нибудь праздники? Какой-нибудь профессиональный праздник вы отмечали?

Праздники у нас все время были. Седьмое ноября отмечали, хорошие праздники были, в буфет приглашали, танцы были, концерты ставили. Даже хор у нас был на СЭС. Помню, летом выступали в железнодорожном клубе. На Новый год вечера были, вечера были Восьмого марта, Первого мая. Отмечали всем коллективом, в буфет приглашали от кафе «Петрозаводск», хорошие буфеты были. Помню, Юлия Андреевна, врач по коммунальной гигиене из Ленинграда, играла на аккордеоне. А потом приглашали человека с аккордеоном. Учился такой в музыкальной школе — Женя Ишанькин, он нам играл. За десять рублей играл, вечером у нас играет, а утром — на утреннике у детей. Очень хорошие вечера у нас были. На работе тематические вечера были, много приходили из библиотек, у нас была библиотечка-передвижка. Тематические вечера были с музыкой, пластинки проигрывали.

В то время, когда вы уже работали, вашей заработной платы хватало на жизнь: на питание, на покупку вещей? Могли вы позволить себе копить деньги?

Ну деньги как мы копили: тогда были черные кассы. С каждой полочки скидывались по 50 рублей, человек, предположим, 20. И вот с полочки один человек получает тысячу рублей на руки. И покупаешь какую-то вещь. А вот откладывать не получалось.

Скажите, после того, как вы перевелись в Петрозаводск, вы переводились потом на другое место работы?

Нет, в городской СЭС я работала 39 лет и 4 месяца, никуда не переводилась.

Скажите, большая была текучка кадров на работе?

Нет, не было текучки.

То есть один коллектив был постоянно?

Один коллектив.

А на работе у вас было такое понятие, как «товарищеский суд»?

Был товарищеский суд, я была председателем товарищеского суда.

Вы помните какие-нибудь случаи из своей практики?

Был случай [рассказывает случай из 1980-х гг. — А. О.].

Как получилось, что вас избрали на такую работу?

На профсоюзном собрании выдвинули, а потом стала председателем товарищеского суда. Долго была. Вначале была я кассиром в кассе взаимопомощи у нас, и когда я взяла кассу, было очень много неплательщиков, и мы так поставили дело, сделали столько исполнительных листов, что у нас была лучшая касса в городе, и мне дали путевку на [теплоход] «Циолковский» по ленинским местам. Десять дней в Москве были, жили на Водном вокзале, на теплоходе.

Какие были еще формы поощрения, кроме вашей поездки и благодарностей?

Премии давали изредка, благодарности. Путевки давали. Я в Лугу ездила в пансионат. Двадцать четыре дня была по бесплатной путевке.

Расскажите немножко поподробнее о начале вашей деятельности в товарищеском суде.

Ну выбрали на общем профсоюзном собрании. Материалы давали из милиции. У нас одна работница с отдела профилактики была на мясокомбинате, и ей там дали шейку, она пыталась ее вынести. Ее задержали на проходной.

Вам нравилась эта работа или вы, скорее, чувствовали ответственность?

То и то было, ответственность, конечно, была большая.

Чем для вас была ваша основная работа: призванием в жизни, способом заработать деньги или чем-то еще?

Работа была призванием, о деньгах как-то не думали. На работу шли как на праздник, нравилась работа мне.

И вы ни разу не думали о том, чтобы куда-то перевестись?

Меня много раз переманивали в бактериологическое отделение. Я боялась, что там пар будет, надо было с автоклавами работать. А так мне и бактериология нравилась. В Кеми я работала, мне нравилась бактериология. Хотя тогда говорили, что дифтерии нет, мы ее выделяли и посылали мазки в Петрозаводск. И здесь подтверждали, что правильно сделан анализ. Дизентерии было очень много в Кеми. Нравилась мне

бактериология, но я потом в Кеми заболела и уже побоялась в бактериологию перейти.

Скажите, а когда вы почувствовали, что можете быть независимыми от родителей?

Семь классов я закончила и поступила в фельдшерско-акушерскую школу. Родители тогда не помогали, сама жила у брата, а потом только приезжала в отпуск. Пока отец был жив. А так в пятнадцать лет ушла из дома и больше не жила.

А когда у вас появилось отдельное жилье, свое?

В 1992 г. А до этого я жила с Таней, племянницей, у меня было взято опекунство, в коммунальной квартире во дворе родильного дома первого, в деревянном доме.

А когда вы взяли опекунство?

1961 или 1962 г. был.

То есть вы это сделали сами, по своей инициативе?

Да, у нее не было матери, отец погиб.

Скажите, когда вы стали получать зарплату, то какие вещи вы старались покупать в первую очередь, кроме продуктов?

Одежду, обувь.

Вы заказывали какие-нибудь вещи в Ленинграде или покупали здесь?

Нет, в Ленинграде не заказывали, покупали здесь. Стояли в очередь, чтобы стол, шкаф купить. Тогда ведь надо было в очереди стоять. Узнаешь, в каком магазине продается, в какой привозят. Вот магазин мебельный был — «12 стульев».

Скажите, а в 1950-е гг. у вас было радио или был граммофон?

Радио было и был радиоприемник «Балтика».

А Таню вы одна воспитывали или кто-то помогал?

Одна, она училась в первой школе-интернате, а в субботу приходила ко мне. А потом, после 10-го класса, когда интернат закрыли, она работала на Слюдянке год, училась в вечерней школе и поступила на медицинский факультет.

То есть ваши родители не принимали участие в ее воспитании?

Нет, у отца не было пенсии, а у мамы очень маленькая пенсия была. Колхозный стаж не учитывали. Наоборот, маме надо было помогать.

Скажите, а какие книги вы читали в 1950-е гг., в конце 1940-х гг.?

Я не помню, по школьной программе то, что нужно было, читали: и Пушкина, и... А в 1955 г., когда я заболела, то Драйзера всего прочитала, Дюма всего, а теперь я уже и не помню.

Книги вы покупали, ходили в библиотеку или как-то обменивались?

В библиотеке брали, не покупали, на покупку книг не было денег. Позже стали сдавать макулатуру. Потом я журналы выписывала: «Крестьянку», «Здоровье». Надо было заниматься санпросветработой для выпуска бюллетеней, оттуда можно было картинки срисовывать, картинки брать. «Юность» журнал выписывала для Тани. Потом, когда работала председателем суда, выписывала «Человек и закон» — там были статьи на юридическую тему. Из газет выписывала «Известия» и «Комсомолец».

А что собой представлял этот санбюллетень?

Ну на ватмане рисовали. Предположим, тема «СПИД», ну и рисуешь на эту тему: шприц нарисуешь, больного человека, заголовок красочный напишешь и статьи. В общем профилактикой надо было заниматься.

А где вы занимались профилактикой?

Ну в учреждения отдавали, в парикмахерскую отнесешь плакат или в баню. Тогда надо было четыре часа в месяц отработать на санпросветработе.

То есть это входило в вашу нагрузку по работе?

Да, по работе. Бюллетень не сделаешь, значит, вычтут с зарплаты. Это, как работа.

Вы помните, какие радиопередачи вы чаще всего слушали?

«Последние известия», песни тогда слушали.

Часто вы ходили в театр или в кино?

В театр ходили часто, билеты распространяли через работу. Когда премьера, принесут билеты, и кассир приходила за деньгами с полочки или с аванса. Тогда в театр ходили очень часто. Все оперетты тогда мы пересмотрели.

То есть были оперетты или что-то еще?

Были постановки из опер, но только две: [неразборчиво] и «Князь Игорь» Казанского театра. А так оперетты.

Часто ходили в кино?

Ходили почти каждое воскресенье. Как новый фильм появится, так ходили в кино.

Скажите, много у вас было подруг?

Подруга у меня здесь была одна, она умерла уже давно.

Скажите, пожалуйста, устраивались ли лекции по научным или политическим вопросам?

Лекции тогда регулярно были. Приходили лектора из горкома партии, [выступали] и на научные темы, и на политические, и на философские.

Их нужно было обязательно посещать?

Обязательно.

Если кто-то не приходил, то какой-то выговор могли объявить?

Ну нотацию прочитают, спрашивают, почему не был. На пять минут опоздаешь на работу, а там стоит рабочий контроль и «Молния» уже на стене — такой-то человек (по фамилии) опоздал.

Кроме «Молнии» у вас была стенгазета?

Стенгазету обычно выпускали к Новому году, к празднику. Там были критические статьи и на политические темы.

А сами вы участвовали в выпуске стенгазеты?

Я нет. Только санбюллетени.

Когда вы работали, вы получали какое-то дополнительное образование, курсы или повышение квалификации или что-то еще?

Специализацию я проходила в Республиканской СЭС по бактериологии, по гигиене питания, по коммунальной гигиене. Потом, когда была заседателем, двух- или трехгодичный университет права я закончила. На работе еще политучеба была, я ее не посещала, а посещала лекции в железнодорожном клубе или в клубе ОТЗ, раз в месяц. Темы разные были, политические, например: «Мир сегодня», «Международная обстановка».

Скажите, пожалуйста, какое отношение было к религии в 1940—1950-е гг.?

Преследовали. Мама у нас приезжала из деревни, в церковь ходила на Зареке украдкой. Даже директор восьмой женской школы отпевала мать, мать у нее умерла, и ее сняли с работы. Полякова такая была директором.

Среди ваших знакомых и родственников какое было отношение к религии?

Так, особо не молились. Отец верующий был, он молился. Он вставал рано, часов в пять, справит все туалетные дела, печь затопит и молится.

Когда вы жили в городе, вы и ваши знакомые отмечали религиозные праздники?

Дома отмечали. Пасху, Рождество.

То есть пекли куличи?

Тогда куличей не пекли, бедно жили. Яйца старались красить, хотя с ними тоже плохо было. Пирогов пекли. Готовились к Пасхе, убирали квартиру, мыли, стирали. А в церковь не ходили, боялись, что увидят, неприятности могли быть по работе.

Скажите, когда вы жили в Петрозаводске и в Кеми, вы видели военнопленных?

В Петрозаводске видела. В 1948 г. я приезжала, и на Кукковке был лагерь военнопленных немцев. Мой брат проводил у них зарядку, и к нам приходил один немец, он был учителем рисования. Рисовал портреты. Его отпускали, и он приходил к брату, его чаем поили, жили бедно тогда. А потом лагерь ликвидировали.

А в целом какое было отношение к военнопленным?

Я не знаю.

Скажите, пожалуйста, вы ходили на демонстрации?

Обязательно. И Первого мая, и Седьмого ноября. Тут уже неприятности могли быть, если не посетишь демонстрацию. На выборы надо было обязательно ходить. Санитарочка, та, что с нами работала, была на похоронах в Эссойле, и поезд опоздал, она приехала часов в девять, так, наверное, лет пять после этого вспоминали, что она не ходила на выборы.

А как проходили выборы?

Выборы проходили очень интересно: и кино показывали, и концерты были, и буфеты были очень хорошие. Выборов ждали, на них и танцы были.

А сама техническая процедура?

Ну обычная, как сейчас.

Когда вы были на демонстрациях, вам не доводилось носить плакаты?

Я лично не носила, а плакатов было много. Мужчины в основном носили.

Скажите, помните ли вы какие-нибудь национальные анекдоты, было ли принято высмеивать представителей других национальностей?

Нет, не помню, в семье это не было распространено.

А на работе?

На работе уже да. Сами евреи у нас работали, так сами про себя рассказывали анекдоты. Смеялись. Но я их не помню. У нас была заведующая Тамара Менделеева, она рассказывала, но не хулиганские.

Скажите, вы сталкивались с тем, что кто-то из ваших соседей, родственников или знакомых был репрессирован?

У нас в деревне никого не было репрессированных. Богатых в деревне не было, в основном середняки. Никого не раскулачивали, знакомых репрессированных не было.

Вы сказали, что отказались вступить в партию. Как вы относились к всевластию партии?

Тогда над этим не задумывались, а всевластие было.

Вы сказали, что ваш отец повесил портрет Маленкова на стену, а лично вам кто из партийных деятелей больше импонировал?

Ну тогда все молились на Сталина, плакали, когда он умер в 1953 г.

То есть когда он умер, то чувства были достаточно искренними?

Да.

После смерти Сталина отношение к нему изменилось?

Когда Хрущев говорил о культе личности, то все стали говорить об этом шепотом, с осторожностью. В это как-то не верилось.

Были ли в Петрозаводске или в Кеми памятник Сталину?

Ой, был случай. В Кеми у нас шел ремонт, и бюст Сталина вынесли и поставили перед туалетом. Обернули бумагой и завязали веревкой. Люди в туалет ходили, бумагу рвали-рвали, бюст оказался с веревкой на шее. Кто доложил — не знаю. Секретаря парторганизации забрали, она сидела два или три месяца.

Это в каком году произошло?

В 1952-м или в 1953-м.

А еще подобные случаи были?

Нет, больше такого не было.

До войны кем вы себя больше ощущали — представителем своей национальности, гражданином СССР или жителем Карелии?

Я не знаю, я тогда небольшая была. По-моему, такого не было. Не разделяли на карелов и русских.

Что для вас означало такое понятие, как «советский человек»?

Гордость была.

Спасибо!

Интервью с Евгением Иосифовичем Кулаковским, 1936 г. р.

*Записал А. Ю. Осипов,
г. Петрозаводск, 11 октября 2007 г.*

Родился я в Белоруссии, Гродненская область, Калининский район, деревня Симаково. Но это было, когда я родился, вернее, нынешние, а тогда области другие были, и район другой был. Что вас интересует? В то время это были Барановичская область, Минский район, но деревня та же. Родился я 28 марта 1936 г. В принципе родился я под Польшей — до 1939 г. Западная Белоруссия была под поляками. Сразу в 1939-м освободили Польшу, а в 1941-м Германия напала. Три года или сколько

там были под оккупацией немецкой, вся наша деревня, вся округа. Во время оккупации мне уже было семь лет. Пошел учиться в первый класс в деревне. Была там неполная средняя школа, семилетка. Там ее закончил, потом — в поселок городского типа Мир, был районным центром в восьми километрах от моего хутора. Я не в самой деревне, а на хуторе родился и жил там. И ходил в школу за восемь километров туда и обратно. Зимой пешком, летом на велосипедах ездили. В 1953 г. закончил школу и поехал в Минск, поступил в институт, в Государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева. И закончил его в декабре 1957 г. Ну и по направлению, по заявке из Петрозаводска, с Онежского тракторного завода, я поехал сюда. С тех пор и тружусь тут.

Что вы знаете о своих семейных корнях, чем занимались ваши родители?

Ну насколько я знаю, однозначно родители занимались сельским хозяйством. Когда они жили в деревне, а они жили в деревне до 1937 г., как мать говорила, мне был годик, в 1937 г. насаждали хутора. Выделили семь гектаров такой, как я понял, заросшей кустарником земли, и отец со старшими моими братьями осваивал это дело, корчевал там. Короче говоря, подготовил эти семь гектаров для жизни. Потому что тогда все свое было, сеяли все. Покупали только керосин, соль, мыло. Даже мыло иногда сами делали. А так все было свое: рожь, горох, не говоря уже о картошке, пшенице, лен свой. Мать из него сама и ткала, и шила. И жили в деревне, то есть на этом хуторе где-то до 1970 г. Поэтому родительские корни — это крестьяне, и отец отца, и отец матери жили в деревне, занимались сельским хозяйством.

И по национальности все были белорусами?

Да.

А сколько человек было у вас в семье?

У нас мать была героиня. Нас у матери было шесть сыновей и одна сестра [дочь]. Много нас было.

Когда у вас был хутор, вы сказали, что все свое производили сами, то есть материальное состояние у вас было хорошее?

Ну как хорошее? Это трудно сказать — хорошее. Представляете, тогда не с чем сравнивать было, чтобы сказать — хорошее или плохое. По сравнению с чем-то лучше, с чем-то хуже. Особенно тяжело было, когда освободили Белоруссию, старшего брата в армию забрали, и отца забрали в армию. Остались братья 1927-го, 1929-го, 1931-го и я — 1936 г., но я маленький тогда еще был. То есть все на плечах этих парней было. Они и сеяли, и я им помогал и рожь жать, и картошку копать, а летом нанимали коров пасти. Нам платили, и мы коров пасли по округе. Так

что сложная жизнь была, очень сложная. Конфет каждый день не было, да и если было, то раз в месяц. Так-то не голодали, была своя рожь, мать, естественно, сама пекла хлеб, все остальное.

Скажите, на каком языке вы общались в семье?

У нас язык был белорусский разговорный. Но вот на что уже потом обратил внимание, — это то, что в нашей деревне, ну, может, постарше люди, польский язык лучше знали, мешали белорусский и польский. Но вот в нашей деревне как-то ближе и белорусский, и русский. Язык нашей деревни был более смешанным, чем в соседних деревнях, был ближе к русскому. Почему, вот вы сейчас задали вопрос, я подумал, что, может, потому, что наша деревня стояла у основной дороги, соединяющей станцию с районным центром. Сюда заезжали и русские, и прочие, беседовали. А те деревни, которые стояли не у дороги, у них был какой-то свой язык, свое наречие, может, не в каждой деревне. Конечно, друг друга понимали однозначно, но язык одной деревни от другой несколько отличался. Ну а так, белорусский разговорный язык был, конечно, не литературный.

А в школе вы на каком языке учились?

Ну в школе я даже не помню. По-моему, что-то вроде химии, физики на русском языке преподавалось у нас. А так у нас были русский язык и литература, белорусский язык и литература. А спецпредметы [химия, физика. — А. О.], по-моему, на русском языке преподавались, особенно с восьмого по девятый класс. И там, когда я ходил в школу, там все-таки районный центр, там парни больше тяготели к русскому языку.

А детского сада у вас в деревне не было?

Нет, детского сада не было.

А какие-то детские праздники у вас отмечались?

Нет, праздников никаких детских не было, это точно. Праздники обычные — вот отмечалась Пасха. Я и другие молодые ездили с вареными или сырыми, в основном вареными, яйцами и, как говорят, бились яйцами. Чье разбилось, тот свое отдавал. А мужики — те по-серьезному, из дома выходили, на лавочках сидели. А из детских игр — в деревенскую лапту играли, в пикаря, по-моему: там такие штуки ставили и разбивали [очевидно, подразумеваются городки. — А. О.]. А так-то солидных игр не было, потому что не было ни мячей, ничего. Потом уже, когда я даже не в школе учился, а с института приезжал на каникулы, тогда уже в волейбол играли. А-а-а, вот еще игры, танцы были среди молодежи. И где-то, начиная с класса четвертого, мы собирались, если зимой, то где-то на хате, договаривались с хозяином, а летом на улице, естественно. Сейчас я играю на баяне, а тогда играл на гармошке и иногда зарабатывал этим, играл на этих вечеринках.

Не всегда, правда, у нас в деревне еще был один музыкант. А таких игр, других, чтобы запомнились, — нет.

Кроме Пасхи какие еще общие праздники вы отмечали?

Ну общие... Троица — само собой, я помню — вырубали березки молоденькие, ставили у входа в дом. На Троицу я не помню, что готовили, по-белорусски она Семуха, кстати, называется, а не Троица. А на Пасху там действительно все варили, делали мясо. Делали так, потому что свое хозяйство и коров надо было кормить, заранее на два дня все это варили, а потом и песни пели. Вот а в нашей деревне считался праздником деревни Покров. В эти праздники едут со всей округи в эту деревню, там, как правило, организуют танцы, заказывают оркестр. Тогда какие оркестры были? Допустим, баянист или аккордеонист играет, на трубе кто-то, еще кто-то на кларнете и барабанщик. Вот в основном такие были оркестры. Для тех времен считалось, что это очень хорошая музыка, и молодежь ходила. Но в нашей деревне по сравнению с другими так вот не было. У нас и места особого не было, ведь Покров — праздник не летний. Есть, например, летний праздник Илья, мы ездили в соседнюю деревню уже студентами на этот праздник. Там летом на улице играет оркестр, все танцуют, а у нас не было где зимой организовать этот оркестр. Был у нас в свое время, я даже не помню, клуб какой-то свой, его во время оккупации сожгли, по-моему, партизаны. И церковь была, ее тоже сожгли во время оккупации партизаны. А потом, поскольку у церкви мощные были стены из камня, в этом здании сделали клуб. В этом клубе были танцы, молодежь там более-менее развлекалась, уже можно было и зимой ходить. А так — или где-то в какой-то хате, или в избе-читальне, это был один из центров в наше время. Но места там тоже мало было, книги там брали, иногда собирались, кино показывали. Кино вот особенно после войны сразу: там движок был керосиновый или какой, как правило, он выходил из строя, его ремонтировали и один фильм могли показывать несколько дней.

А если вернуться к праздникам, то Новый год, например, или советские праздники отмечались?

Ну советские праздники, конечно, отмечались. Но каким образом? Например, мы в школе шли с флагами, транспарантами, наверное, были транспаранты, так вот мы шли по деревне. А деревня у нас длинная — километра два, вся выложена камнем при поляках. Вот мы ходили от школы в один конец, в другой и заканчивали это шествие. А Новый год — да, мы детьми наряжали елки, а жили, я говорил, на хуторе, так не надо было никуда ходить. Тут же рядом, у нас, можно сказать, были

свои елки. Рубили, сами делали игрушки, вырезали их из бумаги, тогда ведь не было, чтобы покупали. Новый год отмечали.

А до школы вы умели читать или уже в школе научились?

Нет, я научился читать в школе. А до школы никто и не мог научить читать. Нет, не читал до школы.

Какие самые яркие впечатления у вас остались от школы?

От которой?

От обеих, где вы учились.

Да какие впечатления. Первая школа — сразу после оккупации, там школы как таковой не было, в разных домах учились. В доме, где побольше, ставили скамейки. Вот так учились. Потом школу сделали в бывшей военной комендатуре. Военная комендатура была немецкая в нашей школе, у них было два здания, и мы там учились. Впечатлений особых, я вам скажу, не было. Единственное, что было: конечно, были вечера, всякие представления, пирамиды, танцы. Я помню, танцевал, на сцене стихи читал, приходили всегда родители, были зрителями в школах — это было точно. Ну а там, в той школе, в Мире, я не мог там нигде уже участвовать, потому что туда, если пешком, считай, два часа добираться, учеба сколько-то часов была, и обратно. Там практически ничем не занимались. Может, в хоре несколько раз и спел и все, остальное — учеба.

Пионерская организация у вас в школе была?

В школе была пионерская организация. Но я не помню, во втором или в третьем классе я учился, когда в пионеры принимали. У нас были, помню, санпосты — за культурой смотрели, повязки были с крестом, на руках носили. Дежурные были, смотрели за чистотой. Пионерская организация была, но костры мы не жгли. Комсомольская организация тоже была. Причем как же у меня получилось? В комсомол меня приняли, по-моему, в 1950 г., а у меня там было ранение, несчастье. Меня ранили, я в больнице лежал. В общем попозже я получал комсомольский билет. А в комсомольской организации, поскольку мы приходящие были, нас там не охватывали, никаких поручений не давали.

А до поступления в институт вы выезжали в какие-то крупные города?

Нет. Единственное, когда меня ранил друг из мелкашки, прямо в доме выстрелил, меня отвезли в больницу в Барановичи, в областной центр. И оттуда потом самолетом меня отвезли в Минск: я там зимой 1951 г. месяц пролежал в больнице, операцию там делали. И все, я во время этого и был в Минске. В Минск ездил уже потом, когда учился в десятом или девятом классе. Для велосипеда надо было покупать запча-

сти, а денег не было: мать собрала яиц, я поехал, а наша деревня в ста километрах от Минска, яйца продал, купил запчасти, какие нужны были для велосипеда. А в других городах — нигде не был.

Скажите, когда вы учились в школе, у вас там были представители других национальностей: русские или кто-то еще?

Ну в средней школе были русские, евреи, еврейка одна училась точно. В основном белорусы, но русские тоже были.

Было ли какое-то деление на национальности?

Нет, какое там деление, тогда даже понятия не имели, что кто-то еврей, кто-то русский или еще кто-то. Даже в голове такого не было, чтобы [разделять]. Чего там притеснять? Не было такого абсолютно нигде, ни здесь, ни когда студентом был.

Вы сказали, что сначала ваша деревня была под Польшей, потом под оккупацией, а когда для вас становится известным понятие «советский человек»? Когда вы начинаете себя ощущать советским человеком?

Да вообще я так себя считаю, как помню, так и считаю [советским человеком]. Я как-то верил советской власти. Ну, во-первых, шло такое воспитание. Родители мои тоже были к советской власти [лояльны]. Отец мой, по-моему, в 1953 г. в партию вступил. Братья тоже: вот 1927 г. — он остался в армии на сверхсрочную, а потом он был уже заведующим швейной мастерской. Он как ушел в 1944 г., то больше не вернулся в деревню, он уже на чистом русском языке изъяснялся. Поэтому я советским человеком себя считаю, как помню, не говоря уже о том времени, когда тут работал, пропагандистом был, семинары вел и прочее.

Скажите, а как получилось именно так, что вы выбрали именно тот вуз, в котором учились?

Расскажу. Во-первых, в нашей деревне один парень учился уже там, в этом вузе. Другой парень, он на год или на два года старше меня, а по учебе он на год старше меня, он поступал в политехнический институт и не поступил. И вот эти парни, даже не один, а два, учились в этом Институте народного хозяйства. И вот мы трое, был еще один парень, с которым я в школу ходил, решили поступать в этот институт. Что я еще хочу сказать, почему мы туда пошли? Туда проще было [поступить], это был не престижный вуз, нархоз считался — Институт народного хозяйства. Тогда педагогический был более престижным, самый престижный был политехнический. Эти парни нам сказали: «Езжайте, парней там возьмут». Мы поехали и поступили туда. Причем поступали интересно: мы с приятелем, который постарше, на «Экономику про-

мышленности» написали, отделение такое на факультете планово-экономическом. А другой говорит: «А я для разнообразия напишу на “Экономику сельского хозяйства”». Так и поступил, и учился, и потом пошел по этой линии. А так мы, может быть, и не знали, что такой институт есть, тогда не ахти какая информация шла, это сейчас есть проспекты и прочее. У нас, где я жил до поступления в институт, у нас не было ни света на нашем хуторе, ни радио не было, только керосиновая лампа. Я первый раз радио услышал, наверное, когда в седьмой или в восьмой класс ходил.

Когда вы учились в институте, вы жили в общежитии?

Да я всяко жил. Дело в том, что тогда вообще с общежитиями было сложно, и сразу мне не дали общежитие. Но у меня родной брат работал на Минском тракторном [заводе], я у него немного жил, где он снимал комнату — не отдельную, конечно, там несколько человек жило. Потом мы в другом месте, поближе нашли, жили с парнями в комнате. Жил немного, как бы нелегально на одной кровати в общежитии. Общежитие было — бывшая казарма немецких солдат, там человек шестнадцать в одной комнате жили. А потом уже, я учился на четвертом курсе, построили современное общежитие, и там нам дали комнату на двоих. Хорошее было общежитие. Причем я учился, если в этом институте учеба четыре года была, то я учился на полгода больше. Четыре с половиной года, потому что вышел приказ Министерства высшего образования, что на базе трех групп экономистов промышленности создать одну группу «экономисты труда», то есть те, которые нормированным трудом занимаются. Первый приказ об этом был в 1957 г. Вот я и попал в эту группу, и мы заканчивали не как все в июле, а мы заканчивали в декабре, а год учились по совершенно новой программе, в основном вечерами, поскольку преподаватели были там из других вузов, был и начальник отдела труда одного из заводов, читал у нас лекции по организации труда. Так что в общем и так, и так жил, в общежитии нормально жил последний курс.

Как проводили свободное время в студенчестве?

Ну свободное время как проводили? Ну, во-первых, были вечера, в основном в институте. Там и танцевали, и концерты были, я, кстати, танцевал в институте в танцевальном кружке. Прилично я танцевал, мы не только в своем институте выступали, а ездили по другим организациям. А так, ну что? В кино, естественно, ходили, в театры не часто ходили. Иногда на футбол ходили, хоккея тогда не было никакого. Телевизоров тогда не было, только в последние годы появились, по-моему. Там если и был, то один на все общежитие.

Если вернуться к вашему детству и хутору, на котором вы жили, вы сказали, что землю ваш отец осваивал самостоятельно...

Да, отец был крепкий, корчевал кусты. Но кусты и деревья, наверное, не очень крепкие были, потому что вокруг дома потом остались, это я уже помню. А каким образом — этого я уже не знаю. Он там работал, конечно, в поте лица.

То есть кроме вашей семьи там никто не жил?

Нет. Там много хуторов давали, но я не знаю, всюду лес был или нет.

Были ли конфликты между жителями разных хуторов?

Нет, у нас не было. Межи были, но конфликтов не было, все мирно жили. Что у нашего отца не было, что у других, дома, хутора недалеко друг от друга стояли. Семь гектаров было, но поскольку наш дом был у дороги, то от нашего дома до другого было метров двести через дорогу.

Скажите, а как ваши братья нашли себе невест или как искали?

Ой, никак не искали. Во-первых, так получилось, что в деревне девчата были, и в соседней были. Мой старший брат любил одну девушку из соседней деревни, и когда пришел из армии то ли в отпуск, то ли совсем, там драка завязалась из-за девушки. А так брат, который 1927 г., он долго-долго по стране служил, а потом из соседней деревни девушку взял. И брат другой тоже. И так получилось, что мои братья себе жен нашли в соседних деревнях, ниоткуда не привезли. Вот я — единственный, у меня жена из Лоухи. Она училась в университете на последнем курсе, я уже работал, в Парке культуры встретились.

Вы помните такую ситуацию, может, по рассказам братьев, когда после войны девушки не могли себе найти женихов, поскольку многие погибли на войне?

Ну, во-первых, сам-то я не помню. А в принципе дело вот в чем — не потому, что погибли в войну. Тогда молодежь старалась уехать из деревни, поскольку жизнь была очень тяжелая. Но уехать было сложно, поскольку паспортов не выдавали, и все старались правдами-неправдами этот паспорт заполучить и уехать. У нас в основном в Минск уезжали, и девушки тоже. Девушки тоже уезжали учиться или на работу куда-то, так что такого не было. Так что я не помню, чтобы невест было много, а парней не было.

Были ли случаи в вашей деревне, чтобы женщины рожали вне брака?

У нас я не помню, были ли такие случаи. По-моему, не было у нас. Я что-то не помню.

Вы сказали, что когда вы жили в деревне, то закупали в основном керосин, а все остальное производили сами.

Да.

То есть в магазин почти не ездили?

В магазин, во-первых, не ездили. А потом я и не знаю, был ли магазин в деревне. А во время оккупации так и вообще не было магазинов никаких. Если ездили, то в районный центр Мир, там крупный базар был, со всей Белоруссии туда съезжались. Все там продавалось: и свиньи, и коровы, и лошади, и так далее. Там и другие продукты были. А на селе не было, потом уже появился магазин при советской власти. А так свое было сало, молоко свое, масло сами делали, сыры типа адыгейского. Так что все свое было.

Скажите, а в деревне кто-нибудь злоупотреблял спиртным?

В деревне? Ну были те, кто чуть больше выпивали, чем другие. Но вот таких, кто постоянно пьет, как сейчас, таких не было. Вот мой отец, например, он выпивал вообще редко. А дядьки мои родные, братья моей матери, они как-то почаще выпивали. А потом... мне ведь семнадцать лет было, когда я уехал, сначала учиться, а потом работать. Потом уже было такое, что идет такой работник между фермой и магазином, ходит-ходит, пока не упадет. А в те годы, родители рассказывали, что как от поляков освободили Белоруссию, начали создавать колхозы, но не успели. Отец мой записался в колхоз, но не успел — немцы пришли. А потом колхозы стали создавать уже в где-то в 1947 г. Так я к чему хочу сказать? Когда свои хозяйства были, там пить некогда было, там же надо все время работать. А когда появились магазины, тогда стали продавать хлеб, вино, колбасы и прочее, когда стали деньги получать, а до этого денег вообще не давали колхозникам, если только зерна чуть-чуть на трудодни, то уже и пошло. Когда стали деньги, зарплату выдавать, тогда все поменялось.

Вы сказали, что устроились после института на ОТЗ по приглашению.

Ну тогда же все распределялись строго по направлениям. Приходили заявки на молодых специалистов полностью. Другое дело — устраивало или не устраивало их. А что касается нас, я уже сказал, что мы на полгода позже закончили, а заявки на нас пришли в марте или апреле — это одно. А в 1957 г. разогнали министерства и создали совнархозы. Тогда высвободились инженерно-технические работники и эти заявки потеряли уже свою силу. Когда я получил направление в Петрозаводск, я написал письмо сюда: где жить буду, работать и так далее. Мне прямо в Минск подъемные прислали, и я вынужден был, может, и не вынужден, просто так бы постарался остаться в Минске, поскольку я проходил практику на Минском тракторном заводе, там и заявка была на нас в институт. В общем по этому направлению я в декабре приехал. Правда, я уезжал отсюда на три года в 1965 г. на Надвоицкий алюминиевый

завод главным экономистом. Почему я поехал. Я ведь мог не ехать. Тогда дочка уже была, а жил тут в общежитии на Лососинской набережной, с жильем плохо было. А там должность высокая и квартира ждала. Ну так получилось, что там я три года отработал. Там и работы-то особо не было, производство простое. Я уехал, и должность эту сократили. И вернулся потом опять на этот завод, начальником отдела труда поработал, потом заместителем директора двадцать лет.

Когда вы только приехали сюда, как вас встретил коллектив, как складывались отношения с коллегами, с начальством?

Я такой, видно, человек, что нормально меня встретили, я приехал в отдел труда и зарплаты. И зам. начальника отдела, и женщины относились очень хорошо, тем более, я был один с высшим образованием тогда, никого тут не было [имеется в виду по специальности «Экономика труда» — А. О.]. Нормально относились, помогали, и я не стеснялся спрашивать. Практически они, конечно, были сильнее меня, а потом все пошло: практика, опыт и знания. Да и в целом этот завод, коллектив были дружными, я имею в виду руководящий состав, когда директором был Одлис Борис Наумович, ну я застал еще Грачева Ивана Васильевича. Потом был Одлис, и команда у него была — работать одно удовольствие [опущено].

А так меня встретили, и не было у меня никаких конфликтов ни с кем. Я человек, может, словами и резкий, ругался иногда, кричал и сейчас признаются, что вот спрашивали: «Как у Кулаковского настроение? Идти ли?» Хотя и покричу, поругаюсь, но чтобы это серьезно было, чтобы я это к сердцу принимал или злобу держал, этого никогда не было. Так что хороший коллектив, и то, что в январе будет 50 лет, как я здесь живу и работаю, — это говорит само за себя.

То есть то, что у вас было высшее образование по специальности «экономика труда» способствовало тому, что вы стали продвигаться по работе?

Ну конечно. Причем я шел постепенно: нормировщик, даже стажером-нормировщиком был, потом — нормировщик, старший нормировщик, начальник бюро труда и зарплаты, замначальник ОТИЗа, начальник ОТИЗа. Потом в Надвоицы уехал главным экономистом, потом — зам. директора. Это естественно. Я ведь еще немного преподавал вечерами в техникуме лесотехническом на вечернем [отделении] «Техническое нормирование». Потом в машиностроительном, там днем. Там тоже преподавал «Техническое нормирование труда».

В партию вы вступали?

Как же! Обязательно. Я в партию вступил кандидатом еще в 1965 г. здесь, уехал кандидатом в Надвоицы, а там уже в Сегежском райкоме мне вручили билет. Кузьмин был такой, Василий Фролович, он тогда вторым секретарем был. Так что я был членом партии до Ельцина. Тогда все руководящие работники [являлись членами партии], редко кто не был.

Какая партячейка была у вас на заводе?

У нас была огромная организация, по-моему, около тысячи коммунистов.

Вы сказали, что занимались пропагандистской работой...

Как же, как же. Я вел семинары, разные политдни у нас проходили. Выступал в коллективах. Потому что как какой-то пленум ЦК или съезд, а я верил всегда, ну не всегда, потому что не всегда осуществлялось так, как намечалось... Я после каждого пленума или съезда партии выступал глубоко убежденно и верил в это.

Скажите, а были у вас на работе товарищеские суды?

Товарищеские суды? Ну вроде были. Но я вот к ним как-то отношения не имел. Были, по-моему. Но раньше более распространено было, если кто-то провинился, на заседании партбюро, парткома или профкома соответственно. Поэтому боялись больше, чем директора, если на партком вызовут, у кого-то если в семье чего. Это было. Тогда, можно сказать, практика такая была.

Какие у вас на заводе существовали формы поощрения и наказания?

Ну наказание — это проще всего. Записывали замечание, выговор, строгий выговор, лишение премии, увольнение с работы за какие-то проступки. А поощрения какие? Ну если с низкого брать, то объявление благодарности, награждение грамотой завода, премирование за какие-то результаты деятельности отдельные. Премировались и к праздникам. Ну и так более высоко уже — это грамоты городские или карельские, правительственные награды. Ну вот меня если взять, например, то я награжден орденом «Знак Почета», званием «Заслуженный экономист Карелии», в свое время медаль была «Сто лет со дня рождения В. И. Ленина». Я за работу по нормированию труда, снижению трудоемкости награжден на ВДНХ серебряной медалью. То есть поощрения были серьезные. Другое дело, что денег особых, как сейчас, не было к этим наградам. Когда к каким-то праздникам награждались работники завода на всех уровнях, то это было нормально, я считаю. Людей отмечали, и среди рабочих были [такие], был у нас и Герой соцтруда, орде-

ноносцы были, награжденные орденом Ленина. В общем награждение шло довольно широко.

У вас на заводе была своя стенгазета?

В принципе стенгазеты должны были быть в каждом крупном подразделении, в цехе и так далее. Были такие стенгазеты. А так у нас была своя газета «Онежец», она выходила, сейчас я уже и не помню... сейчас ее почти уже нет [опущено]. А так газета была, на нее подписка шла, и там все новости были, передовики и разгильдяи.

А сами вы там публиковались?

Как же, публиковался. И в своей газете, и в «Ленинской правде» [сейчас газета «Курьер Карелии». — А. О.], которая была республиканской.

О чем вы писали?

Я обычно писал об итогах работы или внедрении хозрасчета, в таком порядке, то есть о том, что было связано со своей основной работой.

Скажите, работа для вас выступала как долг, самореализация...

Вообще я не представляю, как можно без работы. Без работы ведь нельзя жить, тебя никто и кормить не будет. Во-вторых, работа по специальности и мне она нравилась [опущено].

Скажите, если вернуться к началу вашего жизненного пути, когда вы уехали в Минск, вы стали жить независимо от родителей?

Ну как независимо? Приезжал — продукты, какие были у них, привозил, деньги какие-то, хотя тогда и денег-то невероятно мало было. Как им тогда тяжело было! Потом, когда я работал, приезжал к ним, у них уже были деньги, но и у меня тоже были. А тогда было очень сложно и мать не знала, к соседям бегала перезанять. Потому что стипендия тогда невеликая была — двести двадцать рублей, по-моему. И за квартиру платить надо было. Мне еще легче, что братья помогали. А другие ребята вообще жутко жили на одну стипендию, сало еще привезут из деревни, и все, на лекции даже не ходили, калории экономили. Пока стипендию не получают, не двигались. Поэтому я с родителями поддерживал связь, они мне помогали до последнего. А потом я в отпуск приезжал, сначала один ездил, потом с семьей ездил к родителям.

К слову о семье — где вы познакомились со своей женой?

А я познакомился в нашем Доме культуры. В Дом культуры мы ходили на мероприятия, в Дом офицеров, в филармонию, которая сгорела, в Финский театр — там всегда были и танцы, и спектакли, и концерты, вот тут и познакомился. Тогда мы ходили в кино на все новые фильмы. Тогда куда же пойдешь? Телевизоров не было, а в кино ходили обязательно.

Как у вас проходила свадьба?

Свадьба у нас проходила очень скромно. Вот мы жили в этом общежитии на Лососинской набережной, 3. Собрались там парни самые близкие, которые жили тут же, приятель, с которым я жил в одной комнате, он сразу потом ее освободил. В общем собралось там человек с десяток, с ее стороны две девушки пришли. Вот и вся свадьба. Купили что-то там выпить и закусить. Единственное, что мне запомнилось, — ЗАГС был в деревянном здании на Энгельса, сейчас оно тоже есть, я не знаю, что там. Помню, там проигрыватель играл и шампанское было. Вот когда я подал заявление, мой приятель, с которым я жил, кстати, бывший генеральный директор «Тяжбуммаша», он говорит: «Я тоже напишу заявление». Он побежал, и получилось так, что вначале я пошел и свидетелем у него был, потом — он ко мне. Вот мы там шампанское выпили, у него и у меня, потом собрались [в общежитии], а он вообще ничего не организовывал.

То есть вы стали жить в общежитии?

Да, в той же комнате. Он ушел, поскольку девушка его жила в этом же общежитии, он ушел к ней, а я остался в этой комнате. И мы жили там с 1961 по 1965 г. В 1962 г. родилась дочка, стали жить втроем.

Когда вы создали семью, хватало ли вам денег?

Какие деньги? Трудности были. Тогда я начальником бюро уже работал, это был уже 1961 г. — после реформы. Где-то рублей 140 у меня была зарплата. На свадьбу даже, на все это мероприятие я занимал у работницы с цеха, где я работал. А она [жена] закончила [университет] и работала учительницей в 26-й школе. Нормально жили, лишних денег не было, но и не голодали.

Вы могли позволить себе купить в семью какую-то технику?

Ну тогда нет еще. Вот в Надвоицы когда я переехал, тогда я купил холодильник «ЗИЛ-Москва», он триста с чем-то рублей стоил. По тем временам самый богатый был. Купил баян себе, не магнитофон, а радиолу купил. Из мебели кое-что, вот там можно было, а тут не было возможности.

Своего хозяйства приусадебного у вас не было?

Нет, не было.

Кто у вас в семье отвечал за воспитание детей?

Трудно сказать, оба отвечали, конечно, жена больше. Когда жили в общежитии, ей раньше надо было уходить на работу в 26-ю школу на Кукковке, а я, поскольку завод рядом, а садик был, где теперь гостиница «Онежец», я поднимал дочку, водил ее сюда, забирал потом, когда шел с работы. Ну конечно, жена больше занималась. Но я помогал, вместе занимались.

Скажите, какие качества вы старались в своих детях воспитать в первую очередь?

Ну, во-первых, я не ошибусь, если скажу, что честность. Это в первую очередь, такие у меня сын и дочка выросли. Потом уважение к людям. Потом старались мы, чтобы учились хорошо, спортом занимались. Сын у меня серьезно [спортом] занимался, в футбол, хоккей играл, я поддерживал. Вот эти качества.

Скажите, какие книги вы старались покупать в семью?

Ну книги мы тогда особо не покупали. Вот когда особенно тут жили [в общежитии], ходили в библиотеку, брали книги. А потом, когда в Надвоицах работал, то в основном подписные издания были: Пушкин, Лермонтов, Шишкин. Много у меня этих книжек.

А какие газеты вы выписывали?

О-о-о, газет выписывали — жуть. Ну, во-первых, как коммунист я был обязан «Правду» выписывать. «Правду», «Известия», «Советскую Россию», «Онежец», «Ленинскую правду», журналы: «Политсамообразование», «Коммунист». Так что выписывали очень много. Другое дело — просматривал все газеты, но прочитать все это дело от А до Я... Была еще «Экономическая газета» — там в основном планы производства, я читал ее на заводе. Так что газет много.

Вы сказали, что часто выступали с лекциями, выписывали «Политсамообразование», а дополнительное образование вы получали?

Ну, во-первых, самообразованием я занимался постоянно. А так, если по политической части, я закончил вечерний университет марксизма-ленинизма при Доме политпросвещения. Тогда тоже чуть ли не всех заставляли там учиться, особенно руководителей. А что касается профессиональной [сферы], то тогда постоянно проводилась учеба, были курсы повышения квалификации. В Ростове был серьезный институт, в Люберцах от министерства тракторного и сельхозмашиностроения. Ездили и на месяц, и на два. А мне приходилось, я ездил по неделе [опущено]. Повышение квалификации обязательно было, и вообще имелось в виду, что это повышение инженерно-технические работники должны проходить через каждые пять лет. Так что не только высший состав, но и инженеры, специалисты, начальники отделов, цехов и так далее. Так что система была четкая.

Скажите, вы говорили, что в детстве вы отмечали Пасху, другие религиозные праздники, а каким было ваше отношение к религии уже позднее, когда вы учились?

Религию тогда никто всерьез не воспринимал. Абсолютно. Вот я безбожник был. Да и мои родители — отец в 1953 г. в партию вступил, а

мать, у нее было два или три класса образования, но она молиться и креститься никуда не ходила. Вот что касается нашей семьи, то у нас так было, а в других семьях, может, и другое отношение. В нашей семье никого не было таких, кто бы серьезно верил в Бога.

То есть в церковь никто не ходил?

Нет. Я единственный раз был церкви, когда племянница замуж выходила или я крестил кого-то. Я уже работал и ездил в Белоруссию. А так я ни разу в церкви и не был, хотя я крещеный. Ну тогда, в 1936 г., всех крестили.

Это была православная церковь?

Да, православная.

Скажите, работая здесь, в Петрозаводске, вы часто ходили на демонстрации?

Обязательно, на каждую демонстрацию я ходил, причем когда был молодой, ходил с гармошкой или с баяном. С песнями собирались у Дома культуры, выходили и дальше шли на площадь Кирова. Это однозначно, в любую погоду.

Вы помните, как проходили выборы в 1950-е и 1960-е гг.?

Я скажу так. Особенно мне запомнилось, когда мы с родителями ходили, сами еще маленькие были. Избирательный участок открывался, по-моему, в шесть, не в восемь, так народ приходил, там ведь не было ни часов, ничего, так народ шел, и ждали они там, пока откроется участок. Чтобы, во-первых, услышать гимн, как исполняется, то ли по радио, то ли оркестр там играл, но вряд ли оркестр там был, и проголосовать первыми. Вот так народ тогда ходил. А в мое время, уже когда учился в Минске, ничего там такого не было, обычные выборы, как и здесь.

Скажите, был кто-то из ваших знакомых репрессирован после войны?

Нет, не был.

Вы долгое время были членом партии и выступали с разными лекциями, а как вы относились к такому явлению, как всевластие партии?

Я лично относился спокойно. И у меня не было такого, что если бы две партии, то было бы лучше. И я особо не слушал, что говорил там «вражеский голос», Запад о нас, о «железном занавесе». Я этому не придавал значения и верил, что по-другому быть не должно.

Если взять 1950—1960-е гг., кто из государственных и политических деятелей вам больше импонировал?

Ну как сказать? В 1950-е гг., когда Сталин был жив, Сталин был Сталин. Я помню тот день, 5 марта, когда он умер, к нам пришла учительница, еврейка кстати, она была вся в слезах, заплаканная. А в дру-

гом классе учительница пришла, сказала: «Сталин скончался». Почтили его память минутой молчания. То есть мы как-то не переживали, что Сталин умер. Потом, после Сталина меняться стали — Маленков, Хрущёв. Хрущёва я еще помню, когда кого-то в комсомол принимали, нет, когда билеты комсомольские меняли, у девушки одной спросили: «Кто такой Хрущёв?». Она говорит: «Министр сельского хозяйства, поскольку он часто про кукурузу говорил». В 1960-е гг., когда состоялся октябрьский пленум, когда освободили Хрущёва, и потом в октябре приняли новую программу планирования и экономического стимулирования. Вот когда Косыгин стал председателем Совмина, а сразу с ним и Брежнев был, кто-то еще третий был. Вот Косыгин как деятель был толковый. Он был настоящий руководитель правительства советского. Ну а потом после Косыгина пошли... Тихонов был, он, кстати, приезжал к нам на завод. Тоже солидные люди — не сравнить с нынешними.

То есть когда Сталин умер, особого горевания не было?

Нет, у нас не было. На моем хуторе и не знал никто, там и радио не было. Так что я не думаю, что народ у нас с ума сходил, как в Москве давка была.

Памятника Сталину не было в вашем населенном пункте?

Нет, не было.

Что, по вашему мнению, больше всего повлияло на вас, на формирование вашей личности и характера?

Я считаю, что все-таки на формирование личности больше всего повлияли мои родители, отец и мать. Они в общем-то держали меня в строгости. Как они говорили, что я один из семьи выучился. Они строго относились к моему поведению, я не хулиган был, но, может, поэтому и не был. Мать всегда говорила: «Ты лучше, сынок, уступи, чтобы к тебе не было претензий». Отец меня и бил за какие-то дела. Как-то пасли коров и соревновались, кто попадет в изоляторы на столбах. Какой-то мужик это видел и меня прихватил, так отец мне это на всю жизнь запомнил. В строгости меня держали, и это на мне сказалося.

Скажите, после войны кем вы себя ощущали больше: жителем Белоруссии, представителем своей национальности или жителем СССР?

Я думаю, что жителем Советского Союза, потому что это тогда воспринималось как единое целое.

Спасибо!

Summary

The fourth volume of series «Oral History in Karelia» summarizes the results of joint Russian-Belarusian research project «Pre-WWII and Post-WWII Decades: Transformation of Culture in Everyday Adaptive Practices (Belarusian SSR and Karelian-Finnish SSR)» carried out by a group of scholars from Petrozavodsk State University (Russia) and Belarusian State University and Belarusian Academy of Sciences (Belarus) during 2006—2007. The aim of the project was to study transformations in the everyday culture of Soviet society during the Stalin's regime. These transformations are a key subject necessary to understand the entire evolution of the Soviet society during 1930s to 1950s — the period where contemporary Russian and Belarusian societies are both rooted in.

The volume is based on the comparative approach to its subject area. Section «Sources» consists of two parts: Interviews collected by Belarusian researchers (five interviews with respondents born between 1915 and 1924) and interviews collected by Russian researchers (eight interviews with respondents born between 1922 and 1936). Apart from the geographic scope, interviews also differ in their methodology. Belarusian scholars used the life story approach that implies minimal intrusion of the interviewer into the respondent's narration, while Russian scholars worked with the questionnaire (though most interviews also contain elements of a life story narrative).

Section «Academic papers» represents papers that analyse interviews collected during the project as well as the papers that address other issues raised in this volume. Two papers were written on the basis of oral history interviews collected during the project: «Study of Everyday Adaptive Practices in the Transforming Society (Memory of Inhabitants of a West-Belarusian Settlement about Life in “the Polish Time” and “Under Soviets”)» by Irina Makhovskaia and Irina Romanova and «Research Project “Pre-WWII and Post-WWII Decades: Transformation of Culture in Everyday Adaptive Practices (Belarusian SSR and Karelian-Finnish SSR)”: First Results» by Irina Takala and Alexei Golubev. The first paper studies transformation of everyday culture in the Western Belarusian settlement Mir, representing the micro-historical level of analysis, while the second uses archival data and oral history interviews to make the general overview of evolution of everyday culture in Soviet Karelia before and after WWII.

We also continue to publish papers that address various issues of oral history as an academic discipline. The volume is opened by a very interesting research by Smaranda Vultur, Professor of West University from Timisoara (Romania) «Life under Communism: Between the Records of the Secret Police and a Retrospective Evaluation of the Victim-Witness». It compares the strategies of constructing biographies in the documents of Romanian political police «Securitate» and in life stories of people who were its victims. The research is based on interviews with the victims of Romanian deportations and interrelates with the issues covered by the interviews published in this volume. The topic of victims of political repressions is continued with the paper by Irina Romanova «Adaptation of Victims of Purges to Life in the Society after Return from Places of Imprisonment and Exile (an Oral History Research)». Finally, the paper by Anton Chistiakov, Associate Professor of Saint-Petersburg State University «Oral History of Novaia Ladoga and Its Suburbs» addresses the construction of regional identities which is also closely related to the subject area of this volume.

Предыдущие выпуски «Устной истории в Карелии»

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Устная история в Карелии

Сборник научных статей
и источников

Выпуск I

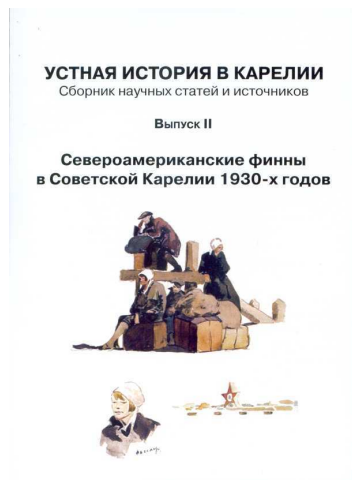
Петрозаводск
Издательство ПетрГУ
2006

Устная история в Карелии: Сб. науч. ст. и источников. Вып. I / Науч. ред. А. В. Голубев, А. Ю. Осипов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 132 с.

В данном сборнике опубликованы научные работы, посвященные теоретическим вопросам устной истории, и интервью, освещающие повседневную жизнь в Карелии в предвоенное и послевоенное десятилетия с точки зрения людей, чья судьба в данный период была связана с Петрозаводским государственным университетом.

Alexey Golubev, Aleksandr Osipov (eds.). Oral History in Karelia: Collection of Academic Papers and Sources. Vol. 1. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Press, 2006. 132 p.

The first volume comprises works on theoretical issues of oral history and oral history interview that illustrate the everyday life in Soviet Karelia during pre-WWII and post-WWII decades. The volume also focuses on the oral history of Petrozavodsk State University.



Устная история в Карелии: Сб. науч. ст. и источников. Вып. II: Североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х годов / Сост. и науч. ред. И. Р. Такала, А. В. Голубев. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 192 с.

Второй выпуск сборника посвящен истории иммиграции американских финнов в Советскую Карелию. В исследовательских статьях, интервью и воспоминаниях освещаются вопросы, связанные с историей финской диаспоры в Северной Америке и причинами иммиграции, рассказывается о судьбах переселенцев, анализируется их вклад в развитие республики.

Irina Takala, Alexey Golubev (eds.). Oral History in Karelia: Collection of Academic Papers and Sources. Vol. 2. North American Finns in Soviet Karelia in 1930s. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Press, 2007. 192 p.

The second volume addresses the history of immigration of North American Finns to Soviet Karelia. Academic papers, interviews and memoirs published in the volume cover the history of Finnish diaspora in North America, reasons of Finnish immigration to USSR, fates of the immigrants, their contribution to the development of Soviet Karelia, etc.



Устная история в Карелии: Сб. науч. ст. и источников. Вып. III: Финская оккупация Карелии (1941—1944) / Науч. ред. А. В. Голубев, А. Ю. Осипов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 212 с.

В третьем выпуске сборника опубликованы материалы, посвященные финской оккупации Карелии в 1941—1944 гг. В аналитической части сборника особое внимание уделено гендерному аспекту оккупации. Интервью, представленные в сборнике, отражают исторический опыт различных национальностей Карелии, что позволяет лучше понять особенности оккупационной политики финнов.

Alexey Golubev, Aleksandr Osipov (eds.). Oral History in Karelia: Collection of Academic Papers and Sources. Vol. 3. Finnish occupation of Karelia. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Press, 2007. 212 p.

The third volume represents materials on Finnish occupation of Soviet Karelia during 1941—1944. The research part of the volume places a special emphasis on gender aspects of the occupation. Published interviews reveal the historical experience of various ethnic groups of Karelia, that allows to understand specific features of Finnish occupation policy.

Сведения об авторах

Вульгур Смаранда — доктор философии, профессор Западного университета, г. Тимишоара, Румыния.

Голубев Алексей Валерьевич — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории стран Северной Европы и руководитель Центра устной истории Петрозаводского государственного университета, Россия.

Маховская Ирина Станиславовна — кандидат исторических наук, доцент кафедры Белорусского государственного университета, Беларусь.

Романова Ирина Николаевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, Беларусь.

Такала Ирина Рейевна — кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории стран Северной Европы Петрозаводского государственного университета, Россия.

Чистяков Антон Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры этнографии и антропологии Санкт-Петербургского государственного университета, Россия.

УСТНАЯ ИСТОРИЯ В КАРЕЛИИ

Сборник научных статей и источников

Выпуск IV

**Карелия и Беларусь:
повседневная жизнь и культурные практики
населения в 1930—1950-е гг.**

Редактор *О. В. Обарчук*

Компьютерная вёрстка *Т. Д. Шестаковой*

Подписано в печать 25.07.08. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 27. Тираж 250 экз. Изд. № 51.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ
185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33

ISBN 978-5-8021-0848-2

